

МИХАИЛ ПОПОВ

МИХАИЛ ПОПОВ

НЕЖНЫЙ
УБИЙЦА

МИХАИЛ ПОПОВ

**НЕЖНЫЙ
УБИЙЦА**

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1989

ББК 84Р7
П58

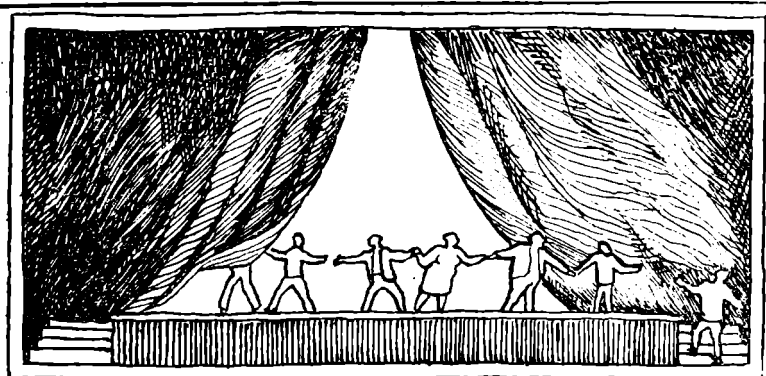
Художник *А. Александрова*

П $\frac{4702010200-215}{М106(03)-89}$ 115—90

ББК 84Р7

ISBN 5-270-00820-3

© Издательство «Современник», 1989



Народный театр
(роман)



Считаю своим долгом сообщить читателю кое-какие факты, касающиеся лежащей перед ним книги. Однажды я получил по почте объемистый пакет, в котором оказалась папка с веревочными тесемками и сопроводительное письмо, из которого явствовало, что эти «материалы» мне посылает некий «земляк». «Материалы» имели отношение к таинственной истории, произошедшей в моем родном Урядьеве лет десять назад. Я эту историю отлично помнил, она потрясла тогда мое воображение и нарушила покой всего городка. Несмотря на проведенное следствие, она так и осталась до конца не проясненной. Автор письма предлагал мне опубликовать рукопись под моим именем (откуда-то ему было известно о моей причастности к литературе). Воля нелепая, но воля.

Разумеется, я тотчас же набросился на эту папку. К немалому моему сожалению, большая часть «материалов» оказалась просто-напросто романом, причем несколько не доделанным. Я взял на себя труд отредактировать текст, опустил несущественные, описательные главы, сделал вставки, без которых терялась логика развития сюжета. Начало второй части, перенасыщенное путанными рассуждениями об искусстве, я тронуть не решился, ибо не мог уловить здесь авторской линии, отчего было непонятно, в каком направлении вести редактирование. Допускаю, что я был не в состоянии постичь глубину мысли романиста. В нескольких случаях пришлось прибегнуть к такому грубому средству, как сноски, для устранения темнот и противоречий в тексте. Я старался по возможности в своих вставках имитировать авторский стиль, насколько это мне удалось — судить читателю.

В машинописный текст романа были вложены три стопочки листов, написанных от руки. Автор этого произведения, представлявшего собой странную смесь официального очерка истории Урядьевского народного теат-

ра с интимным дневником, известен. Им является реально существующий, или, вернее сказать, существовавший, преподаватель научного атеизма в Урядьевском совхозе-техникуме Адам Аркадьевич Волотовский. Его произведение, столь необычное и слишком фрагментарно представленное, я хотел сначала вообще отложить в сторону и никак не использовать в настоящей публикации. Но, вчитавшись, понял, что его не только нельзя изъять, но даже нельзя изменить положение отрывков в тексте романа.

Итак, я снова обнажаю перо.

По своему призванию я являюсь историографом нашего маленького городка Урядьева, где мне посчастливилось провести большую часть своей жизни. Свое историографическое исследование я буду вести параллельно с выполнением заказной работы — написанием истории нашего Урядьевского народного театра. Надо полагать, что рамки этой работы будут меня несколько стеснять: дело в том, что за долгие годы своей жизни я собрал значительное количество наблюдений над местными нравами, взаимоотношениями самых влиятельных граждан, а также неожиданных сплетен, курьезных вырезок из местной прессы. Имея необычное и широкое образование — я закончил в свое время высшее политическое училище и духовную семинарию, — беру на себя смелость прямо по ходу работы осмысливать некоторые тенденции, делать умозаключения и выводы.

Надо заметить, что я не являюсь упорным врагом всяческого вымысла, но преклоняюсь перед поэзией факта, ничего не знаю и не желаю знать выше самой жизни. С этим внутренним, постепенно накопившимся убеждением связан мой уход из сферы религиозного культа и мое возрождение в качестве преподавателя научного атеизма в нашем Урядьевском совхозе-техникуме.

Писательский мой профессионализм может быть удостоверен моей работой «История Урядьевского моторного завода», заслужившей строгую, но поощрительную оценку районного комитета партии и напечатанной в нашем районном печатном органе. В настоящее время поставлен вопрос об отдельном издании этого труда.

Может возникнуть справедливый вопрос...

Но для начала краткий исторический очерк. Без

этого трудно неземляку, который, может быть, будет со временем листать эти записки, вживе представить место действия.

Вряд ли стоит касаться совсем уж отдаленных периодов. Последнее оледенение в наших краях прошло в те же примерно сроки, что и на всем Евразийском материке. Растительный мир был представлен в основном смешанными лесами, сосна и ель мирно росли в соседстве с березой и дубом, ясенем, кленом, ольхой и сиренью. Вот пример добрососедских отношений, столь не всегда исповедуемых людьми. Леса изобиловали грибами, ягодами, орехами. Множество имелось дичи — лосей, оленей, кабанов, зайцев, зубров, искусственно введенных впоследствии для Беловежской пушчи. Многочислен и разнообразен был и отряд хищников во главе с королем местной фауны — медведем (волк, лиса, рысь). Многочисленные, хотя и не слишком полноводные, реки кишели рыбой (карась, щука, налим, ерш, плотва, карп и т. п.). Первым жителям здешних мест — историческая наука склонна считать ими славянские племена дреговичей, — думается, не приходилось жаловаться на скудость природных кладовых. Привившееся здесь наконец земледелие отнимало немало сил, ибо почвы здесь не самого лучшего качества (супесь, суглинок и т. п.). Но это, может быть, и неплохо, ибо труднодобываемый хлеб приучает человека не к баловству, а, наоборот, к рачительности.

Характер у жителей края сформировался — на диво. Кто сталкивался с коренным жителем наших мест, не станет отрицать: он прост, но добр. Принято было считать, что мои земляки не очень были способны к государственности, чурались-де ее, и потому в свое время были прибраны к рукам более тороватыми соседями. Что-то забывают составители таких мнений о таком, скажем, примере, как Турово-Пинское княжество. Оно хоть и было расположено чуток южнее тех пределов, что являются местом действия наших событий, но являлось насквозь близким нам по крови и духу. За экономией места опустим прочие примеры, их много, и многие их знают.

Питался житель наших мест издревле луком,

рыбой, репой, квасом, медом, пек хлебы. Здоровая пища очень способствовала уравновешенному характеру населения.

Наш Урядьев впервые появляется в летописи на сто лет раньше Москвы. Трудно расшифровать голые упоминания на страницах летописного текста, но представляется, что уже тогда жизнь Урядьева была полнокровна, своеобразна и вершилась на незаемный манер. Город не принимает большого участия в главных событиях истории, но хочется верить, что были урядьевцы — пусть и не столь многочисленные — среди участников Ледового побоища и схлестнулись в лихую годину с каким-нибудь татарским отрядом, забравшимся в поисках ясака в наши дебри. С четырнадцатого века хищные интересы северного соседа, Литвы, распространились на земли города Урядьева. Завоеватели были дики и решительны. Более культурные, но необъединенные славянские земли вынуждены были им покориться до самого Черного моря. С этого времени начинается период упадка, надолго затянувшийся и не лучшим образом повлиявший на душу белоруса. Литовские князья сменялись польскими панами, великий единокровный сосед — Русь, раздираемая боярскими склоками, не могла помочь своему меньшому брату. Наш крестьянин и ремесленник однообразно гнул спину, платил чинш и прочее. Но народный дух не был сломен. Богатый белорусский фольклор хранит алмазы народной мудрости: неунывающий Нестерка до сих пор смеется над глупым паном, дурачит чванливого попа, и мы понимаем — народ бессмертен.

Многие великие люди побывали в наших местах. Немного севернее прошел Стефан Баторий, и немного южнее — Лжедмитрий. Любимые охотничьи угодья в здешних лесах были у родовитейших Радзивиллов. Но сильнее всего народная память была поражена явлением Наполеона. Три деревни, расположенные в ближайших окрестностях Урядьева — Драпово, Мыслово и Азерница, свои названия, по преданию, получили следующим образом: Наполеон, уже позорно бегущий под ударами дубины народной войны, как-то оказался в окрестностях Урядьева и совершил три дела: Дрapiу, Мыслiу и

Азірнуйся. Я склонен этому преданию верить, хотя ни о чем подобном не писал, например, Коленкур, находившийся в это время с императором. Наше предание, в отличие от многих других, хотя бы не противоречиво.

Наполеон был разгромлен, но крестьянин, столь много сделавший для этого, остался бесправен и нищ. Напрасно лучшие его представители поднимали знамя борьбы с эксплуататорами (Кастусь Калиновский и др.). До победы Великого Октября, воистину освободившего простого труженика, было еще далеко.

Я слегка забежал вперед, не описание бесславного завершения наполеоновской эпопеи цель сего повествования. В потоке быстротекущего времени вырисовывается одна точка, от которой, отталкиваясь, наберет силу история такого чудесного заведения, как наш Урядьевский народный театр. Эта точка есть не что иное, как основание в семнадцатом веке Урядьевского монастыря. Выбор именно этой точки отсчета не произволен. Дело в том, что когда в нелегкие послевоенные годы наиболее талантливые люди нашего города собрались вместе и создали театральный коллектив, выяснилось, что власти при всем желании, при самом лучшем отношении не в состоянии выделить подходящего помещения. Эта великолепная идея — организация народного театра, назло разрухе, назло голоду, назло неустроенности, могла сама собой погаснуть, если бы не Василий Акимович Гунькевич. Это он обратил внимание на то, что наш дорогой монастырь, сооружения коего отлично перенесли все превратности военного времени, имеет в своем ведении и использовании значительно больше полезных площадей, чем это может быть позволено в столь суровые времена. Идея эта пошла, как теперь принято выражаться, наверх. Обросла всевозможными дополнениями, к ней пристегнуло одну из своих мыслей Министерство сельской господарки Белоруссии. Короче говоря, было отрезано чуть больше двух третей монастырской громадной территории и построек, аккумулировавших, если уж по правде сказать, трехсотлетний труд окружающего бесправного крестьянства.

В трапезной, что возле главенствующего здания Успенского собора, и было прописано отныне, а именно 14 сентября 1947 года, новое детище нашей возрождающейся культуры. В здании экономии, духовной семинарии, кельях, складах, притворах поместился новый Урядьевский совхоз-техникум, флагман сельскохозяйственного образования в нашем районе.

Монахи перенесли это событие безропотно. Их монастырь переживал на своем веку события и страшней. Будучи одним из форпостов православия...

Некоторые театроведы любят говорить, что театр — это здание. Я осмелюсь заявить, что театр — это люди. Легко себе представить, до какой степени было непригодно для театрального дела здание бывшей трапезной. Достаточно сказать, что не было не только стульев для зрительного зала или занавеса для сцены, не было даже дров для печей. Репетировать приходилось при минусовой температуре. А еще эти неестественные для нормального человеческого чувства своды, пропитанные трехсотлетним мракобесием. И что же — уныние? Ничуть. Энтузиасты театральной самостоятельности, решившие, что театру в Урядеве во что бы то ни стало — быть, нашли выход. Весь необходимый реквизит был изготовлен самостоятельно. Сопорудили из первых попавшихся под руки материалов помост. Из невообразимого тряпья, отказывая себе во всем, даже в необходимом, устроили и занавес и кулисы. Но материальная часть материальной частью, нужен был и какой-то репертуар. В ход пошла классика. Во-первых, своя, местная — Дунин-Мартинкевич, «Пинская шляхта» (1948 г.). Во-вторых, общенациональная — «На дне» (тот же год). Репетировали долго, сколько было волнений, переживаний. Мне пришлось беседовать с одним из фундаторов театра — ушедшим от нас в прошлом году Сергеем Францевичем Гейко. Вспоминая о тех временах, он загорался, рассказывал, какой гомерический хохот у них вызывали комические положения остроумнейшей комедии Дунина-Мартинке-

вича и какой сосредоточенной серьезностью проникались все во время репетиций глубочайшей горьковской пьесы. Пьесы, надо заметить, были выбраны с умыслом и в результате точного расчета, вполне одобренного идеологическими руководителями района. В первой, искрометной, блестящей народным юмором сатирической комедии, все — и зрители, и сами актеры, смеясь, прощались со своим бесправным, убогим прошлым. Ту же примерно роль, хотя и в несколько другом, так сказать, регистре должна были сыграть пьеса великого пролетарского писателя. Отвращение к чудовищной гримасе, скорченной напоследок старым миром, — вот такой примерно эффект должна была произвести эта пьеса на старых урядьевцев. Они с большой надеждой смотрели в будущее, с прошлым надо было свести счеты.

Успех превзошел все ожидания. По рассказам очевидцев, в финальном выходе на премьере артисты стояли со слезами благодарности на глазах. Они поняли, что их труд нужен, людские души всколыхнулись, освобожденная жизнь продолжает свое величественное течение.

Итак, театр — это люди.

К сожалению, умер Гавриил Петрович Заставка: старый немецкий осколок четыре года назад зашевелился под его сердцем, и «неотложка» увезла его от нас прямо с репетиции. Символично, что в то время театр принимался за свою самую глубокую постановку последнего времени — инсценировку повести «Последний срок». Печально, но символично. Да, люди уходят, уходят люди, которые были живой историей нашего театра, его плотью и кровью в прямом смысле этих слов. Гавриил Петрович Заставка работал контролером ОТК Урядьевского хлебозавода. Он участвовал более чем в двадцати спектаклях, и всегда ему поручались роли, насыщенные психологическими сложностями, он был незаменим в ролях классического репертуара: Фамусов, Человек с ружьем, граф Альмавива. Многие помнят его удивительный, красивый и гордый голос, и сейчас, когдаходишь в зал, в пустой зал, закрываешь глаза и, о чудо, слышишь: «Ну как не порадеть родному человечку?»

Да, много лет утекло с тех пор. Приближающийся юбилей— это уже возраст зрелости, возраст свершений и достижений. Трудно поведать обо всех, кто своим самоотверженным трудом принес славу нашему театру, но имена тех, кто во главе с Гавриилом Петровичем был у истоков этого необыкновенного дела, забыты не будут никогда. Тимофеем Анисимович Астахов — бухгалтер маслозавода, Полина Сергеевна Рыженкова — библиотекарь, Андрей Янович Рубец — водитель автобазы № 17, Сергей Афанасьевич Гейштофт — экскаваторщик СМУ-4, Антонина Леонидовна Ракуть — преподавательница совхоза-техникума. Многие из них ушли от нас, но жизнь театра не останавливается ни на минуту. Ряды пополняются молодыми, ставятся новые спектакли, жизнь идет. Надобно заметить, что молодежь у нас хорошая, некоторые ее представители успели проявить нечто вроде таланта и заслужить уважение значительно более зрелых товарищей.

Надо сказать, что без поддержки нашей общественности, без заинтересованного сочувствия товарищей, облеченных доверием народа, у нас не может быть совершенно ни одно серьезное дело, особенно такое, как написание истории какого-либо учреждения. Задача была бы невыполнима, если бы не подобная помощь и поддержка. В частности, хотелось бы мне отметить руководство совхоза-техникума, которое, заинтересовавшись моей работой, предоставило ценные материалы о работе своего клуба, делящего с театром на паритетных правах помещение. Тут уместно вспомнить о том, что руководство техникума никогда не отказывало театру в материальной и технической помощи. В свободное от занятий время самые любознательные студенты и студентки охотно участвовали в подготовке материальной части спектаклей и даже порой оказывались на сцене, правда в основном в малозначительных ролях. К сожалению, ни одного значительного дарования совхоз-техникум пока не дал. Припоминаю я и несколько совместных акций. В частности, наш атеистический вечер, занявший два часа и имевший громадный успех. У меня перед глазами стоит финальная сцена, во время ко-

торой платформа с импровизированным «богом» со скрипом поднимается в «небеса». А по сцене парадом идут все корифеи свободомыслящего человечества: Вольтер, Дидро, Таксиль. Каждый из них под легкую музыку рассказывал по анекдоту антирелигиозного содержания. Публика — в основном, студенты же — хохотала до слез. Я, правда на короткое время, стал уважаемой личностью среди школяров. Одно время ко мне домой даже было паломничество за смыслом жизни, благо дом мой в трехстах метрах от монастыря. Тогда же я сделал одно из своих многочисленных наблюдений над странностями человеческой природы. Меня очень позабавил тот факт, что наши школяры, начав ко мне относиться с некоторым интересом, тут же мне придумали кличку — лысая кочерга. (Как будто бывает кочерга волосатая.)

Роль властителя дум мне была несколько противна, хотя в первый момент немного лестно. Да и дети ведь очень переменчивы. Моя слава продержалась очень недолго. Моя библиотека не представляла интереса для юных зоотехников и механиков, ибо здоровая деревенская жизнь и отличное пищеварение не развили в них ни малейшей склонности к умозрению. Я снова ушел в тень, в коей пребывал и до этого, что меня и устраивало. В-первых, я хотел...

Во-вторых, я женился. Моя предыдущая супруга умерла. Мне, конечно, все равно, что у нас принято болтать по поводу ее смерти. И даже не столько смерти, сколько жизни. Но тем не менее я жил один десять месяцев и женился в пятый раз. Судьба сподобила меня на новый брак в возрасте шестидесяти лет. Женитьба — в любом возрасте шаг решительный. В моем же возрасте, учитывая мое сомнительное, с обывательской точки зрения, прошлое, это было особенно непросто. Многих удивило, что Данута, привлекательная двадцатилетняя девушка без вопиющих дефектов, стала моей женой. Никто у нас, конечно, не читал Гауптмана, и все решили, что я скрываю клад, которым как-нибудь и привлек девчонку. Когда же она забеременела, всеобщее шипение перешло во всеобщий визг. Как у нас еще люди не привыкли спокойно перено-

силь вид чужого счастья! Почему-то считается: если мужчина стар, сух, строг, рачителен, не носит пышной шевелюры, а носит хорошую вставную челюсть, а женщине двадцать, она цветет, она привлекательна, то единение меж ними возможно только на основе какого-то мифического сундука с царскими червонцами и золотыми коронками — поговаривают, как ни странно, даже такое.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

1

Забор, отгораживавший двор Адама Аркадьевича Волотовского от несчастного двора Крушеницких, был высокий и плотный, подкрепленный с обеих сторон пышными малинниками, но по мере удаления в глубь сада он начинал ветшать, а далее и вообще выглядел никчемным. За дровяными сараями, там, где под массивными яблоневыми кронами бесконтрольно расплодилось красная смородина, пахнувшая по чьей-то ошибке крыжовником, там забор превращался в полную условность и исчезал, отметив место своего погружения в растительную стихию тремя обомшелыми штакетинами.

Что характерно — никаких территориальных споров не возникало меж соседями. Ни одна из сторон не пыталась распространить на эти места посадки своей картошки. Лет за пять до описываемых событий Андрей Андреевич Крушеницкий вдруг стал воздвигать в этих местах беседку. Событие это совпало с очередным семейным кризисом, и чем лучше он понимал, что ничего в этой жизни изменить нельзя, тем любовнее строил это жалкое подобие жилища на этом жалком подобии острова. Кризис миновал, строительство было доведено почти до конца, но заброшено. Его облюбовало сразу несколько групп населения. Сначала дети, в те годы особенно сильно одержимые подражанием шпионской героике, процветавшей на телеэкране. Они тут же окрестили беседку «гестапо» и проводили там все дни. Ольга Лукинична, хозяйка дома, показывалась в этих местах редко, а с роскошной застекленной веранды, где она целые дни помахивала скомканным фартуком для взбадривания вялых мух и пила чай, происходящее в беседке не просматривалось.

Дети умеют хранить тайны, но тем не менее о беседке быстро прознала местная пьянь. В каждом городке и даже в самом маленьком поселке есть такая про-

слойка населения (в отличие от деревни, где есть отдельные пьяницы), состоящая из ежедневно, охотно и даже страстно выпивающих людей. Они не безнадежные алкаши. У большинства есть жены и дети, в крайнем случае, матери. И вид у них не окончательно забулдыжный. Порой они в спецодежде и с мелким инструментом, рашпильного или сходного с ним типа в руках. Многие работают неподалеку от винного магазина, столярничают или слесарят (большинство просто грузчики). К запаху спиртного примешиваются запахи олифы, железа и счет — затесался, между прочими, и один бухгалтер. Добыв с заднего крыльца бутылочку и маскируя ее старательнее, чем, скажем, срам, они удаляются от магазина, все более возбужденно разговаривая. Они устремляются к беседке, о которой идет речь. Там они из услужливых яблоневых ветвей вынимают припрятанный стакан, из расщелины в полу — обломок ножа: нарезаются огурцы, и после первого же стакана начинаются разговоры о работе. Грузчики из овощного кланут заведующую и тару, работники ветнадзора заново переживают все перипетии последних кастраций, электромонтажник из районной сельхозтехники пересыпает в кармане горсть мелких изоляторов и смеется, показывая белые роскошные зубы. Тренер из «Урожая» выкладывает на стол секундомер и быстро-быстро щелкает по нему ногтем — что он рассказывает, не слышно, но все смеются.

Адама Аркадьевича все это нервировало, и он однажды возник на таком собрании, выставив из кустов свою абсолютно лысую голову, и стал обводить всех своими впалыми, очень назойливыми глазами. Это появление парализовало веселую компанию — все мгновенно вспомнили, что они на чужой территории, есть опасность потерять такое уютное, защищенное местечко. Эх, зря так смеялись! У Волотовского в городе была не просто нехорошая, а в известном смысле зловещая репутация. Ничего из того, что ему инкриминировалось, никогда не было доказано, но вместе с тем не вызывало никаких сомнений. Опять же четыре последовательно умерших жены...

Раздвинув пошире ветки, Адам Аркадьевич выбрался из кустов. Он был так худ, что казалось, что когда-нибудь он из них и не выберется, а как-нибудь помичурински привьется. «Ну-ка, налей», — сказал он

своим неприятным, квакающим, но, несмотря на это, авторитетным голосом. Тогда была эпоха яблочного вина, простого, едковатого, но все же не столь противоестественного, как последующие «Рубин» или «Агдам». Адам Аркадьевич медленно выпил, подвигал своим огромным пиджаком, как будто пристраивая в его недрах только что потребленное. Судя по дальнейшему положению одежды, вино поместилось в районе левого кармана. «Хотелось бы попросить, чтобы впредь было поменьше шума»,— сказал он улыбаясь, но строго и стал таранить заросли в обратном направлении. «Вот кочерга лысая»,— через некоторое время сказал тренер.

Надо заметить, что установившийся порядок устраивал всех. Мальчишки постепенно разлюбили это обиталище, оставив, правда, ему свое детское название. А постоянные посетители старшего возраста привыкли к тому, что в любой момент могут затрещать и расступиться зеленые стены, пропуская мрачного мытаря. Интересно, что разговоры об этом побеседочном сборе не сформировались даже в приличную сплетню. Встречаясь на людях с тайными любовниками портвейна, Адам Аркадьевич столь однозначно и уверенно демонстрировал разницу в социальном положении, что даже у тех, кто многократно подвергался поборам, не возникало никаких панибратских порывов. Таким образом, беседка, в которой рано утром сидел некий молодой человек в майке и синих тренировочных штанах, с банкой клубничного компота в руках, имела свою историю и была непростой беседкой. Молодой человек, будучи приезжим, всего этого не знал и знать, по-видимому, не хотел, ибо все его внимание отнимало собственное отвратительное состояние духа. Молодой человек казался личностью незаурядной, хотя трудно было сказать, что навело на такую мысль. Лицо его было немного рыхлым, у правого крыла носа великоватое родимое пятно, нос был, как у проплакавшегося человека, слегка припухший, а глаза не поддавались рассмотрению, он их сощурил, можно было подумать, что он старается увидеть что-нибудь очень важное, если бы перед его глазами не было простое картофельное поле. Тишина стояла полная. В разных углах смородиновой крепости, окружавшей беседку, звучало три насекомых устройства. С веточки, трогательно отпрянувшей от общей массы кустов, фокуснически спустился паучок, несколько раз дернулся

вниз, словно измеряя глубину тени, и вернулся навверх. Молодой человек, не отрывая своего взгляда от проема в смородине, от картофельных зарослей, наклонился к стоящей посреди стола банке, и стало возможным дополнить его портрет еще несколькими подробностями. Шурился он, по-видимому, всегда, а не только когда глядел на картошку. Родимое пятно было не единственным. Велюровая капелька виднелась на мочке левого уха, и целая стайка совсем уже мелких родственников забежала под сень черного волосяного покрова. В его жизни, вероятно, был период, когда он был почти красивым юношей, но он не удержался в тех кондициях, оставил усилия по поддержанию привлекательного облика, немного расплылся, немного поизносился... Клубничный компот он пил с наслаждением, видимо, в предшествующей, не известной пока никому жизни он был сладкоежкой, и сейчас выпил бы всю банку, но вдруг затрещали, затрепетали заросли, в разные стороны прыснула с них разнообразная трескучая мелочь, ядовитый запах зреющих помидоров заставил напрячься молодые ноздри. В таком обрамлении явился владелец местных мест. Он приветливо улыбнулся, разбежались стрелки морщинок. «Утречко доброе», — сказал он. Провинциальный житель всегда здороваётся первым. «Н-да», — неохотно и неопределенно отвечал молодой человек. Ему пришлось прервать сладкое интимное дело, за которым его застали. Банка вернулась на свое мокрое место. Чувствовалось, что молодой человек не любит подобных ситуаций. Возможно также, что он обдумывал что-то серьезное, и поворот, на котором его прервали, был интересным. Адам Аркадьевич сразу же отказался от замысла проявить строгость, он далек был от мысли претендовать на клубничный компот, он решил повести разговор. Предположив, что встреченный здесь является другом молодого Крушеницкого, и сам себе ответив утвердительно, Адам Аркадьевич в двух словах обрисовал тяжелую жизненную ситуацию, возникшую в результате удара судьбы, и каким-то образом вплеl в траурное повествование мысль о том, что отдыхать лучше всего в деревне. Молодой человек отвечал односложно, да и то не во всяком подходящем для ответа случае. Имени своего скрывать не стал — Виктор. Несколько раз ему приходило в голову, что неплохо бы вернуться в дом, но этот выход исключался. Он, собственно, и уда-

лился сюда, чтобы не портить своим присутствием семейную сцену, развернувшуюся сейчас в основном здании. Ольга Лукинична, сурово, трезво, мужественно встретившая вчера сына Андрея, приехавшего с другом Виктором из Москвы и слегка опоздавшего на похороны, сегодня сдала, и сейчас были как раз слышны звуки ее истерики. Андрей ни в коем случае не по своей вине оказался в роли сына, опоздавшего на похороны своего отца. Помешала ему страсть, вернее, несчастная любовь, загнавшая его на какой-то полубогемный чердак и оторвавшая на какое-то время от всего мира. Но как бы там ни было, на похороны он опоздал, и мучило его это страшно. Он упросил своего нового, но быстро ставшего близким приятеля Виктора поехать с ним. Всю дорогу велась, то мельчая, то крепчая, необыкновенная повесть об отце. Виктор терпеливо, даже удивительно терпеливо слушал ее всю ночь. У каждого свои «отцовские воспоминания» — удочка, овчарка, мотоцикл, кобура... Некоторые помнят себя сидящими на отцовской руке, поднятой под потолок. Некоторые ненавидят свои воспоминания об отце. Бывает всякое, но ни о каком отце невозможно слушать шестнадцать часов подряд, стоя в коридорчике у окна купейного вагона. Виктор слушал, и даже не просто слушал, а переспрашивал, входил в детали, терпел даже длительные путаные взрывы самобичевания... Андрей учился в институте народного хозяйства, технология приготовления пищи должна была стать его специальностью. Виктор не любил своего прошлого, как видно, и рассказывать о себе не любил. Андрей, например, считал его человеком искусства, сам Виктор подобную причастность отрицал. Андрей был красавец, ценил хорошие шмотки и тому подобное, Виктор поражал непримечательностью одежды. Впрочем, что значит поражал? Никакой таинственный жадный глаз за ним и не следил. Одним словом, они внезапно сдружились, хотя видимых причин для этого у них не было.

Донесся особенно сильный всплеск женского причитания. Адам Аркадьевич наклонил лысую голову в интересующем его направлении, сощурился, пытаясь помочь притупившемуся с годами слуху. Откидываясь на скамье и застегивая пуговицу на своем знаменитом френчевого вида пиджаке, он сокрушенно проговорил:

— Да, нелегко... Такая несвоевременная смерть.

— И скоропостижная? Мне так показалось.

— Ну, как вам сказать... Я думаю, имела место болезнь.

— Какая?

Адам Аркадьевич улыбнулся.

— Какая... Сейчас у нас одна болезнь, молодой человек...

Виктор сидел в беседке уже давно, его правая нога стала доступна солнцу, отчего едва заметно задымилась синяя штанина; на поросшей редкими рыженькими волосками груди зародилась маленькая капелька и суежливо скользнула вниз.

— Скажите, а правда, что покойный был такой незаурядный человек, как о нем рассказывают?

— А кто рассказывает?

Хлопнула стеклянная дверь веранды. Потом еще раз, как будто кто-то выбежал к почтовому ящику и тут же вернулся обратно. И опять донесся женский плач.

— Если хотите, пейте,— показал Виктор на свою банку,— мне из погреба достали.

— Спасибо, спасибо.— Адам Аркадьевич покрутил банку вокруг своей оси, заставляя редкие ягоды мягко подпрыгивать на дне.— Мужчина он был незаурядный. Во всяком случае, он превосходил своими качествами своего брата, ныне проживающего здесь. Брат его, между нами, солдафон, хотя и не служил. А компота не хочу. Сам, знаете, полное хозяйство держу.

— Откупорено,— придумал аргумент Виктор.

— Да, да,— оживляясь, закивал Адам Аркадьевич,— вино откупорено, нужно его пить.— Он сказал это с удовольствием, видимо, любил поиграть словами.— Однако Ольга Лукинична не уговорится никак. Пока сын не приехал, все было тихо. Скорбно, но тихо.

— Андрей мучительно переживает свое опоздание.

— Да, этот приезд ему запомнится.

— Конечно.

— Вместо того чтобы погостить у мамы с папой... Это сладко, молодой человек, оказаться у папы с мамой и почувствовать себя ребенком. Часть малого моего, теперь уже надо полагать, срока жизни я бы отдал за то, чтобы побывать в таком состоянии.

— Неужели вам не хватило вашего собственного детства?

— Разумеется, не хватило. Чего вы улыбаетесь?

— Никак не могу смириться с этим...— Виктор пересел в тень.— Знаете, есть в общественном мнении такие священные коровы, то есть закрытые для любой критики вещи и мнения. Одна из таких коров — это детство. Дети — цветы жизни и прочая галиматья. Не могу понять, чем питаются писательские и режиссерские попытки наделить свое детство значением потерянного рая. Почему никому в голову не приходит честно вспомнить, что было с ними и их чувствами тогда, когда они были детьми. То, что мы были ближе к животным, это все как будто признают, но, согласитесь, вряд ли есть для человека что-либо приятное в животном беспамятстве. Детство — ужасно. Тело уже есть, души еще нет. Дикие, животные, иррациональные страхи, бесконечно совершаемые подлости, бесконечно причиняемые близким боль и неприятности. Мы не были чище, а, наоборот, были грязнее. Такого эгоизма, такой жестокости, такой неблагодарности, такого расизма, такой готовности подчиняться любому самому бесчеловечному приказу не бывает никогда больше. Вся последующая после детства жизнь есть изживание из себя той беспамятно накопленной грязи. Кстати, чаще всего человек так и не взрослеет...— Виктору не понравилось что-то в выражении лица Адама Аркадьевича, и он вдруг осекся.

— Вы знаете, где-то я уже наталкивался на подобный взгляд.

— Ну что ж,— Виктор демонстративно зевнул, показывая, что тема разговора перестала его интересовать.

Еще раз хлопнула дверь веранды. Адам Аркадьевич, не скрываясь, прислушался и вдруг улыбнулся презрительной улыбкой в момент появления у беседки еще одного молодого человека. Не говоря ни слова, он встал и медленно удалился.

Андрей сел рядом с приятелем и принял похожую позу — вытянул ноги. Сравнение было явно в пользу вновь прибывшего. Ладно, более по-мужски скроен, пышная каштановая шевелюра, прямой нос, великолепные усы, крупные, но аккуратные губы. Сидел он нервно, дважды переложил мускулистые джинсовые ноги.

— Что же ты не сказал, что твоей матери под шестьдесят? — лениво, но, кажется, с легкой недоброжелательностью спросил Виктор. Андрей, обуреваемый сотней

различнейших чувств, непонимающе покосился на него. Впрочем, он уже слегка привык к манере своего друга задавать вопросы подобного типа — неприятные и непонятные. Он не стал обижаться на этот раз, он повернул голову в сторону только что покинутой веранды, там дотлевали еще угли разговора. Сейчас там тихо, и мать, наверное, уже не плача, молча и страшно сидит в углу и смотрит в сервант.

— Что здесь делала эта обезьяна?

— Это ты про старичка?

— Терпеть его не могу, и, по-моему, это взаимно. Самая темная личность в городе. То ли бывший поп, то ли полицей, жены у него мрут, как мухи, говорят, что во время войны...

— А что, Ольга Лукинична легла спать?

— Послушай, Вить, я что-то не пойму, ты, похоже, смеяться...

— Брось, брось, думаю я просто, а у тебя что-то вроде нервов. Я ведь просто спросил, что делает твоя мать.

— Плачет, наверное, опять. Только тихо. А может, и заснула. Всегда, когда ей плохо, она спит. Какая скотина! — вдруг взревел он другим голосом и, порывисто встав, прошелся из конца в конец беседки. — Ты знаешь, я ведь любил его безумно, но ничего не почувствовал, когда это произошло. Помнишь Сакова, нет, это было до тебя, ему в ночь отцовской смерти приснился страшный сон: отец его во сне приходил к нему прощаться, он тогда на лекцию пришел бледный-бледный, а через час телеграмма. А я хоть бы... с этой крысой, главное, ты же видел эту крысу!

Виктор продолжал сидеть в прежней позе, вид его не выражал активного участия. Все же он сказал:

— Ты был пьян.

— Вот именно, пьян. Какие-то бабы, бабы... Самое смешное, что бабы возникают из-за баб. От этих объяснений не легче. Ни чуточки. Чего я тогда стою, если даже на отцовские похороны...

— Успокойся, Андрюша. Ты действительно не виноват. Телеграмму принесли в общежитие, никто ведь не знал, где она живет, твоя «баба».

— Но самое страшное не это, понимаешь, не это. Самое страшное, что даже сейчас, когда на меня навалилось и это горе, и эта вина, я все равно думаю

только о ней, то есть больше всего мне от мыслей о ней.

— О ком? О той, у которой скрывался, или о той землячке, о...

— Перестань!

— Ты пока еще не осознал,— Виктор говорил медленно и как будто даже нехотя, как бы все время думая о другом,— ты просто еще не осознал. Смерть отца — это нечто более значительное, чем...

— Да, мне стыдно, стыдно, я все понимаю, да что ты говоришь, если б ты знал, как я все понимаю, я все просто к тому... ну, ты ведь должен это понять, я ведь, наоборот, о том, что я от этого и сам в ужасе. Как оно сложилось все одно к одному. Как и когда? Уж чего-чего, а такого прощания с отцом... Но ты же помнишь, это все у тебя на глазах, как оно шло все одно к одному. Я долго-долго надеялся, мне все казалось, что она просто мучает, хочет по сильнее к себе привязать. Я ведь знаю ее с пятого класса. Но в тот раз, когда она опять мне сказала, что я на фиг ей не нужен, я ей вдруг поверил, и это меня раскрутило, я даже половины не вспомню того, что со мной происходило. Я ведь обе телеграммы пропустил, первую, что отцу плохо, и вторую, последнюю.

Виктор встал, подтянул тренировочные штаны, подошел к замершему другу, глядевшему поверх нагретых солнцем смородиновых кустов на виднеющийся вдалеке мост через речку Чару, и похлопал его по теплой клетчатой спине.

— Бывают в жизни мгновения, когда человеку особенно важно не забывать, что есть иерархия человеческих ценностей. Сейчас у тебя такой момент. Отец — это отец. В чем-то ты был неправ по отношению к нему. Нынешние мучения — это мучения предварительные, настоящая расплата еще впереди. Теперь дело всей жизни выполнить свой долг перед отцом.

Говоря это, Виктор очень внимательно ошупывал взглядом загорелый профиль друга. Он удивленно поднял левую, более подвижную бровь, заметив, что у друга выкатилась быстрая слеза на бронзовую щеку и, добежав до усов, осталась в них блестеть. Говоривший сделал несколько движений, назначением которых было создать максимальное количество затруднений плачущему, если он решит, внезапно обернувшись, обняться. Впрочем, предосторожности оказались излишними, Ан-

дрей продолжал смотреть вдаль и шептать «подлецподлецподлец».

— Ну,— сказал недовольно гость,— что будем делать?

— Схожу за валерьянкой. В доме ни капли валерьянки.

— Я с тобой схожу.

Андрей повернулся к другу и, поджав нижнюю губу, молча кивнул несколько раз.

2

Эти слезы Андрея Крушеницкого смело могли быть сочтены событием экстраординарным. И склад характера, и образ мысли, и абсолютное психофизическое здоровье не оставляли места столь чувствительным проявлениям. Через пять минут, когда друзья-студенты вышли на улицу и направились в сторону аптеки, в облике молодого Крушеницкого отсутствовало что-либо сентиментальное. По улице шел рослый юноша в джинсовом костюме, в ярких кроссовках, с твердым, решительным выражением на благородном лице. Сопровождал его среднего роста приятель в бежевых брюках и коричневом пиджаке с одною пуговицей. Туфли его, приспособиваясь к особенностям походки, так видоизменились, что теперь трудно было с точностью сказать, из одной ли они пары. Виктор, будучи гостем здешних мест, все время оглядывался по сторонам, и его любопытство и внимание вознаграждались. Как раз когда они проходили мимо, распаивалась марлевая занавеска и был виден тучный, голый по пояс мужчина, целующийся с пивной бутылкой. Пропуская на узком месте тротуара своего сосредоточенного спутника вперед, Виктор замечал, что самовольно приоткрывается дверь сарая и кирзовый сапог беззвучно топит педаль мотоцикла. Из этих мельчайших деталей для наблюдательного москвича начинала складываться картина местной жизни.

Вдоль заборов росли липы, насаженные во времена, приравниваемые к незапамятным. Липы — тихие, сонные деревья, и это они делают провинцию провинцией. В садах, сменяющих друг друга, вишни, яблони, вообще все густо. Окошки, по здешней моде,— в жасминовой тени. Натянуты веревки и проволоки через дворы, но

натянуты даром, слишком редко на них, зацепившись коленями, висят детские колготки. На предвратной скамейке иногда сидит бабуся. Часто ее замещает кошка. Колонка на углу, как запрещенный фонтан, дает немного тайной свежести.

Улица описывала плавный полукруг. С самого начала пути над сплоченной зеленью усадеб царил купол Успенского собора. Золото купола было слегка трчено временем, но по-прежнему глядело внушительно. Хотелось поскорей обогнуть дома и посмотреть, за счет чего держится на такой высоте столь громадное и величественное сооружение.

Аптека располагалась в одном из флигелей, отнятых у монастыря. Одна стена ее выходила непосредственно на проезжую часть. Густая побелка несла на себе многообразные следы грязных брызг: ниже — гуще, выше — реже. За следующим, современным зданием парикмахерской виднелись камыши — жители тихого тинного пруда. Сверху, с горки вниз к аптеке едут дети на велосипедах, пахнет керосином. Не спрашивая у Андрея, почему они остановились, Виктор с ненасытной жадностью всматривался в многочисленные и откровенные приметы провинциальной, несколько пропащей жизни. Коровьи лепехи на щербатом асфальте, уса́тый дед в яловых сапогах и френче приник к витрине универмага, рассматривая колено манекена. Щит с показателями, где решительно рекомендуются и прославляются вещи, поставленные под сомнение новым правительством. Старушки черной стайкой выходят из высоченных ворот собора, оборачиваются, крестятся. Библиотека районная. Зайти бы сейчас и посмотреть в скучные-скучные, но медовые глаза библиотекариши, пригвожденной к своему месту семидесятирублевым окладом, готовой прыгнуть в любой проезжающий «Жигуленок». Она никогда не дожидается этого приглашения.

— Привет, — раздался хриплый голос Андрея. Оказалось вот что: мимо шла девушка в цветастом сарафане с гладко-гладко зачесанными волосами. На локте соломенная сумка. Она явно без особого желания приостановилась и тихо ответила на приветствие Андрея. На вопрос Андрея, неужели она в самом деле приехала и не собирается ли провести здесь остаток каникул, она мягко улыбнулась, даже не улыбнулась, а просто подвигала своими тонкими губами на строгом лице и сказала,

что ей надо бежать за хлебом. Андрей долго смотрел ей вслед, потом же, никак не комментируя происшедшее, вошел в аптеку¹. Там было прохладно и тихо. Сводчатые потолки заставляли немного опасаться здешней акустики, и Виктор удержался от расспросов по поводу девицы с сумкой, присел к прохладному столику и скосил взгляд на ядовитого цвета проспект, рекламирующий возможности сахарного диабета. В аптеке была одна юная и сонная провизорша. Наверное, сестра библиотекарши. С энтузиазмом выслушав просьбу красивого посетителя, она встала и отправилась в глубь аптеки, причем задела крутящееся устройство со стеклянными ящичками, и оно, пользуясь отличным состоянием своего подшипника, населило помещение подвижной вереницей солнечных зайчиков. Не возвращалась аптечная леди так долго, что заставила задуматься о ней. Может быть, она там пьет кофе или даже принимает душ, тихонько по-женски фыркает и... появилась. Андрей мрачно кивнул в ответ на ее скромную попытку понравиться.

Покинув заведение, Андрей сорвал зубами пробочку с одного пузырька и выпил его одним глотком. Его передернуло.

— Гадость, только язык обжег. Знаешь, Витечка, у меня предложение: давай выпьем, а?

— А что это была за блондинка?

— Выпьем, я размякну и все тебе расскажу.

— Довольно симпатичная, только холодная...

— Только не надо слов, умоляю! — замахал руками Андрей и стал переходить улицу. На той стороне ее был низенький заборчик чахлого придорожного сквера.

Заборчик был преодолен одним шагом, и Андрей опустил на скамейку. Виктор проделал тот же путь и сел рядом.

— Как ее зовут? — спросил он.

— Как ты думаешь, зачем она приехала?

— Ну, ну, не спеши радоваться, она могла приехать и просто так.

¹ Автор, видимо, не успел позаботиться о читателе, и поэтому не так-то просто определить, что это за девушка. Та ли, в которую Андрей был влюблен со школы, или та, с которой он проводил время перед получением телеграммы. Поскольку эта путаница явно не входит в планы автора, я взял на себя смелость этой сноской ее рассеять: описана встреча со школьной любовью. Ее зовут Света. Ту, другую можно забыть, она больше ни разу не появится на страницах романа. (М. П.)

— Зачем она приехала, Ви-итя?!

— Успокойся. Я не успел ее разглядеть, но, по-моему, она из породы синих чулков.

— Не может быть, чтобы это было просто так!

— Если хочешь, я могу с ней поговорить, и она тебя, наверное, полюбит.

— Слушай, я тебя просил оставить твои шуточки. Есть вещи... не для сальных рук, понимаешь?

— Понимаю, но ты подумай и не реви так. К нам кто-то идет.

Андрей обернулся.

— А, это Вавилов. Здорово, лишенец. Можешь меня поздравить. Садись.

Вавилов неуверенно потряс крепкую руку Крушеницкого. Это был интеллигентного вида юноша лет восемнадцати в белоснежной сетчатой рубашке и отглаженных брючках. Дополняли интеллигентное впечатление очки, которые он каждые полминуты заново навязывал своей широкой переносице загорелым пальцем. Разговаривать, обходя единственно главную тему, было нельзя, а как к ней безболезненно прикоснуться, Вавилов по молодости лет не знал.

— Ты знаешь, я побегу, мне в аптеку. Я потом зайду.

— Заходи,— поднимаясь, пригласил Андрей,— заходи, будем рады тебя видеть. А это мой друг Шапырин.

— Вавилов,— сказал юноша и убежал.

— Какой такой Вавилов? — спросил Шапырин, когда юноша нырнул на свидание к аптечной фее.

— Ну, у него брат еще есть. Мы потом с ним встретимся. Вернее, он сам с нами встретится. Тот пьяница, а этот отличник. Дурацкая семья. Вон, я же говорил. Вон идет пьяница. Мы с ним дружили одно время. Я же тут пробовал в ансамбле играть. Бас-гитара.

Вавилов-старший приближался по асфальтовой дорожке сквера, толкая перед собой детскую коляску. Высокий, неестественно худой, одевшийся, видимо, специально с целью привлечь к своей худобе всеобщее внимание. Узкий свитер, по правде сказать, очень похожий на чулок, натянутый на туловище, узкие брюки в дикую клетку, с громадными раструбами по моде десятилетней давности. Реденькие волосы с такой тщательностью зализаны набок, что при желании в этом можно

было усмотреть вызов. Лицо бабье, рот закрыт, будто в попытке скрыть дефект речи.

— Садись,— сказал ему Андрей.

Вавилов сел. Своею позой он давал почувствовать своеобразие своей натуры, голова пребывала откинутой так, словно он смотрел не глазами, а ноздрями. Глаза за ненадобностью закрылись. Некоторое время хранилось молчание, приличное траурному подтексту встречи. Длился провинциальный полдень. Трое молодых людей сидели на скамье. Над ними лопотала липовая листва. Тень таким образом падала на коляску, как будто дерево заигрывало с ребенком. Кругами расходилась местная реальность. Поблизости временно невидимый брат старшего Вавилова толковал с аптекаршей о толокнянке и распрямлялся старик в яловых сапогах у витрины универмага, решив, что такой электробритвы ему не надо. Чуть подальше жила своей жизнью автостанция, переманившая своим гудком старушек из собора. Медленно по поверхности пруда проплывала лодка, удочка с вонзенной в воду леской казалась лобзиком для выпиливания по водной глади. Еще дальше имелся дом, в котором Ольга Лукинична Крушеницкая, после бесцельного блуждания по комнатам, выбрала для разговора полутемное зеркало и теперь подправляет свое изображение в нем, прикладывая платок к опухшим глазам и сочувствующему им носу. И совсем уже мифом был железнодорожный вокзал, маслозавод, райком партии, поля, леса, луга...

Стеснительность, очевидно, была родовой чертой Вавиловых, потому что старший тоже не спешил завести разговор, и сделать это пришлось Андрею. Желая выразить положительное отношение к факту полноценной семейной жизни Вавилова, он кивнул в сторону коляски с дочерью и спросил:

— Сколько ей?

— По-моему, ей уже лет сто! — выстраданно проговорил отец. Речь его звучала так, словно словам приходилось прорываться сквозь строй вихрей, о чем свидетельствовали многочисленные шипения и свисты, путавшиеся в словах.

Шапырин весело рассмеялся.

— Щетыре дня торщу дома. Ошатанел,— поясняя свой ответ, проговорил отец.

— А что жена?

— Шегодня ждем с лешения. Курорты, курорты,— прибавил он загадочно.

— Это твоя-то Майка на курорте?

Вавилов улыбнулся то ли загадочно, то ли самодовольно.

— Надо бы шобратыша, а?

— Ты чего шепелявишь?

— Протеж, я шниму.

Андрей представил своего друга.

— Шапырин? — с удовольствием переспросил Вавилов.

Из аптеки появился младший брат, покосился на сидящих, спортивно преодолел заборчик и тоже занял место на скамье. Посидели вчетвером.

— А помните старый жабор,— сказал старший Вавилов,— и скамейка была не ждесь, вон там на меште клумбы. Боше мой, как летит оно, время.

Шапырину что-то забавное почудилось в его голосе, и он, наклонившись вперед, осторожно посмотрел на говорившего. В глазах у того стояли настоящие слезы.

3

Когда Андрей с гостем подходили к своим воротам, грохнула калитка в воротах Волотовских, и на волю, развевая уши, вылетела здоровенная чушка. Вслед за ней выбежала крепкая тридцатилетняя женщина, предварив свое появление усталым проклятием: «Чтоб тебя расперло, жаба!» На молодых людей она поглядела мельком и стала подкрадываться к своей свинье, которая почему-то замерла как вкопанная. «Маш, Маш, Маш, Маш», — подбиралась хозяйка. Подпустив ее поближе, Машка сделала мгновенный поворот оверштаг и мимо хозяйских объятий кинулась в калитку.

— Кто это была? — спросил во время мытья рук Шапырин.

— Машка, кусается, как собака. Однажды действительно укусила собаку.

— А хозяйка?

— Ее зовут Данута. Пятая жена кочерги. Видал, какая телка. Правда, косая, но все остальное вполне. Я еще помню его предыдущую, Лизку. Умерла при родах. Говорят, у кочерги какие-то страшные деньги, то ли

он клад нашел, то ли вдову какого-то поручика ограбил. Никто их не видал, этих денег. Сплетни. Ему лет семьдесят как будто, но еще в соку. Умеет обращаться с бабами. Отец про него любил рассказывать.

Ольга Лукинична позвала обедать. Шапырин молча сел к столу и расстегнул пуговицу на пиджаке. Тихо поблагодарил, когда ему подали первое. Извиняясь за утреннее, Андрей положил матери руку на плечо и что-то пробормотал, глядя в пол. На мать он не был похож совсем. Ни ее черных волос, ни ее удлиненного лица, ни болезненно выпуклого лба, ни костлявых рук, ни индюшачьего голоса, ни длинных, замечательно длинных зубов. Из-за их длины особенно заметно было отсутствие левого верхнего клыка. А в общем, старуха, совершенная старуха.

Приступили к еде. Шапырин наклонился к тарелке, и ему ударил в ноздри мрачноватый запах свекольника. Вкусно, очень. Союз огурца, лука, картошки, яйца, докторской колбасы под покровом свекольного сока. На второе домашние котлеты и желтые от топленого масла картофелины, присыпанные мелко нарубленным укропом.

Шапырин уже наклонил свою тарелку для сбора остатков, когда послышались тяжелые шаги на крыльце, что-то упало на веранде, затюкал умывальник. Андрей продолжал неторопливо есть. Ольга Лукинична достала из шкафчика чистую тарелку и неуверенно смотрела на стол, не зная, куда эту тарелку пристроить.

Открылась дверь, и, отодвинув занавеску, вошел невысокий крепкий человек с очень красным небритым лицом. Книзу лицо заметно расширялось, вспоминается учебник истории, карикатура на Луи-Филиппа. Нос в свое время был сломан, мощная его кривизна производила тяжелое впечатление. Но при всех этих невыгодных особенностях физиономия вошедшего старалась выразить дружелюбие. Он подошел к Шапырину и представился:

— Револьт Матвеевич.

— Виктор,— сухо, почти не глядя в сторону Револьта, отвечал Шапырин и вернулся к еде.

Дальше обед продолжался в полном молчании. Только Ольга Лукинична спросила, как прошла рыбалка. Выяснилось, что хорошо прошла, рыбы почти нет, но зато получился прекрасный отдых для нервной системы. Микроскопическая неделикатность этого замечания оста-

лась вроде бы никем не замеченной. Револют ел быстро, временами начинал даже чавкать, но каждый раз спохватывался, бросал по сторонам осторожные взоры, словно проверяя, насколько испортил впечатление о себе. Он был человеком от природы грубоватым и прямолинейным, но даже он чувствовал, что в нынешней ситуации всеми желаемая особая линия поведения,— он не очень представлял, какая,— но старался нащупать. Тут же за обедом он решил поговорить с Андреем и выяснить, что, собственно, значит это недоброе посверкивание его глаз. Ольга Лукинична беззвучно вытирала посуду в тылу обедающих. Она явно думала о чем-то отвлеченном, потому что отпущенная на волю рука выписывала по мокрому фаянсу бессмысленные знаки скомканным полотенцем.

Вместо третьего, взяв с собой банку вишневого компота, молодые люди удалились в беседку.

— Он что, действительно был на рыбалке?

— Ну да.

— Знаешь, я не сказал бы, что это выглядит очень уважительно по отношению к памяти брата.

— Он двоюродный.

— Тем более. Если ему все равно, хоть бы приличия соблюдал. И потом, я неуверен, что у него вообще есть нервная система, такая рожа...

— Отец его не очень любил.

— Ну еще бы, у него же все написано,— Шапырин обвел рукой лицо,— мелкий садист и тупица. Неудачный представитель породы Крушеницких. Смерть прибирает лучших. И теперь этот человек, этот Револют, прости господи, занимает место твоего отца в этом доме.

Андрей внимательно посмотрел на друга.

— Что-то я тебя не пойму, какое место?

— Где обычно сидел за обедом Андрей Андреевич?

— Там, где я сидел сегодня.

— Это так, но это внешнее, на самом деле теперь он глава...

— Да почему?

— Да потому, что он этого хочет, потому, что ты постоянно не здесь, а в Москве, потому, что женщина в таком положении не станет... ей всегда легче переложить все на мужчину, на любого, лишь бы он находился рядом. Насколько я понимаю, Револют никуда уезжать не собирается.

— Зачем? Дом большой.

— В том-то и дело, что большой.

— Делиться он не посмеет, тут ни одного его кирпича нет.

— Завладеть домом можно и другим путем.

Андрей выжидательно смотрел на друга, который вдруг вскочил и стал ходить по беседке с выражением лица, отражающим борение чувств. Ему трудно было говорить, настраиваясь, он пинал обрезок штакетины, валяющийся на полу.

— Жизнь вообще несправедлива. Настоящие уходят. Такой закон, и не попишешь ничего. Настоящие уходят, а всякая шваль норовит занять их место. Во всех смыслах. Ты понимаешь?

— Нет, — Андрей помотал головой.

— Очень подозрительно шуршат кусты.

— Дождь собирается. — Помолчали, лицо Андрея становилось все более пасмурным. — Ты не договариваешь.

— Может быть, и не договариваю. А вернее сказать, я просто не додумал еще. Додумаю — скажу.

Шапырин выглянул из беседки. Над деревьями соседнего двора уже торчал синий край тучи. Пронеслась куда-то стая воробьев, промычала невдалеке корова.

— А Револьт был когда-нибудь женат?

— Нет.

— А твоя... А Ольга Лукинична в молодости была красивой женщиной?

— Ну и что?

— Я просто думаю. — Шапырин опять выглянул из беседки.

Запахи повернулись к обонянию новой гранью, и это волновало. Наступила тишина, но она продолжалась недолго. Возникла, и сразу где-то недалеко, широкая стена вкрадчивого, но крепчающего шума и стала приближаться. Нельзя было определить, то ли это предшествующий дождю ветер, то ли сам дождь. И уже через секунду молодые люди сидели в гроте с водяными стенами и с любопытством оглядывались по сторонам.

— Пойдем в дом? — спросил хозяин.

— Зачем? Какой дождь! Ты знаешь, в жизни человека бывает три-четыре таких дождя. Не больше. Даже влюбленностей может быть больше.

Андрей выглядел еще более задумчивым, чем Шапырин, он теребил кончик носа и смотрел в одну точку.

— Интересно, успела она вернуться домой?

Шапырин быстро стрельнул в его сторону своими острыми глазами и, подавляя легкую улыбку, спросил:

— Если хочешь, я с ней поговорю?

Вопрос остался без ответа. Некоторое время они сидели в молчании. Если прислушаться, в общем шуме дождя выделялись самостоятельные звуки. Внизу, по периметру беседки, стояло бултыхание, по рубероидной крыше ходила волнами тусклая дробь. Смородина шумела жадно и как бы навстречу дождю, а высокая яблоня поглощала воду вместе со звуком, который та приносила сверху. За огородом пробежала интересная пара — бабка в плащ-палатке с кнутом и корова. Причем бабке дождь досаждал, а корову развлекал. Недавняя свинья тоже показалась на той же дорожке, и почти сразу же вслед за ней явилась хозяйка. Они долго плясали на сплошном поле брызг. Данута отчаянными знаками пыталась вразумить отбившееся животное, а когда бросалась на него, обязательно промахивалась. То ли ей мешало ее косоглазие, то ли свинская ловкость.

— Совсем промокла, — сказал Шапырин, видя, как платье облегло женственную фигуру охотницы. Женственность особенно бросалась в глаза во время такого вихря.

— Я же тебе говорил — дура. Машка ихняя никогда не убежит далеко. Как только бросишь ловить, возвращается.

— Как в любви.

Сценка сместилась в сторону, закрытую кустами. Шапырин посмотрел на друга.

— А она тоже учится в Москве?

Андрей кивнул, приняв хиваясь к пачке сигарет.

— В Патриса Лумумбе.

— По призванию?

Андрей пожал плечами. Спички отказывались загораться в водяном окружении.

— Сыро, — заметил Шапырин.

Решено было — в дом.

Одним рывком, оскальзываясь на плитах, которыми была вымощена дорожка, молодые люди перебежали на застекленную веранду. С веранды, сквозь мрачную кухню, по затхлому коридорчику — собранию всяческого

жителейского хлама — прошли в узкую, но сухую и теплую комнату, где разместился гость. Небольшое окошко в белой стене было открыто, за окном, как и следовало ожидать, — заросль. В комнате стоял полумрак. Откинувшись на кровати и прислонившись головой к оклеенной журнальными репродукциями стене, Андрей рассказывал историю своей любви. Шапырин полулежал рядом, смотрел на куст в дожде и слушал. Сначала он был настроен иронически, или это только казалось от случайной игры света в складках его губ. Андрей рассказывал с чувством, видно было, что он дорожит этой историей, как некоей валютой откровенности, в обмен на которую он ожидал и даже мог требовать любой ответной откровенности. Андрей был старше своей возлюбленной на три года. Все началось на первомайском кроссе в восьмом классе — тогда он впервые обратил внимание на светленькую пятиклассницу. Школьные мотивы шли до половины рассказа и сопровождались деталями и приметами по большей части целомудренными — белый фартук, портфель, максимум — гольфы. Печаль выпускного вечера, закат над Чарой. Слезы отъезда на учебу (непонятно, ее или его слезы). Какие-то мизерные успехи, прикосновения рук выдавались за эпохи, равные великому переселению народов. Можно было бы даже уважать эти легкие миражи институтских каникул, столь достойно выглядящие в сравнении с бесшабашным развратом в течение года, но в их чрезмерной эфемерности было что-то досадное. Путь спасения — слушая даже такую страстную повесть, Шапырин частично думал о своем — должен быть устойчив, по нему должно быть возможно настоящее бегство со всеми дорогими пожитками. Так и осталось непонятным, произошло ли между Андреем и его Светланой что-нибудь более или менее вещественное. Сильно вредила рассказу цветистость слога. Крушеницкий не нуждался в поэте для запечатления своих чувств. И когда он стал подступать к последним эпизодам этой истории, на дне его интонации поднялись едва заметные буруны рыдания, и Шапырин подумал, что его голос, в общем, не так уж непохож на голос его матери.

— ...Под знаком индийского петуха. Я говорю, что за эти восемь лет ты не очень-то приблизился к результату. А у нее не было...

— Она!..

Шапырин не стал смотреть ему в глаза, хотя в полумраке и произошло некоторое приближение лица рассказчика к лицу слушателя. Андрей немного подышал рядом и отодвинулся на прежнее положение.

— Знаешь,— беззаботным и отвлеченным тоном говорил Шапырин,— меня больше всего интересует, каким образом могут сочетаться самые кондовые литературные штампы с самыми искренними чувствами.

Андрей сидел молча, ему не удалось настроиться сразу на неожиданную речь друга, и он не мог определить, стоит ему обижаться или нет.

— Воистину живая душа не может здесь служить связующим звеном, как ты думаешь? Пошлость, боюсь, одна из форм несуществования.

— По-моему, ты не о том,— нехорошим голосом сказал Андрей.

Поскольку наступило молчание, дождь снова стал слышен. Полумрак стал сгущаться.

— Такое впечатление, что она изменила прическу.

— Раньше у нее был хвост, до девятого класса, но она всегда волосы зачесывала плотно.

— Ей это всегда шло?

Андрей как бы после колебания перегнулся через спинку кровати и достал с почти уже растворившейся в темноте этажерки большой, тяжелый альбом. Шапырин ничего не спрашивал, было понятно — предстоит какой-то просмотр. Крушеницкий взял со стола лампу и пристроил ее так, чтобы включением электричества не нарушить интимность обстановки. Включив добрый, густо-желтый свет, Андрей с приятным хрустом отворил ворота в свое прошлое. На форзаце была синей гуашью изображена автомашина, на горбу которой имелось огромное сетчатое устройство с металлической блямбой в центре, испускающей ядовитого цвета молнии, в другом конце рисунка превращающиеся в стихотворные строчки: «Небо, полночь, снег, как вата, звезды гаснут на лету, только зоркий наш локатор разрезает темноту». Каждая страница альбома прикрывалась листом папирсной бумаги, на которой были изображены угрожающе заострившиеся самолеты, мечи с тщательно заштрихованной гранью и аккуратной, но великоватой каплей крови на конце, тепловоз, уверенно вытаскивающий из белой перспективы дембельский поезд, на каждом из вагонов которого записаны адреса сослуживцев. Рисунки

были сняты с заранее изготовленных шаблонов. Это искусство, требовавшее, несомненно, страшной кропотливости и тщательности, состояло в каком-то трудноопределимом родстве с искусством татуировки и выделявания наборных рукояток. Это с одной стороны, а с другой — в этом стремлении ни в коем случае не отступить от шаблона сквозила надежда на то, что, вернувшись домой, автор альбома будет хорошим семьянином и гражданином.

Фотографии в альбоме были расположены в хронологическом порядке. От молодого бойца Крушеницкого — голодный лихорадочный взгляд, шапка с кокардой в стороне от середины лба, гимнастерка, скомканная на левом боку, — до старшего сержанта Крушеницкого — ушитое согласно гарнизонной моде х/б, не без изящества касающаяся переносицы пилоточка, широкая лычка и тарелка черешен рядом на столе.

У рассматриваемого альбома было нечто отличающее его от тех многочисленных и довольно однообразных произведений, которыми одухотворены чемоданы разъезжающих два раза в год по всей стране дембелей. Не все позволяют вторгнуться в своеобразную стилистику дембельского альбома портрету любимой девушки и даже просто портрету какой-нибудь красотицы, оказавшемуся под рукой. Шапырин удивился поэтому, увидев на одной из страниц рядом с фотографией солдатской столовой личико Светы в неуверенном любительском исполнении. Она явно не позировала фотографу, может быть, даже была снята скрытой камерой. Андрей выбрал для этой, видимо очень дорогой для него, фотографии неудачное место. Свету можно было принять за работницу столовой, снимок которой гордо занимал середину страницы. Шапырин пригляделся. Светлые, гладко зачесанные волосы, строгие глаза, правильные черты лица, высокий воротничок целомудренного платья. Девушка, несомненно, положительная. Какая-то стерильная. Пробормотав что-то, Шапырин перевернул страницу и слегка опешил. В окружении неплохо выглядящего командного состава роты располагалась широко известная ливерпульская четверка. «Грешки молодости», — пояснил Андрей, наклеивая фильтр сигареты на нижнюю губу. В дальнейшем альбом равномерно развивал три темы. Гуще всего была представлена тема войск ПВО, на втором месте любовная тема, на третьем,

крепчая к концу альбома, музыкальная. Андрей сказал, что в альбоме, конечно, не все, а только самое-самое любимое. Где-то на чердаке, должно быть, еще валяются целые кипы фотографий, было когда-то сильное увлечение. Еще три года назад вся урядьевская молодежь сходилась с ума «по этой музыке». Шапырин удивленно поднимал брови. «Да, да, да», — убеждал его собеседник. Шапырин кивал и продолжал листать. Подбор кадров на странице иногда оказывался забавным. Вот хотя бы это: лекционный зал, заполненный головами и черными погонами, — ноги только у первого ряда. На противоположно наклеенной картинке — большая цветная фотография агонии, поразившей группу рок-музыкантов. Лучи дробятся, гитары встают на дыбы, музыканты еле стоят на ногах, музыка требует от них больше, чем могут дать их голоса и руки. Возвращаемся взглядом обратно: черно-белое, спокойное внимание сидящей роты наших вооруженных сил. «Это Цеппелины. Это моя самая сильная любовь», — Андрей встал на мгновение на колени перед альбомом и полез под кровать. Тихо чертыхаясь, он стал вытаскивать оттуда что-то тяжелое. Прежде всего выполз дух слежавшихся вещей, тлена, пыли. Шапырин наморщил нос. Все, что говорил орудуемый под кроватью Андрей, он воспринимал сквозь эту пыльную прослойку. «Я, конечно, отдаю должное и битлам и дверям, и ценю, конечно, Флойд, немного меньше, но тоже Юрай Хип, но Цеппелины!!! Цеппелины!!!» Он наконец выволок старый катушечный магнитофон и теперь пристраивал его на подоконнике. Дождь кончился. Закопанный куст вспоминал о нем, осыпаясь каплями внутри себя. Свет выключили. Магнитофон заработал. Многочисленные огоньки в нем посверкивали, он смотрелся, как конспиративная типография в старом сарае. Довольно быстро отыскалась нужная пленка. Хрустнули тумблеры, и неуверенно, как из-под развалин, выбралась музыка. И сразу хлынула широкой волной. «Это «Кашмир», это длинно, постарайся сосредоточиться». Андрей откинулся рядом с уже принявшим полулежачее положение другом. Андрей хотел было сделать еще несколько пояснений музыковедческого плана, но гость, приложив палец к губам, призвал его слушать. Разнообразные эмоции рвали душу хозяина, и прошло несколько минут, прежде чем он стал просто слушать. Все знают, как действует эта композиция этой группы, и могут пред-

ставить, как посреди этой композиции может разозлить внезапный стук в дверь. Оба вздрогнули: Шапырин — потому что вообще ненавидел всяческие неожиданности, Андрей — потому что этот стук был очень похож на стук, с которым в подобных ситуациях входил в его комнату отец. Дверь отворилась, и стало понятно, что это всего лишь тень отца — Револьт Матвеевич. Простояв в дверном проеме с полминуты и поняв, что на его появление не реагируют, он зажег свет. Закрывая лицо рукой, Андрей встал и неторопливо выключил магнитофон, ибо при свете слушать такую музыку было немыслимо. Влетевшая в окно бабочка шлепнулась на потолок и стала засевать его своим шуршанием.

— Очень громко, — сказал Револьт, объясняя свои действия, — я никак не могу заснуть.

Андрей артистически развел руками, показывая, что вот, мол, музыки больше нет, не то что громкой, никакой.

— Больше вам ничто не мешает спать?

— Спасибо, — сказал Револьт, он выглядел слегка потерявшимся. Ему хотелось сказать что-нибудь, может быть даже доброжелательное, но, видя в лице племянника выражение, близкое к самой лютой ярости, он предпочел просто выйти.

Я люблю бывать за кулисами нашего театра. За сценой имеется небольшой коридорчик, в нем три двери: две направо — это репетиционные помещения, одна налево — это комната военрука, где он хранит под замком карабины, патроны и плакаты, рисующие развод караула. Военрук у нас — майор запаса, человек вздорного нрава и редкого тупоумия. Вначале решено было привлечь его к театральной работе, если не в качестве артиста, то хотя бы в качестве консультанта. Ведь приходилось, учитывая героическое прошлое нашего края, ставить много пьес с воинственным и батальным уклоном. И без человека с военным образованием обходиться не хотелось. Майор Петр Ильич Пацикайлик охотно откликнулся на предложение театрального руководства. Он был человеком, легко устанавливающим контакт с людьми. Он все время шутил, острил, «подкалывал» всех. Но к иг-

ре на сцене оказался совершенно неспособен. Начинал почему-то хохотать в самом неподходящем месте, например будучи эсэсовцем, допрашивающим партизана. От его актерских услуг отказались легко, дольше рассчитывали на его консультантские услуги. Но тоже отказались.

Однако повернем направо. Вот первая постановочная комната. Здесь тихо, никого нет, но в воздухе как будто задержался отзвук творческого порыва, еще как будто слышатся взволнованные голоса. По совместительству эта комната является и музеем театра. Я оглядываю стенды с пожелтевшими фотографиями. Вот одна из первых. Четверо мужчин в кирзовых сапогах, коротких пиджаках и косоворотках стоят с поднятыми руками над импровизированным рельсом, их взгляды обращены к двум гитлеровцам, угрожающе присевшим в другом конце сцены с карабинами СКС наперевес. Драма «Подпольщики», 1956 год. А вот что-то экзотико-историческое — на фотографии пожилой человек в более или менее испанском костюме. Он стоит на коленях, широко расставив руки, и девица в длинном платье, видимо, испуганная им, жметя к нарисованной груде камней. «Овечий источник», 1959 год.

Я помню эти постановки, в них была солидность, приятная обстоятельность, даже тяжеловесность. Режиссеры тут не изобрели ничего нового, тогда все так видели классику, даже, скажем, книгоиздатели. У меня в библиотеке имеются собрания сочинений Шекспира (8 т.) и Лопе де Вега (2 т.), при взгляде на которые я всегда вспоминаю о классических постановках нашего театра.

Специфика народного театра, видимо, такова, что требует непрерывного притока режиссерской крови. Народный театр является организмом, непосредственно реагирующим на все движения общественной жизни, застрельщиком перемен. Никакая рутина не смогла бы свить себе гнездо в недрах такого коллектива, даже прикрываясь наименованием традиции. А поскольку носителем концепции, часто устаревшей, является конкретный человек, в нашем случае — режиссер, то он, вступая в конфликт с общим настроением театра, вы-

нужден был удаляться. Иногда, впрочем, это случилось из-за отсутствия жилья.

Невозможно здесь перечислить всех режиссеров, но лучших, запомнившихся, явившихся вехой в развитии нашего театра, назвать безусловно надо. Это — Тарасевич, Неверо, Бастун, Лебедев, Цыдик, Козодоба. Каждый из них нес зрителю что-то свое, неповторимое. Работы некоторых имели не только районное, но и областное звучание. В частности, постановки Олега Неверо «Сосны шумят» и «Царь Эдип», Юзефа Козодобы — упоминавшийся «Овечий источник».

Никогда за время существования театра рабочая прослойка в нем не была менее 50 процентов. Причем с годами рабочая среда становится все богаче талантами. И сейчас самое активное участие в жизни театра принимают четверо рабочих моторного завода, двое картонажников и один слесарь по холодильным установкам. К этой же прослойке я бы отнес и пожарника Сапсалева, довольно способного резонера. Не отстает от передового класса и интеллигенция. В послевоенное время она задавала тон, держится и сейчас на должном уровне.

Перейдем в следующую комнату. Она обширна, в четыре сводчатых монастырских окна, за окнами мощный польским булыжником двор. Весь он занят самыми разнообразными сельскохозяйственными механизмами. Колеса у них выкрашены в белый цвет, механизмы, даже самые большие, стоят на колодках, что придает им беззащитный вид. Рядом бродят студенты-механики. Они иногда приседают, чтобы получше рассмотреть нелегкие детали и элементы, берутся юношеской рукой за рекомендуемые указкой преподавателя рычаги. Некоторые из юных механизаторов недоброжелательно поглядывают на купол Никольской церкви за высоким дощатым забором возле кладбища. Тень, отбрасываемая этой церковью, ложится не только на механизаторский класс, но и на стадион. Что-то нездоровое есть в этом соседстве праздника юного спорта и могучей современной техники с этой вредной, окаменевшей мракобесной идеей.

Но отвернемся от окна. Половина комнаты — гардероб. Я подхожу и трогаю старое, послужив-

шее платье. Сколько оно помнит! Какая художественная судьба у каждого. Вот явно белогвардейский китель, вот кольчуга княжеская, железнодорожный заслоновский китель и специальный сундук, вот ботфорты, один с поврежденной шпорой, стопа кубанок, вот сюртук, он объемист, не всем годился, послужил городничему и еще многим представителям ушедшей России. Но особенно замечательна своим происхождением эта шинель, она является чистокровно польской, и кройка и шитье, и прочие околичности, и дарована театру вдовой польского поручика. Вот того, имеющая в хранении вид простыни, лавровый бумажный венок, бороды, парики и что хотите из волос. Штиблеты для экономии места навалены горкой. Лорнет, жабо и цыганское платье на одном гвозде. Пара бекеш, одна отличная, а другая сделана ей в подражание. Четыре фуражки с белым верхом, то ли миклухо-маклаевские приключения, то ли какая-то экспансия с лучшими целями, уж и не упомянуть, какое произведение стоит за каждой вещью.

Хранится все это без должного ухода, и как его обеспечить в таком не приспособленном для этого помещении?! Давно бы надо людям ответственным озаботиться этими вопросами. А пока я смотрю на это столь много вынесшее скопище одежды, в голове звучат латинские выражения *temento mori* и прочее. Грустна наша жизнь, а в такие моменты особенно.

Итак, с благодарностью отвернемся. В отличие от режиссеров, как правило дипломированных, с опытом постановочной или хотя бы культмассовой работы, актерский состав у нас был всегда принципиально любительским. Ни один из наших актеров не ушел на платную сцену. Характером работы наш актер сильно отличается от выпускника соответствующего училища. Работа у нас сезонная, есть режиссер — есть сезон, нет — нет. Были попытки поставить кое-что собственными силами, но все такие попытки имели вавилонское завершение, взаимонепонимание наступало полнейшее. Пришлось прийти к выводу, что в театре необходимо единовластие.

Беря пример с известнейшего нашего Художе-

ственного театра, у нас постепенно образовался актерский актив преданных Урядьеву и славе его театра людей, доказавших свой талант и бескорыстие. Роль актива в жизни театра была огромной. Во-первых, в общесоциальном плане ядро должно быть у всего. Или там голова, сердце и т. п. Наличие группы старожил-активистов дисциплинировало молодежь, с одной стороны, и давало естественный совещательный орган каждому новому режиссеру, что позволяло ему в самый короткий срок овладеть ситуацией. Активисты, будучи в основном людьми зрелого возраста, а иные даже с определенным положением, объединившись, придавали театру общественный вес. На примере нашего актива можно продемонстрировать преимущества народного коллектива перед профессиональным. В любом профессиональном заведении старейшие актеры известны в основном тем, что стремятся оккупировать лучшие роли, ничуть не думая о том, что им не к лицу в пятьдесят играть Чацкого, а в сорок пять — Джульетту. К похожему искажению здоровой жизни коллектива ведет, кстати, и длительное сидение режиссера на одном месте: у него появляются любовницы, жены, любимцы и т. п. Наши активисты, повинаясь глубокому пониманию законов жизни, стремятся играть лиц солидных — герцогов, царей, членов руководящих советских органов, оставляя подвижной молодежи забавы любовных перипетий. Не может же зам. начальника маслозавода скакать по сцене с мечом или петь под балконом, по его общественному положению он должен выезжать ближе к концу спектакля на условном коне и произносить например:

Возьмите прочь тела — подобный вид

Пристойен в поле, здесь он тяготи.

ГЛАВА 2

1

Богдан Маланчик стоял у полукруглого окна, фонарем нависавшего над улицей, и, глядя на современного

вида гастроном, из которого он только что вернулся с двумя бутылками кефира, считал себя счастливым. На режиссерском отделении областного культпросветучилища он не считался самым одаренным, преподаватели его не очень ценили, их раздражала, как считал Богдан, излишняя самостоятельность юного ума и крайняя независимость характера плюс невероятное упорство в отстаивании своих взглядов на театр. Его в свою очередь раздражала рутина провинциальной сцены, смешили допотопные советы так называемых «мастеров», и в силу непосредственности, свойственной его возрасту, он этого отношения и не скрывал. Могло ли в такой ситуации у него не быть врагов? В результате он оказался оплетенным сетью интриг, таких запутанных и таких ядовитых, на которые способна только настоящая духовная провинция. В результате по распределению ему досталась «черная дыра». Имея в голове самые сногшибательные и одновременно благородные планы — получить должность ассистента в Урядьевском народном, — было более чем иронией судьбы. Но никогда не нужно спешить с отчаянием. Тем более имея характер. Богдан приехал с твердым намерением дать местным рутинерам и зажимщикам настоящий бой. Но концентрация воли, все тонкие инструменты иронии, все это не понадобилось. Оказалось, что главный режиссер отсутствует, замены ему в ближайшие месяцы не предвидится. Стало быть, должность ассистента автоматически становилась... К тому же, по мнению ответственного человека, беседовавшего с Богданом в районном комитете партии, от театра ждали злободневной премьеры. «По-настоящему злободневной и серьезной, товарищ Маланчик». Богдан поглядел на свой чемодан, под толстой желтой кожей чемодана при этом приятном воспоминании зашевелились от нетерпения листы пьесы Олега Торцовского «Домой возврата нет?». Пьеса была раскритикована и республиканскими, и областными горе-драматургами. Публичный разнос, на котором посчастливилось присутствовать молодому режиссеру, выглядел очень странно. Не смея заговорить об идейной стороне произведения, все набросились на художественные недостатки, «вопиющие», по их определению. После обсуждения молодой режиссер подошел к автору и попросил экземпляр пьесы. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы она была поставлена», — сказал он. Драматург печально и недо-

верчиво улыбнулся. Интересно, какое у него будет выражение лица, когда он узнает, что обещание сбывается, и так скоро. «Я обещаю вам по-настоящему современную пьесу», — сказал на прощание Богдан райкомовскому работнику стальным голосом. Выйдя из высокого учреждения, он, не будучи суеверным, подумал все же — не слишком ли все хорошо начинается. Но, как всякий человек, наделенный чрезвычайной способностью к чему-нибудь и понукаемый жаждой работы, он не успевал отделиться никакой более или менее витиеватой рефлексии. Он зашел в столовую, взял себе громадную тарелку борща, широкую котлету и картофельное пюре с озерцом растопленного масла посередине. Запил все это двумя стаканами пахучего черничного киселя. Вслед за этим он отправился в общежитие медучилища, где ему выделили для проживания комнату. Здание встретило его запахами ремонта и прохладой. Громадная старуха-вахтерша, изучив его документы, взяла тяжелую веригу с ключами и повела режиссера на второй этаж.

Комната ему понравилась. Что здесь было в прежнее, скажем довоенные, времена, старушка объяснить не смогла, но выпуклое шестистворчатое окно, желтый паркет и дубовая панель на одной из стен рождали ощущение старой гостиницы: в таких номерах, должно быть, селились провинциальные трагики и антрепренеры.

Наверху раздался короткий хруст, Богдан и вахтерша подняли головы и тут же разбежались. Маленькая люстрочка с куском потолка, оставляя в воздухе пыльное облако, грохнулась об пол. Богдан расхохотался. Вахтерша что-то запричитала. Из ее речи можно было понять, что она предлагает тут же сменить помещение. «Кали яны кепска прибили свет!» — «Ни за что, — сказал Богдан, — в крайнем случае настольная лампа».

Допив бутылку кефира, режиссер осторожно поставил ее на мраморный подоконник. Вид, открывавшийся его взору, непонятно почему волновал его. И маленький пыльный сквер с тушей танка на постаменте, и ряд вывесок, не без труда разбираемых сквозь неподвижную липовую листву. «Книги», «Больница», «Гастроном». Направо внизу, в треугольно выступающем доме — «Почта». Дальше по улице — кинотеатр «Мир» — громадный сарай с пятном афиши на белом боку. Налево, кажется, имеется круглая площадь, где он побывал сразу по приезде. Остальной город остается загадкой. Город, кото-

рый станет свидетелем... в котором ему, Богдану Маланчику, предстоит... Богдан махнул рукой и, улыбаясь своим очень приятным мыслям, обратился к чемодану, где между любимыми книгами лежала пьеса его жизни, призывно отогнув угол первой страницы.

2

Шапырина разбудил шум скандала. Скандал происходил в столовой. Вернее, заканчивался. Хор голосов распался, гневно зазвенело ведро, хлопнула дверь веранды, и, если сейчас лязгнет щеколда на калитке, значит, скандал закончился и кто-то, послав всех ко всем чертям, выбежит вон со двора. Щеколда лязгнула. Шапырин улыбнулся и стал одеваться. В столовой он был минут через пять после события и с видимым удовлетворением обнаружил, что не все последствия его ликвидированы. Глаза Ольги Лукиничны были красны, а движения слегка лунатичны. Револют Матвеевич сидел у стола, опершись одной рукой о колено, другой о высокую спинку стула, отчего получался своеобразный крен и Револют Матвеевич казался кораблем, терпящим крушение в житейском море. Шапырин вежливо, но независимо поздоровался и прошлепал к умывальнику. Умылся он с удовольствием, весело поглядывал на буйно напирющую отовсюду зелень и вел нравоучительный диалог с псом Капой, шумно чесавшимся в будке. Когда гость вернулся на кухню, на том месте, где он вчера ужинал, стояла большая тарелка с макаронами по-флотски и чашка молока. Хозяйки не было, она, видимо, считала нужным скрывать свои слезы. Револют сидел в прежней позе и сверлил взглядом антикомариную марлю, закрывавшую окно. Его лицо было темнее любого из баклажанов, рядом расположившихся на подоконнике. Шапырин деловито приступил к своему завтраку. Макароны оказались немного холодноваты, а молоко совсем холодное, но молодой человек ел с жадностью, еда поглощала все его внимание, он даже не посматривал в сторону безмолвного соседа.

— Я хочу с тобой поговорить.

Шапырин показал вилок на свой полный рот, мол, не вполне готов, но принципиальное согласие поговорить выразил энергичными кивками головы.

— Не здесь.

И на это завтракающий был согласен, он только просил разрешить взять с собой молоко. Отправились, конечно, в беседку. Револют впереди. Гость, неумело и непонятно для чьих глаз пародируя его своеобразную походку, следом. Успел даже отхлебнуть несколько глотков молока.

Пришли, сели. Начать было трудно. Голова Революта Матвеевича располагалась в профиль к Шапырину, и тот не отказал себе в удовольствии рассмотреть ее. Раздраженность и расстроенность Революта выражалась главным образом огромного размера щетиной. Кожа на лице была и в самом деле крайне коричневого цвета. Опалесцировал маленький, волевой глаз. Нос... Нос имело смысл рассматривать, только когда был предъявляем в фас. В целом вид был каторжный, плебейский, но мерцание глаз и некоторые особенности поведения выдавали цельный характер.

— Что происходит с Андреем?

— Я не буду говорить на эту тему,— твердо сказал Шапырин и потрогал родимое пятно возле своего носа.

— Я понимаю, вы друзья...

— И даже не потому. У меня есть свои совершенно собственные и очень важные причины не вести разговоров на эту тему.

Чувствовалось, что Револют растерялся, он готовился к неприятному, но продолжительному разговору, он так трудно на него настраивался, что не мог поверить, что с ним этого разговора просто не захотят вести.

— Я же не предполагал...— медленно начал он, и жуткие метаморфозы в расцветке физиономии давали представление о той борьбе, что шла в его мозгу. Он не закончил свою мысль и замолк.

Шапырин пожал плечами, допил молоко и, поприветствовав Революта Матвеевича, вальяжной походкой отправился в дом. Когда он в своем неизменном наряде — бежевых твидовых брюках и коричневом пиджаке на одной металлической пуговице — выходил на улицу, на строение у него, судя по всему, было чудесное.

Остаток дня он провел очень напряженно. Никто, даже тот, кто проследил бы каждый его шаг, не понял бы цели его блужданий. Сначала он довольно долго вертелся на рынке. Но на покупателя не был похож, даже в тот момент, когда заговаривал с торговцами. Кой-кого

он рассмешил. Приобрел стакан семечек. Но не сделал из этой покупки никакого подозрительного употребления, а просто-напросто сгрыз тут же на рынке, присев на скамейку. Внимательно посматривал по сторонам и рассеянно сплевывал шелуху. Урядьевский рынок по выходным, а был, кстати, выходной, являлся местом бойким. Машины с товаром, мотоциклы — в коляске пара пороят. Носится какой-нибудь петух, кое-кто его даже ловит. Хлопают двери столовки, где обедает самый невообразимый трудящийся человек. Торговец всегда мрачновато ест свою колбасу, сидя на ящике за весами. Снование имелось множественное. Шапырин битый час просидел со своим кульком. Знакомых не было видно, но он и не походил на человека, желающего повстречать знакомых. Когда появился Волотовский, пришедший за творожком, то Шапырин раскланялся с ним настолько приблизительно, что старик не посмел подойти, хотя, судя по всему, ему этого хотелось.

Все человеческие достопримечательности Урядьева в базарный день были тут. Обязательно прикатывал начальник местного ГАИ майор Собачев, один из влиятельнейших людей района. Он грузил в багажник рыжего «Москвича» значительный запасец лучшей снеди. И когда он уезжал, злые языки вслед ему тихо говорили гадости. Многих раздражало майорское умение жить, и сразу же хотелось представить дело так, чтобы благополучие его выглядело незаконным... Бывал и преподаватель местного медучилища Птичкин с женой. Все его звали «профессор» и норовили обмануть как-нибудь понаглее. Через рынок проходила дорога от монастыря к почте, куда по таким дням отправлялся обычно отец-эконом вместе со служкой, толкавшим перед собой просторную тележку. На обратном пути тележка бывала заполнена посылками, иногда экзотического вида. Сюда же стекались все убогие, все калеки, которых в городе было немного в соответствии с законом о бродяжничестве. И конечно же попадались тут и алкаши. Вон там они обычно сидят между квасной бочкой и забором, среди пыльной травы, щепок и ржавой проволоки. Даже в субботу и воскресенье они в рабочей одежде. Шапырин, доплевав свои семечки, кстати замечательные (патриоты их считают не уступающими худшим видам кедровых орехов), сделал круг по рынку. На глаза ему попала Мусенька, маленькая глупенькая старушонка, которая вела

себя так: идет себе, опустив голову (на голове мрачный плат), а потом вдруг — стоп, секунду стоит молча и на большой скорости бежит задом вперед и норовит кому-нибудь сесть на колени. Шапырина Мусенька не заинтересовала. Зато за тем рядом, где торговали цветами — их никто здесь не покупал, ибо все выращивали, — он увидел Мишу Гужевого, старого уже мужика, раненного на войне в позвоночник и теперь здорово приволакивающего ногу и не вполне владевшего правой рукой и щекой. Он сидел в теньке и старался съесть яблоко. Шапырин подошел к нему в тот момент, когда инвалид откусил-таки кусок и медленно жевал, с любопытством глядя на другую половинку, совершенно червивую. На любезное предупреждение молодого человека в бежевых брюках, о наличии червяка в яблоке, Миша неторопливо и самодовольно засмеялся и сказал, пуская небольшую слюну: «Не той чирв, которого мы едим, а той чирв, какой нас буде есць».

По всей видимости, молодому человеку очень понравилось философское наклонение мыслей инвалида, и он с ним разговорился. Минут через десять Миша Гужевой потерял интерес к своему яблоку и, своеобразно встав, отправился с молодым человеком куда-то в дальнюю часть базара. Там находилась керосиновая лавка, рядом с нею в стене имелся пролом, сразу выводивший в другую, деревянную часть города. Здесь не было ни малейшего движения. Лишь иногда пробегала собака да проезжал «Жигуленок», мягко покачиваясь на слежавшихся кучах песка. Многие в тот год в Урядеве строились, то здесь, то там хозяин в одних трусах и бумажной шляпе, попыхивая папиросным дымком, переполовинивал при помощи мастерка кирпич. Куда направлялась внезапно возникшая пара, сказать было затруднительно, потому что, скажем, дом Миши Гужевого находился не совсем в той стороне, куда он вел своего нового друга.

3

Домотканые половики, крест-накрест застилавшие крашенный пол, придавали главной комнате в доме историка Майбороды особенно провинциальный, почти ссыльный вид. У стены, украшенной домотканым же полотнищем, стояла железная кровать с никелированными

ми шишечками, черный, значительного вида стол, с угрюмыми, но многочисленными письменными принадлежностями. Стул был более легкого нрава, на нем хотя бы пару раз сидел, откинувшись, польский поручик с бокалом шампанского в руке. Рядом со столом — большой, опять же черный шкаф. Именно шкаф — в нем не было никакого украшения или округлости, при которых уместна буква «ф». Строгий, квадратный, застекленные ящики. Вряд ли книги, заполнявшие его, специально подбирались по мрачным корешкам и общему унылому фаустовскому виду. Просто в те пятидесятые годы, когда Сергей Николаевич получил возможность вновь собирать библиотеку, все книги типа, приближавшегося к научному, издавались именно так, чтобы не соблазнили никто из неспециалистов. Лидировал же в создании здешней атмосферы диван. Если бы узнать в подробностях его судьбу, без труда составила бы незаурядная и поучительная повесть. Лет ему было около шестидесяти, и породы он был строго бюрократической, стало быть, случалось ему оказывать свою обычную услугу людям еще тридцатых годов. Кто-то, может быть, трясся на нем в ожидании вызова в кабинет, из которого не было возврата. Не исключено, что диван этот оказался здесь по специальной прихоти Сергея Николаевича, не умеющего смеясь проститься со своим прошлым, привязавшегося к безопасной ныне зловещести этого предмета мебели.

Остальные две комнаты, имевшиеся в доме Сергея Николаевича, в значительной степени повторяли стиль этой, самой большой и самой прохладной. Светлана, любимая дочь историка, жила за стенкой, сын Юра — через коридор, в пристройке. Между сыном и отцом не возникло той скорбной, но необыкновенно жизненной связи, которая безусловно соединяла с отцом Светлану. Очень рано определилось техническое направление его интересов. Сергей Николаевич не противодействовал им, да и считал себя не вправе навязывать сыну что бы то ни было. Легкий, удивительно добросердечный склад характера очень облегчал Юре жизнь даже в те годы, когда быть сыном человека с таким прошлым, как у историка, было очень тяжело. Сергей Николаевич, видя, как удаляется от него Юра, с радостью придаваясь общественной жизни, не предпринимал никаких попыток вернуть его под свое влияние. Не попытался он сделать это даже

тогда, когда общественное мнение постепенно стало реабилитировать таких, как он. Именно в этой обстановке возможность всякого внутреннего контакта с сыном была утрачена окончательно. Слава богу, у него была еще Светлана. Можно себе представить, как он ее любил. Ему приходилось мобилизовать всю свою строгость, чтобы не расплываться в умильной улыбке всякий раз, когда он на нее смотрел. И Светлана непрерывно радовала отца. Даже ее облик служил неким продолжением спартанского облика дома. Одевалась она всегда очень просто, почти бедно, часто специально хуже, чем позволяли средства. Гладко-гладко зачесывала волосы, как бы борясь таким образом с малейшими признаками прически. Редко, только в самых особых случаях, посещала школьные вечера и танцы. Училась отлично; учителя немного побаивались ее несомненного нравственного авторитета. Полностью удовлетворила отцовское тщеславие Сергея Николаевича, с первого раза поступив в университет имени Патриса Лумумбы. Не надо думать, что она была замкнутая, неестественная девица. Напротив, одноклассники ее любили, не обожали, не ходили за ней гуртом, как иногда бывает, но уважали. Она умела вовремя и по существу дела прийти на помощь. Подруги знали, что с ней нет никакого удовольствия сплетничать, но, если надо, она в любой ситуации сделает все, что в ее силах. Ее умеренность во всем никого не раздражала, из нее не делалось фетиша, а естественность рано или поздно всех примиряет с собой. Настоящие поклонники у нее не появлялись. Она, видимо, не спешила испускать свои женские флюиды. За исключением насмерть влюбившегося в нее Андрея Крушеницкого, прочие молодые люди относились к ней вполне по-товарищески, при этом очень даже видя и ее стройную, хотя и хрупкую, фигурку, и правильные черты лица, и очаровательную манеру смеяться.

От дома к высокой дощатой калитке вела галерея, свитая из толстой проволоки. Проволока не очень густо была оплетена сильно пахнущими цветами. Света, услышав возню у калитки, побежала открыть. В проеме калитки она увидела Андрея.

— Я же тебе все сказала.

Он шумно вздохнул, глядя ей в плечо.

— Можно войти?

— Нет,— ответила Света, но как-то неуверенно. В

облике парня, в том, что он излучал сейчас, была такая сила, и это было так ново для нее, что она, противореча своим словам, сделала шаг назад. Андрей вошел и решительно двинулся по пахучей галерейке. Светлана неуверенно пошла за ним, растерянно размышляя над тем, что ей теперь делать. Андрей был очень решителен все те пятнадцать метров пути, что пролегали под покровом цветочного запаха. Выйдя из галерейки, он огляделся и, помедлив секунду, приблизился к столу, на котором лежал ворох гороховых стручков и стояла большая эмалированная миска.

— Садись, — предложил он хозяйке, и она подчинилась. Они сели. Светлана очень внимательно смотрела на гостя, не зная, что сказать. Так прошло минуты полторы, стало понятно, что продолжения не будет. Свете хотелось только одного — чтобы поскорей вернулся отец. На нее напала какая-то внезапная тоска. Андрей сидел к ней вполоборота, у него были такие громадные руки и такие жесткие на вид усы, в вырезе рубашки в такт дыханию переливалось несколько звеньев тонкой серебряной цепочки. Был виден и носок его ботинка, врезавшийся во влажную после мытья яблок землю. Все эти детали опасно объединялись его громадной, очень ощутимой страстью, и в этом была необыкновенная тоска.

Андрей взял из кучи стручков один, полураскрывшийся, и попытался достать из него горошину, и это у него никак не получалось, белые пальцы не слушались его. Это почему-то успокаивающе подействовало на Светлану.

4

На почте Шапырин попросил телефонный справочник и без труда отыскал нужные фамилии. На небольшой карточке против фамилии Бабинский уверенная рука молодого человека написала — 7797, против фамилии Трусевич — 7785. Некоторое время он продолжал листать книгу, но никаких других сведений выписывать не стал и вернул справочник в окошечко, из которого его получил.

Вслед за этим он примерно полчаса бродил по центральным улочкам городка, по всей видимости отыскивая телефонную будку. Двое прохожих, остановленных им,

помочь ему в этих поисках не смогли. Поблуждав еще минут десять, опять-таки безуспешно, Шапырин решил, что в этом городе телефоны-автоматы просто-напросто не предусмотрены. На всякий случай он все же зашел в кинотеатр. Там, в темном вестибюле, висел обшарпанный, исписанный матерными словами аппарат старинного, почти антикварного вида. Не было никакой возможности его использовать, потому что у него была зверски оторвана трубка. Шапырин вернулся на улицу, и тут ему пришло в голову, что в аптеке, куда они вчера заходили с Андреем, стоял не очень новомодный, но вполне рабочего вида аппарат. Ускорив шаги, Шапырин через несколько минут был на месте. Войдя в аптеку, как всегда пустую, он улыбнулся девушке, по-вчерашнему сидевшей за книгой. В ответ на дружелюбную улыбку вошедшего, девушка поджала нижнюю губку и вернулась к чтению с таким видом, как будто это было ее основное занятие. Шапырин потрогал свое родимое пятно.

— Мне нужно поговорить,— сказал он, продолжая улыбаться, но улыбка его начинала понемногу кривиться. Девушка еще раз посмотрела на посетителя, но не закрыв книгу, очевидно не собираясь ради него прекращать чтение.

— Пользуйтесь телефонами-автоматами.

Шапырин сощурился, и, надо сказать, очень недоброжелательно. Девушка этого не видела, взгляд ее продолжал бегать по занимательным строчкам.

— Вы меня не поняли, мне нужно с вами поговорить.

— О чем же? — с недоверием и иронией в голосе было у него спрошено.

— Неужели непонятно? — замедленно проговорил Шапырин, делая несколько шагов к стойке.

— Представьте, нет,— закрывая книгу, как будто в ней могла быть высмотрена какая-то ее тайна, почти с раздражением проговорила провизорша. У нее был самоуверенный вздернутый носик, полные, но аккуратные щечки, не слишком хорошая кожа, редкие зубки и большой бесцветный хвост волос.

— Помните, как вчера я сидел вон там.

— Представьте, нет.

— Неужели вы совсем ничего не почувствовали! — он говорил это с интеллигентной решительностью, которая

начинает женщине нравиться, когда она понимает, что это не розыгрыш.

— Представьте,— девушка развела руками.

— Вы уже третий раз говорите слово «представьте», это может происходить только от большого волнения..

Девушка сидела очень напряженно, ничего не говоря и все больше поджимая свою нижнюю губку.

— Как вас зовут? — Выражение ее лица стало еще более скованным, почти злым, было понятно, что она ничего больше не скажет. — Бог с вами, оставайтесь со своим именем, а мне продайте валериановых капель хотя бы.

Молча, быстро ему были вручены спрошенные капли и с неприступным видом отсчитана сдача.

— Вы напрасно так со мною... не ласковы (лицо девушки говорило — ну вот еще!), ведь вы ждете, женщина всегда ждет... И вообще, это не по правилам. Что вы читаете? — Книга была мгновенно убрана с прилавка, но Шапырин давно уже разглядел, что это книга про капитана Блада. — Ни герой этой книги, ни следующей, ни под алым парусом, ни даже междугородным «Икарусом» за вами не приедет. Никогда. А будет эта аптека, и мозольный пластырь, и через пять лет никто не будет заигрывать даже так невинно, как я... Но еще хуже, если появится какой-нибудь муж, пьяный слесарь с моторного завода в кислых штанах...

Выйдя из аптеки, он нервно почесал подбородок и поморщился, даже тихонько выругался, и можно было заключить, что недавней сценой он вряд ли был удовлетворен. Быстро удаляясь от аптеки, он что-то продолжал бормотать себе под нос, и, видимо, это могло продолжаться довольно долго, если бы ему вдруг не попало на глаза то, что он искал. Аппарат был старый, очевидно, постарше того, вестибюльного, но работал исправно. Трубку снял сам Бабинский. Он долго не мог понять, чего от него хотят и зачем используют этот подозрительный телефонный способ для заведения знакомства. Он оторвался от ужина, это чувствовалось по слякотному звуку, издаваемому ртом. Предложение встретиться сегодня явно разбивало приятные планы на вечер. Это тов. Бабинского расстраивало, но все же сам по себе звонок был чем-то настолько необычным... В общем, он был заинтригован и, видя, что абонент очень уж стройно и ловко расставил аргументы в пользу встречи, решил

согласиться. «Но не домой»,— в последний момент успел он добавить. «Никакого повода нет, чтобы домой,— пошел на уступку Шапырин.— Назовите предпочтительное для вас место».— «Я дежурю,— вздохнул Станислав Казимирович.— Иду в дружину».— «А где это?» — «Во дворе (имелся в виду двор техникума), у ворот налево».— «До встречи!»

Через час Шапырин входил во двор техникума. Выражение лица у него было приветливое, он что-то насвистывал. Ворота техникума раньше были воротами монастыря. Вместо надвратной иконы был сделан плакат с маленькими неодинаковыми буквами «Добро пожаловать». Войдя внутрь, Шапырин обнаружил, как и было обещано, слева низенькое одноэтажное здание с зарешеченными окнами.

Бабинский сидел за столом, засыпанным табачным пеплом, и считал повязки. Увидев вошедшего, он отложил хвостатую кучку и тяжело вздохнул.

— Здравствуйте,— сказал он с достоинством. Дверь в соседнее помещение была открыта, и там шла шумная игра в шахматы.

— Неудобно,— согласился Бабинский, проследив взгляд гостя.— Сейчас мы с вами и Антон Антонычем пройдем в мой кабинет.

Антон Антонович Трусевич возник сразу же, как только о нем зашла речь. Шапырин с удовольствием с ним познакомился и внимательно наблюдал за их сборами. Приятели были столь полной противоположностью друг другу, что их дружба казалась искусственной. Наконец все было готово, нужные журналы взяты, а ящики заперты. Трусевич решительно закурил беломорину и взялся предводительствовать наметившемуся походу. Были какие-то коридоры на первом этаже основного здания, унылые и сыроватые; наконец подошли к двери нужного кабинета. Пока Антон Антонович возился с ключом, Шапырин успел довольно внимательно осмотреть висевший рядом застекленный стенд, где среди прочих фотографий ему бросилась в глаза и очкастая физиономия младшего Вавилова, отличника местного спортивного движения. Он был с пинг-понговой ракеткой в руках. Наконец Шапырину предложили войти в кабинет. Из кабинета тяжело пахло старинным запахом, совместно издаваемым многочисленным подержанным спортивным обмундированием.

— Здесь у нас и склад также,— счел своим долгом пояснить Станислав Борисович.

Это был не только склад, но и музей, началом которого служил стенд возле двери. На стенах были кое-как развешаны разнообразные дипломы. На шкафу, набитом пыльными папками, висел кубок без крышки и коричневая фигурка футболиста в длинных допотопных трусах. На стуле, который гость мог захотеть занять, стояла таблица техникумовских рекордов, из которой интересующийся мог узнать, что в 1967 году А. Лукашевич прыгнул в длину на 6.06, а К. Рыбицкий пробежал 100 метров за 11.4, Г. Повх толкнул ядро, случилось это в 1974 году, результат, видимо, уже забылся, потому что в соответствующей графе не было ни одной цифры.

Конечно, Шапырин не стал входить в эти детали, он даже не рассмотрел тех дисков и ядер, что валялись по всем углам, некоторые со следами сухой земли и травы. Шапырин вперил свой взгляд в лыжу, в которую вонзился прихваченный креплением ботинок.

— А мы между тем очень внимательно вас слушаем,— хриловато, с определенным оттенком в тоне сказал Антон Антонович. Станислав Борисович молчал, чувствовалось, что в таких ситуациях он привык полагаться на друга.

— Вы ведь друзья Революта Матвеевича?

5

— Света,— сказал Андрей глухо и взял из кучи еще один стручок.

— Ты напрасно пришел,— уверенным, спокойным голосом сказала она ему, ругая себя за проявленную минуту назад слабость, заставившую увидеть в давно знакомом и неинтересном Андрее Крушеницком небывалую и даже опасную личность.

— У тебя кто-то есть?

— Я не буду разговаривать с тобой на эту тему, я уже проверяла, это бесполезно.

Света повернулась к горе гороха и переставила удобнее миску. Андрей шумно, так шумно, как вряд ли возможно для человека, вздохнул, но этим уже никак не тронул воображения девушки. Она была так хороша сейчас! И скромное ситцевое платье, и этот фартук так

шли ей, и столько взрослой, особенно привлекательной невинности в ее опущенной головке с гладко зачесанными волосами, и такой домашней и одновременно наводящей смертное томление была эта складочка в месте соединения подбородка и шеи, что Андрей ощутил сильное желание взять ее и съесть всю!

— Я не понимаю.

— Чего?

— Если у тебя никого нет...

Она подняла на него глаза, взгляд их он выдержал плохо, почти смешался.

— Это не имеет никакого значения.

Раздался звук открываемой калитки. Появился Сергей Николаевич. В руках он нес авоську с четвертушкой черного хлеба и пачкой «Беломора». Эти слабые покупки не очень вязались со значительной фигурой учителя истории. Он был поджар и очень широк в плечах и передвигался своею особенной, немного ходульной походкой. Было в нем что-то, напоминающее вернувшегося Горького. Держался он с таким достоинством, что ни одно движение не выдавало его старых ран, щедро выделенных на его долю судьбой. Свою большую ярко-седую голову он носил с такой гордостью, что не всякий решался с ним заговорить, понимая, что для этого необходим серьезный повод.

— Добрый день,— поздоровался он с Андреем, подходя к столу. Голос его очень соответствовал фигуре и осанке. Напоминая хорошо контролируемое рычание, ощущалось определенное налегание на букву «о».

Андрей встал и пожал ему руку. Света ласково потерлась о плечо отцовского тяжелого на вид пиджака. Воцарился запах тройного одеколона. Сергей Николаевич посетил парикмахерскую. С первого дня своего возвращения из мест отдаленных он взял себе за правило придерживаться самого строгого стиля в повседневной жизни. Естественно, что считал он его наилучшим. Никто не помнит, был ли он склонен к дендизму в счастливые предвоенные годы. Не исключено, что тягу к лоску и чопорности ему внушило общение с теми людьми, которые составляли его северное общество. Верно, что его представления о моде и приемах общения слегка устарели, но он и не думал их менять и подлаживаться под какие бы то ни было веяния в этой сфере. Он любил повторять фразу, вычитанную им якобы у одного из ста-

рых английских дипломатов: «Консерватизм — самое чистоплотное из массовых безумий». Фанатически ценит зубную щетку и чистое белье.

Он не обрадовался, увидев Андрея. Из числа своих учеников он его никогда не выделял и никогда бы не стал размышлять о нем, если бы не эта влюбленность его в Светлану. Надо сказать, эта влюбленность Сергея Николаевича немного раздражала. Он понимал, что это надо скрывать, и старательно скрывал. Сейчас вид Андрея почему-то с особенной остротой напомнил ему о полной неудаче и бессмысленности его трудов на учительском поприще. Андрей всегда сидел на задней парте, всегда получал свою четверку, проявлял обыкновенные способности, которые нагоняют тоску на учителя, втайне не оставляющего надежды, что ему удастся возобновить свою несчастную, скомканную жизнь в каком-нибудь гениальном ученике. Сергей Николаевич много раз, вернувшись из школы, где оставался — особенно весной — веселый щебет, где бурлила, в прямом смысле бурлила, жизнь, садился на свой черный кожаный диван и смотрел на свой черный шкаф с угрюмыми книгами. Рядом с подоконником могла мелькнуть ласточка, как искра той, настоящей жизни, а он сидел неподвижно, чувствуя, как деревенеют его члены, понимая, что ужас существования состоит в том, что та отдаленная, чудовищная несправедливость и была его единственной настоящей жизнью.

Андрей сел на свое место, стоя ему было тяжелей. Он был бы рад оказаться за воротами, силы его пропали, он не смог сейчас бы вспомнить предлог, придуманный для того, чтобы прийти сюда. Сергей Николаевич сделал жест рукой, приглашая молодого гостя проследовать в дом. Пропустив молодого человека в коридор, историк обернулся и несколько секунд внимательно смотрел на Светлану.

6

— Друзья — это слишком сильно сказано. Мы знакомы с ним давно, а теперь подружились, — ответил Антон Антонович и выжидательно сложил руки на груди. Явно ощущалась повышенная нервность во всех движениях, главным оттенком его личности была раздражитель-

ность. На лицо он постарался напустить что-то вроде презрения, но вышло ни то ни се, а черт-те что. Станислав Борисович пристроился в углу на стуле и теперь сидел с заинтересованным, но скорбным видом. Нарушало его общую солидность то, что его пухлые ноги прижужжены были покоиться на чугунных ядрах, занимавших пол вокруг стула.

— Друзья или приятели, не в этом суть. Во всяком случае, вы не хотите вреда Револьту Матвеевичу?

Антон Антонович хмыкнул, а Станислав Борисович совершил неловкое движение, и ядра под его ногами глухо ударились.

— Я друг Андрея, мы приехали недавно, он попросил меня поехать с ним, сами понимаете — веселенького в таком путешествии мало. На похороны он опоздал, была нелепая ситуация с телеграммами, короче — опоздал, этот случай поразил его воображение. Причем каким-то странным образом... Я очень внимательно к нему присматривался, присматривался также ко всему, что происходит в доме. И на основании многочисленных наблюдений, туманных заявлений самого Андрея по самым разным поводам я пришел к выводу — поверьте, я сам вначале посмеялся над собой, когда эта мысль впервые пришла мне в голову, но я перепроверил все соображения и сто раз сопоставил все факты. Так вот, в настоящий момент я убежден, что Андрей склоняется к мысли, что Револьт Матвеевич каким-то образом причастен к смерти его отца.

Опять грохнули ядра под ногами Станислава Борисовича. Антон Антонович, нервно и быстро повернувшись в сторону своего друга, что-то прошипел. Тот сидел совершенно красный то ли от волнения, то ли от напряжения, его толстые ноги подрагивали.

Серый свет, падавший через пыльное окно, придавал этой сцене, очевидно из-за присутствия огромного количества спортивной бутафории, несколько закулисный вид.

— Я не могу в это поверить, — тяжело, но уверенно сказал Станислав Борисович.

— Н-да, молодой человек, — безрадостно хмыкнул Антон Антонович, — вот лично я не вижу никаких доказательств, кроме, извините, ваших измышлений.

Шапырин поджал губы и провел по ним изнутри кончиком языка.

— Если бы у меня были настоящие доказательства, я бы пошел в милицию.

— Зачем ему это могло быть нужно? Хоть это объясните!

Шапырин улыбнулся Антону Антоновичу.

— Вы правы, я вас понимаю, к подобной мысли сразу трудно привыкнуть, если бы я вам предъявил самые полноценные доказательства, вы по инерции все равно бы сопротивлялись. Привыкайте к мысли. Понемногу. Что касается мотивов... Я допускаю существование глубоких, но скрытых, внешние — смешны, хотя я уже слышал удивленные вопросы насчет того, почему так быстро был замещен директор, и...

— Да,— сказал задумчиво Станислав Борисович,— Револьта уже вызывали в райком.

— Но это же бред,— сухо расхохотался Антон Антонович,— убить брата, чтобы занять его директорское место! Вы что, обалдели, что ли! Это смешно!

— Смешно,— безропотно согласился Шапырин,— конечно, но именно это меня насторожило. И не дом, хороший, между нами говоря, дом, и не тот факт, что в свое, правда очень отдаленное, время двоюродные братья Крушеницкие Андрей и Револьт одновременно ухаживали за красавицей Ольгой Лукиничной. Вы правы — это все ерунда. Не это меня беспокоит. А то, как в этой ситуации ведет себя Андрей. У него, видимо, есть неизвестные пока нам основания иметь свою трактовку событий.

— Да он псих тогда,— пробормотал Антон Антонович.

— Может быть, псих. Может быть, имеет место сильная реакция на поведение дочки Майбороды. Не знаю, ничего больше не знаю. Он даже со мной перестал быть откровенным. Я бы хотел ошибиться, очень. Но сейчас опасность есть, я это чувствую и считал бы себя подлецом, не попытавшись в такой ситуации что-нибудь предпринять. Более того, Револьт Матвеевич и сам кое-что чувствует, сегодня утром он пытался поговорить со мной. Я не стал, это было бы предательством, да и глупо. Но вы должны это знать. Попробуйте поговорить с вашим другом, желательно без ссылок на меня. Сами понимаете, для чего это нужно.

— Для чего? — спросил Станислав Борисович, но

ответа не последовало, потому что дверь в коридор медленно отворилась. На пороге стоял Револьт Матвеевич.

7

В провинции не любят людей, стремящихся подчеркнуть свое превосходство над другими. Даже небольшой (но подчеркиваемое) отличие от общепринятого раздражает. Жизнь семейства Майбороды была до известной степени таким раздражителем. Все знали о его невероятной судьбе, знали о том, что он пострадал невинно, понимали умом, что такое прошлое может наложить на человека определенный отпечаток, но все же многие соседи Сергея Николаевича, не видевшие во всю тридцатилетнюю историю соседства с ним ничего плохого от него самого или его детей, были бы в глубине души рады, если бы на репутации, кристально чистой репутации, этого семейства вдруг появился какой-нибудь изъян.

Мучительное чувство Андрея, не находя себе выхода, бросаясь поминутно из крайности в крайность, впало на несколько минут в русло общеобывательского недоброжелательства ко всему, связанному с этими проклятыми Майбородами.

Они сидели с Сергеем Николаевичем на веранде, и он ненавидел скромненькую чистенькую утварь, самодельные шкафчики с посудой, старинный холодильник и его назойливое гудение. Дверь в большую комнату была открыта, ветерок пошевеливал тюлевую занавеску и время от времени приоткрывал краешек домотканого половика, и злоба Андрея в эти мгновения становилась почти звучащей. Он стискивал ноющие зубы. Но особенно сильно он ненавидел бывшего своего учителя истории. Нетрудно было догадаться, что пригласили его сюда, чтобы отказ был обставлен со всей возможной солидностью. Они так уважают себя, что даже несостоявшимся своим чувствам привыкли отдавать все знаки уважения. От них никогда не дождешься отрезвляющего «пошел вон!». Эти и подобные сумбурные мысли проносились в голове Андрея, несколько раз он смахивал пот со лба и криво улыбался, вдруг вспомнив какую-то древнюю пренебрежительную фразу, якобы сказанную на педсовете Сергеем Николаевичем по пово-

ду то ли восьмиклассника, то ли семиклассника Круше-
ницкого.

Сергей Николаевич неторопливо закуривал. Эта неторопливость была в стиле прежнего времени — следовательно прием для растягивания неизвестности, дополнительная пытка, когда жертва с поразительной быстротой расстается со своими последними силами. Разумеется, такая привычка приобретается бессознательно. Наконец родилось облако дыма, и созданся тот тип мужского уюта, который должен способствовать откровенности.

— Насколько я могу понять, у тебя с моей дочерью...

— У меня ничего с вашей дочерью, и вы это прекрасно знаете.

Облако дыма увеличилось вдвое.

— Не надо обижаться, я просто хотел тебе кое-что разъяснить.

— Что ваша дочь не просто девушка, а ангел?

Сергей Николаевич дышал уже много шумнее, чем в начале разговора.

— Света рассказывает мне о своих делах только то, что считает нужным. Возможно, ты информирован лучше меня, но это не повод делать нехорошие намеки, согласись.

Андрей встал.

— Вот вы о чем, спите спокойно, у нее никого нет. Ни-ко-го. Я тоже так зашел, проведать по старой дружбе.

Сергею Николаевичу показалось, что парень старается вложить в свои слова особый смысл или, может быть, это просто попытка красиво уйти. Трудно уходить в такой ситуации, хочется оставить за собой последнее слово.

Андрей живо сбежал по деревянным ступенькам и, наклонив голову, проскользнул под цветочным навесом. Света продолжала методично чистить горох.

8

Шапырин с очень естественной радостью в голосе воскликнул:

— Револют Матве-евич! Вот это мило, я предчувствовал, что вы должны появиться. Поверьте, мы не обстря-

пываем здесь никаких незаконных делишек. Вы так смотрите, будто застали нас на месте преступления.

Будущий директор медленно вошел в кабинет и огляделся, рассчитывая, видимо, отыскать еще кого-нибудь и одновременно стараясь скрыть свое любопытство. Ничего такого не найдя, он прищурился и обратил взгляд на присутствовавших. В глазах его мелькнуло металлическое свечение. Здесь его осанка была много уверенней той, что он демонстрировал в доме своего покойного двоюродного брата. Станислав Борисович продолжал сидеть в своей нелепой позе и даже не пытался ее переменить, понимая, как это нелегко. Антон Антонович достал пачку «Беломора» и предложил вновь прибывшему закурить, но тот медлил.

— Курите, Револьт Матвеевич, курите, ничего ужасного не произошло, я, конечно, узнал расположение физкультурного кабинета, но ведь это не самая ужасная тайна. Думаю, вы неплохо проведете оставшееся время. С тем вас и покидаю,— Шапырин решительно, но не в стиле побега, а в стиле естественного прощания, направился к двери.

— Кхгм. Я... кхгм... Молодой человек! — наконец прочистил свое горло Револьт Матвеевич. Шапырин с готовностью обернулся к нему. Товарищ директор представлял собой в настоящий момент крепкого, хоть и невысокого, человека с широко расставленными ногами, лиловым лицом и сверкающими лютым пламенем глазами. Человека, обуреваемого разными непривычными желаниями и намеренного положить конец неизвестности, в которую он был непонятно каким образом ввергнут.

— Думаю, вам не мешало бы остаться.

— Спешка,—весело отрезонился Шапырин, уверенно улыбаясь и поглаживая пальцем свое родимое пятно.— Спешка, господа, но мы с вами еще, безусловно, встретимся.

9

Андрей прибежал домой, но дома не застал ни одной живой души. Ольга Лукинична могла быть у своей подруги через дорогу, но в ее обществе он нуждался менее всего. Шапырин! Где друг Шапырин: если ни с кем

не поделиться, то лопнет сердце. Напившись колодезной воды, Андрей, сильно хлопнув калиткой, вышел на улицу и по старой, еще детской, привычке отправился на «линию». Так называлось здесь место праздного препровождения времени у молодежи. День клонился к закату. Но магазины еще работали, людей на улицах было немного. На «линии», между танком и рестораном «Чара» и входом в городской парк, скрывающий в своей глубине танцплощадку и омываемый с дальней стороны плавным течением местной реки, давшей название ресторану, было помноголюднее. Вилось несколько полузнакомых Андрею ребят, но среди них не было ни одного, которому можно было бы открыть душу. Андрей готов был взвыть, но вдруг — удача. Вдалеке показался старший Вавилов. Он опять был с коляской, это было досадно, но, поскольку выбирать не приходилось, тоскующий бросился к одинокому отцу. Вавилов искренне ему обрадовался.

— Слушай, она, кажется, меня бросила, — объявил он громко. Выяснилось, что жена до сих пор медлила с возвращением с курорта. — Выпить? Это серьезное предложение, — Вавилов потер прокуренным пальцем дряблую переносицу, — честно говоря, я не представляю, как подступить к решению этой проблемы. Лично я в долгой яме.

Андрей молча достал из кармана четвертной. Вавилов выразил свободной от отцовских обязанностей рукой восторг. И они направились к магазину. Возникла проблема, как транспортировать купленное. Провинциальная стыдливость мешала Вавилову открыто нести бутылки с алкоголем по улицам города.

— Вот, — испытывая рационализаторское чувство, воскликнул он, показывая на коляску, и стал укладывать бутылки рядом с дочерью.

— Она не простудится? — попробовал вникнуть в дело Андрей.

— Не представляется вероятным, — Вавилов приложил стеклянный бочок к щеке, — температура выше комнатной.

Через минуту, осторожнее, чем обычно, подталкивая коляску, молодые люди куда-то направились.

Когда скрипнула входная дверь, Богдан Маланчик недовольно обернулся. Он собирался поработать, по-представлять себе мизансцену второго акта «Домой возврата нет?». Он чувствовал, как внутри у него все разогревается от одной только мысли, что сейчас он начнет перечитывать эту пьесу. Ее полемичность и заостренность восхищала его не меньше, чем в момент первого с ней знакомства.

Между тем дверь медленно отворялась и постепенно можно было рассмотреть совершенно лысую старческую голову, дряблую шею, светлый пиджак.

— Здравствуйте. Извините за вторжение. Здесь живет главный режиссер народного театра? — спросил гость.

Вопрос этот не столько смутил, сколько напугал Богдана. Ему прежде всего подумалось, что имеется в виду прежний режиссер и ему, Богдану Маланчику, придется расхлебывать какую-нибудь кашу, им напоследок заваренную. Или хуже того, возник какой-нибудь мерзавец, имеющий больше его, Маланчика, прав на подобное наименование, и его уже ищут, чтобы вести представлять властям. Кое-как уняв вихрь подобных мыслей, стараясь не потерять ни грамма собственного достоинства, Богдан встал. У него уже сложилась творческая привычка работать в синем халате на голое тело и кедах на босу ногу. В такой экипировке ему что-то виделось, и то, что виделось, — нравилось.

— Меня зовут Богдан Маланчик, — сказал Богдан, спокойно глядя на старика, который, как ему казалось, нехорошо щурится и думает нелестную, может быть, мысль по его адресу. На самом деле этот прищур был для Адама Аркадьевича обычным, и думал он в этот момент вот что: «Однако какой головастый!» Голова же у Богдана и в самом деле была крупная, что, кстати, подчеркивалось одеянием, и, стало быть, эта мысль никак не могла быть для него, режиссера, оскорбительной. Размер головы даже, можно сказать, шел к профессии Богдана, равно как и громадные залысины.

— Вы-то мне и нужны, Богдан...

— Маланчик.

— А отчество?

— Леонардович.

— Очень приятно. Я, в свою очередь, Адам Аркадьевич, являюсь преподавателем научного атеизма в местном техникуме и одновременно историографом, позволяю себе это слово, родного края. В настоящее время работаю над историей Урядьевского народного театра...

Богдан стал разводить руками. Адам Аркадьевич опередил его.

— Понимаю, понимаю, что вы еще ничего не успели сделать для истории и славы нашего театра. Тут, скорее, наоборот, считаю своим долгом предложить помощь.

Лицо молодого режиссера выразило вопрос.

— Как человек культуры вы наверняка согласитесь с мыслью, что культура — это прежде всего традиция. Наш театр имеет свои традиции, которые вам небезынтересно и бесполезно было бы усвоить, а потом уже по своему разумению отринуть или использовать с успехом. Поскольку моя книга еще не написана и вы ее не скоро сможете прочитать, я предлагаю вам устную форму общения.

Предложение было, может быть, и почти нормальное, но Богдана не оставляло ощущение некоторой странности происходящего, он не знал, как ему отнестись к словам атеиста. Вид старичка внушал уважение. Держался он хорошо, на жулика не был похож вовсе, но все же Богдан молчал, надеясь сообразить, из чего же состоит несомненно ощущаемое им «но».

— Очевидно, вас сдерживает мысль о том, что с вами никогда ничего подобного не происходило, но согласитесь, что всегда что-нибудь происходит в первый раз. Или вас смущает неуют этого гостиничного номера? По закону гостеприимства — вы ведь первый день в городе? — прошу ко мне. Тут недалеко, у нас тут все недалеко, пятнадцать минут пешком. Поужинаем, и разговору нашему легче будет течь.

Считая дальнейшие свои сомнения просто неприличными и уже внутренне склоняясь к мысли, что в предложении этом нет ничего «такого», Богдан медленно, но решительно кивнул и попросил пять минут на переодевание.

Когда в калитку постучали, Сергей Николаевич почувствовал, что у него похолодело сердце. Предыдущий разговор привел его в угнетенное состояние. Выкурив пару папирос, он попробовал что-нибудь выяснить у дочери. Дочь отказалась разговаривать о своих делах, причем отказалась таким образом, что у Сергея Николаевича не осталось никаких сомнений в том, что появилась какая-то тайна. Это было так непохоже на их обычные взаимоотношения со Светланой, что Сергей Николаевич почувствовал, как его охватывает какое-то непривычное, необъяснимое волнение. И теперь он расхаживал по своему двору, понимая, что, до тех пор, пока он во всем этом не разберется, успокоиться ему вряд ли удастся. Дочь продолжала скучно лущить горох. Осторожно погладив ее по самолюбиво склоненной голове, он ушел к себе в большую комнату, сел к своему привычному образу прибранному столу и опять закурил. Только что болезненно проскользнувшие по поверхности сознания мысли появились по второму разу. Поведение Андрея во время недавнего разговора не было только поведением обиженного, расстроенного парня, тут явно было еще что-то. В совокупности с вежливой уклончивостью дочери странность поведения бывшего ученика начинала казаться почти опасной. Что-то произошло. Что-то впрямую касающееся его семьи и его жизни.

Очередная папироса оказалась дырявой. Сергей Николаевич бросил ее в пепельницу и подошел к своему книжному шкапу, чтобы взять что-нибудь из любимых книг. Знакомое чтение всегда действовало на него успокаивающе. У него был свой набор читанных по сто раз, выученных почти наизусть, в основном исторических сочинений. Вот сейчас он возьмет «Наполеона» Тарле, и жизнь вернется в свою колею. Сергей Николаевич читал эту книгу по нескольку раз в год, он помнил даже расположение чужеродных пятен на страницах, и некоторые из них даже приветствовал как старых знакомых. Иногда в том, как они в свое время легли, был некий смысл. Скажем, рядом с заявлением маршала Ланна «Гусар, который не убит в тридцать лет, не гусар, а дрянь», сколько себя Сергей Николаевич помнил, имелось красное пятно, кажется клюквенного сока. И т. п. Каждый раз, читая эту книгу, Сергей Николаевич был

завораживаем какой-то неизбежностью этой биографии. Чем лучше он знал, что произойдет дальше, тем сильнее надеялся, что, может быть, произойдет что-то необычное, жуткий механизм судьбы не сработает. Молодого Бонапарта за скверный характер прирежут на Корсике, или Груши каким-нибудь образом вовремя подойдет к Ватерлоо.

Шкап запирался не от жадности или из педантизма, а в силу конструкции — не закрытые на ключ створки широко распахивались. Ключ всегда висел справа на гвоздике. Висел всегда. А вот сейчас его не оказалось. Сергей Николаевич оглянулся и прислушался, и вот в этот-то момент и раздался неожиданный стук в калитку. Подойдя к окну, Сергей Николаевич посмотрел, осторожно отодвигая тюль, что там происходит у входа. Оказалось, что явился неожиданный гость. Им был молодой человек в коричневом пиджаке и бежевых брюках. Обменявшись с ним несколькими фразами, Светлана повела его к дому. Сергей Николаевич решил выйти ему навстречу.

— Здравствуйте, Сергей Николаевич,— жизнерадостно закричал гость, увидев хозяина. Хозяину не нравилась в людях развязность и самоуверенность, особенно излишняя, и поведение нового гостя могло его только насторожить. Он вошел в дом, как входит в жилище аборигена представитель крупной американской фирмы.

— Извините, Светочка, мне нужно поговорить с вашим отцом с глазу на глаз...

Прошли на кухню. Шапырин уселся на то место, которое за полчаса до него занимал Андрей. Сергей Николаевич вел себя точно так же, как и перед началом той беседы,— стал доставать папиросу из пачки. Внимательно оглядел гостя. Тот как будто этого не заметил, его слишком занимало то, что было вокруг. Он обшарил взглядом всю кухню и каждый заслуживающий внимания предмет в ней, в движениях его сквозило желание заглянуть хотя бы в одну из комнат. Он еле-еле удерживался, чтобы не вскочить и не отдернуть какую-нибудь занавеску.

— Я вас слушаю, молодой человек.

— Я друг Андрея Крушеницкого.

— И что же?

Шапырин вдруг бросил изучение жилища, и, когда он обратил свой взор на старика-хозяина, из его облика

улетучилась легкость, наглость и суетливость. Глаза у него оказались серьезные, воспаленные красные веки придавали им болезненное выражение.

— Мне не очень-то просто начать... я уже сказал, что я друг Андрея... Короче говоря, я пришел вас предостеречь.

— От чего же? — Голос Сергея Николаевича был в этот момент особенно глубок и значителен. И в нем появилась ироническая нотка.

— Мне в последнее время не нравится поведение моего друга.

— Мне тоже.

— Он что, был здесь?

— Был.

— Давно?

— Полчаса назад.

— Угу, то есть надо понимать, что вы некоторым образом поговорили. Думаю, объяснять вам придется не очень многое. То, что он давно любит вашу дочь, вам давно и хорошо известно. Известно вам также, что Андрей — человек с сильными страстями, плюс к этому запутанная семейная драма.

— Мне бы не хотелось углубляться...

Шапырин отвернулся в сторону и сквозь дверной проем посмотрел на Светлану, вытиравшую тряпкой стол после законченной наконец возни с горохом.

— Можно попросить стакан воды?

Сергей Николаевич, не торопясь и не прекращая курить, достал из холодильника бидончик и наполнил кружку чем-то темным.

— Квас, пожалуйста.

Шапырин взял кружку, подержал в руках и поставил на стол.

— В общем, я просил воды. Но спасибо, и не в этом дело. Короче говоря, там обнаружили какие-то странные сведения, причем поступившие по каналам, заслуживающим доверия, хотя назвать их сейчас возможности нет... Суть в том, собственно, что Андрей перестал быть уверен, что его отец мертв.

— Вы не могли бы выразаться яснее.

— Да, вы правы, надо яснее. Андрей считает, что покойный не был его отцом, по крайней мере сомневается в этом.

— Странно. Во-первых, странно, почему вы это ре-

шили сообщить мне. Во-вторых, это просто нелепо. И кто же на подозрении, так сказать?

— Кто на подозрении, тот и есть на подозрении. Вряд ли стоит заранее пятнать человека.

Сергей Николаевич затушил окурок.

— Большое вам спасибо за доверие, но теперь я хотел бы узнать, какое это все имеет отношение ко мне и моей дочери.

— Самое прямое. Я, например, считаю, что Светлана в опасности. Хуже всего, что я не могу сформулировать свои подозрения как-нибудь почетче. С Андреем, с его внутренним миром происходит что-то необычное. Дай бог, чтобы подозрения оказались просто бредом. Мне просто страшно, и все. Я не знаю, чего ожидать. Светлана просто должна быть осторожнее. Не знаю, чего ей нужно бояться. Я не уверен, что она равнодушна к Андрею, мне кажется, что имеет место страсть-презрение с ее стороны, то есть возможны невероятные пируэты. Вы поймите правильно, я не пошляк, разумеется, я не имею в виду банальное соращение и внебрачную беременность...

— У вас все?

— Почти. Знаете, у меня такое ощущение, что я говорю с вами, а вы меня не слышите, но ладно, ладно... Я вот что хотел у вас спросить: что за человек сосед Крушеницких Волотовский? Вы старожил и...

— Это не от него ли исходит та информация, которую вы тут на меня вылили. Он у нас большой специалист по чужим детям.

— Ну что ж, ладно, я вижу, вы не очень-то расположены разговаривать. Я пойду.

— Нет уж, вы выслушайте ответ на свой вопрос. Адам Аркадьевич Волотовский приспособленец, развратник, шантажист, предатель и демагог.

— Благодарю вас, спасибо, очень ценные сведения...

— Не стоит благодарности. И до свидания.

12

После довольно продолжительного молчания, наполненного в основном сопением Станислава Борисовича, Револьт Матвеевич поинтересовался у своих приятелей, зачем это они заявили сюда, в кабинет физкультуры,

ведь было доподлинно известно, что кабинет этот находится под наблюдением женского комитета. Антон Антонович смущенно отошел к окну и увлекся созерцанием монастырского двора, заставленного разнообразной сельхозтехникой. Станислав Борисович тоже был не прочь продемонстрировать независимый взгляд на вещи, но ему очень трудно было это сделать. Когда он, отпихнув от себя косные ядра, все же встал перед Револьтом Матвеевичем, тот как будто уже в объяснениях не нуждался. Он спросил только у толстого друга, с собой ли у него ключи. Тот с готовностью похлопал по громадной поле пиджака, извлекая множественный металлический лязг. Приятели покинули физкультурный кабинет и в полнейшей тишине и полумраке стали подниматься по широким дощатым ступеням на второй этаж, где имелся вход в актовый зал, служивший по совместительству зрительным залом театра. Беззвучно был открыт массивный навесной замок, и Станислав Борисович пропустил внутрь угрюмого старомодного помещения своих приятелей. Заперев дверь на крючок, они молча пересекли высокое сводчатое помещение, бывшее когда-то трапезной, поднялись на сцену и, натыкаясь по очереди на гладкий бок рояля, затаившегося в тяжеловесных складках задника, через закулисы проникли в коридорчик, куда выходили двери обеих комнат, отданных Урядьевскому народному театру. Станиславу Борисовичу, как одному из самых уважаемых актеров, доверили ключи от помещения на время отсутствия режиссера.

Ощущая, видимо, в первые минуты после проникновения сильное духовное давление прошлого, все вели себя сдержанно и даже с достоинством. Что характерно: подобный пиетет испытывался ими при каждом посещении этого священного для каждого чувствующего урядьевца место. Револьт Матвеевич, окидывая привычным, но уважительным взглядом историческую фотопанораму, достал из внутренних карманов своего пиджака две бутылки «Осеннего букета». В специальном ящике лежал стограммовый стаканчик, половинка тщательно завернутого в серебряную бумажку сырка и два подсохших куска хлеба, впитавших в себя канцелярский душок сохранявшего их стола. Антон Антонович, пошелестев бумажками в одном из своих карманов, достал маленький лимон и принялся нарезать его бритвочкой, валявшейся где-то тут же. Револьт Матвеевич профессиональ-

но дернул за металлический язычок бутылки, так, что картонная прокладка, находившаяся под ней, спланировала в пыльный угол.

Через несколько секунд стакан был наполнен, но тут произошел странный случай: Антон Антонович, пронося над стаканом дольку лимона, уронил капельку сока в вино. Stanisław Борисович, тщеславно созерцавший на фотостенде сцену из спектакля «Сосны шумят», где он в форме немецкого офицера в специальной арийской позе над чем-то неестественно хохотал, обернулся к столу и вместе с остальными увидел следующую картину: вино, внезапно пораженное лимонным соком, частично выпало в осадок крупными лиловыми хлопьями. Антон Антонович обрадовался: всю дорогу сюда он готовился к разговору об этом сумасшедшем парне, теперь же Револют явно обо всем забудет. Stanisław Борисович громко поразился химическому чуду. Отлично известную ему фотографию он рассматривал, чтобы скрыть опасения, сходные с опасениями Антона Антоновича. Итак, вино во что-то превратилось. Никто, в том числе и Револют Матвеевич, не знал, что делать. Решили попробовать. Раствор, освобожденный от хлопьев, имел спиртовый привкус, но утратил полновесную крепость изначального напитка, по оценке дегустировавшего — Антона Антоновича.

— Что будем делать? — спросил друзей Револют, на лице его было сосредоточенное выражение. Stanisław Борисович допивал остатки и сказал, что, на его взгляд, лимон нужно держать подальше от вина.

— Однако и винишечко у нас продают, — раздумчиво заметил Антон Антонович, встряхивая перед глазами гнусные остатки.

В конце концов они были выплеснуты в угол, за одну из старых декораций. Стакан наполнили заново...

13

Богдану нравился представитель местной интеллигенции. И не только тем, что он обратил внимание, и такое дружественное, на него, никому еще не известного выпускника культпросветучилища. Богдан ощутил что-то похожее на духовную близость меж собой и этим, немного необычного вида, стариком. Несмотря на преклонные

его годы, в старике не чувствовалось ни рутины мысли, ни рутины чувств. Богдан понял, что он теперь не одинок в чужом городе.

Адам Аркадьевич жил несколько в стороне от центра Урядьева, там, где начиналась деревянная часть города, застроенная домами усадебного типа. Путь в нее лежал мимо громадного здания монастыря, показывая на который Адам Аркадьевич остроумно заметил: «Вот здесь я преподаю научный атеизм». Сразу же за Успенским собором и автостанцией открывалось истинное лицо Урядьева, ибо ни пятиэтажные здания, образовавшие так называемый «центр», ни гостиница «Чара», ни нацеленный на нее с постамента танк-освободитель не выражали истинного духа города, а представляли, скорее, стандарт райцентра в здешнем краю. Маланчику все было интересно, он решил сам угадать, какой из домов является жилищем преподавателя атеизма, потому что, если верна поговорка, что дом похож на своего хозяина, то черты такого сходства не должны, конечно, укрыться от зоркого режиссерского взгляда.

Дома были деревянные и кирпичные, всегда за крепким, иногда железным, забором, сквозь просветы в котором виднелись тучные, аккуратные грядки и поблескивало освещенное пятно на боку содержащегося в отличном состоянии автомобиля.

Дом Адама Аркадьевича был выкрашен в синий цвет и, что самое главное, имел три очень неожиданные деревянные колонны перед невысокой входной дверью, колонны были несколько пузаты, когда-то выкрашены эмалью, сохранившейся только во фрагментах. Каменное крыльцо, в четыре высокие ступеньки, имело по кусту красной смородины по бокам и напоминало немного Италию своей благородной полуразрушенностью.

Волотовские жили вдвоем. Сын Адама Аркадьевича от первого, еще довоенного, брака погиб, как говорили, в дальней экспедиции, от других браков дети не заводились. И только сейчас пятая жена сподобилась забеременеть, отчего Адам Аркадьевич уже несколько недель пребывал в приятно возбужденном состоянии. Его можно было понять, учитывая его шестьдесят три года. Перспектива стать отцом собственного ребенка в значительной степени преобразила эту почти уж совсем разочарованную душу. Надо сказать, что в более молодые годы Адам Аркадьевич был совершенно неудержим по жеп-

ской части, и в городе существовало несколько сплетен, в его пользу трактующих факты рождения двух-трех детишек. Но сплетни есть сплетни, ими не может долго питаться отцовская гордость. Ожидая появления наследника, которому конечно же понадобится самое лучшее воспитание и все родительские силы, Адам Аркадьевич спешил закончить взятый на себя труд по написанию истории Урядьевского народного театра.

Когда хозяин с гостем вошли в прихожую, им ударил в ноздри слегка кисловатый дух, являющийся непременным спутником деревенского образа жизни. Кроме соответствующего запаха был еще и соответствующий полумрак, везде висели цветистые занавески, прикрывавшие мелкие здешние тайны. На кухне на огне стояла громадная грязноватая выварка, и в ней что-то булькало. Вся кухня имела вид места, где происходит непрерывно очень горячая деятельность, где только что пообедала целая рота,— везде стояли грязные тарелки, откупоренные банки и разнообразные ложки.

Адам Аркадьевич провел гостя дальше, и после совсем уж темного коридора они оказались в кабинете, комнате небольшой, очень тесно заставленной. Основную ее достопримечательность составляли часы-близнецы, занимавшие противоположные стены. Маятники их качались несколько не в такт, и это рождало ощущение качки. На столе, на толстой книге антикварного вида располагался темный невзрачный череп, на котором белой гуашью было выведено «Memento mori». Имелось в комнате три разнокалиберных кресла. Самое главное из них тут же приняло в свои объятия худое хозяйское тело и предоставило его лысой голове спинку, никогда Богданом ни у каких кресел не виданную. Гостю было предложено занять тоже очень удобное, еще пахнущее фабричными запахами произведение Телеханской фабрики. Богдан сел неохотно, в сидячем положении было труднее оглядываться, перед глазами имелся теперь только стол с черепом и бумагами делового вида. Бумаги были разные, многочисленные и в полнейшем беспорядке.

Ну и конечно, было значительное количество книг в стопках, на прогнутых полках, на крыше невысокого шкафа, на третьем кресле.

— Вот оно, мое гнездышко, место моего уединения и историографического подвига,— усмехнулся Адам Ар-

кадьевич,— н-да, а теперь, я полагаю, неплохо закусить, как говорили в великоросских романах. Я пойду разбуджу жену.

14

— Ну, соколы, вот теперь пришло время поговорить. Чего он от вас хотел?

Станислав Борисович сразу расстроился и помрачнел, его большое лицо выражало страдание и раздражение. Брови насупились, а брылья отяжелели. Антон Антонович, напротив, как бы немного вспылil, что выразилось в отбрасывании винной пробки в угол и в неопределенном шипении. Твердый взгляд Революта Матвеевича без труда подавил этот куцый бунт.

— Он что, мне угрожал?

— Да как сказать.— Антон Антонович поднялся и пошел за пробкой.

— Что это вы морды воротите, говорить все равно придется. Угрожал он мне?

— Можно сказать, что нет.

— Просил что-то передать, да, Стасик?

— Нет,— Станислав Борисович покачал головой.

— Так что ему было нужно? Он просто захотел выпить, да, решил подружиться, поболтать с вами за жизнь? Что молчите?! — Револют встал и прошелся по помещению музея, не глядя на уклончивых приятелей, смотревших в сторону. «Уже вечер»,— было написано на лице Станислава Борисовича, мрачно обзоревавшего двор.

— Я с ним хотел сегодня поговорить, дома, он нагло отказался. Гнусная, гнусная скотина, он мне не понравился с первого взгляда. И вот я вижу его с вами, вы куда-то спрятались и беседуете. Что я должен думать в такой ситуации? И рожи у вас были перепуганные, когда я вошел.

— Слушай, Рева,— а что у тебя с племянником происходит? — медленно, как бы перебарывая себя, спросил Антон Антонович.

Револют Матвеевич резко обернулся и внимательно посмотрел на друга. Он стоял в позе человека, которого не собьешь с ног ни в прямом, ни в переносном смысле, лицо его засветилось нехорошим лиловым огнем. Светились и маленькие глаза. Они были посажены так близ-

ко, что казалось, стремятся прожечь переносицу и слиться. Облик угрожающий, можно было ждать яростного словесного выпада или хотя бы ядовитого вопроса, но прозвучала слабая, с усилием и непривычным хрипом в голосе произнесенная фраза.

— Какая-то ерунда, я ничего не понимаю.

— Вот-вот. А извини, если не мое дело, так сказать, с Ольгой Лукиничной, еще тогда... ну давно, в молодые, значит, годы... не было ли... в том смысле не может ли у твоего племянника быть каких-нибудь подозрений?

Револьт приблизился к столу и оперся об него руками.

— Подозрений?

— Может, он психует из-за того, что узнал какие-то слухи?

— Ты думаешь?

— Я ничего не думаю. Наше дело со Стасиком десятое. История ваша запутанная... но покопайся в памяти, мало ли, жизнь длинная, может, что-то выпало... Тем более на фоне этих событий... скоропостижная смерть Андрея. У нас же всегда все пытаются раздуть, на чей-нибудь взгляд... короче говоря, напрашиваются выводы...

— Какие выводы! — заревел Револьт. — Это бред, полный бред, я выведу...

Раздался негромкий, деликатный стук в дверь.

— Моя, — прошептал Станислав Борисович.

15

Пробирались задворками, там, где глухие запущенные окраины огородов постепенно переходили в Чарскую пойму. Здешними дорогами обычно гоняли коров, и поэтому не приходилось ждать участков, пригодных для прогулок с детьми в колясках. Стараясь не разбудить дитя, Вавилов очень-очень осторожно въезжал в ритвины и со всеми предосторожностями выезжал. Труд это был нелегкий, он вспотел и, будучи начинающим астматиком, тяжело и неровно дышал и вот-вот должен был начать кашлять. Путешествие совершалось медленно, и Андреевы душевные мучения затягивались. Наконец ему в голову пришла отличная мысль. Он взял коляску за передок, предлагая отцу девочки превратить коляску в

носилки. Дело пошло значительно лучше, и уже совсем недалеко было вожденное укромное местечко, когда Андрей, шедший первым, вдруг остановился. Кряхтевший Вавилов выглянул из-за его плеча и запричитал от огорчения.

— Вот скотина!

— Чего тебе? — неприветливо спросил Андрей неведомо откуда появившегося на дороге младшего Вавилова. Тот стоял, широко расставив ноги и твердо глядя перед собой.

— Зачем ты спаиваешь моего брата?!

В ответ на эту фразу старший поднял руки, растопырил пальцы и, гадко выпевая «ой-ей-ей-ей», сделал несколько извивающихся движений нижней частью своего туловища.

— Мы с ним... с чего ты взял, что мы собираемся пить? — спросил Андрей.

Младший Вавилов внимательно смотрел на него сквозь свои круглые очки.

— А что вы тогда здесь делаете? — спросил он, и в голосе его не чувствовалось иронии.

— Не видишь, гуляем, — показал на коляску старший, — с Танечкой.

— А почему здесь?

— Нам нужно поговорить, понимаешь? — делая интонацию укромной и помогая ей энергичными движениями бровей, сказал старший брат.

Младший обошел коляску, и, когда, заглянув в нее, увидел там любимую племянницу в обнимку с отвратительными бутылками, в глазах его что-то сверкнуло. Старший брат приотвернулся, кривя левую часть лица, он не любил быть уличенным во лжи. Андрей засунул руки в карманы и медленно пошел в сторону своего дома, потом резко развернулся и в два шага приблизился к коляске. Он застал сцену фиглярских корчей старшего брата над спокойным и справедливым взглядом младшего. Как вмешаться, Андрей не знал, выпить ему хотелось еще больше, чем раньше.

— Ну раз так, — сказал младший брат, — я пойду пить с вами.

— Тебе нельзя, ты отличник, иди учебники перечитай.

— Я пойду с вами.

Дюдя — такая у него была кличка с детства — вдруг

бросил свои извивания, вытянулся в струну и, подскочив к младшему брату, вывернул ладони так, как будто на них держал что-то вроде подноса.

— Ну какого черта! Что тебе от меня надо! Пью и пью, и это мое дело, тебе никогда, отличник, этого не понять, никогда. Время мое ушло, понимаешь, время! А остальное мне противно, ясно? — и, толкнув невидимым подносом брата в грудь, Дюдя вдруг затих и отступил, морща свое одутловатое лицо.

16

Сергей Николаевич отказался ужинать. Некоторое время просто так сидел перед своим письменным столом, вид у него был скорее расстроенный, чем задумчивый. Было понятно, что ничего писать он не станет. Он встал, походил, потом прилег на диван, принявший его сухое тело с легким хромовым хрустом. Взгляд историка вперился в растрескавшийся потолок. Это был взгляд человека, загнанного в угол и не представляющего, где находится выход. Дочери не было слышно. Да и вообще не доносилось никаких звуков, кроме разнообразного лиственного шуршания за стенами и окнами. Сергей Николаевич опять встал, и человеку, который бы мог увидеть его в этот момент, показалось бы, что его походка стала старческой; рука, когда он захотел зажечь настольную лампу, очень уж неловко охотилась за белой скользкой кнопкой. Свет, хлынувший из массивного, прежней выделки раструба имел более желтый, чем обычно, волховский оттенок, столь отличающийся от нынешнего миллиардного электричества. На стол лег альбом, вынутый из запертого ящика, изрядно позлившего своим замочком разладившую руку. Старик решил устроить себе встречу с прошлым. Альбом принадлежал его жене. Такие альбомы были в моде в пятидесятые годы и вручались выпускникам вузов вместе с дипломами. Альбом заполнялся фотографиями преподавателей, друзей, достопримечательных мест города (в данном случае Киева). Открывался альбом портретом владельца, вернее владелицы. Сергей Николаевич долго всматривался в лицо своей жены, достал огромную лупу и стал водить ею над глянцевой поверхностью. Но ничего, кроме женщины, очень похожей на Светлану, но несколько бо-

лее оживленной и симпатичной, там не обнаружилось. Она улыбалась, мило обнажив свои красивые зубы, два резца, те, что рядом с клыками, были у нее повернуты (так же как и у Светланы) перпендикулярно к линии остальных зубов, но это улыбку ничуть не портило, а, наоборот, придавало ей своеобразие. Процедура рассматривания продолжалась недолго, на толстое стекло капнула неожиданная слеза, замутился вследствие этого фокус, и историк убрал толстый документ на место. Потом он решительно, почти преодолев свою недавнюю скованность, оделся, причесался и, ничего не говоря дочери, отправился вон со двора.

17

Богдан Маланчик пребывал в отличном расположении духа. И еда и беседа ему нравились. Хозяин оказался забавным, очень неглупым чудаком, искренним другом театра, начитанным, старающимся не отстать, и, в общем, не отставшим от времени, что так не часто случается с провинциальными стариками. Жена его, немного роптавшая со сна (когда Адам Аркадьевич отправился с ней на переговоры, раздалось ее нытье, потом звук мягкого удара, как кулаком по спине), довольно быстро протерла глаза и накрыла на специально доставленном ею круглом столике сытный, почти праздничный ужин. Отличные маринованные огурчики, каждый с налипшим смородиновым листом, белые грибки в глубокой глиняной мисочке, тарелка отличного, зеркально нарезанного сала и целая сковородка жареной свинины. Выставлен был и графинчик зеленоватого стекла, понюхав горлышко которого Адам Аркадьевич закатил глаза и прошептал: «У меня все свое». Богдан, увидев все это великолепие, решил, что послышавшийся давеча удар был совершен если и в сердцах, то всего лишь по подушке.

Сама супруга категорически отказалась сесть за стол. Она, кажется, немного косила, но, на артистический взгляд Богдана, это придавало ей некоторую пикантность. Ее косина, ничуть не ужасная, особым образом гармонировала с ее женской уклончивостью, скромностью, стремлением забиться в какой-нибудь укромный уголок. Рождалось ощущение дома, поставленного на старую ногу. В словах, обращаемых Адамом Аркадьевичем

чем к жене, слышались капризные нотки. Что ж, мужу видней. Итак, ее крепкие ноги и на зависть выточенный стан в последний раз мелькнули перед юношеским взором, и застолье пошло обычным мужским распорядком. Адам Аркадьевич призвал своего молодого друга не удивляться поведению супруги, в Японии, по его словам, даже если жена — профессор, то, приготовив все для мужа и его гостей, она идет на кухню глодать кости с другими, иногда даже неграмотными, женщинами. А его жена, мол, отнюдь не профессор. И он предложил тост за гостя.

Напиток, изготовленный в недрах натурального хозяйства семейства Волотовских, не мог быть отнесен ни к одному из известных видов спиртных напитков. Он был крепок, сладок, веселил и одновременно расслаблял.

— Я подозреваю какой-нибудь редкий корешок, — показывая подбородком на бутылку, подмигивая и вонзая одновременно свою вилку в огурец, сказал Богдан.

— Не один здесь корешок, не один. Да и сверх этого много всякого разного.

Тут последовало с обеих сторон известное количество прибауток, приличествующих подобному случаю и хорошо выражающих создавшееся благодушное настроение. Потом внимание обоих пирующих на некоторое время поглотила еда. Гостю все оказалось по вкусу, да и хозяйские золотые зубы с блеском делали свое дело. Несмотря на свою худобу, Адам Аркадьевич очень любил вкусно поесть. А уж выпить и закусить — даже нечего и говорить. Но когда значительная часть свинины была съедена, половина графинчика опорожнена, Богдан решил показать хозяину, что он пришел в гости не столько за физической пищей, сколько за духовной, необходимой сердцу артиста, может быть, каждый день. Он откинулся в удобном кресле и осмотрелся с таким подвижным выражением лица, будто успевал прочитывать названия всех книг, по корешкам которых пробежал его глаз.

— У вас очень хорошая библиотека.

— Спасибо за комплимент, я про себя не называю это жалкое сборище библиотекой. В свое время я был, как выражаются, работником культа и пользовался библиотекой семинарии, а потом монастырской, и своей светской, естественно, не собирал. А когда порвал с цер-

ковниками и стал интересоваться настоящей культурой, постепенно скопились эти жалкие крохи. Поверьте, я прочитал значительно большее количество книг, чем то, которое вы здесь можете видеть.

Богдан Маланчик, как всякий нормальный советский юноша, житель спокойных десятилетий, редко сталкивался с людьми из религиозного мира, но питал при этом к ним смутное уважение, считал, что в семинарии учат не то что в обычных институтах.

Завидев любопытный блеск в режиссерских глазах и не любя эту тему, Адам Аркадьевич постарался увести разговор на другой путь.

— У меня к вам вопрос, не привезли ли вы с собой какой-нибудь плодотворной идеи, которая смогла бы зажечь людей, потому что, признаюсь честно, на театральном фронте у нас что-то вроде общей дремы.

— Я привез блистательную пьесу,— кивая своею большою головой, проговорил Богдан и закрыл глаза на мгновение, как под наплывом сильного воспоминания.

— А как она называется?

— «Домой возврата нет?» — выделив вопрос в конце названия, выложил Богдан.

В это мгновение раздались тяжелые шаги по коридору, откинулась занавеска и показалось перепуганное, потное и совершенно косоглазое лицо жены Адама Аркадьевича. Он сразу же встал и, бегло извинившись перед гостем, вышел в коридор. Там раздался бурный взаимный шепот, Адам Аркадьевич появился в кабинете вновь и стал предлагать Богдану переменить место заседания. Взяв графин и две стопочки, он, маня графином гостя, повел его в другой конец дома, где имелась узкая темная лесенка, выходившая в тыл хозяйства. Из-под ног шарахнулась курица, отлетел неуместный таз. Потом встали заросли, дорогу через которые проложил Адам Аркадьевич.

— Умоляю не обижаться. Просто пришел человек, от которого зависит все, вся... Очень многое зависит, поймите меня правильно.— Ловкой, хоть и взволнованной рукой Волотовский разлил по стопкам, и, сказав: «Ну, с Богом», выпил и исчез в зарослях, оставив Богдана на пару с графином в чужой беседке.

Когда Шапырин подошел к дверям дома Крушеницких, внутри послышался неопределенный, но неприятный шум. Шапырин прислушался и через несколько секунд точно определил, что происходит — скандал. Улыбнувшись, он хотел было нажать на дверную ручку, факт скандала его явно обрадовал, но что-то, вероятнее всего внезапная мысль, заставила его переменить намерение. Он осторожно спустился с крыльца и по хорошо знакомой дорожке отправился в сторону беседки. Картина, которую он там застал, его удивила — совершенно незнакомый молодой человек и графин с двумя стопками перед ним. Богдан, чувствуя, что положение его нельзя назвать великолепным, что ему не рады, поспешил поздороваться самым дружелюбным образом. И даже представился вновь прибывшему.

— Ах, Богдан Маланчик? — сказал Шапырин и, войдя в беседку, сел напротив. — Давайте, что ли, выпьем.

— Это Адам Аркадьевич принес, — видимо, из желания быть честным до конца сказал Богдан.

— Это надо понимать так, что питье отравлено? — принимая все более развязный тон, спросил Шапырин.

Богдан развел руками, ему не нравился разговор, но он не знал, что тут можно поделаться. Шапырин, вдруг впавший в задумчивость, внимательно и недовольно рассматривал свой правый ботинок. Пауза затягивалась.

— Думаю, ничего страшного не произойдет, если мы немного все же выпьем, — выдавил из себя Богдан.

— Ага, а ну как треснет на сгибе? — имея в виду ботинок, отвечал Шапырин.

Богдан медленно и очень точно налил рюмки до краев.

— Ну что ж, — сказал Шапырин, беря свою за граненую талию, — со знакомством.

Они выпили, и сразу им пришлось прислушиваться. Со стороны поймы послышались нестройные множасьишумы. Оба молодых человека напряженно и взволнованно смотрели в непроницаемую стену зарослей. Шум приближался, он был составлен из потрескивания, шелеста, приглушенных ругательств, скрипа и вдруг — явного детского плача. Было от чего измениться в лице, и Богдан изменился. Сквозь заросли, по направ-

лению к беседке, двигалось какое-то местное племя в полном составе. Наконец местный Данко пронзил своею головой заросли и сказал голосом Андрея Крушеницкого:

— О, нас уже ждут.

Вскорости вся компания уже находилась за столиком и, шикая друг на друга, разливала портвейн. Дюдина дочка, обладая от природы отличным характером, и не думала реветь. После первого стакана все перезнакомились с режиссером. Налили снова. Особенно усердствовал младший Вавилов — Кузя, он сразу потребовал себе целый стакан и теперь так и извивался на своем месте, сверкая при этом своими очечками. Он все время задирал своего брата, словно говоря ему — вот видишь, я из-за тебя стал каким. Богдан Маланчик опять успокоился, ему понравилась среда, куда волею случая он был заброшен. Андрей сразу же повис на плече Шапырина и стал ему что-то жарко бормотать. Дюдя принял на себя роль тамады, отпускал изящные замечания и был, вероятно, счастливее всех. Занять малознакомого собутыльника беседой он почел своим долгом.

— Какими судьбами? — спросил он для начала.

— Я режиссер, — не вполне по существу вопроса отвечал Богдан.

Дюдя приятно осклабился, стараясь при этом правой частью верхней губы скрыть следы недавно выбитого зуба.

— Это очень вовремя в свете нашей театральной общественности.

— Я, конечно, конечно, буду ставить, — с жаром, почти уже не сдерживаемым, отвечал режиссер.

— За классический репертуар, — еще более светски, чем в прошлый раз, улыбнулся Дюдя и поднял свой бокал.

— А я считаю современность значительно более заброшенной. Наш театр не говорит открыто о сегодняшнем дне и потому не находит общего языка с народом.

— Хм, — Дюдя очень высоко поднял брови, и было непонятно, что вызвало такую реакцию, вкус напитка или мысль собеседника.

— Знаете, в чем конфликт той пьесы, которую я собираюсь поставить здесь?

— Это за пределом моих мечтаний, — сказал тамада, откинувшись и поставив локоть на перила.

— Секретарь райкома комсомола,— Богдан поднял свой тонкий и по-режиссерски нервный палец.

В этот момент младший Вавилов быстро схватил со стола зеленый графин и стал слепо лить настойку себе в лицо. Хотел, конечно, в рот, подвела спешка. Андрей со справедливым рычанием отнял у него графин, потрачено напитка было немного. Кузя снял с себя очки и осторожно лизнул стеклышко, своеобразно хихикая при этом.

— То есть вожак молодежи? — демонстрируя и внимание, и полное самообладание, переспросил Богдана Вавилов-старший.

— Именно. Так вот этот непростой, в общем-то, человек, но, скажем прямо, не нашедший себя в аппаратном деле, оказывается на побывке дома. Родной двор, он ходит, трогает с детства дорогие предметы, журавель тут, бензопила... Лирический монолог, появляется мать, ну, мать в деревне особенно мать, это тоже учтено и есть. Дальше отец, братья, собираются друзья, застолье, без свинства, а просто по логике жизни. Слово за слово, возникает спор — земля или аппарат, аппарат или земля. Они ему, что нельзя, мол, отрываться, а он им — нельзя, мол, не двигаться вперед. Ну, у него тоже есть союзники, некоторые из лести, это тоже потом обнаруживается — все-таки секретарь. А люди, которые по-настоящему его любят, отец, школьный друг, прямо в лицо ему говорят, что он плохой секретарь. А почему плохой? А потому, что хороший хлебобоб. Потом ночь, сон. А утром,— Богдан сделал хитрое лицо,— когда все встали, глядят, а секретаря нет. Ну, думают, сбежал от стыда в город. Клянут его последними словами. Но — нет. Слышится вдалеке одинокий голос трактора. И все вдруг понимают, кто это на тракторе. И выясняется, что заявление об уходе он еще позавчера подал. А?

Но тут завозился ребенок, и старший Вавилов, извиняющимся жестом прикладывая ладони к груди, поспешил к нему. Младший Вавилов в упор глядел на режиссера, и некоторое время казалось, что он что-нибудь спросит. Андрей резко отвернулся и вперил свой застекленный непрошеной слезой взгляд в сильно густеющую тьму. Чувствовалось, что он разрываем избытком чувств, но пряд ли чувства эти были вызваны пересказом пьесы.

— Так вы — режиссер здешнего самодеятельного театра? — спросил Шапырин.

— Народного.

— И когда можно будет посетить представление?

— Я только сегодня прибыл.

— Вот за это мы сейчас и выпьем,— сам очень радуясь собственной находчивости, сказал тамада. В компаниях, которыми он окружал себя последние десять лет, его манера держаться считалась изысканной, его ценили за это. Постоянно пьющему человеку очень льстит, что вместе с ним спивается кто-то незаурядный.

— Жаль, что прямо завтра нельзя познакомиться с труппой.

— Я двоих-троих знаю,— сказал Шапырин, занюхивая напиток костяшками собственных пальцев,— они преподают что-то...

— Это герои, я беспредельно уважаю подобных людей. Семья, скотина, но душа требует, требует искусства, и ради него они готовы... Они герои, герои — другого слова не подберу.

— Землю попашут — напишут стихи? — кивнул Шапырин.

Богдан, находившийся в алкогольном заблуждении, вдруг осекся, на него нашла легкая насупленность.

— Я улавливаю иронию.

— А я и хотел, чтобы вы ее уловили.

— Не значит ли это, что вы вообще все самодеятельное искусство...

— Значит, значит. Художественная самодеятельность... Даже водка честнее, по моему мнению.

Все были уже очень навеселе, никто сумбурную речь Шапырина не слушал, ибо каждый занят был своими думами. Никто, за исключением Богдана, но и тот, хотя и слушал самым внимательным образом, никакого смысла в словах иронического собеседника не уловил.

— Вы говорите, как отсталый человек. Мы сейчас как раз боремся за охват всего населения самодеятельными формами искусства. Народ должен не только получать искусство, но и производить, только тогда может быть надежда на гармонического человека.

— Ну хорошо, хорошо, давайте лучше выпьем,— вдруг согласился хулиТЕЛЬ самодеятельности.

Выяснилось, что «горючее» на исходе.

— Такой вечер не может быть закончен просто так, без подвига,— решительно заявил Дюдя.

— У нас ничего нет,— сказал Андрей,— все ушло па поминки.

Дюдя вызвался добыть, у него была своя «агентура». Нужно было решить с помещением. Оставаться в беседе не хотелось — темно и прохладно, идти к Вавиловым нельзя — неизбежная драка с родителями. Настал момент общей грусти.

— Может быть, можно ко мне? — сказал Богдан Маланчик.

Его расспросили и решили, что сойдет. Все разом встали. Бывает в развитии застолья такой момент полного единодушия, когда легко спаять всех одной мыслью, особенно мыслью о продолжении банкета.

Идти пришлось, как Наполеону, по старой разбитой дороге: Андрей очень не хотел рисковать и появляться возле дома. Порядок движения получился такой: впереди Дюдя с коляской и режиссер, они шли, стараясь не прерывать какой-то своей, надо думать, зная старшего Вавилова, очень интеллигентной, беседы; за ними, как жеребенок, семенил и петлял Вавилов-младший, совсем ошалевший от выпитого. Андрей и Шапырин замыкали шествие. Изредка им приходилось подталкивать младшего Вавилова в теплую бессмысленную спину. Андрей в двадцатый, наверное, раз во всех жгучих деталях описывал свое роковое, как он считал, посещение дома Майбороды. Виктор слушал его с нечеловеческим терпением и не устал изобретать каждый раз новые аргументы для успокоения друга. «Ничего страшного не произошло», — было его мнение. Андрей ему не верил, он искренне считал, что пал так низко, как еще никто никогда до него не падал, и нанес такое оскорбление своими базарными выкриками Сергею Николаевичу, что для смывания его нужна более страшная жидкость, чем даже кровь. Шапырин, расстраивая и пугая перенапряженное воображение Андрея, вел себя не так, как хотелось бы Андрею. И интересовался совсем не тем, чем должен был бы. Между ними получился непонятный не только непосвященному наблюдателю, но даже во многом непонятный одному из участников разговор: «Он не сказал, что собирается поговорить с твоею матерью или Револьтом?» — «Не знаю, Витя, не знаю, и зачем ему с ними говорить?» Сильнее всего Андрея, конечно, мучило поведение Светланы, а Шапырина оно совершенно не занимало, Андрей обидчиво этому удивился, когда друг

в очередной раз спросил что-то о поведении Сергея Николаевича. «Но ты же сам говорил мне, что она порядочная девушка, она и ведет себя соответственно. Ничего особенного и интересного она не совершает». — «Но она меня не любит!» Шапырин внимательно и как-то особенно невосторженно посмотрел на друга. «Что же мне теперь делать, — сказал он, — кажется, постамент великоват для статуи». — «Что ты говоришь?» — «Ты ведешь себя так, как будто в твоей жизни ничего особенного в последнее время не происходило». — «У меня умер отец», — мрачно и несколько тупо сказал Андрей, и они пошли дальше.

Между тем спустилась темнота, и путешествие столкнулось с огромным количеством технических трудностей. Заныла Дюдина дочка, дважды зацепился за какие-то камни и бацнулся об землю Вавилов-младший. «Тварам аб глебу», — рассудительно комментировал эти случаи его старший брат. Кузя поднимался всякий раз своими силами, сначала на четвереньки, а потом, как с низкого старта, бегом во тьму. Его так далеко заносило, что он чуть не потерялся однажды. Наконец тылы урядьевской жизни кончились, и кавалькада выбралась на дорогу. Дорога была местная, то есть мощенная булыжником, стало быть, не обладала снотворными качествами, необходимыми для поддержания Дюдиной дочки в нужном состоянии. Вавилов старался ехать по песочной обочине и пел ей в коляску что-то угрожающее. Слава богу, что шествие шло мимо малонаселенных участков. Миновали нефтебазу, миновали здание поликлиники. Наплывало громадное белесое здание собора, его тоже обогнули без приключений, и впереди уже завиднелась улица Советская, на которой и находилась цель путешествия.

Цель путешествия была абсолютно темна. По фонарю висело перед универмагом и продуктовым. Маленькими прожекторами был подсвечен танк в сквере — как будто выкатившиеся фары его в ужасе обернулись и глядят на своего бывшего хозяина. То есть все было худо или бедно освещено — только общежитие медучилища тонуло во мраке. Кавалькада остановилась неподалеку, неуверенно поглядывая то на темные окна, то на Богдана. Вавилов-отец вытащил из коляски свою мокрую дочурку, и она поблескивала в свете ближайшего фонаря, пока он ее пеленал и совал в рот бутылочку с остатками молока. Андрей, поднявшись на низкое крыльцо, потро-

гал входную дверь. Кузя сидел пригорюнившись на бордюре. Богдан, пожимая плечами, тоже подергал осторожно ручку двери. Шапырин ковырялся веточкой в зубах. «Ход со двора»,— подсказал Дюдя, и все одновременно стукнули себя ладонью по лбу. Через две минуты Богдан уже рассаживал гостей у себя в комнате и злобно пинал чемодан, неохотно убиравшийся в угол. Богдан был рад тому, что вдруг стал всем так полезен, что все так хорошо устроилось. Шапырин пустил шапку по кругу и всю мятую сумму сунул в профессиональную руку Дюди. При этом он ему что-то пошептал на ухо. «Тут недалеко»,— отвечал опять же шепотом Вавилов-добытчик, делая оптимистический жест.

19

Адам Аркадьевич возбужденно сновал среди многочисленных предметов мебели, захламлявших его кабинет. Жена, сидевшая на кухне во время разговора и мимо которой угрюмой черной тенью проскочил на улицу второй сегодняшний гость, быстренько вскочила и побежала поглядеть, что с мужем. Он метался. Это было так необычно, что Данута даже запричитала. Адам Аркадьевич иногда бывал в ярости (схватил чернильницу и треснул об пол), и тогда она от него пряталась на несколько часов, но никогда к этой ярости не примешивалось отчаяние (схватился руками за свой череп и бесильно сел).

— Что он тебе сказал, что он тебе сказал?

Адам Аркадьевич с ненавистью посмотрел на жену и прошипел:

— Ложись спать, дура.— Он на глазах становился спокойнее.— Что я тебе сказал!

Данута никогда не пыталась вникнуть в дела своего мужа, дела эти представлялись ей неимоверно запутанными, ведущими свое начало из почти легендарного прошлого, и имели некоторый мистический оттенок. Она всегда безоговорочно признавала право мужа на его дела и всю таинственность этих дел, но сейчас ей стало почему-то обидно, она бесшумно отступила в коридор, постояла там несколько секунд и отправилась в спальню.

Адам Аркадьевич почувствовал неожиданный и очень

сильный голод. Подсел к столу и взял в руки вилку. Вид вилки его удивил, это была не его хозяйская, тридцать лет неизменная вилка, а это была вилка Богдана. «О господи», — пробормотал Адам Аркадьевич, выскакивая из-за стола. «Богдан Леонардович, это я, а Богдан Леонардович», — пел он, пробираясь сквозь заросли. При виде людей, сидящих в беседке, он остолбенел. Со всеми тремя он был отлично знаком, но разговаривать с ними у него не было ни желания, ни сил. Скрыться в зарослях не представлялось возможным, слишком смешно. Он просто выпучил глаза и молча озирает три темные фигуры, освещаемые умирающим спичечным огоньком.

— Садись, поговорим, — хрипло сказал Револьт.

— Я здесь... — тоже довольно хрипло проговорил Адам Аркадьевич.

— Ты что, боишься, что ли?

Темнота скрывала выражение лиц. Станислав Борисович тяжело пошевелился, и что-то упало со стола на землю.

— Это мой графин.

— О чем вы тут болтали с Андреем?

— Андрея здесь не было.

Револьт Матвеевич помахал в воздухе какой-то темной тряпкой.

— Его свитер. Не надо врать. Если ты каким-то боком влез в эту историю... тебе же хуже. Я этого пижона скручу обязательно, не может быть, чтобы не скрутил. И тебе совет: не путайся под ногами. Забирай свой графин и иди спать.

Адам Аркадьевич осторожно прижал графин к груди.

— Запомни, кочерга, никого ни с кем не надо сводить. Забудь это свое хобби. Не тот случай. Понял?

Ничего не отвечая, работая графином, Адам Аркадьевич стал прорываться на свою территорию.

ГЛАВА 3

1

— Картина Репина — ха-ха-ха? — сказал Дюдя, входя в комнату не полностью, пряча за спиной раздувшуюся матерчатую сумку, в которой что-то тяжело грек-

нуло. В темноте коридора за распахнутой дверью слышалось женское хихиканье,— прошу любить, так сказать, и жаловать, так сказать.— В проеме двери появились две крепенькие девушки в джинсах, едва сдерживающие смех. Когда Вавилов-старший многословно и пышно представлял их, они потупили глазки, держались плотно друг к другу, плечом к плечу. Галя и Крыся. У Гали были прямые черные волосы, доходившие челкою до бровей, и яркие добрые губы. Крыся обращала на себя внимание мельчайшей рыжей завивкой, вдобавок к которой имела узкое лицо с тонким бледным носом. Впрочем, они хохотали, и первое время их все путали. Знакомство состоялось при общем движении и торжественном, шумном выставлении на стол напитков и закусок.

Девушки сели рядом на одно широкое, единственное кресло, им было неудобно, но они считали нужным пока потерпеть ради своей девичьей дружбы. У Вавилова-младшего окаменело лицо, а движения напоминали движения робота, он был удален в угол кровати и прислонен к сумке с Маланчиковыми книгами. Андрей долго гладил его по волосам, и с таким нажимом, что у юноши приоткрывались его близорукие глаза. Вавилов-старший привычно балагурил, выковыривая из бутылки плотно загнанную бумажную пробку. Богдан хозяйски нависал сзади над компанией, подавая нарезаемое на подоконнике сало, лук, хлеб и отысканные в стенном шкафчике стаканы. Шапырин уселся напротив девиц и перебрасывался с ними ничего пока не значащими фразами. Впоследствии выяснилось, что фамилия Гали была Пятак, а фамилия Кристины — Точеная и что работают они в промкомбинате в бухгалтерии.

Дюдя сбил в одну граненую толпу все стаканы, наполнил их сразу наполовину, ни малейшим послаблением дозы не отличая дамские стаканы. «Как говорили гусары — за половину человечества, до эполета!» — был его тост. Подружки польщенно хихикнули и, разломив нашедшуюся у Гали конфетку, закусили. Богдан Маланчик пил стоя, напиток чуть было его не смял, у него вдруг включился задний ход, и на третьем шаге режиссер распрямился спиной на стене. Андрей выпил, благодаря своему здоровью и выдержке, легко и только правой частью рта выпустил обратно самую сивушную струю. Шапырин закашлялся, но вскоре оправился, а за-

державшиеся в глазах слезы даже украсили его слегка воспаленные глаза. Вавилову-младшему не дали стакана, проигнорировав его руку, требовательно возникшую из-за Андреевой спины.

Застолье закрутилось. Богдан присел рядом с Шапыриным в надежде продолжить начатый перед приходом «девочек» разговор.

— То есть получается, вы мой идейный враг? — Шапырин вяло покрутил своим стаканом в воздухе, нет, мол, не враг. Разговор не мог завязаться по-настоящему. В отчаянии, что собеседник так внезапно охладел к плодотворнейшей теме и явно предпочел своего мрачного, крупного друга, Маланчик напустил на лицо самый артистический вид, на который был в эту минуту способен, и прошептал что-то Галине через стол. Она осуждающе покачала головой, но подбородок ее сморщила судорога сдерживаемого смеха.

— Как известно, жизнь — это миг между прошлым и будущим,— провозгласил Вавилов-старший, несколько неловко поднимаясь над столом и выпуская клуб дымного перегара. Разумеется, выпили и за Дюдино представление о жизни.

Шапырин наклонился к уху Андрея, который угрюмо курил рядом, пуская дым под стол, и что-то ему прошептал. Андрей, выдыхая дым, держал сигарету прямо перед глазами, так что могло показаться, что он целится в сидящую напротив Кристину.

— Что? — переспросил он.

— Ты не забыл, что сегодня за день?

— Забыл,— честно и мрачно сказал Андрей и затаился снова.

— Девять дней, дружок.

Андрей отреагировал не сразу, некоторое время просто тяжело смотрел себе под ноги, брови его шевелились, может быть, он проводил в голове соответствующие вычисления. Закончив двигать бровями, убедившись, видимо, что его друг прав, Андрей встал и потребовал, чтобы все выпили не чокаясь: «Сами знаете за что».

— За что мне все это? — спросил он потом у Шапырина, когда общее веселье направилось обычным путем. Он цепко сжимал белыми пальцами колено друга, повернув к нему зажмуренное лицо.— Она меня не любит, то есть ты понимаешь, теперь я это знаю точно. Всегда сомневался и надеялся. А теперь все!

— Сегодня девять дней, как умер твой отец.

— Умер,— кивнул Андрей,— и я, скорей всего, подлец перед ним, скорей всего.

— Ну, если ты это чувствуешь, значит, надо что-то делать.

— Что делать? — Андрей попробовал отогнать алкогольную дымку, но мотание головой не помогло.— Зачем еще что-нибудь делать, я не понимаю по крайней мере.

— Все связано. Все со всем. И Светлана — это тебе, может быть, месть за отца.

— Не понимаю,— после некоторого раздумья честно заявил Андрей,— не понимаю. И что нужно делать — не знаю. Ты знаешь, ты и скажи мне.

— Может быть, нужно сходить на кладбище? — тихо сказал Шапырин.

Андрей молчал, думал, шумно дышал.

— Зачем?

— Стало быть, ты с отцом уже расстался?

— Я,— у Андрея перехватило дыхание,— но ночь!

— Если тебе страшно одному, давай я пойду с тобой. Ты должен по-настоящему проститься со своим отцом.

Андрей внезапно и истерично изменил тон своего шепота и набросился на советчика:

— Чего ты со мной возишься! Я не хочу теперь больше. Это мне тяжело. Как же я пойду?! Не мучай ты меня, ради бога, а! Сейчас не мучай, может быть, потом...

— Я сегодня разговаривал со Светой.

Андрей осекся, пораженный этой фразой, но настоящее понимание услышанного далось ему с трудом. Наконец он спросил:

— Когда?

— Я был у них сразу после тебя.

— Почему же ты сразу не сказал?

— Я слушал тебя, если помнишь, ты говорил беспрерывно.

Андрей изо всех сил старался вырваться из плена опьянения, это ему никак не удавалось. Он понимал, что сейчас ему никак нельзя быть пьяным, но почти ничего не мог с собой поделать.

— Что она тебе сказала?

— Почти ничего, я в основном беседовал с ним. Но и с ней перекинулся парой словечек.— Шапырин выждал паузу, давая слушателю время собраться с вниманием.— Скажу тебе одно — на твоём месте я бы не стал

спешить с особенно пессимистическими выводами. Она вела себя как женщина, испытывающая к тебе огромный интерес. Ты, по-моему, просто не умеешь вести как следует это дело, хотя что с тебя взять — влюблен. Ты, помнится, запретил мне вмешиваться, поэтому я не считал возможным.

— Ты, наверное, все врешь,— пробормотал Андрей и уронил внезапно обессилевшую голову на свои руки.

Шапырин долго внимательно глядел на него и наконец, вздохнув, вернулся в прежнее положение, то есть откинулся назад, спиной к стене. С удивлением он обнаружил слева от себя плотный джинсовый бок, его штанина неприятно зацепилась за острую американскую заклепку. Оказывается, Маланчик остроумной беседой переманил к себе Галю Пятак. Шапырин находился у них за спиной, и ему были отлично видны ловкие губы Богдана, шевелившиеся поблизости от широкого сливочного уха девушки. Эти губы знали слова и порядки слов. А это ухо было готово к словам, и по обтянутому синим трикотажем позвоночнику пробежала реакция на услышанное. «Люди не знают сами себя, ни ты, ни я, никто. И к тому же мы обречены на непонимание, невозможно достучаться до чужого сердца». Заметив, что за ними наблюдают, Богдан сказал:

— Вот и Витя подтвердит, он из Москвы. Скажи, правда Гале нужно попробовать себя на сцене?

— Да, Галя, верьте ему.

Вавилов-младший громко потребовал, чтобы перестали спаивать его брата. Вавилов-старший пытался в это самое время Кристине Точеной втолковать что-то при помощи всячески совмещаемых и переплетаемых пальцев, но у него все время получалось что-то напоминающее решетку. Может быть, речь шла о превратностях кассиро-бухгалтерской профессии и бывалый человек Дюдя советовал молоденькой работнице финансовой сферы поостеречься. У Кристины было сосредоточенное лицо, она была близка к пониманию вавиловской мысли.

— Прошу тишины,— вдруг громко и решительно сказал Андрей и затем встал,— я хочу выпить за одного человека. Это необычный человек. Это человек, который понял меня и спас. И нас теперь никто не разлучит, ничто, даже кладбище. То есть смерть. Я пью за моего друга. за моего самого близкого друга. Он приехал сюда из-за меня. Я пью за Виктора Шапырина.

Тост почти состоялся, несмотря на полный туман и разброд, охвативший к этому времени компанию.

— Знаете, Галя, давайте я буду звать вас Лиза.

— Почему? — спросила Галя, выглядывая из-за своего уха.

— Вы очень похожи на одну американскую артистку, только немножко сплюснутую, как в зеркале...

Галя не успела ответить, потому что Вавилов-младший бесшумно, но довольно стремительно подполз боком и вдруг вцепился plombированными зубами в котиковый зад девушки. Она взвизгнула и взвилась, а оскорбленный Маланчик схватил виноватую голову Вавилова и ударил ею по кровати. Тот почти удовлетворенно вякнул и отвернулся к стене. Шапырин после выпитого в свою честь полного стакана почувствовал необходимость выйти на воздух. Искать в полнейшей темноте коридора необходимое ему сейчас удобство было бесполезно, и он решил — на улицу. По лестнице, пахнувшей краской и известкой, он, покачиваясь, вылетел наружу и остановился на булыжнике под звездами. Вся ночь звенела голосами мелких насекомых, было не прохладно, но хорошо. Шапырин сделал несколько шагов вперед и ухватился руками за шершавый штакетник старого забора. Штакетник отделял огород от двора общежития медучилища. «Картошка», — определил Шапырин, и, определив это, он задрал голову к звездам и присвистнул, видимо отдавая должное их числу. Потом он заметил сруб колодца. Приблизился, распахнул дверцу и угрожающе загудел в сырую глубину. Не без приключений со скользкой цепью было извлечено ведро воды. Она раскачивалась в ведре, умудряясь раскачивать и отраженное в ней небо. «А-ам», — сказал Шапырин, ударя ртом по воде. «Только бы не утонуть», — была его мысль.

Освободив римским способом желудок и выпив вслед за этим, наверное, полведра колодезной воды, шепча: «Пора, теперь пора», чувствуя, что постепенно восстанавливается связь между замыслом и движениями членов, Шапырин двинулся обратно. Напоследок он снова взглянул на звезды и с каким-то смутным неудовольствием обнаружил чистую, искрящуюся сферу до половины затянутой плоской пепельной тучей. Он вздохнул и вошел в здание.

Не без приключений, иногда презабавных, ему удалось подняться на нужный этаж. Здесь ослабевал запах

ремонта, поблескивал в лучах луны новый линолеум. Проследив взглядом за его течением, Шапырин в конце коридора на подоконнике и соответственно на темном фоне ночного неба увидел две человеческие фигуры. Фигуры не просто соседствовали, между ними что-то происходило, сопровождаемое жаркой, но неразборчивой перепалкой. Шапырин приблизился, на всякий случай делая вид, что он случайный прохожий и подсматривать не любит. Парочка — именно так по справедливости следует назвать этих двоих — подпустила его на расстояние в два шага, и с этого расстояния он рассмотрел следующее. Спinoй к окну стояла Кристина с опущенной вниз головой, перед ней на коленях, обхватив ее чресла мощными руками, располагался Андрей, он что-то жарко шептал, норовил согнуться еще больше, припадал то одним ухом к животу девушки, то другим, как будто выслушивал что-то. Можно было предположить, что его речь, учитывая количество выпитого, будет бессвязной, но на самом деле говорил он очень целеустремленно, хотя и не вполне своим голосом. Он говорил, что она мечта всей его жизни и, слава богу, он теперь ее нашел. Она отвечала томно, трезво и традиционно: «Я тебе не верю». Шапырин простоял рядом с ними минуты две, никак не мешая их объяснению, потом медленно отступил поглубже в коридор и отправился на чрезвычайно бодрый шум голосов, доносившийся из комнаты Маланчика. Картина, которую он застал, отворив дверь, была для здешних мест необычной. Прежде всего, нужно описать второстепенных действующих лиц. Вавилов-старший стоял на коленях — по моде нынешнего вечера — и старался как можно рьянее аплодировать тому, что совершалось перед ним. Рядом стоял хозяин комнаты, почему-то в длинном синем халате и кедах. Крепкая волосатая нога его помещалась на подножке стула. Богдан тоже хлопал, неглубоко приседая под каждый хлопок и по-таборному откидывая голову. На столе под нестройную музыку Вавилова и Маланчика Галина Пятак отплясывала канкан, сверкая тяжелыми ногами и белым бельишком. Вавилов-младший, не сумевший встать, издавал маломузыкальные звуки толстыми губами.

Шапырин сразу же присоединился к общему угару. Жаль было бы прервать бескорыстное женское самозабвение. В кои-то веки простая провинциалка раскрепости-

лась, позабыв на мгновение свои пыльные счета, нудные ведомости и всю свою беспросветную провинциальную жизнь. Провинциальность создается вялостью и неталантливостью мужчин. Женщины, даже в самой темной Тьмутаракани, не безнадёжны.

— Это твой лучший спектакль, Богдан,— сказал Шапырин. Богдан сиял своими потными залысинами.— Но почему халат?

— Я всегда работаю в этом халате.

Вавилов-старший элегантно помог даме спуститься на грешный пол. Его брат как-то очень громко и страшно храпел на кровати. Шапырин подошел к «артистке» и поцеловал ей потную руку и в нескольких выражениях обрисовал свое восхищение виденным.

— Это настоящая раскрепощенность, изумительная пластика, нельзя прятать от людей такое богатое тело...

Его тирада была прервана жалобным, но резким воплем старшего Вавилова, вбежавшего в комнату. Лицо его было сумасшедшим.

— Ребята,— прохрипел он,— у меня украли дочь.

После этого были поиски, организация и проведение которых затруднялись тем, что отец не мог точно сказать, где именно он оставил коляску. Он бормотал что-то, бегая по этажам, и все время оступался, приговаривая: «Какое горе, какое горе». Остальные печальной стаей бродили за ним. Несколько раз он присаживался на ступенях, чтобы подумать. Был у него приступ астмы, и он долго прыскал себе в рот из какого-то карманного устройства. Наконец он заявил, что должен пойти домой. Его отпустили, и даже охотно, потому что это освобождало от необходимости помогать в поисках. Праздничное настроение подпортилось. Выпили еще по одной, но уныние продолжало царить в комнате. Даже Галя пригорюнилась. Непонятно было, почему на всех таким подавляющим образом подействовало это событие, комическое по своей сути. Что могло случиться с вавиловской дочкой в мирном Урядье, где преступность существовала лишь в форме драк на танцах и тихого продуктового воровства? Не наша мода на похищение детей с целью получения выкупа здесь не привилась. Собравшиеся за столом гости мрачно пили и мрачно закусывали. Молодые люди даже перестали флиртовать с девушками, усевшимися опять на одно кресло. Равномер-

но храпел младший Вавилов, густая провинциальная ночь стояла за окнами.

— Витя,— тяжело прошептал Андрей, наклонившись к уху друга,— я должен пойти на кладбище.

Очевидно, под воздействием вавиловской утраты произошло обострение родственных чувств и у Крушеницкого. Шапырин подтвердил свою готовность сопровождать друга в его предприятии. Все остальные гости отлично слышали, о чем договаривались молодые люди, ибо с самого начала внимательнейшим образом прислушивались. Когда Андрей с Шапыриным поднялись с явным намерением отправиться на кладбище, немедленно к ним подбежал Богдан и быстренько забормотал какие-то извинения, очень напирая на то, что он «недавно в городе». Кроме того, он настаивал на том, что жизнь человеческая «складывается странно», что бывали времена, когда ему «не очень-то верили», но это «было по наговору» и все от профессиональной ревности, а сейчас он очень хотел бы узнать, кем ему себя считать.

Андрей с высоты своего роста не без некоторой, ничем, кстати, не оправданной, брезгливости смотрел на потные залысины Маланчика и недовольно щурился.

— Я не понимаю, чего ты хочешь?

— Да,— подтвердил Шапырин,— не доходит мысль.

— Я хочу с вами,— выпалил Богдан.

Андрей удивленно выпятил губу. Он хотел было сначала резко отказать, но, посмотрев на Шапырина, на его лицо, выражавшее живейшее согласие, переменял решение и даже настоял на том, чтобы все выпили за здоровье «нового настоящего друга». Выпили, и даже по целому стакану, что в дальнейшем сослужило не самую лучшую службу участникам предприятия. Девушки тоже выпили, но с некоторого момента они чувствовали себя не слишком уютно: женщина очень теряется, перестав быть предметом внимания и вожделения.

— А вы,— сказал им непререкаемым тоном Андрей,— подождете нас здесь. Мы вернемся, и нас нужно будет как следует встретить. Лаской...

Девушки торопливо закивали: да-да-да-да.

2

Маланчик даже не успел переодеться, потому что Андрей очень спешил. Такова уж была его натура. Если

он что-то решил, то к осуществлению решения приступал немедленно. Режиссер семенил за своими более крупными друзьями в кедах и синем халате. Стояло самое тяжелое время ночи, около половины третьего. Луны отчего-то не было, и приходилось довольствоваться светом нерегулярных фонарей. Первым объектом на пути следования был сквер. Перебравшись через низенький заборчик, тройка стала огигать большую цветочную клумбу, где различными сортами цветов были выложены две неровные цифры — 7 и 6.

— Смотрите,— прошептал Маланчик.

Андрей с Шапыриным посмотрели налево и не без волнения поняли, что имел в виду режиссер. Городской танк на наклонном постаменте был как бы приподнят лучами прожекторов на воздух и казался парящим над тонущей во тьме растительностью сквера.

Пожав плечами и воздержавшись от комментариев по поводу этого поразительного явления, молодые люди перелезли через вторую линию низенького забора и, миновав пахучие тылы продуктового магазина, где в нечистой темноте стихла во время их прохождения то ли крысиная, то ли кошачья возня, вышли на улицу Константина Заслонова.

Может быть, это физическая темнота содействовала развитию сумеречности сознания молодых людей, может быть, наконец проявил свою подлую природу самогон,— так или иначе, впоследствии воспоминания участников путешествия представляли собой просто серию мутноватых вспышек разной продолжительности. Уже когда они перебирались через низенький заборчик танкового сквера, в их движениях была заметна известная затрудненность, а на булыжнике улицы Константина Заслонова их полностью разобрало. Случилось несколько болезненных падений. Причем в этом деле молодые люди умудрялись проявлять полное своеобразие. Богдан каждый раз спотыкался обеими ногами и сразу коротко шлепался ладонями о камни. Андрей цеплялся широким плечом за столб или ствол липы и, крутнувшись, хватался руками за забор (которых было на улице полно), доводя его до сильнейшей тряски и вызывая этим ярость многочисленных оцепененных собак. Шапырина тоже порой заносило, но меньше, чем друзей. Промывание желудка, устроенное во дворе, позволило ему держаться более или менее твердо.

Улица К. Заслонова была в Урядье типичной улицей, зажиточной и скучной. Составляли ее два ряда крепких домов, и она бы могла показаться однообразной, если бы не фонарик над ларьком торфозавода и не витрина современного магазина хозяйственных принадлежностей. Она, как видение, выросла в ночи, и сверкающие ее недра на целую минуту привлекли восхищенное внимание путников. Может быть, они и дольше простояли бы, созерцая магнетический блеск ведер, однообразную сложность мясорубок, висячие чудеса столовых наборов и яркие кубы из пачек стирального порошка, если бы не твердая воля Шапырина. Пришлось остановить яркое видение и продолжать дорогу в крошечном мраке. Опять падал Богдан, но никогда не роптал, считая, что не имеет права быть обузой. Опять, не совладав с невольным пируэтом, хватался за калитку Андрей, и к нему неслась, звеня проволокой, на которую была надета цепь, лютая обывательская псина. К ней охотно присоединялись собаки, населяющие улицу. Если бы их хозяева имели обыкновение просыпаться от лая собственных собак, то путешествие ни в коем случае не могло бы получиться тайным.

— Мы уже близко,— сказал Шапырин, обнимая по очереди друзей,— больше нельзя шуметь.

Действительно, кладбище было неподалеку. Андрей, отпустив очередной деревянный забор и совершив сложный вираж посреди проезжей части, схватился за очередное ограждение и, обнаружив, что оно оказалось массивным и железным, прошептал: «Пришли». Богдан Маланчик осторожно держался за выступающие из-за забора сиреневые грозди и сосредоточенно молчал, может быть, даже спал. Шапырин обогнул режиссера и, подойдя к Андрею, тоже прошептал:

— Пришли.

Спустя несколько беззвучных секунд он спросил:

— Ты знаешь, где могила?

Андрей шумно задышал в ответ и почему-то отвел в сторону дружескую руку со своего плеча.

— Могила там,— сказал он довольно громко, причем ни жестом, ни кивком свои слова не пояснил.

— Там кладбище? — взволнованно спросил очнувшийся Маланчик и испуганно отпустил сиреневую ветку. За свою повышенную брезгливость он сразу же оплатился потерей равновесия. Он сделал произволь-

ный шаг назад, а сзади была канава, крапива и куча какой-то сухой дряни. Когда режиссер заскулил, пытаюсь встать, Андрей показал ему через плечо кулак и сказал:

— Тихо, сцена!

Засим тронулись. Тут сплошные пробелы, пробелы... Тут, как и в предыдущие непоясненные места, должно быть, происходили какие-то разговоры, обмены мнениями. Забылось. Нестройной колонной тройка приблизилась к воротам, а может быть, и не колонной, а шеренгой, это не исключено. Задвижку терзали сразу тридцатью пальцами, со всех сторон, пытались просунуть их сквозь металлическое плетение, чтобы с той стороны... Рано или поздно такому натиску калитка должна была уступить. Она пискнула, распахиваясь, и молодые люди были впущены. Могила Андрея Андреевича Крушеницкого-старшего была на южном склоне кладбища, в данном случае дальнем, среди высоченных сосен, хранивших в своих кронах тонкую, мрачную и независимую от настроения ветра, музыку. Следовало перевалить через вершину кладбищенского холма, увенчанную черной деревянной, страшной в это время часовенкой.

Переборов свое оцепенение, вполне понятное, трое двинулись дальше.

После отбоя в пионерском лагере каждый из них любил послушать историю про, например, красную руку, вползающую через окно, или про старуху, подобранную беспечным шофером возле кладбища и что-то жующую на заднем сиденье. На вопрос: «Что ты ешь, бабушка?» — старуха кричала страшным голосом: «Падаль!» И от этого крика вскрикивал в полной темноте весь пионерский отряд.

Настоящее кладбище было не так ужасно, как то, из пионерского прошлого. Возможно, удерживанию волнения в известных границах помогала значительная доза народного алкоголя, выпитая каждым из молодых людей. Продвигались они хоть и не бодро, но стройно, постепенно осваиваясь в обстановке, и даже Маланчик не повторял приступов своего малодушия и ни от чего не шарахался.

Осталось неизвестным, кому первому удалось заметить какое-то сияние, шедшее с той стороны кладбища. Тут-то всех и охватил столбняк и заставил схватиться за руки. Довольно долго простоял недвижимо этот челове-

ский лесок, пока Шапырин, именно он, не прошептал своим не могущим перебороть одеревенение спутникам, что нужно двигаться дальше. «Нет, нет, нет, нет», — затараторил почти беззвучно Богдан и даже сделал попытку рвануть обратно. Но дело в том, что до ворот было уже далеко, тропинка, по которой они шли, — извилистой, и кладбище представлялось единой сомкнувшейся чащей с омутами могил. Маланчик в одиночку бежать не посмел. Поколебавшись еще минуты полторы, вновь сплотившееся общество двинулось дальше. Двигались крайне медленно; теперь пугало все, особенно тени и скрипы и становящаяся с каждым шагом все более чудовищной громада деревянной часовни. Маланчик зацепился локтем своего халата за пику, отогнувшуюся на одной из оград, краткий, но сильный треск заставил всех замереть. «Пусти, пусти, пусти», — шептал режиссер, высвобождая руку.

Андрей шел впереди. Он тяжело сопел и лишь изредка оскальзывался, когда нога попадала на травяной скат какой-нибудь неогражденной могилы. Неопределенное трепещущее сияние так и оставалось пока неопределенным и трепещущим все те несколько минут, которые молодые люди осторожно пробирались сквозь эти страшные места. Им показалось, что шли они очень долго. Слишком долго. И вдруг им стало видно... За секунду перед этим влажно прошелестели над ними какие-то крылья, заставившие панически пригнуться, хотя это была, должно быть, просто летучая мышь. И раздалось несколько криков с потусторонним оттенком в близлежащем лесу, может, это были всего лишь птицы, но в тот момент их «пение» обдавало холодом. И вот среди всего этого страшного обрамления, сквозь частокол разнокалиберных крестов и памятников мелькнул маленький костерок, очень маленький, сантиметров тридцать высотой или того меньше. Что было вокруг него, сразу разглядеть не представилось возможным: потом, назавтра, составив свои наблюдения в одну картину, молодые люди пришли к неуверенному выводу, что у костра находился человек и, кажется, сидел возле него и грел руки. Заслышав приближение гостей (Шапырина пробрал внезапный кашель), он стал приподыматься и некоторое время простоял, видимо глядя в сторону молодых людей. Это можно было заключить по его фигуре, достаточно для этого освещенной пламенем. Другое дело, что

его очертания, как могло показаться, были не вполне человеческие. Правда, тут можно сделать скидку на игру светотеней и воспаленное воображение молодых людей: они готовились увидеть что-то необыкновенное и увидели. Итак, он или оно поднялось и посмотрело в сторону гостей. Это был страшный момент. Все трое сходились в том, что ощущать на себе этот невидимый, а может быть, и несуществующий взгляд было выше человеческих сил. Склонный к мистике Богдан утверждал, что это был мертвец. Они бы, наверное, бросились бежать, продлись это противостояние еще несколько секунд, но существо (назовем его так) стало медленно разворачиваться и столь же медленно отступать в темноту, и Маланчик утверждал, что видел движение правой руки, которое нельзя было истолковать иначе, как приглашение следовать за ним. Андрей утверждал, что к тому же различил хромоту, хотя видеть можно было только два призрачных шага, остальная хромота, если она и была, досталась темноте. Шапырин не очень горячо, но определенно поддерживал оба наблюдения своих друзей, говоря, что рассмотрел и хромоту, и жест рукой.

Эта встреча-расставание вряд ли заняла больше десяти-пятнадцати секунд, ну, тридцати от силы. Костерок постепенно бледнел. Возможно, были слышны какие-то звуки, похожие на те, что мог бы издавать человек, пробирающийся ночью по кладбищу. Андрей пытался прислушаться, хотя всех уже шумно влек назад Шапырин. Андрей даже как будто немного рычал, хотел, видимо, броситься, предстать и сразиться. Но его спутники были совсем к этому не готовы. И, уступая их суматошным, паническим требованиям и рывкам за рубаху, он сделал один шаг назад, второй... и присоединился к общему страху и беспорядочному, ничем не сдерживаемому бегству.

Описание новой истории нашего театра — следуя старинной традиции — неплохо бы начать с герцога, так сказать, или короля. Роль местного партийного руководства в существовании и нормальном функционировании театра примерно, я думаю, равняется той роли, которую играли для театров своего времени какой-нибудь Фортинбрас или дож

Венеции. Просто современные руководители скромнее и не требуют, чтобы каждый автор писал обязательную сцену, где они, появившись в блеске своего величия, чинили бы окончательный суд и произносили самые эффектные заключительные монологи.

Вряд ли человеку, понимающему нашу жизнь, нужно объяснять, что во многих частях страны все шло лишь благодаря личному попечительству или попустительству первого секретаря райкома. Личность решала и решает все. Это и хорошо и плохо. Принимая на время фельетонный тон, разъясню: хорошо, когда личность хорошая, и плохо, когда личность личностью-то, собственно говоря, не является. Тарас Владимирович Толочко был для Урядьева всем. И ремонтной конторой, и типографией, и банком, и даже репертуаром. Один из режиссеров поставил партизанскую быль «Шумят сосны», используя в основном материалы биографии первого секретаря. Интересно, что приглашенный на контрольный прогон лидер района выказал естественную скромность — попросил изменить фамилию главного героя. Режиссер, проявляя то ли своеволие, то ли храбрость, фамилию героя оставил прежней — Толочко. Спектакль, надо сказать, среди юного зрителя имел громоподобный успех. Партизанское прошлое тем не менее до сих пор до некоторой степени белое пятно, у почти каждого участника событий своя версия. Видя многообразную реакцию публики, значительная часть которой анонимным образом потребовала поверить алгеброй правды только что виденное искусство, испытывая понятное человеческое неудобство в связи с выпячиванием, назойливым выпячиванием частного имени слишком смелой режиссерской идеей, Тарас Владимирович настоял на снятии спектакля с репертуара.

Хозяйская рука Тараса Владимировича чувствовалась не только в театральной сфере. За двадцать лет его руководства к нему привыкли, сжились с ним, он всегда оказывался в самых горячих точках. Зерноток был его письменным столом, цех ремонтного завода — его кабинетом, картофельное поле — его дачей. Да, к нему привыкли, ему дове-

ряли, к нему шли за советом, за правдой, именно он давал дорогу культурным начинаниям.

О степени проникновения фигуры Тараса Владимировича в урядьевскую жизнь свидетельствует один курьезный случай, произошедший однажды на уроке литературы в одной из урядьевских школ. Сочинение на тему «Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» один из восьмиклассников начал словами: «Возьмем первого секретаря райкома». В учительских кругах поднялась страшная паника. Дело дошло до Тараса Владимировича: он прочитал это сочинение, несколько раз пробежал первую строку, подчеркнутую красным карандашом (директор школы пил в это время валокордин в приемной) и, рассмеявшись, сказал, что ничего страшного тут нет. Это не вольнодумство, а доходящее до идиотизма простодушие.

Помнится, я не без труда выпросил у преподавательницы литературы это сочинение, мотивируя свою просьбу тем, что, может быть, со временем оно мне пригодится для моих историографических опытов. Я ведь собираю всяческие незаурядности, казусы, курьезы, фольклор — словом, кунсткамеру.

Чтобы закончить о Тарасе Владимировиче, скажу только, что он депутат, орденосец и до сих пор стоит во главе жизни всего нашего маленького, так сказать, государства.

Ну что ж, теперь самое время перейти к Сергею Николаевичу Майбороде, бессменному консультанту театра, преподавателю истории в одной из наших школ. Он и сам в некоторой степени является историей. Живой историей. Уже в тридцать седьмом году закончил он учительский институт. И пошел работать по специальности. Я хорошо помню его в те годы, он был очень решительный, порывистый молодой человек, большой правдолюбец. Жил он вместе с родителями в большом доме в самом конце улицы, над оврагом. В армию его не взяли по состоянию здоровья, он всегда был страшно худой. Я в то время тянул лямку в военном училище, наше приятельство как-то прервалось, у нас были разные интересы. Когда грянула война, Сер-

гей Николаевич пошел в партизаны, как рассказывают у нас, и снискал себе большое уважение, и даже что-то вроде славы. С приходом Красной Армии он естественным образом вступил в ее ряды, но, видимо, не понимая никакой другой войны, кроме партизанской, совершил какую-то оплошность и попал в плен. Год провел в плену, в нечеловеческих условиях немецкого концлагеря. Можно себе представить, как он ждал освобождения. Его освободили, затребовали его дело и что-то обнаружили в этом деле. Короче говоря, поехал Сергей Николаевич строить железную дорогу в Туркестан, и в Урядьеве нашем ничего не было о нем слышно до 1955 года. Рассказывают, что в местах заключения ему повезло и ему удалось избежать тех мучений, на которые обречены там люди бесполезных профессий — учителя, филологи и т. п. У него отыскался влиятельный земляк, тоже, кажется, из бывших учителей, он помог Сергею Николаевичу большую часть своего срока провести в относительно хороших условиях.

Когда он вернулся, на него довольно долго по-сма тривали косо. Именно в те годы сформировался окончательно характер Сергея Николаевича — немногословный, твердый, немного, правда, подозрительный, но винить его за это не приходится. Любопытно, что после возвращения на него напали всевозможные болезни, он очень удивлялся этому, говоря, что «там» не болел никогда. У него двое детей. Старший сын, родившийся в самом конце войны, и дочь, родившаяся сразу по возвращении Сергея Николаевича из мест заключения. Дочь со способностями, поступила в столичный вуз, изучает языки. Авторитет Сергея Николаевича в нашем городке велик, расти он начал после известных вы-соких разоблачений. Авторитет, естественно, нрав-ственного плана.

От театральных дел он в последнее время несколько отошел, а первое время его просвещенные советы очень помогали нашим самодеятельным те-атралам. Совершенно незаменим он был при поста-новке произведений классики. Только у него можно было получить сведения об устройстве царских по-коев, допустим, или об обмундировании греческого

воина. К тому же он часто давал и вкусовые советы, играл роль первого критика. Каждый новый режиссер, появившийся у нас в Урядьеве, спустя некоторое время обязательно приглашал Сергея Николаевича, уважая его знания и авторитет. Надо сказать, что Сергея Николаевича ничуть не развратила подобная популярность. Он оставался скромным и спокойным советчиком, ничуть не претендующим на режиссерские лавры. Тем более, как я писал выше, сейчас он отошел от дел, замкнувшись в кругу своих, по всей видимости нелегких, дум.

Далее мне хочется привести несколько характерных судеб, наводящих на размышление о театре, о жизни, о человеке.

Двадцать лет назад приехали по распределению сельхозинститута к нам Станислав Борисович Бабинский и Антон Антонович Трусевич. Тогда их звали просто Стасик и Тошка. Они очень легко и естественно вошли в труппу нашего театра. По принятым сейчас меркам их можно отнести к среднему поколению. Они были близкими друзьями еще в институте. Их появление, совпавшее, кстати, с появлением энергичного, оригинального режиссера Олега Владимировича Чуйко, обрадовало и коллектив, и всю околотеатральную общественность. Дело в том, что в те годы наметился легкий спад художественной активности у нас в Урядьеве. Публика, это парадоксально, будучи невежественной, была одновременно чопорной, гонорливой. Станислав Борисович и Антон Антонович, обладая молодыми, свежими сердцами, внесли в будни театра необходимое зубоскальство, смешливость, энергию — словом, жизнь. В личном плане они примерно около года бедокурили, но не чрезмерно и, так сказать, талантливо. Урядьевцы смотрели на их выходки почти ласково, ценя молодечество, выдумку и пр. Причем в ту пору очень остро стояла проблема засидевшихся невест, несмотря на то что тогдашние комсомольские веяния выманили часть девиц из-под родительского крылышка на стройки и в институты, да, кроме того, распространялись современные взгляды на брак и семейную жизнь. Но даже с учетом этих факторов, много было одиноких и несчастных особ прекрасного пола.

Станислав Борисович и Антон Антонович к своим артистическим талантам вдобавок имели много других. Оба они отлично играли в преферанс и были большие не дураки выпить вина. В квартире, которую они снимали на двоих, часто устраивались вечеринки, звучала музыка, шутка, девушки летели туда, как бабочки на огонь. Потом молодые люди женились, ходили слухи, что эти женитьбы были слегка вынужденными. Лично я не вижу ничего плохого в том, что женщина вступает в связь с мужчиной, который ей симпатичен, и не требует от него немедленного заключения официального союза.

Брак не самым лучшим способом повлиял на наших молодых людей. Если в начале своей, так сказать, карьеры они веселились, включая в круг своего веселья и выпивку, то теперь они стали злоупотреблять спиртным, покатались по наклонной плоскости. Если они раньше играли пусть и не главные, но все важные роли, роли, требующие не столько души и страсти, сколько гимнастики, фехтования и зычного голоса, то теперь стали выступать в ролях вполне второстепенных, в тех, что обозначаются в конце списка действующих лиц словами: горожане, солдаты, моряки, партизаны, слуги — словом, народ.

Бабинский стал неудержимо толстеть, а Трусевич — сохнуть. В театре они продолжают держаться, не мыслят без него своей жизни. В одной из последних постановок Станиславу Борисовичу дали роль жандарма в «Ревизоре», и он своим внезапным, пугающим появлением и угрожающим выражением глаз создавал вполне убедительную немую сцену.

У них у обоих выросли дети, я затрудняюсь рассмотреть в них что-нибудь замечательное. Может быть, мне мешает высота моего возраста, не знаю, ведь, кажется, вознося, она должна вооружать мудростью.

Грустная это картина, невыразимо грустная, наблюдать, как пожирает живую, оригинальную натуру тина неизбежного тусклого однообразия. Может быть, только герой может разорвать ее, не отдать ей своего я. Но ведь не бывает же так, что-

бы все население состояло из героев. Эти вопросы крайне тяжелы, но задаешь их себе, задаешь.

Разговор о молодом поколении мне бы хотелось начать с Револьта Матвеевича Евхуты. Он тоже характерная фигура, на его примере можно ярко продемонстрировать пути развития нашего театра, трудность его нынешнего положения. Актер он молодой, еще даже не успевший сыграть ни одной роли. Хотя как человек вполне зрел и даже солиден. У нас в Урядьеве он появился всего год назад, приехав на жительство к своему двоюродному брату Андрею Андреевичу Крушеницкому, директору нашего славного совхоза-техникума. Револьт Матвеевич проявил себя отличным работником и быстро стал заведующим автомеханическим отделением. Его путь в театр начался с близкого знакомства со Станиславом Борисовичем и Антоном Антоновичем. Как-то вместе с ними он зашел на репетицию, и ему, видимо, понравилась атмосфера активной творческой жизни, он ощутил смутное желание реализоваться в качестве актера. До сих пор у него такого желания не возникало. Между тем многие отметили его несомненные лицедейские способности. Всех очень рассмешил и убедил в том, что Револьт Матвеевич создан для театра, случай, произошедший с ним во время армейских сборов. Надо сказать, что Револьт Матвеевич, при могучих плечах и очень большой физической силе, обладал крайне невысоким ростом. Это его, кажется, не огорчало, он подчас умело пользовался этим своим недостатком. А когда ему нужно было произвести впечатление человека крупного, он запускал на всю мощь другие свои способности. Потому что голос у него был — труба, речь — бритва, кулаки — молоты. Так вот, оказавшись вместе с новыми друзьями — Станиславом Борисовичем и Антоном Антоновичем — на этих самых пресловутых сборах, Револьт Матвеевич повел разудалую, веселую жизнь, подключив к ней и своих приятелей. Вскорости не стало совсем денег, накатывались мрачные времена, и тогда Револьту Матвеевичу пришла в голову изумительная мысль. Револьт Матвеевич вспомнил, что неподалеку от места сборов у него проживает бабка, любившая его в детстве до безумия. Он явля-

ется к бабушке, рыдает, она спрашивает: «В чем дело, Рева-корова?» И он рассказывает ей ужасную повесть о том, что призван в кавалерию, но ему не могут подобрать лошади по росту, все казенные жеребцы слишком велики. И ему приходится бегом бегать за своим эскадроном. «Что же делать?» — спросила бабушка. Револют Матвеевич, как говорят свидетели, очень естественным тоном заявил, что ему нужен пони, а за пони против государственных расценок надо сто рублей доплачивать за экзотику. На эти сто рублей друзья довольно сносно провели остаток службы.

История, взалхлеб рассказанная его друзьями в городе, доставила Революту Матвеевичу некоторую известность, и теперь уж не могло быть никаких сомнений относительно его способности быть полезным нашему театру.

ГЛАВА 4

1

Богдан Маланчик открыл глаза, но был принужден немедленно их закрыть — смотреть на первых порах было больно. Да, собственно говоря, и не на что было смотреть. За окном, на постылые уже сквер и гастронном, сеялся мелкий, нудный дождь. Голое окно со следами недавнего ремонта открывало труднопереносимую перспективу провинциальной тоски. Примерно с третьего раза Богдан сумел открыть глаза совсем. И продолжал лежать в том же самом положении, в котором проснулся. Пошевелиться он не рискнул и поэтому не мог сказать, есть ли кто-нибудь еще в комнате или нет. В его мозгу еще не началась тревожная и кропотливая работа по реставрации картины вчерашнего дня, работа, столь усугубляющая известный синдром. Еще даже не проснулось неопределенное чувство вины, которое обычно подталкивает брезгливо упирающуюся память к этой процедуре. Богдан чувствовал себя новорожденным, и было у него в этой новой жизни только одно огромное немывтое окно и одно табу — ни в коем случае не шевелиться, ибо пока и тошнота, и головная боль, и страх

практически бездействовали, думая, что он спит. «Богдан, Бог-дан», — пролепетал бесшумно Богдан, и был за это наказан — ему захотелось пить. Сильно. Очень сильно. Он не знал, где тут поблизости вода, и на него напала паника. Он немного повертел головой и с удивлением обнаружил, что лежит не на боку, как думал, а на спине. На подоконнике стоял графин. Вода навряд ли там была свежая, но Богдан бодро приподнялся и, энергично помотав головой (напрасно), встал и двинулся к графину. По пути он завернул к столу в надежде добыть стакан, рядом со стаканом стояло радио, которое он автоматически включил и ворвался в центр песни «Хотят ли русские войны». Взяв стакан, он направился к подоконнику. Когда он взял графин за горлышко, то ему захотелось узнать, есть ли кто-нибудь еще в комнате. Он обернулся. На кровати, с которой он только что спрыгнул, лежало еще два человека, причем оба не спали и внимательнейшим образом следили за ним, за Богданом. Третий не спал, лежа на голом тюфяке у двери. Богдан не стал играть в гляделки и разводить разговоры, а попробовал налить себе воды. Начинал он это дело раза три, и каждый раз, когда вода начинала булькать в горлышке, он вдруг отдергивал графин и внимательно рассматривал его на свет. Наконец он вообще поставил графин на место и затравленно обернулся к кровати.

— Ты что? — хрипло, но сочувственно спросил Андрей.

— Там, — Маланчик показал на графин, — кто-то говорит «быть-быть-быть»!

Андрей, кряхтя и вздыхая, как будто недовольный размерами своего тела, сполз с кровати и тоже подошел к окну. Уверенно налил себе серой воды и, немного кривясь, выпил. Налил Богдану, тот тоже выпил и сразу повеселел, совершил несколько танцевальных притопов вправо по комнате, а потом влево, крутнулся перед радиоточкой, продолжавшей исполнение все той же песни, и, сказав: «О, котятки русские проснулись», мягко рухнул на свое место.

— Старые дрожжи, — сказал Андрей и налил себе второй стакан.

— Я пойду домой, — негромко просвистел осипшим горлом Вавилов-младший и стал совершать движения,

направленные на то, чтобы покинуть широкую очень кровать.

— У тебя племянницу вчера украли,— сказал Андрей, допивая второй стакан и морщась от страшного сигаретного перегара, которым разило со стола из множества самодельных пепельниц.— Слушай, Кузя, а чего у тебя рожа вся побитая, ты же не вставал с кровати? — Андрей попытался заглянуть в глаза качающегося парня.— Ты же не ходил с нами!

Вавилов, ничего не отвечая, поискал по комнате что-то — не предметы своего туалета, потому что все предметы были на нем, и даже шнурки завязаны. На лице его видны были непонятной природы царапины и кровоподтеки. Юноша не имел намерения вступать в разговоры. Нетвердой, но уверенной походкой он покинул комнату. Когда дверь захлопнулась, в коридоре раздались внезапные рыдания, постепенно удаляющиеся по коридору.

Шапырин продолжал лежать на своем матрасе. Рядом на стуле висел его пиджак, рядом же стояли аккуратные туфли. И вообще имелись явные следы подготовки ко сну. Андрей выпил третий стакан воды, глядя на своего друга.

— Знаешь, что мне непонятно?

Ответа не последовало. В графине уже не осталось воды, Андрей поболтал им на всякий случай, поставил на подоконник и отвернулся, очевидно чтобы полюбоваться видом из окна. Капли бесшумно лепились на стекло. Порывы ветра были так сильны, что некоторые капли текли не обреченно вниз, а нервно вверх.

— Пойдем домой?

— Я еще полежу,— болезненным голосом ответил Шапырин.

Андрей на несколько секунд задержался в проеме двери, исподлобья глядя в сторону мучающегося друга, потом вышел.

2

Довольно долго в комнате сохранялась полнейшая тишина. Маланчик продолжал лежать у стены в неловой позе, выражение лица у него было скорбное. Он не спал, внутри у него все было сдавлено ощущением ог-

ромного и нелепого несчастья, в которое он непонятным пока для себя способом влип. Не надо было пить, не надо! Теперь можно было опасаться любых последствий, мало ли — вдруг и милиция. Неприятности спокойно могли перехлестнуть и в профессиональную сферу. Пьяный дебош и пляски голых девок на столе в первый же по приезду день вряд ли будут способствовать укреплению его репутации. Неужели все погибло?! Послышались шаги по коридору, и Богдан поглубже втянул голову, не имея сил переменить свою невыигрышную позу. Раздался деликатный, костяшкой одного пальца, стук в дверь. «А еще ребенка украли», — с дополнительным ужасом подумал Маланчик.

— Я здесь, — довольно громко сказал он, теряя ориентировку в реальности.

Дверь спокойно отворилась.

— Любуйтесь, вот, — послышался отвратительный женский голос, — а навонючили-то, навонючили, ма-ма родная. А еще в театр приехал.

Рядом с вахтершей, крупной пожилой женщиной, стоял, конечно, милиционер, очень вероятно, вызванный сюда не столько бдительной работницей общежития, сколько болезненным воображением похмельного режиссера. Милиционер вел себя по-мужски — молчал пока.

— Да, — сказал Богдан, вдруг резко поднимаясь на непослушных ногах, — приехал я в театр и буду ставить спектакли, понятно? — с замиранием сердца говорил режиссер, зная, что изложение его творческих планов могут в любую секунду как-нибудь грубо оборвать.

— Успокойтесь, — улыбнулся милиционер, входя в комнату и закрывая за собой дверь, рассекая таким образом возникавший скандал надвое, — вахтерша осталась в коридоре. Милиционер неторопливо пересек комнату по направлению к окну. По пути он окинул следы вчерашнего дружеского заседания очень опытным оком. При виде его свежей подтянутости Богдану казалось особенно отвратительным собственное состояние. И он решил прокашляться, чтобы хоть голосом владеть в полной мере. Страж порядка довольно долго и вполне меланхолично созерцал картину дождя. Наконец обернулся и представился:

— Младший лейтенант Оконечный.

Молодые люди тоже кое-как представились. Причем Шапырин продолжал лежать, и это не злило — было

видно, что лежит он не от наглости, а по временной немоши.

— Все ли в полном порядке? — спросил представитель властей, и рыжая щеточка усов неопределенно подергалась. Богдан стал что-то виновато мычать, разводя при этом руками и делая заискивающие глаза.

— Успокойтесь, — чтобы волноваться, поводов вам нет.

Режиссер несколько секунд думал и, решив, что никакого подвоха в этих словах не имеется, стал понимающе, а потом даже радостно кивать. И даже — вышло это совершенно произвольно — подмигнул. Младший лейтенант отвернулся к окну, как бы не заметив этого некорректного проявления дружелюбия.

— Это просто долг службы, — задумчиво сказал он, и это выглядело почти поэтично на фоне дождливого окна, — но приборочку я бы на вашем месте все же бы сделал немедленно. И просьба не ссориться с работниками вахты, — он уже опять смотрел в глаза Маланчику, — надеюсь, мы с вами договорились.

— Договорились, — нестройным хором отвечали похмельные.

Когда младший лейтенант ушел, Маланчик рухнул на кровать и некоторое время лежал неподвижно. Но уже минут через десять данное милиции обещание растормошило его, заставило встать и приступить к «приборке». За этим занятием режиссер стал невероятно разговорчив. Он рассказывал неподвижному Шапырину о своих страхах и о том, какое он испытал облегчение, когда выяснилось, что милиция здесь человеческая.

— Хватит, — громко объявил он, — хватит пьянствовать и дебоширить. Ведь так тянет работать, работать, работать. Скорей бы первое сентября. Для артиста отдых непереносим. Сколько замыслов, чудеснейших замыслов!

Протирая стол, Маланчик вдруг прервал свой монолог. Что-то почувывший слушатель осторожно отвернулся к стене.

— Послушай, Вить, у меня тут что-то странное в голове. Одно на другое налазит. И вообще же, ох-хо-хо, перебрал так перебрал. Так вот я хотел спросить — ты не помнишь наш вчерашний разговор?

Шапырин отрицательно подвигал головой.

— Да нет, — обращаясь к его затылку, продолжал распаляющийся Богдан, — уже по дороге, ведь это ты

мне говорил что-то... вот я и не могу... что-то про актера... не помнишь?

Собеседник лежал неподвижно, и вид всей его фигуры был отрицательный.

— Что во всякой пьесе есть такой актер, то есть роль, которая как бы мотор, как ключ. Роль-причина, кажется, или как ты еще говорил. Не обязательно главный персонаж. Неужели не помнишь? Очень богатая мысль. Она меня вчера прямо — ых! — потрясла. Неужели так и не вспомнишь? Там вся суть была в деталях. Ты еще говорил — в таком персонаже вся условность, в него как бы как в перчатку рука автора вставлена, без него бы пьеса не шла, несмотря на все остальные характеры. Я и не знал, что ты интересуешься театром.

— Ты что-то путаешь, — прогудел в угол Шапырин.

— Да что ты! Разве я мог, я же... В том и дело, что не путаю, просто плохо помню. Как будто приснилось, только я, конечно, знаю, что не приснилось, но похоже. Приснится красивое, а проснешься, и не можешь вспомнить детали. Да, да, помнишь, монах в Ромео и Джульетте, трагедии не вышло бы, если бы он не придумал поддельную смерть. Нелепая выдумка. И менее нелепую нельзя, иначе не сходятся концы с концами.

— Какие концы?!

— Ну, это ты так говорил. У каждой пьесы есть пуповина, вот-вот именно — пуповина, в том смысле, что видно, где она крепилась... Или Яго. Обида, конечно, есть, не его назначили. Но причина очень маленькая, единственный неестественный характер в пьесе. Он единственный, у кого основание — он сам, тут скрывается автор.

Шапырин нехотя повернулся к приборщику:

— Ты послушал бы себя со стороны. Такое могло только присниться.

— Да что ты! Неужели правда ничего не помнишь? Ну ты еще красиво сказал, что-то про возвращение Тесея, когда забыли парус поменять, во всем виноват какой-то там корабел, такие подставные корабелы и спасают пьесы. Даже, ты говорил, Кочкарев...

— А что Кочкарев?

— Не бывает таких людей...

— Да никаких людей не бывает.

— Нет, ты пойми, какая сильнейшая мысль... толь-

ко я никак не могу сформулировать. Чем больше вспоминаю, тем сильнее голова болит.

— Выбрось все это из головы к чертям собачьим, эту свою мысль. Ничего в ней нету особенного. И не надо ее навязывать мне... Или ложись спать, может быть, она тебе снова приснится.

Маланчик сильно ударил себя головой по лбу:

— Ничего больше не могу вспомнить. Мы с тобой шли... нет, ничего! Сразу после паруса, сразу после него. Не могу. Чего ты так улыбаешься, не спал я, вернее, не во сне, если у тебя память отшибло, то нечего смеяться.

— И какое ты собираешься из этой сильнейшей мысли сделать употребление?

— Осип! Особенно Осип. Это же очень важно — Осип. Но это только перед самым важным, это еще не самое важное.

— Я устал. Посплю еще.

— Бывало, что боги... например, Аполлон Оресту... но грекам можно, законная божественная причина.

— Аполлона в Урядеве нельзя применять.

Богдан, ничего не отвечая, странно горящими глазами вперился в Шапырина, у того на губах появилась вынужденная улыбка.

— Слушай, а ты хоть читал Эсхила-то?

— Пытался, — Маланчик потупился, — вот тебе и еще одно доказательство. Ведь не читал, откуда же мне знать про Аполлона.

— Чудо, друг, это настоящее чудо!

Маланчик схватился за голову:

— У меня разломится голова, если я не вспомню!

— Вот и пожалей голову. Да принеси мне воды, ради бога, раз уж все равно встал.

— Это все вокруг да около. Все неважное запомнил... А почему-то притворяешься, что ничего не помнишь?

— Потому что ничего не помню.

3

Как только Маланчик с большим ворохом мусора вышел в коридор, в комнату влетела странно одетая девушка.

— Э-ей,— тихонько крикнула она, никого не замечая,— здесь что, никого нету, что ли?

— Ты чего притащилась? — очень недовольно и неприязненно спросил Шапырин из закутка, образованного открывшейся дверью. Заглянув за эту дверь, девушка почти мужским голосом сказала:

— Вот он, мой птенчик. Кто тебя сюда положил спать? Тут же пыльно и скучно.

— Пошла вон,— прошипел Шапырин и неловко лягнул гостью, та отпрыгнула и захохотала еще громче. Можно было понять, что они неплохо знают друг друга. Маланчику, возвращавшемуся после расправы с мусором, слышалась явная демоническая нотка в этом смехе, очень усиленная и здешней старинной акустикой, и похмельной готовностью режиссерского мозга ко всему ужасному. Он приостановился.

— Слушай меня внимательно,— быстро и тихо говорил Шапырин,— отправляйся туда, куда я тебя поселил, и сиди там до завтрашнего полдня. Не такое уж трудное задание. Потом поговорим.

— А мне нельзя туда,— беззаботно объявила гостья, игриво походкою прошла до окна и взгромодилась на подоконник.— Меня выгнали. Простому народу я непонятна. Меня отторгли, как инородную ткань.

Шапырин не мог на нее, по всей видимости, смотреть без раздражения. Хотя, объективно говоря, Ундина была очень даже привлекательна. Определенная странность, имевшаяся в ее облике, старательно ею подчеркивалась. Если светловолосая девица с жгуче черными глазами надевает грубый коричневый свитер ужасной длины и не вполне одинаковые туфли, старается говорить басом, не чистит ногти никогда, носит громадный медальон на железной цепочке и распевает песенки по-английски, то конечно же сразу появляется ощущение необычности. Когда ее пристраивали на ночлег к богомольной старушке на окраине города, у Шапырина было неспокойно на душе.

— Что произошло? — спросил он, болезненно морщась.

— Ты так быстро меня спровадил...

— Что произошло?!

— Меня называли поганью и другое в том же роде.

— Что ты там натворила?

— Здравствуйте,— сказала Ундина, спрыгивая с по-

доконника и подавая руку вошедшему Маланчику; несмотря на довольно массивную фигуру, проделала она это почти грациозно,— меня зовут Ундина.

— Катька ее зовут,— усмехнулся со своего места Шапырин,— ты ведь даже не знаешь, откуда своровала это имя. Ты ведь ни одной нормальной книжки не прочитала за последние десять лет.

— Пусть говорят, что Катька, а вы делайте вид, что этого не знаете, ладно? Для вас я Ундина.

Маланчику трудно было сразу сориентироваться, и он даже не пытался вникнуть в суть препирательств между Ундиной и Шапыриным. Его вдруг стали очень стеснять голые ноги, торчащие из-под халата, он страдал от нелепости этого наряда.

— А ты, Застава, ошибаешься. Робинзоном Крузо я баловалась вот давеча и сценарий последнего «Ну, погоди!» достала...

Говоря это, она неотрывно глядела на Богдана и явно старалась придать своему взгляду особенную значительность... Вопиющая экзотичность этой девушки очень ощущалась Маланчиком. Еще бы, такие белые волосы до плеч, и эта бечевка на лбу, а на медальоне, мохнатом как соболь в разрезе, сверкает что-то красное, похожее немного на свастику.

— Присаживайтесь,— воспитанно предложил Маланчик,— может быть, чайком?..

— Что? — спросила Ундина, усаживаясь и не сводя с хозяина глаз.

— Побалуемся.

— А вы баловник? — вроде бы и лукаво, но вместе с тем и настороженно спросила гостя.

Шапырин захохотал нездоровым, грубым хохотом: «Корова!» Гостя не обратила на этот смех никакого внимания. Кстати, Маланчик тоже не обратил: у них с Ундиной уже шел какой-то диалог. Шапырин, хныкая и кряхтя, стал подниматься. Когда он, умывшись, вернулся в комнату, Ундина уже довольно нахально выпрашивала себе роль в новом спектакле Маланчика. Видно, режиссер не удержался и все про себя рассказал.

— Вы не можете мне отказать. Репетировать можно начать прямо сейчас.

Ундина быстро ходила по комнате, очень возможно, отыскивая место, на котором ей удобнее всего было бы начать. Она проявляла энергичность, вряд ли когда-ли-

бо виденную Богданом, и по лицу его было заметно, что он уже сказал себе предупреждающее «погоди, Богдан». Смотрел он все более непрямо, налегая на свой белорусский акцент, чтобы на него свалить ответственность за уклончивость своих ответов.

— Ну што вам сказаць, будем глядзець,— к тому же он старался встать так, чтобы как-то скрыть свои волосатые ноги. Ундине же было необходимо, разговаривая, смотреть прямо в лицо собеседнику. В результате их беседа сопровождалась сложными перемещениями вокруг стола.

— Если понадобится, я могу играть и обнаженной,— сказала гостя и взялась за край своего свитера.

— Да зачем вы это,— тоскливо отвечал Маланчик, предпочитая сырое серое окно.

— Хватит, Катя! У нас нет настроения шутить. Ясно?

— А я и не шучу, я просто стараюсь, как поклевше. То, что он мне рассказал,— она показала на Маланчика, окончательно увлекшегося видом из окна,— скука смертная. Нужна «Королевская охота», чтобы собаки, например, вылетали с лаем... здесь есть ведь псарь, и травили оленя. Олени есть, мне попадались по дороге.

— А чья это пьеса? — спросил режиссер.

— Да ничья. Но ведь надо что-то делать, Богдан. Питер Брук ездил к неграм, а тут и ездить не надо. Массовый абориген тут на месте. Ну что вы задумались, режиссер. Жизнь вообще один большой хеппенинг.

Ундина подступила вплотную, и прижатый к подоконнику Богдан набычился и насупился. Может быть, он задумался, а может быть, находился в ярости.

Шапырин, подойдя сзади, резко дернул Ундину за руку, так, что она от неожиданности даже щелкнула зубами, прикусив свою очередную мысль. Шапырин швырнул даму на свой тюфяк и погрозил кулаком.

— Не лезь, не надо здесь ничего демонстрировать, забалтывать будешь своих идиотов. Надоела, понятно?

— Молчу, молчу,— замахала она руками. И несколько секунд сидела, молча оглядываясь.— А давайте, я вам что-нибудь приготовлю, я недавно по случаю научилась жарить сырники...— Шапырин мгновенно швырнул в нее пустым пакетом, он ударился над ее головой о

стену, несколько капель осыпали ее чело, и Ундина приняла серьезный, даже торжественный вид.

— Я твоя тень, Витя,— сказала она, указывая на молочные следы у себя на лице.

Шапырин потрогал родимое пятно.

— Катя, ты нудная, неостроумная, хватит стараться, все понятно, отдохни, ты поняла?

Несколько солнечных лучей, внезапно пропущенных пеленою облаков, преобразили улицу. Возникло несколько зеркальных плоскостей, немногочисленные прохожие стали видны как на ладони.

— Адам Аркадьевич,— оживился Богдан,— вон видишь, у магазина.

— А я его знаю, это сосед Андрея, мы с ним здороваемся.

— Приятнейший человек, настоящий провинциальный интеллигент. Он пишет историю местного театра.

— А я тоже его знаю.— Ундина, подпрыгивая, старалась посмотреть поверх мужских спин.— Это вон тот с лысиной? Очень въедливый старикан.

Подъехал автобус по сверкающему асфальту и сглотнул Адама Аркадьевича, который только и успел, что тряхнуть собранным зонтом.

— Откуда ты-то его знаешь?

— Сегодня утром мы с ним очень долго беседовали.

Шапырин, зажмурившись, помотал головой.

— И о чем? Я не представляю, чтобы ты кому-нибудь для чего-нибудь была нужна.

— Ой мы какие серьезные, какие мы таинственные, сам-то ты что из себя изображаешь?!

— Пошли!

— Куда?

— С бабушкой мириться. Если не хочешь, отправляйся к чертям собачьим за своей бандой. Как приехала, так и уедешь! — И Шапырин решительно вышел из комнаты.

Ундина сделала режиссеру милую гримаску и довольно торопливо последовала за Шапыриным.

— Чего ты разорался, а? Какой сердитый, раньше ты был чуточку иной,— тараторила Ундина, сбегая вниз по лестнице вслед за своим решительным другом.

И вот они уже во дворе перед огородом. Ночной огород казался больше и гуще нынешнего солнечного; свер-

кал мокрый булыжник. Кошка кралась от одного подвального окна к другому.

Шапырин резко остановился, спутница налетела на него.

— Чего они тебе сделали?

— Кто — они?

— Ну, я... и ребята.

— А-а, да ничего, понимаешь, ничего, мне стал противен сам факт вашего существования. Запомни раз и навсегда, я никому не мешаю жить, и вам в том числе. Но вы — плесень, рвань, вы все и все, что вы делаете, вызываете у меня непреодолимое гадливое чувство.

— Но ты же сам...

— Вот именно. Господи, бормочут все время о какой-то философии, липкие прыщавые подростки с громадным самомнением и тупым презрением ко всем нормальным человеческим... Пошли.

— Куда?

— К бабушке. Которой ты наверняка страшно нахамила. Будешь извиняться за свою выходку.

— Она жадная и злая.

— Ну, это мы еще посмотрим!

— Ничего не посмотрим, не пойду я никуда.

— А где ты собираешься жить?

— С тобой, я буду вам стирать и готовить.

— Во, видала, — Шапырин показал ей решительную фигуру. — У меня здесь дела. Очень, очень важные...

— Этот дядечка тоже так думает.

— Какой? Этот лысый? Так ты с ним обо мне говорила? И что же?

— Ты его вообще очень интересуешь.

— Ну-ну, давай, давай выкладывай.

— Он просил, чтобы я никому не рассказывала...

— Ну, я жду, чего ему было нужно?

— Он спросил, знала ли я тебя в Москве. И чем ты там занимался, очень хотел знать.

— И что ты ему сказала?

— Правду — что ты был там моим любовником и подло меня бросил.

— Ага, это самое главное из того, что у меня случилось в жизни. Ну и пусть он так думает.

— Он в чем-то тебя подозревает, все хотел чего-нибудь выпытать, спрашивал о твоих родителях.

— А что, собственно, можно рассказать о моих родителях?

— То-то и рассказала, что такие они вот...— она сделала обобщающий жест руками,— и про нашу общагу кое-что, но немного...

Шапырин отвернулся, махнув рукой.

— Оттого что один лысый черт здесь, в Урядье, знает об этом нашем гноилище и о том, что Витя Шапырин отличался в разврате три года назад, не может произойти никаких неприятностей.

— Он считает тебя интересным человеком.

— Ладно, пошли.

— Ну я же сказала, что не пойду.

— Пошли, корова.

— Не смей так меня называть!

— А как тебя еще называть?

— К этой старой крысе я не пойду, к себе ты не хочешь пускать, обольстить этого в халате не дал... Знаешь, я пока погуляю по городу... потом сама что-нибудь придумаю.

— Поезжай домой, я тебе куплю билет, я скоро здесь все закончу, приеду, и мы поговорим.

— А с чего ты взял, что я так страшно хочу с тобой поговорить?

Лицо Шапырина налилось кровью, но он ничего не сказал, и ярость его ни в чем больше не проявилась.

— До свидания, милый, пошла я, глупая, не сердись на меня.— Ундина очень ласково улыбнулась другу и, завернув за угол общежития, скрылась из глаз.

Он остался стоять рядом с картофельным огородом.

ГЛАВА 5

1

Придя домой, Андрей выпил литр простокваши, почистил зубы и лег спать. Проспал он часов четырнадцать и проснулся на рассвете. В доме было тихо. Андрею хотелось пить—это был последний симптом перепоя, в остальном его организм ощущал себя здоровым и свежим. Андрей бесшумно встал и в одних трусах босиком прошлепал на кухню. Ему не хотелось ни с кем

встречаться, и он насупился, увидев мать, которая, раскатав по столу тесто, нарезала его стаканом для пельменей.

Андрей поздоровался, выпил большую кружку воды, сбегал до ветру и собирался уже скользнуть обратно в свою комнату, как Ольга Лукинична, не поворачивая к нему головы и продолжая методично дырять кусок теста, спросила его:

— Где же твой друг?

— Там,— Андрей мотнул головой примерно в направлении центра города,— остался.

— Сядь, сынок,— сказала Ольга Лукинична, отставляя стакан и вытирая фартуком белые руки.

Андрей сел и поглядел в окно. Закричали петухи, легкой прохладой тянуло сквозь марлю из окна. Деревья и кусты, как обычно в такой час, были преувеличенно реальны.

— Ты что, не ложились сегодня?

— Не спится мне в последнее время, сынок.

Сынок поморщился, но ничего не сказал. Он знал, что все эти разговоры с матерью — бесполезное и болезненное занятие, сейчас она заплачет и начнет говорить какую-нибудь ерунду, которая тем не менее жалит.

— Скажи мне, Андрюша, а твой друг, он хороший человек?

— Что за вопрос такой? Что он тебе сделал плохого? Бросил все свои дела, приехал со мной. Никто больше, понимаешь, не смог, а он слова не сказал, собрался и поехал.

— Это я все понимаю, но только — ты уж извини, просто материнское сердце, оно чувствует — сомнение у меня к нему.

— Какое сомнение, ты мне скажи, я все выясню, хотя, скорей всего, так это у тебя от переживаний.

— И от переживаний.— Ольга Лукинична сидела напротив сына, скорбно положив руки на колени, и вся поза была у нее обессиленная, и особенно измученным выглядело лицо.— Если б ты знал!

— Мам, мы уже говорили-переговорили на эту тему, не мучай себя и меня. Не надо. И выбрось из головы все дурацкие сомнения, выбрось.

— Как же «выбрось», вот Револьт его просто ненавидит.

— Да? А за что?

— Не говорит. Ругается, страшно ругается, но молчит. Револют мне все ж, как-никак...

— Да никак. Не знаю, чего он здесь торчит, если уж на то пошло. Я бы на его месте отъехал бы куда-нибудь.

— То есть как отъехал? А работа? Отец его сюда сам позвал. Зачем ему уезжать. Дом вон какой, ты же учишься, а мне что, одной тут?

— Ну ладно, ладно. Решай сама, мое тут дело маленькое, хотя Революта твоего я не люблю. И насчет Шапырина он дурак, привык командовать, а тут ему... в общем, не покомандуешь, вот он и скрипит зубами. Знаешь, не показалось мне, что он из-за отца очень-то убивался. Не заметил я, уж извини. Приехал, получается, на готовенькое, хапнул все, и еще ему мой друг почему-то не нравится, кривоносый!

— Да что хапнул, ты ровно с чужого голоса поешь. Отец его сюда зазывал, потому что специалист он хороший и человек прямой. А что до того, чтобы убиваться, ты видеть не мог, тебя-то здесь не было.

Андрей резко встал.

— Мы же договорились, я же все объяснял, двадцать раз объяснял!

Ольга Лукинична отвернулась и уткнулась лицом в фартук. Андрей стремительно ушел к себе.

— Поешь,— прошептала ему мать, но он, скорей всего, не услышал.

Минут через двадцать, когда Андрей, покинув дом, отправился в неизвестном направлении, на кухне появился Револют. Ольга Лукинична уже не плакала, но и не думала возвращаться к пельменям.

— Говорила?— спросил Револют.— Что он сказал? Ничего не признает? Он хороший, а я, значит, плохой, да?

— Андрей за что-то на тебя сердит.

— А ты не знаешь— почему? Я же тебе объяснял. Объяснял? Приползла эта гадина, и все пошло вверх дном. С племянником, как я понимаю, сейчас говорить бесполезно. Чем-то сильно он его взял, глубоко. Да только ничего еще не поздно, я приму свои меры.

— Может, ты зря так, а? Может, подождем, когда он уедет, да и все.

— Ну не причитай, не причитай.— Револют выдавил из тубика пасту и оскалил зубы.— Ты не понимаешь, если он уедет, то все. Проиграли, надо его здесь, здесь вывести на чистую воду.

2

Юра, доедая на ходу бутерброд с колбасой, попрощался с отцом и сестренкой и быстрым шагом пошел к калитке. За воротами сигнализировал автобус, собирающий по домам первую смену.

Светлана молча долила себе кипятка в жиденькую заварку. Облик ее мало чем отличался от обычного, все строго, аккуратно, и выражение лица у нее было как всегда, разве что чувствовалась в ней какая-то особенная сосредоточенность. Все было, как всегда, только сердце у Сергея Николаевича было не на месте. Он уже окончательно про себя решил — есть какой-то секрет, может быть, даже неприятный, может быть, даже тяжелый. Он был готов ко всему, мучала неопределенность. Он в сотый раз в мельчайших деталях воспроизводил свои разговоры с Андреем Крушеницким и этим его странноватым другом и свой, надо прямо сказать, истеричный визит к Волотовскому. Он, как карты, тасовал несколько десятков вопросов, ответов, нюансов, умолчаний, интонаций, наблюдений, из которых состояли эти визиты и разговоры, раскладывал, но пасьянс не сходился. Правда, к кое-каким выводам он все же пришел: он, например, довольно легко вывел из числа «подозреваемых» своего старинного друга Волотовского. Он был, разумеется, способен на любую гадость, любое предательство, но только в том случае, если это ему было выгодно. И поскольку нынешнее состояние Светланы ему совершенно невыгодно — значит, остаются эти двое. Там что-то есть, там что-то есть! Сергей Николаевич двумя глотками допил свой чай. Света встала и начала молча прибирать со стола. Она стояла спиной к отцу, он внимательно следил за каждым ее движением, таким ловким, таким изящным. У него неожиданно и против воли поднялась в груди болезненная волна. Он переждал ее прилив и сказал:

— Света, я хочу у тебя кое-что спросить.

Она продолжала мыть посуду, но в ее движениях об-

наружилась ясная стесненность, они стали как бы немного механическими.

— У тебя действительно ничего нет с этим, с Андреем? Мне достаточно твоего слова. Я сам вижу, что он тебе неприятен. Но может быть, что-то было, случайно, или... Пойми, мне не следовало бы, но мне больно видеть все это...

— Папа, я тебя прошу, не надо!

— Света...

Она молча поставила тарелку на мойку, не оборачиваясь, вышла из кухни. Сергей Николаевич неторопливо, но все равно нервно закурил папиросу.

3

Когда в дверь постучали, Богдан поморщился, как от зубной боли, хотя на этот раз в его жилище все было в высшей степени благопристойно — середину стола занимала пара полупустых кефирных бутылок, на листе торговой бумаги лежала аккуратно нарезанная колбаса и белый хлеб. Режиссер с новым другом завтракали. Богдан совершенно оправился от недавнего приключения, его взгляд приобрел прежнюю искрометность, а движения — легкость. Лицо же Шапырина все еще хранило следы страшной усталости. Речь его была вяловатая, незаинтересованная, и он не без труда удерживался на том интеллектуальном и энергетическом уровне, на который разговор был поднят Богданом. Он, надо сказать, даже обрадовался гостю как возможной передышке.

Вошедшего Андрея сразу пригласили к столу. Он для приличия прожевал кусок колбасы и стал вместе с Шапыриным слушать прожектерские речи Богдана. Предмет разговора был для Андрея крайне туманен, в голове у него было только невнятное намерение поговорить с Шапыриным. За последние два дня накопилось довольно много такого, что нуждалось в обсуждении, по поводу чего он был не в состоянии самостоятельно выработать точку зрения. В поведении Шапырина не чувствовалось ни малейшего беспокойства или нетерпения, он вяло отвечал на реплики страшно говорливого режиссера и с видимым удовольствием потягивал свой кефир. Андрей, поняв, что так может продолжаться до беско-

нечности, не желая терпеть долее, перебивая Маланчика, грубо спросил обоих сотрапезников сразу:

— Ну что вы думаете насчет вчерашнего?

Он ждал, что столь решительный вопрос повергнет всех хотя бы в смущение, но вышло не так. Шапырин не отреагировал, а Маланчик быстренько махнул рукой и быстро сказал:

— Галлюцинация. Перебрали мы очень. Или сторож...

Шапырин продолжал пить кефир.

— Да нет там никакого сторожа,— сказал Андрей, и Маланчик неохотно задумался в ответ на это замечание.

— Не бывает, чтобы галлюцинацию видели сразу трое,— наконец вступил в разговор Шапырин.

— Массовая галлюцинация,— нашелся Маланчик.— Какое еще может быть объяснение, посудите сами. Мертвец это был, что ли? Ты это хочешь сказать, Андрей, да?

Поморщившись, Андрей отвернулся.

— Тут какая-то загадка,— без всякого энтузиазма сказал Шапырин.

— Ой-ей-ей! — почему-то обиженно, почему-то принимая последнее замечание на свой счет, проговорил Богдан.— Не надо выдумывать! Какой-нибудь хромой черт забрел на кладбище и решил погреться, развел костерок.

— Тепло было,— заметил Шапырин.

— Ну тогда, чтоб не страшно было.

— Мертвецы ведь не звери, они огня не боятся,— лениво говорил Шапырин, вставая и беря со спинки стула свой пиджак.— Спасибо тебе, Богдан, за гостеприимство, пойду, мне переодеться надо.

Андрей, молча следивший за тем, как неумолимо чахнет затеянный им разговор, тоже встал, тоже попрощался с режиссером, и через несколько секунд они были с другом на улице. Сначала их путешествие проходило в молчании, но чувствовалось, что еще немного, и Андрей спросит, и спросит как следует. Спутник его, несмотря на неполное возрождение сил, был достаточно беззаботен и по своему обыкновению смотрел по сторонам.

— Так ты ничего мне не хочешь сказать? — внезапно и со значением спросил Андрей, очень, видимо, рассчитывая, что провокационная форма вопроса в совокуп-

ности с напряженной мрачностью вложенного в нее содержания хотя бы слегка потрясут собеседника, он собьется с шага, закашляется — одним словом, как-нибудь выдаст себя. Что именно он должен выдать, Андрей не знал, и поэтому немного даже устыдился своей подозрительности, когда Шапырин чуть ли не весело отвечал, что ничегошеньки говорить ему не собирается, что он сам изрядно запутан всем происшедшим, что объяснить он все это не в состоянии и что спешить с этими объяснениями не стоит. «Правда может оказаться серьезнее твоих страхов и подозрений», — сказал он под конец фразы, которую при желании можно было счесть загадочной.

В общем, разговор этот несколько не удовлетворил Андрея. Он, может быть, попытался бы его запустить по второму кругу, но Шапырин заговорил о Светлане. Первой реакцией Андрея была ярость, он строго-настрого запретил всяческие шапыринские переговоры с нею, с ее отцом и даже сказал, что сам больше ничего не желает от Шапырина на эту тему слышать.

— Как хочешь, — холодно сказал Шапырин, — мне казалось, что я могу тебе помочь. Крепость эта никогда не казалась мне неприступной.

— Заткнись, — рявкнул Андрей, и они вошли во двор дома Крушеницких.

Револют Матвеевич и Ольга Лукинична сидели на кухне и о чем-то разговаривали без всякого удовольствия. Появление гостя их беседу, естественно, прервало. Андрей задержался у колодца — наверное, чтобы охолотнуть, и могло показаться, что Шапырин явился в одиночку как ни в чем не бывало. Расценив этот приход как явное проявление наглости, Револют Матвеевич вскочил, ощущая необходимость что-то немедленно предпринять, как-то пресечь! Он сделал несколько шагов вдоль кухонного стола, решительно шурясь. Но гость, видимо, совсем не был расположен к выяснению отношений, он вежливо и даже дружелюбно поздоровался, проходя в занимаемую им комнатку.

— Молодой человек, — голосом, звенящим, как металл, обратился к нему в спину двоюродный брат покойного хозяина дома.

— Да, слушаю вас, — то ли устало, то ли лениво отвечал Шапырин, задерживаясь в дверях и оборачиваясь лицом к лицу удушаемого яростью Революта.

Трудно сказать, какого рода и какой длины тирада должна была сорваться с уст человека, до такой степени уязвленного, до какой считал себя уязвленным Револьт Матвеевич. По его лицу пробежало несколько волн разного цвета, плотно же сжатые кулаки напоминали своей равномерной белизной фарфор. В глазах горели напряженные, но мертвенного оттенка огни. Шапырин старался смотреть на своего недоброжелателя ласково, это у него получалось, но Револьта Матвеевича никакими ласковыми взглядами было не сдержажь. В его душе созрел взрыв, направленный взрыв, и молодой человек поступил неразумно, собираясь противостоять ему лишь с помощью вежливости и обходительности.

Но хлопнула дверь веранды, отворилась вторая дверь, и на кухне появился Андрей. Он прежде всего посмотрел на мать. Ее поза и выражение лица красноречивее всего говорили о том, что происходит на кухне.

— Добрый день, дядя,— сказал он таким тоном, чтобы дяде стало совершенно понятно, что он своего друга в обиду не даст и что хозяином здесь является пока что он.

Револьт, прищурившись еще больше, напустил на лицо деланную улыбочку и походкой, призванной продемонстрировать его безразличие ко всему, вышел на веранду. Шапырин проследовал в свою комнату, где, вытащив из-под кровати свою большую синюю сумку, стал упаковывать в нее свои вещи. За этим занятием его застал Андрей и удивленно спросил, в чем дело.

— По-моему, я раздражаю твоих родственников. Поживу у Маланчика.

Андрей яростно этому воспротивился. Ему было стыдно: затащить человека в такую даль и вынудить его искать здесь иное пристанище, это хуже, чем негостеприимство, этого позволить было нельзя, о чем Андрей и заявил незамедлительно.

— Да не нервничай, старик. Я все понимаю, гонишь меня не ты. И на тебя я никогда не буду в обиде... Но посуди сам, каково мне быть мучителем твоих родственников! Лучше уйду к Маланчику!

Андрей, чувствуя, что нужных доказательств все равно у него не отыщется, и понимая, что этого позора допустить он не должен, просто схватил уже застегнутую сумку за одну из ручек, потянул к себе и после некото-

рой борьбы вырвал. Вырвал, и поставил на подоконник, и заслонил собой от посягательств хозяина. Шапырин пожал плечами, на фоне Андрея, особенно возбужденного, он выглядел не слишком внушительно, и, чтобы показать свою полную капитуляцию, он расслабленно сел на кровать и прислонился к стене, нежно при этом грогая свое родимое пятно. Андрею стало стыдно своего так быстро оказавшегося неуместным чувства.

— Знаешь, я пойду прогуляюсь,— сказал Шапырин, Андрей кивнул.

4

Богдан наконец вошел в то, столь им любимое состояние, когда мозг с легкостью рождает идеи, когда воображение пышно и изобретательно их воплощает, когда потная рука хватается шариковую ручку и оставляет в клеенчатой тетради кривые знаки, своеобразные семена, из которых произрастут будущие эффекты.

Он стоял в своем обычном рабочем одеянии, одна нога на табуретке, другая на полу. Одна нога, та, что на табуретке, все время елозила, а в особенно прочувствованных местах даже пыталась подпрыгнуть. Маланчик то скалился, то жмурился. И он что-то затравленно зарычал, когда дверь скрипнула и кто-то пару раз в нее осторожно стукнул. Маланчик захлопнул тетрадь, уселся на табуретку, широко расставив свои ноги в кедах, и недовольным голосом предложил желающему войти. Адам Аркадьевич попросил разрешения присутствовать при этом знаменательном событии. Режиссер, конечно, разрешил, и деликатный историограф потянулся к своей шляпе, чтобы самым изысканным образом откланяться, но тут Маланчик, к которому постепенно возвращался человеческий облик, почувствовал укол стыда за свое малогостеприимное обращение с таким почтенным и хлебосольным человеком и глухо предложил чая. Адам Аркадьевич чая не хотел и понимал, каких усилий стоило хозяину это предложение, но отказаться почему-то не решился и, когда Богдан ушел-таки на кухню греметь чайником, сидел, почти затравленно оглядываясь. Комната режиссера блистала невероятной чистотой, нигде ни малейших следов не только позавчерашней попойки, но даже и сегодняшнего завтрака.

Когда Богдан вернулся с кухни, Адам Аркадьевич осторожно попробовал использовать свой визит так, как он собирался его использовать с самого начала, то есть выяснить хотя бы что-нибудь о ночном путешествии на кладбище. Чтобы его расспросы выглядели не слишком неделикатными, он представил дело так, будто о нем говорит уже весь город (кое-что действительно рассказывали Галина с Кристиной) — что город в восторге и заинтригован. Так вот нельзя ли, если нет какого-нибудь частного или интимного повода держать детали путешествия втайне, кое-что рассказать?

Маланчик поморщился, его пугала всяческая внетатральная слава. Он был готов к риску, но только к риску целенаправленному, творческому, и ни за что не дал бы себя в трезвом виде втянуть в приключение, которое хоть в малейшей степени могло бы поставить под сомнение его общественную или нравственную репутацию. Круги известности, расходящиеся в Урядьеве вокруг его персоны, он называл «оглаской» и считал, что если не пресечь их распространение, они наверняка отразятся на его режиссерском становлении, и самым вредным образом. В соответствии с этим строем мыслей он и повел свою беседу с любознательным и гостеприимным историографом города Урядьева, рассчитывая на его способность к формированию общественного мнения.

— Это была галлюцинация, Адам Аркадьевич. Иллюзия, и все. Вы как учитель атеизма можете на меня смело ссылаться и приводить эту историю как пример очередного разоблачения мистики. Ничего не было.

— А вот еще любопытно, кому пришла фантазия, я извиняюсь, кто предводительствовал, так сказать, в этом походе?

— Лично я просто примкнул. А предводителем... а предводителем был Андрей, он вон какой здоровенный, ему, по-моему, ничего не страшно. И что-то там было с отцом связано...

— Что-то вы говорите? — быстро наклонился Адам Аркадьевич к собеседнику, так что задетая им ложка описала звенящий круг в чашке. Богдан понял, что каким-то образом проговорился. Чтобы разрядить обстановку и успеть обдумать положение дел, он стал медленно и тщательно разливать чай, при этом сосредоточенно молчал, как будто общение с кипятком сковало все его способности.

— У Андрея же отец умер,— наконец сказал он, так и не решив, чего же ему нужно опасаться в дальнейшем разговоре.

— И что?

— Поговорили об отце...

— И после этого пошли на кладбище?!

— На кладбище пошли,— довольно покорно кивнул Богдан и принялся гонять рафинад по дну своей чашки,— я плоховато помню, прямо скажем, имело место некоторое опьянение.

Адам Аркадьевич осторожно отхлебнул отвратительного заваренного чая и искося, но внимательно посмотрел на Богдана.

— Значит, иллюзия?

— Полнейшая.

5

Разъяренный Револьт, направлявшийся к центру города, завидел издали спортивную фигуру младшего Вавилова, и у него мгновенно родилась какая-то идея — это было видно по тому, как радостно он передернул плечами и заулыбался. Вавилов-младший, выпускник-отличник совхоза-техникума, Револьта Матвеевича знал плохо, но симпатий к нему не испытывал ни малейших, тем более уважения. Не нравилось ему в нем многое: и эта манера фамильярно класть руку на плечо, и манера показывать свое расположение к человеку грубостью в разговоре. Руку со своего плеча он не сбросил только потому, что Револьт Матвеевич был намного старше его, да и выглядело бы это как-то слишком нервно, что ли.

Револьт сразу же изложил все, что ему нужно было от парня, надо было проводить его, Револьта Матвеевича к Вавилову-старшему.

— С чего вы взяли, что он прячется, он сидит дома.

— Скажи ему, что я минуточек через сорок зайду к нему с визитом.

— Я не иду домой, я собирался в библиотеку.— В подтверждение своих слов он поправил очки на носу.

— А ты сходи,— засмеялся Револьт Матвеевич и крайне фамильярно хлопнул Вавилова-младшего по плечу.— Сходи, сходи, ноги молодые.

Очень жалея о том, что не собрался с силами отка-

ваться, Вавилов-младший не торопясь направился к своему дому.

Когда через полчаса Револют уже был во дворе вавиловского дома, решительности в его облике еще больше прибавилось с момента разговора с младшим братом. Старший Вавилов¹ сидел в одной майке и тренировочных штанах по случаю теплого дня и с наслаждением курил.

— Надо поговорить, Дюдя,— сказал гость, встав перед хозяином всею своею коренастостью и крепостью.

Револют очень рассчитывал, что Дюдя при его мощном явлении смешается и, скорей всего, заюлит. Дюдя ничуть не смешался и, наоборот, очень спокойно и с достоинством смотрел на гостя, поигрывая выдыхаемым дымом. В свое время Дюдина слава в городе была значительна: он был, что называется, одним из предводителей общественного движения, дом его представлял собой что-то вроде клуба, его шутки разили наповал разных официальных деятелей, пробовавших бороться с тягой молодежи к джазу. Выпить спиртного он мог сколько угодно (обыкновенное качество всякого народного вождя), многим казалось, что он знает английский язык. Сейчас же о нем забыли, даже на его облике имелись приметы того, что он вышел в тираж, ничего не откладывал на черный день (ни в идейном, ни в практическом смысле), жил на полную катушку и теперь постепенно переходит в разряд отбросов общества. Работает не всегда. Косноязычно борется с профсоюзными и административными боссами овощного магазина, вытуривающими его с работы посреди каждого основательного запоя. Среди носителей старой культуры — трех — пяти полуслесарей, полуалкашей, задержавшихся на путях романтического образа жизни, принято называть его «политическим трупом». Нынешней молодежи дела нет до патриархов урядьевского свободомыслия, и они слышать не хотят о тех шестидесяти годах, когда отсветы фейерверков всемирных хитпарадов мелькали на поверхности районных наших прудов, когда магнитофон «Комета», хрипевший где-нибудь в полуподвале, ка-

¹ Автор забыл сообщить о судьбе пропавшей Дюдиной дочери. Могу успокоить читателя — с ней ничего плохого не случилось, во время своего недавнего наезда в Урядьев я беседовал с ней. Она учится во втором классе, учителя ее очень хвалят. (М. П.)

зался напрямую подсоединенным к электрическим нервам западной музыкальной истерии.

— Надо поговорить,— сказал Револют.

Дюдя поскреб пальцем цыплячью грудь и повел справа от себя рукою, предлагая в качестве места для беседы весь свой грязный двор, в углу которого крякала почему-то утка. Дюде было явно все равно, сколь сложные или сколь презрительные намерения и мысли клубятся в голове гостя. Старуха Вавилова, на секунду показавшаяся в окне, удостоилась вислогубой и беззубой сыновней улыбки.

— Без свидетелей,— потребовал гость, и Дюде пришлось отыскивать на заборе, прислонясь к которому он сидел, свою рубаху, кряхтя надевать ее. Прошли к пруду, подобравшемуся вплотную к вавиловскому огороду. Пруд был дрянной, дальние его берега служили городской свалкой, имелось, правда, и несколько живописных кусков. Кое-где лежала ряска, блестела на солнце спина полузатонувшей доски.

Вавилов решил местом переговоров сделать скамейку между двумя вязами. Ни в какие более укромные места его не тянуло, несмотря на то что левый внутренний карман Револютова пиджака знакомо топорщился. Пришлось сесть на скамейку, так что любой желающий мог отлично рассмотреть все внешние детали этой беседы.

Раздраженно поозиравшись, Револют начал так:

— Ты ведь сейчас побираешься, да?

Дюдя напустил на свое лицо возможно более независимое выражение.

— Никак не могу вспомнить случая выпить с вами на брудершафт.

Револют никогда почти не сбивался, если уж брал слово, а тут немного сбился. Ему было сейчас не до театра.

— Слушай, Дюдя, кончай, ладно, да!

— Если уж вы решили добиться со мной близости, называйте меня прямо по первому имени — Евгений.

Со стороны все продолжение беседы выглядело следующим образом: невозмутимый, исполненный босяцкого достоинства Дюдя сидит в специальной позе, которую, по его урядьевскому мнению, должен иметь в своем арсенале всякий настоящий джентльмен, рядом с ним все более кипящий и жестикулирующий собеседник. Ре-

вольт уже очень скоро сидеть на месте не мог. Он отступал на шаг, потом резко приближал к Дюде свое лицо, разводил руки в стороны, несколько секунд стоял в такой позе, а потом делал бесшумный хлопок, вероятно ловя за хвост невидимую истину. Сразу можно было заключить, что эти двое никогда ни о чем не договариваются. Так и вышло. Револют вдруг подскочил к Вавилову, схватил его своими коротенькими, но стальными пальцами за подбородок и резко этот подбородок приподнял — прием опытных кавалеров в обращении со стеснительными девицами. Был момент неподвижности, когда оставалось неясным — то ли Револют хочет как следует посмотреть в глаза собеседнику, то ли собирается в них плюнуть. Через секунду он уже быстрым шагом шел вдоль пруда к одному ему известной цели.

6

Увидев, что калитка открывается, Шапырин отступил за куст сирени и посмотрел в просвет между гроздьями. Это была Светлана, она спешила по направлению к центру.

— Вы знаете,— смеясь и догоняя ее, проговорил Шапырин,— это опять я.

Девушка остановилась — невольная попытка скрыть цель своего путешествия, лицо ее было бледней обычного. Она ничего не говорила и ждала, что скажет этот внезапный собеседник.

— В нашей жизни так много всяких случайностей, которые от нас не зависят, что мы должны стараться рассеивать те, что нам по силам.

Она все еще молча ждала, выражение лица ее показывало, что речь эта представляется ей бессмысленной.

— Ну, скажем так, я убежден, что на дно ваших взаимоотношений с моим другом свалилась какая-то неудачная случайность. Давайте попробуем ее...

— У меня нет и никогда не было никаких «взаимоотношений» с вашим другом. И никогда не будет. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Если вы его друг, то передайте ему это. Пусть выбросит меня из головы. Я говорила ему это сто раз, но он всегда умудряется истолковать мои слова на пользу себе.

— Это неудивительно...

— Извините, я спешу.

— Он вас любит. Я вас провожу. Ну хотя бы до конца этой улицы. Дело в том, что я несколько не сомневаюсь в сегодняшнем вашем отношении... в состоянии духа, так сказать, на сегодня, но ведь есть и объективные вещи. Вы с Андреем до такой степени подходите друг другу, что ваше женское существо...

— Господи, какой бред. Не заставляйте меня все это выслушивать.— В голосе Светланы появилось крепнущее озлобление, и Шапырин, кажется, даже слегка улыбнулся, чувствуя это.

— Его любовь мудрее, чем ваше равнодушие.

— Хватит! — Светлана остановилась, неприязненно глядя на своего провожатого.— Чего вы хотите добиться?! Чего вы с ним так возитесь? Это безнадежно! И вообще, я очень сомневаюсь, что ему есть хоть какая-то польза от вашего приезда.

— Он меня попросил.

— Ну, мало ли. Всегда он почему-то был сильный и самоуверенный, а тут привез с собой няньку, глупо.

Шапырин рассматривал ногти на своей левой руке.

— Знаете, когда-то очень давно я оказался в ситуации, похожей на ту... что заставила Андрея приехать сюда вместе со мной. Я, как вам это ни покажется странным, был сильно, очень сильно влюблен. Ну и, как всегда бывает в таких случаях, вел себя неправильно. Короче говоря, я был брошен, я лежал в общегитии, утро, воскресенье, пустынно, и страшно было так... Поверьте, я не лгу, мне это не нужно, так вот я точно бы покончил как-нибудь с собой, а то и просто умер. Я и тогда понимал это отчетливо и не видел никаких препятствий к этому, и сейчас, трезво и спокойно вспоминая, вижу, что тогда я не ошибался насчет своих возможностей. И тут заходит ко мне мой приятель и предлагает мне поехать вместе с ним и его женой за город, в какой-то детский сад, куда она хочет оформиться на работу. Я с огромной радостью ухватился за эту возможность. Знаете, я до сих пор помню все, то есть действительно все: и рисунок на платье, в котором была жена моего друга, и то, о чем он говорил, и время отправления электрички, и число, и номер этого детского сада, все, что вписала в эту особую карту при устройстве на работу жена, и как была расположена мебель в той конторе, где мы

ждали, пока жена освободится. Это был редчайший случай в жизни, когда мне не было нужно ничего, я был счастлив, что электричка гремит, что на дворе сентябрь, что пирожки по десять копеек, что надо в третий раз переписывать это дурацкое заявление. Это я говорю о простых практических вещах, на них легче объяснить, что именно я хочу сказать. Невозможно ведь передать ту особую степень прозрачности воздуха, и разнообразие оттенков хвои, и запах травы, на которой мы лежали, и страшное опьянение от простого лимонада... Я недавно специально звонил своему этому другу, он не может вспомнить этого дня. Прошло лет пять. Не может вспомнить, несмотря на то что жена устроилась-таки в этот детский сад и вечером того же дня, как он рассказывал мне примерно через месяц после поездки, они зачали своего второго ребенка. Чья это была жизнь — их или моя? Хотя в тот день, да и месяца два после этого, но в тот день особенно, не было на свете существа ничемнее, ничтожнее, примитивнее, более похожего на животное и абсолютно не приспособленного к тому, чтобы быть использованным хоть в каком-нибудь качестве. Ни в качестве солдата, мужа, студента, кочегара и т. п.

Светлана поудобнее перевесила прозрачную полиэтиленовую сумку на своем запястье.

— И с какой целью вы мне это рассказали?

Шапырин улыбнулся:

— Я просто хотел что-то проиллюстрировать, но, как часто бывает, пока я рассказывал то, что я хотел объяснить, мне самому опять все стало неясно.

Они медленно пересекали площадь перед собором. Светлана шла уверенно и спокойно. Шапырин же все время немного виновато улыбался. Он завел речь о том, что опасается за психическое здоровье своего друга, но слова его были совсем не сердечны, он специально произносил их, как бы дурачась. Светлана отвечала ему, что она как раз за психическое здоровье их общего друга не опасается ничуть, потому что где-то читала, что с ума может сойти только очень умный человек. Настроение ее абсолютно уравновесилось, необязательный треп, которым сопровождал их прогулку Шапырин, перестал казаться ей опасным даже в минимальной степени, она перестала бояться проговориться.

— До свидания, — сказал ей спутник, оставляя ее

держась за железную ручку дверей почты. Она ему кивнула, но без всякой душевности.

Когда Шапырин поднимался по ступенькам общежитской лестницы, выражение лица у него было скучным. И все тело немного неловким. Наверное, он все еще не мог прийти в себя после позавчерашнего — других объяснений как будто и не было.

Увидев Маланчикова гостя, он не очень удивился и не обратил ни малейшего внимания на то волнение, которое возникло в лысом старичке в связи с его появлением.

— А,— сказал он,— добрый день,— и неторопливо присел к столу. Маланчик, видя его состояние, постарался побыстрее налить ему своего брандахлыста. Новый гость очень серьезно следил за постепенным успокоением возни чаинки в своей чашке. Разговор, ведшийся до его прихода, застыл. Адам Аркадьевич понял, конечно, что ему надо покинуть помещение, что этого от него ждут, но он сидел как загипнотизированный, до бесконечности растягивал последние три глотка этого отвратительного напитка. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, когда бы не тяжелые шаги по коридору и не фигура Андрея Крушеницкого в дверном проеме. Он так расположил в нем свою могучую фигуру, что на секунду создается ощущение, что дверной проем слегка искривился. Андрей немного опешил, застав такую неожиданную компанию. Потом вдруг коротко хохотнул и, сказав: «А, история театра», решительно вошел в комнату, сел на подоконник.

Адам Аркадьевич искусственно закашлялся, добыл быстрым движением руки свою шляпу с соседнего стула и, приложив ее к груди, стал прощаться, пятясь к двери. У него обнаружились неотложнейшие дела. Его никто ни в малейшей степени не удерживал. Андрей опять расхохотался, стоило закрыться входной дверью.

— Ну, мужики, у вас и дружки!

Богдан немного обиделся и сказал довольно твердо, что Адам Аркадьевич его друг и ему не хотелось бы...

— А где ты с ним сдружился?

— Он сам пришел.

— Вот-вот, он на каждого нового человека кидается.

— Он пишет историю нашего театра.

— Ты это уже говорил. А пусть он лучше свою собственную историю напишет, за ним такое числится... Не

пропустил в молодости ни одной юбки, а чтобы легче было справлять эти дела, пошел в полицию. Говорят.

— Так что же его не судили? — спросил Шапырин.

— Выкрутился, наверное.

— Вот видишь, — грустно сказал Шапырин, — не доказано.

— Да черт с ним, мне с тобою нужно поговорить. Мне кажется, мы мешаем нашему режиссеру.

Богдан сказал, что нет, нисколько, он так только, вообразил одну мизансцену...

— Вот видишь, пойдем, Витя.

— Я потом к тебе еще загляну, — сказал Шапырин Маланчику, — тоже поговорить.

7

Андрей приступил к делу прямо на лестнице.

— Я же тебя просил! Я же тебя просил не вмешиваться. Что ты ей говорил?

— А следить нехорошо.

— Ты давай отвечай!

— Чего ты на меня кричишь?

— А что ты лезешь не в свое дело?

— Еще позавчера ты так со мной не разговаривал и верил мне.

— Теперь обстоятельства слегка изменились.

— Ты пообщался с Револьтом?

— Не в этом дело.

В Шапырине погас на короткое время вспыхнувший интерес к разговору. Он отвернулся и с самой кислой миной стал оглядываться по сторонам.

— Ты больше ничего мне не хочешь сказать?

— А что тут скажешь, Андрюша? Косность окружающей действительности оказалась выше моей изобретательности и самых старинных рецептов. Видишь, вот улица, собака побежала, старая автопокрышка в луже. Мы вот стоим. И если все так оно и есть, как мы сейчас видим, то ведь это ужасно, ты это понимаешь?

Андрей внимательно, но неприязненно слушал его, а потом спросил, и не без некоторого ехидства:

— Ну и что?

— Скучно, скучно же. Так скучно...

— А ты что, развлекаться сюда приехал?

Шапырин на самое короткое время, но все же смешался, он всегда не любил такие, в лоб поставленные вопросы.

— Не придирайся к словам, я же говорил не о тебе, а о себе.

— Я так и понял.

— Извини, но мне кажется, что ты все-таки не очень понял.

Андрей улыбнулся, в его улыбке промелькнуло что-то неуважительное.

— Ну ладно, это так, но ты мне скажи, о чем вы говорили с ней?

— Да о тебе, только о тебе. Я попытался заронить ей в душу одну идею.

— Какую?

— В общем, она должна была понять, что от тебя ей никуда не деться.

— Заронил?

— Не знаю.

— Понятно.

Они остановились. Как раз перед входом в монастырь. Изнутри доносилось жалобное, еле тлеющее пение, как бы скорбящее о тяжелом положении христианства в наше время. Провинциальный полдень был в зените. Возле закусочной «Ветерок» грузили визжащий мешок в коляску мотоцикла. Поросяенок был довольно взрослый, поэтому не без труда одолевали его двое крупных мужчин в мотоциклетных шлемах. Две вороны каркали на сухом дереве над автостанцией.

8

— Кто там? — недовольно спросил Волотовский, очень жалея о том, что в свое время отказался от предложения провертеть в двери дыру и вставить глазок на городской манер. Жизнь в последнее время стала много оживленнее, и ему хотелось самому отбирать визитеров, а не быть покорной мишенью для всякого, кто соберется наговорить ему гадостей.

— Здравствуйте, любезнейший Адам Аркадьевич!

Волотовский успокоился несколько — голос был незнакомый, но женский. И хотя он в общем-то расположился к тому, чтобы дверь отворить, он помедлил еще

с полминуты, размышляя над вещами, изъяснение которых не под силу даже самому глубоко проникающему перу. Наконец щелкнул-звякнул запор.

— Ага,— удовлетворенно заметил хозяин, увидев, кто именно является его гостьей. Ундина в ответ на явную, определенным образом лестную для нее стариковскую оживленность сделала движение, могущее сойти за книксен, хотя в той среде, к которой она принадлежала, всякое проявление условностей и приличий не слишком приветствовалось.

— Да, это я.

— Понимаю, понимаю,— улыбаясь и растягивая слова, говорил хозяин, впуская посетительницу.— Прошу в мой кабинет.

Вошли. Ундина быстренько окинула внимательным взглядом помещение и поняла, что это пока не кабинет, а всего лишь кухня. На кухне молча трудилась в мыльном угрюмом пару могучая фигура женщины с тяжелым бельевым жгутом в руках. Выражение лица ее было не видно, и это производило особенно сильное впечатление. Из выжимаемого жгута в сизое корыто со свинцовой водой упала тяжелая капля.

— Это моя супруга,— беспечно и торопливо сказал Адам Аркадьевич, уводя свою современного вида знакомую в кабинет.

Ундина, стряхнув, как страшный сон, кухонное видение, уселась в широкое мягкое кресло, ее очень позабавил вид несимметричных маятников, и она попробовала сесть так, чтобы увидеть их одним взглядом, это не удавалось. Тогда непонятно, сказала она себе, откуда появляется уверенность, что они качаются вразнобой? Адам Аркадьевич в это время распоряжался насчет чая. Когда он появился в кабинете, он застал свою гостью в состоянии почти детского веселья. Когда она объяснила ему причину своего недоумения и смеха, он, польщенный философской основой ее настроения, хмыкнул разок-другой и сказал, что если им случится подружиться, то еще будут случаи получить ей от него несколько поводов для упражнения своих способностей к умозрению. Он именно так сложно и самодовольно выразился. Ундина слегка поджала губы и энергично кивнула, демонстрируя полную готовность дожидаться этих поводов.

В течение нескольких минут беседа продолжала идти по неосновным, беспечно петляющим тропинкам. Унди-

на, понимая, что сейчас начнется внос каких-то угощений, и придавая большое значение разговору, для которого она явилась сюда, сознательно тянула, не желая, чтобы в этот разговор что-либо вклинивалось, чтобы неизбежная пауза не разрядила ее запала.

Наконец очень крупная, очень деревенская на вид супруга внесла большой поднос, где имелось несколько видов варенья, в забавных вазочках, оставшихся на память, может быть, от самой Речи Посполитой, чайник, чашки и т. п. Ундина невнимательно оглядела супругу хозяина. Чувство ревности было для этой женщины слишком тонким, и ей было все равно, кто общается с ее лысым живчиком. А может быть, и не все равно. Но думать об этом Ундине было некогда, ей нужно было настраиваться на разговор. Проглотив ложку варенья из красной смородины и запив ее глотком крепкого чая, Ундина повертела головой, как бы ища быка, которого собралась наконец взять за рога, и сказала:

— Ну, спрашивайте. В прошлый раз я вам не сказала и сотой доли того, что знаю...

— То есть... а-а-а! — Адам Аркадьевич не удержался и все-таки потер руки. — Это хорошо, что без обиняков. Я, конечно, могу дать честное слово, что все эти сведения никогда не пойдут во вред вашему другу.

— Не надо давать такого слова, — хихикнула Ундина, — может быть, я как раз и хочу, чтобы пошли во вред.

— А-а-а? — протянул Адам Аркадьевич, делая вид, что понимает, но это было неправдой, Адам Аркадьевич ничего не понимал, он решил для себя такое заявление гостя считать импульсивным, а от себя нашел нужным заявить — причем получилась у него довольно путаная страстная речь, — что он все понимает, но тем не менее надобно сказать, что его целью является общественная или, по крайней мере, общая польза, но не всегда можно с точностью знать, как это отразится на всех без исключения личностях. Вот.

Ундина съела еще несколько ложек варенья с таким видом, словно проверяла, действительно ли это так вкусно, как ей показалось.

— Я вам верю, верю, Адам Аркадьевич. Что вас интересует?

— Ну, — Адам Аркадьевич потер свою переносицу, — тут нужно, разумеется, сосредоточиться.

— Чтобы облегчить вам задачу,— Ундина съела еще ложку варенья,— я сразу сообщу, что мы с интересующим вас молодым человеком состояли одно время в связи. Расстались потом. Здесь встретились случайно.

— Случайно, ага.— Хозяин был немного беспокоен, и впечатление это происходило в основном от незанятых рук, в этой ситуации им бы очень шло что-нибудь записывать, а так они просто мяли подлокотники.— Вы, что ли, учились вместе?

— Нет, никогда. Я ведь на несколько лет моложе, неужели вы не обратили на это внимание? Мы, так сказать, вращались в одном кругу. Вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Он учился одно время в ГИТИСе, но его выгнали, по-моему, за бездарность, он, правда, изображал это как гонение.

Адам Аркадьевич тоже пару раз глотнул чая — на фоне решительно насыщающейся гостии это выглядело всего лишь как акт вежливости.

— А семейство? Я имею в виду...

— Женат, детей нет.

— Женат?!

— А что вас удивляет. Правда, брак у него какой-то дурацкий, ну как почти все браки... Помнится, мне кто-то рассказывал, что из загса он отправил невесту на такси домой, а сам поехал с друзьями пьянствовать.

— Ну, про разврат я уже...

— Я очень приуменьшила тогда. Общежитие — это такое место, где попробовать можно всего. Он, надо сказать, даже выделялся. Мне кажется, что у него какая-то особая цель была, не то чтобы время провести. Он все делал и очень грязно, и одновременно как-то по-немецки педантично.

Адам Аркадьевич кивал, трудно сказать, знал ли он современные формы сексуальных злоупотреблений, но выражение лица у него было сосредоточенное и внимательное.

— А где она сейчас, супруга?

— Вот уж не знаю.

— То есть у него циничное отношение к семье?

Ундина на секунду задумалась.

— А черт его знает. Отца и мать он, кажется, уважал.

— Отца с матерью?

— А вас и это удивляет? Лучше, если бы он вообще свалился с Луны, да?

Хозяин пожал плечами и омочил губы чаем.

— Родители у него нормальные. Даже можно сказать — хорошие. Кажется, оба кандидаты каких-то наук. Поженились в юности, всю жизнь под одним одеялом. Голубок и горлица. Более здоровой семьи я в своей жизни не встречала. В хоре, кажется, поют.

— Вы там, так сказать, бывали?

— И часто, нет, не в том смысле, что в качестве невесты, а в числе прочих друзей. Знаете, такая маленькая двухкомнатная квартирка, паркет вытертый, обои старые, книгами все завалено. Всех кормят, поят. Чаем. И не какие-нибудь мещанские идиоты. Довольно, кстати, молодые, спортивные, все время на лыжах, как я помню. Лично мне они нравились. Редко, знаете, бывает такой контакт с родителями, вечные эти отцы и дети. Собственно, сейчас речь не об этом... Но в общем понятно, да?

— Понятно.

— Меня всегда смущало, что он совсем не похож на них, даже внешнего сходства почти нет. Разве что скулы, как у отца, и ежик черный. Но я про другое, он какой-то выродок.

— Сильно сказано.

— Нормально сказано. Тут мне реверансы незачем... Я думаю, он догадывается о моем отношении. Конечно, если в лоб сформулирую, обидится, а так, наверное, чувствует.

Адам Аркадьевич помешивал серебряной ложечкой поблескивавшее варенье.

— Выясняется, что вы относитесь к нему плоховато. Я думал другое...

— Вы как будто меня осуждаете, Адам Аркадьевич. Если бы я к нему относилась не «плоховато», я бы не сидела туточки и не сплетничала самым гнусным образом. То, что я сейчас делаю, это обыкновеннейшее предательство. И если я, понимая это, делаю это, значит, у меня есть какая-то особенная корысть. Конечно, я не рассчитываю, что в обмен на мою информацию вы мне дадите пару банок этого замечательного варенья, тут дело в другом.

Ундина вдруг закашлялась, какая-то чайинка попала

не по адресу. Адам Аркадьевич показал гостье свою неожиданно крупную ладонь и спросил:

— Постучать?

Ундина помотала головой, продолжая при этом кашлять. Хозяин встал тогда и, обогнув стол, очень профессионально, словно всю жизнь бил женщин по спине, ударил кашлявшую меж лопаток, потом еще разок, и дыхание выправилося.

— Благодарю вас, Адам Аркадьевич, сразу чувствуется прежний кавалер.

Хозяин улыбнулся так, как улыбнулся бы всякий в этой ситуации, показывая, что это ему ничего не стоило. Ундина выпила глоток чаю и выразила готовность продолжать беседу. Причем когда она начала говорить, на глазах ее еще оставались следы недавних слез, и это придавало речи особую убедительность.

— Спаси, предостеречь — вот желание, которое меня сюда привело. Кого? От чего? не знаю. Просто с какого-то времени я заметила... поверьте, я очень много за ним наблюдала, и поскольку он был мне не вполне, что ли, безразличен, то видела я часто и то, чего никто увидеть не мог. Женщина может многое понять, даже самая глупая, у нее есть такая способность понять того, кто ей интересен. Он дурачок, он не понимал, что для меня он как голенький. Это не любовь сейчас, отпираюсь не из бабьего стыда или еще чего-то. Не из кокетства. Он мне неприятен, но, как бы это сказать, достоин, что ли, исследования или еще чего-то. Я буду себе противоречить, наверное, начиная с этого места, но все равно надо верить, что все, в общем, логично, где-то там выше, или, может быть, в вашей голове все соединится. Так вот он не глыба, как вам, может быть, начало казаться, он червяк, какая-то гадость.

— Действительно, не очень-то... — промямлил Адам Аркадьевич.

— Объясню, объясню, — замахала на него чайной ложечкой Ундина. — Как вы думаете, зачем он сюда приехал? Чтобы поддержать этого бугая Андрея? Да он сам кого угодно поддержит. Хотя такие часто бывают... Так вот плевать ему на этого лба, он приехал, как бы это точнее... Тут же похороны и все такое, какие-то сложности, насколько я понимаю. Это именно то, что ему надо. Я давно заметила: он всегда вынюхивал такие ситуации, как будто своей жизни у него нет, как

будто ему нечем заниматься. Он очень любил, когда похороны, развод или если кто-то заболевает, когда создается вокруг этого события особенная ситуация. Так что... То есть от него есть даже какая-то польза, но что характерно: потом, когда напряжение спадает, то дружба с ним не продолжается. То ли он сам отходит, то ли, когда человек трезвеет, ему противен свидетель.— Ундина, во время своей речи все более приподнимавшаяся в кресле, заметила, что сидит уже на самом краешке. Она вдруг откинулась обратно на спинку, и кресло под ударом ее тела сделало шаг от стола.— Я понимаю—это все эмоции и так сказать...

— Я предполагал! Да, я такое предполагал. И даже какое-то волнение... Короче говоря, я теперь понимаю, отчего вдруг стал волноваться.— В лице Адама Аркадьевича была неподдельная радость.— А картина вырисовывается интересная. То есть—похороны. Это то, что ему нужно.

— А иначе бы его сюда никогда не занесло.

9

Через Урядьев проходила ветка большой железной дороги, и один раз в сутки у большого старинного вокзала, помнившего лучшие времена, когда артерии государственной жизни были расположены более лестно для нынешнего райцентра, останавливался московский поезд. Скука и легкое, не доходящее до степеней преступных запустение— вот признаки нынешнего урядьевского вокзала. Неудобные скамейки, издавна сломанный автомат для продажи газированной воды. Намертво запертый аптечный киоск. Так все выглядело снаружи. Внутри, в буфете, путешествующие старики молча поедают захваченные из дому припасы. У входа две бабульки выставили на продажу не очень привлекательного вида яблоки в облупленных эмалированных мисках. Вдалеке за деревьями проехал городской автобус. На круглой клумбе, взбираясь по скошенному постаменту, стоит горного вида олень. Можно было подумать, что он воздвигнут благодарными урядьевцами в ознаменование больших заслуг этого животного перед городом. Светлана, теревившая в руках железнодорожный билет, смотрела как раз на этого оленя. Вряд ли она пыталась проник-

нуть в загадку этого памятника, но если бы она захотела, то сосредоточенности и целенаправленности, что сквозили в ее облике, могло бы хватить и для этой цели. Сергей Николаевич стоял рядом, он пощелкивал ногтем по замку небольшого чемодана, поставленного на скамейку. Он был убежден, что причиной внезапного отъезда Светланы является его настырность. Она вполне могла бы побыть дома еще дней десять, но, видимо, испугалась, что все это будет продолжаться. Можно было, конечно, ей пообещать, что больше никаких разговоров не будет. Но во-первых, он не мог ей этого пообещать, а во-вторых... Сергей Николаевич незаметно для дочери расстегнул одну пуговицу на рубашке и потерял грудную клетку, как будто пытался столкнуть установившийся там камень. Он раньше не отдавал себе отчета в том, что для него значат нормальные, привычные взаимоотношения в семье, что стоит им лишь слегка заколебаться, и почва начинает уходить из-под ног. Не во время высоких размышлений о глобальных несправедливостях эпохи, а сейчас, когда он стоит на вокзале с дочерью, до отхода поезда остается всего несколько минут, а он не может сказать ей ни слова, именно сейчас ему кажется, что жизнь прожита зря.

Прошло еще несколько минут. Обмениваясь ничего не значащими фразами, отец с дочерью неторопливо перешли на самый перрон. Там тоска Сергея Николаевича стала столь острой, что в глазах его появились слезы. Он, конечно, первый это заметил и тайком от Светланы их удалил, удивляясь этой своей внезапно возобновившейся способности плакать.

Поезд должен был появиться вот-вот. Уже вышел на перрон ленивый местный железнодорожник с огромным пузом и в маленькой фуражке на остром затылке. В руках он нес необходимые флажки. Две-три группки пассажиров по всей длине платформы оживились и стали подпихивать поближе к рельсам свои чемоданы и по очереди пытались заглянуть за поворот железной дороги — им обязательно хотелось увидеть поезд как можно раньше. И вот он, поезд, подплывает, и вот уже, лязгая открываемыми дверьми и поднимаемыми подножками, скользят мимо вагоны.

Светлана, целуя отца в сухую, немного колючую щеку, быстро бормочет:

— Я еще, может быть, приеду.

Сергей Николаевич растерялся, времени переспрашивать не было, нужно было в две минуты поспеть к своему вагону.

— Когда приедешь, Света? — пытаюсь заглянуть ей в лицо и одновременно подталкивая коленом чемодан, шептал Сергей Николаевич, поспевая за уже выбранной дверью. — До начала учебного года?

Светлана кивнула и легко взобралась на подножку, приняла поданный чемодан и улынулась отцу, растерянно стоявшему внизу. Она помахала ему рукой, но поезд еще стоял, и вышло это как-то нехорошо. Сергей Николаевич попытался улыбнуться. Говорить не было никакой возможности — тут же рядом пыхтела грузная, недовольная чем-то проводница и плевался семечками парень в майке. Когда он высовывался, то заслонял Светлану своим ненормально большим бицепсом. «Ни одной бабки», — сказал он, глядя на громадного одинокого старика, явно не собиравшегося предложить ему на продажу яблок или груш вместо надоевших семечек. Светлана еще раз помахала отцу рукой, и поезд, подчиняясь ей, тронулся.

10

Сонная тишина, лишь изредка нарушаемая отдельными движениями жизни, погребала под собой город. Трудно с точностью сказать, что происходило с участниками описываемых событий в послеобеденное время. Каждый сумел найти себе нишу, в которой и укрылся от посторонних глаз. Два раза приехал автобус к автостанции и столько же раз уехал, долго открывались монастырские ворота и столь же долго, и очень осторожно выезжала из них монастырская полуторка по какому-то хозяйственному делу. В отличие от тех полуторок, которые мы можем видеть в фильмах про войну, эта имела ухоженный вид, была подкрашена, вымыта, застеклена, доски в бортах плохонькие, но целые — словом, напоминала она прибранного доходягу. Ехала медленно, как бы в растерянности ощупывая колесами булыжную мостовую. Десятка полтора рыбаков с завидной неподвижностью сидели на берегах трех прудов, располагавшихся, можно сказать, в черте города. Пруды печально сверкали. Никто из рыбаков не обратил внимания на монастырскую

машину, да, в общем, и правильно, ничего особенного с этой машиной не произойдет.

Может быть, только молоденькая библиотекарьша, заочница областного пединститута, корпевшая над контрольной работой, имела в этот пустынный час дело с вещами, свидетельствующими о том, что имеется где-то другая жизнь, кроме местной, состоящей из жары и тоски. Но это вялое исключение, конечно, не могло поколебать основ здешнего вялотекущего покоя.

Шапырин, неведомо как прошедший несколько часов, приближался теперь к дому Крушеницких. Вид он имел самоуглубленный и смиренный. Может быть, он готовился провести спокойный, провинциальный вечер в обществе хорошей книги, но судьба подготовила на самых подступах к дому, где он рассчитывал обрести отдохновение, две неожиданные встречи.

Сначала он с удивлением и явно раздражаясь увидел, что по итальянским ступенькам крыльца из дома историографа Волотовского спускается Ундина, церемонно сопровождаемая лысым хозяином. Они беседовали и очень понимающе улыбались друг другу. На прощание Ундина сорвала с куста, разъедающего корнями нижнюю ступеньку крыльца, несколько ягод и положила их в рот. Шапырин не прятался, но и не выходил из естественного укрытия, которое ему дали липовая тень и угол забора. Трудно сказать, видела ли его Ундина, она посмотрела в ту сторону, где он стоял, и быстрым шагом пошла в противоположную. Шапырин остался в уверенности, что она его видела. Несколько секунд он раздумывал над тем, стоит ли ее догонять, но, не найдя в себе ни желания, ни сил для этого, остался на месте, опираясь плечом о ствол дерева. В таком положении его застал Андрей, он вышел из своей калитки и направлялся в сторону центра.

— Привет,— сказал он,— погуляем? У меня есть для тебя довольно любопытные новости.

Шапырин смотрел на него, ничего не спрашивая.

— Пойдем к Дюде, он тебе кое-что расскажет.

Шапырин не хотел никуда идти. Он хотел переодеться и полежать, но возражать не стал и покорно отправился вместе с Андреем к Вавиловым.

Дюдя по-прежнему сидел в майке у забора и ничего не делал. Жена и мать, вечно и справедливо им недовольные, ворча, бродили по дому, изредка показываясь

в окошке, чтобы сказать ему какую-нибудь гадость. Дюдя не возражал, он шурился на медленно клонящееся к закату солнце и время от времени щелкал по подбородку огромным полсолнухом, высунувшимся из-за забора и щекотавшим ему плечо. Появлению приятелей он очень обрадовался.

— Джентльмены,— закричал он,— как говорится, кто смеется в последний раз, тот смеется неплохо.

Когда Шапырин с Андреем уселись рядом, он охотно, слогом, принятым, как ему казалось, в дипломатической переписке, рассказал историю подкупа, который пытался произвести с ним этот «наймит и политический спекулянт» Револют Евхута. Зная о бедственном в настоящий момент его, Евгения Вавилова, общественном и финансовом положении, Револют предложил ему, пользуясь еще не своим служебным положением, доходную и почетную должность лаборанта в физкультурном кабинете общеизвестного совхоза-техникума. «Чтобы я пропивал народные гири с этими ублюдками Бабинским и Трусевичем». В обмен на что он предлагал эту на самом деле соблазнительную должность? А за «кой-какие» услуги в борьбе с разлагающим влиянием В. Шапырина.

— Короче, Витек, поберегись этого шакала, он теперь будет поосторожнее после того, как я его послал. Он знает, что я за тебя.

Шапырин не выказал особой заинтересованности и во время рассказа не проронил ни одного возгласа. Дюдя даже слегка обиделся, он ждал более яркой реакции в ответ на проявление столь явной дружественности с его стороны. Могла бы возникнуть неловкая ситуация, если бы не появление младшего Вавилова. Он поздоровался с гостями и сказал, что пойдет поставит чайник.

— Хороший у тебя брат,— сказал Андрей, выступая в несвойственном для него качестве взрослого, положительного человека. Дюдя не стал отрицать сказанного, похвалил тягу брата к книжной культуре и спорту, что очень гармонично, но заметил, однако, что молодое поколение не вполне ему понятно. Оно очень самоуверенное, и если опыт отцов их заставляют изучать на уроках истории, то опыт старших братьев — Дюдя постучал в свою дохлую грудь — их никто изучать не заставит. «И наша музыка, и наша жизнь для них пустой звук. Их даже раздражает, что мы не совсем сошли со сцены».

Кузя вышел из дому и тоже уселся на скамью. Ви-

димо, он краем уха слышал ворчание Дюди, потому что с улыбкой заметил ему, что терпеть эти несправедливости ему осталось недолго. Кончается август, и старшие скоро будут освобождены от раздражающего присутствия младших. «Некоторые уже свалили в Москву». Думается, что все заинтересованные сразу сообразили, о ком идет речь, но некоторое время все сидели молча, зачем-то рассматривая кривоватую веранду вавилонского дома. Дюдю факт внезапного отъезда Светланы задеть не мог, поэтому он и остался единственным человеком, который не понял смысла Кузиного замечания, и продолжал ворчливо и несвязно бормотать, что совершенно не вязалось с настроением остальных. Особенно Андрея, который был немного даже парализован известием. Сердце отменило посылку крови голове, и лицо смертельно побледнело.

— Кого ты имеешь в виду? — спросил Шапырин, когда понял, что Андрей так и не соберется с силами для вопроса.

— Светка Майбородина, я видел их возле вокзала с чемоданом.

Дюдя и тут не отреагировал и продолжал рассказывать о чем-то малоуловимом. Настроение у него оставалось частично боевым, он все еще переживал блестяще проведенную схватку с одним из лидеров города. Ему было приятно сознавать, что он делом подтвердил серьезность своей духовной оппозиции местным властям. Правда, в другой части его чистой, в общем-то, души начало крепнуть сомнение в том, что, поступив благородно, он поступил разумно. Сомнения эти крепили ввиду явно недостаточных изъявлений благодарности со стороны Шапырина и полного отсутствия восторга со стороны Андрея. Он, конечно, скорее умер бы, чем признался в подобных своих настроениях, но вместе с тем и разогнать их он был не в силах. К тому же ему еще предстояли препирательства на эту тему с женой и матерью, которые, конечно, откажутся даже попробовать понять тонкость и высоту его мотивов, но очень и очень заметят все практические просчеты. Брат тоже не мог оказать в этом деле никакой поддержки: он, видите ли, считал отказ от участия в каких бы то ни было кознях против своего приятеля делом само собой разумеющимся и считал, что хвалить тут не за что, похвалы могут даже обидеть порядочного человека. Вот какие они вы-

росли, молодые, им пока ничего не стоит быть рыцарями.

На прощание Шапырин все-таки крепко пожал Дюде руку и сказал «спасибо». Но этого было мало, чтобы рассеять накапливающуюся в душе старшего Вавилова хмарь. Он, грустно улыбаясь, попрощался со своими друзьями, и его длинное, одутловатое, поросшее заметной щетиной лицо нехорошо относящийся к нему человек мог счесть похожим на бурдюк.

11

Когда Андрей с Шапыриным отошли метров на двадцать от вавиловской калитки, Андрей свернул к колонке и долго пил, наклонившись над ноющей струей. Шапырин, понимая смысл этой внезапной жажды, стоял немного в стороне и откручивал иголку с ветки боярышника.

— Что ты ей сказал? Я тебя спрашиваю, что ты ей сказал? Она не собиралась сегодня уезжать.

Шапырин открутил наконец иголку и, ковыряя ею в зубах, пошел по тротуару прочь от колонки... Андрей догнал его.

— Что ты ей сказал?

— По крайней мере, уезжать я ей не советовал.

— Почему же она уехала?

— По-видимому, у нее были такие планы.

— У нее не было таких планов.

— Слушай, Андрей, напрасно ты смотришь на меня как на преступника и на врага. У нас с ней был крайне безобидный разговор. Что угодно могло ее заставить так внезапно уехать, только не этот разговор.

— А какую ты ей идею «заронил»?

— Что ты, так сказать, ее судьба, что ты ей объективно подходишь, что умом она противится, но ее женское существо не может не тяготеть к тебе.

— Хорошенькое тяготение: как только ей об нем сказали, она тут же бежать!

Шапырин пожал плечами. Они остановились на углу у поворота на улицу Мицкевича, у дома под номером 39, в ста метрах от которого, если идти направо, располагался гостеприимный дом Крушеницких. Андрей внимательно и мрачно смотрел на своего друга, вид его го-

ворил, что на этот раз он не поверил ни одному сказанному слову.

— Я зайду к Богдану,— сказал после довольно длительного молчания Шапырин.

— Ну зайди.

12

Богдана на месте Шапырин не застал, тот в это время вместе со Станиславом Борисовичем и Антоном Антоновичем осматривал репетиционные помещения театра.

— Да,— сказал Богдан, получая из доброй ладони Станислава Борисовича большую теплую связку ключей,— хорошо. Вот этот и вот этот я запомнил, а эти все для чего? — Связка была крупная, как виноградная гроздь.

— Точно неизвестно, ключи эти вместе давно. В общем, так сложилось. Не выбрасывать же, вдруг выяснится, что они все же для чего-то нужны,— веско и даже немного загадочно сказал Антон Антонович.

— Спасибо, теперь я хотя бы приблизительно ориентируюсь. Да, что касается встречи с труппой, я ее назначил на послезавтра, как бы оповестить...

Станислав Борисович сказал, что «с этим проблем не бывает, есть переносчики слухов», но, несмотря на это, он берется сделать сегодня ряд звонков... Тогда Богдан, видя, что налаживается какой-то контакт, спросил, нет ли в архивах театра чего-нибудь, напоминающего список, с краткой характеристикой каждого актера. Антон Антонович показал на узенький нудно-бюрократического вида шкафчик и сказал:

— Там вы найдете все, что нужно.

Богдан расстроился, ему показалось, что своим предыдущим вопросом он серьезно испортил впечатление, но, с другой стороны,— что было делать? Да и интерес этот, кажется, вполне законен. Станислав Борисович и Антон Антонович скучно стояли напротив своего нового режиссера, взвешивающего в ладонях чудовищную связку ключей, в массе которых начисто потерялись два рабочих ключа. На улице был яркий теплый августовский день, здесь же все умудрялось выглядеть серо, скучно, крайне нетворчески, прямо музей рутины. Дурацкие столы с микроскопическими, но явными следами запретных

трапез, гора одежды в дальнем углу, шкафы и т. п. Возможно, во всем были виноваты окна. Сводчатые, безрадостные. Может быть, виноват был запах ружейной смазки, просочившийся из арсенала майора Пацикайлика.

— Я хочу, чтобы о нашем театре наконец заговорили. Мы, конечно, возобновим кое-что из лучших прежних постановок, но главный упор, я думаю, нужно сделать на новую, боевую драматургию.

Когда Маланчик остановился, тишина была тише прежней, а лица двух ведущих актеров были еще безучастнее, чем до начала этой речи.

— Вы что, совсем не рады, что я приехал? — воскликнул Богдан.

Основным содержанием моих заметок постепенно становятся современные мне события. Явился к ним и поселился в общежитии медучилища новый, совсем юный режиссер. Историографу Урядьевского народного театра нельзя было немедленно с ним не познакомиться. Я счел это своим долгом. Режиссер оказался молодым человеком, горячим, решительным, с очень честолюбивыми помыслами. Театр любит до безумия и жизни без него для себя не мыслит. Он только что закончил культпросветучилище, там, как незаурядная фигура, испытывал некоторые трудности и сейчас рвется в гущу работы. Он поделился со мной некоторыми своими замыслами. Прекрасное, поэтическое и бескорыстное сердце. Нежелание идти на компромиссы, понимание того, что театр должен стать провозвестником нозой, чистой и великолепной жизни,— все это у него есть (зовут его Богдан Маланчик). Сумеет ли он воплотить на сцене все задуманное? Я попытался внушить ему, что он пришел не на пустынное место, а на достаточно удобренную находками культурную почву. Что, ведя не грубо модернистскую, не мальчишески поисковую, но солидную, сообразную с местными условиями и запросами работу, прежние режиссеры сумели добыть театру авторитет и поддержку руководства. Словом, все то, что зарабатывается годами и может быть утрачено быстро, стоит встать на легкомысленный неуравно-

вешенный путь. Но новаторства, новых форм и идей я не отрицал. Мне, надо сказать, понравилась (в пересказе) пьеса «Домой возврата нет?», которую он привез к нам в своем творческом багаже. Пьеса удивительно острая, пьеса, многих могущая задеть, но я с Богданом согласился. Невозможно долее ждать!!! В том смысле, что художник должен говорить о наболевшем, должен обратить внимание на остатки недостатков в нашей жизни. А ради этого можно и рискнуть. Но этот риск благороден и даже, мне думается, оправдан, ибо ответственный человек, оказавшийся, скажем, на премьере, пораженный, может, вначале необычностью конфликта, несомненно, вынужден будет признать высокую нравственную и социальную правду за этой пьесой. Истинному искусству невозможно противиться, истинная гражданская зрелость говорит во весь голос, истинный талант со временем вербует себе громадное количество поклонников. Но вместе с тем я очень ему советовал: сохранять чувство меры, как можно меньше мальчишества, минимум эпатажа. У нас этого не любят... Жаль, что наш разговор был прерван одним очень неприятным визитом. Мне хотелось заочно познакомить Богдана с актерским, так сказать, материалом. Определенная осведомленность в этом смысле, а особенно заведомая, крайне полезна. Очень важно, когда внозь прибывший режиссер знает, кто у него в труппе пьяница, кто с характером, кто со способностями, другими словами, хорошо, что он заранее знает, на кого делать ставку, а кого отправлять в отставку. Если Бабинского и Трусевича желательно использовать ограниченно, помня об их любви к выпивке, но бояться особенно не стоит, то, скажем, Револьта Матвеевича лучше первое время вообще держать подальше. Властолюбивость, все более проявляющаяся в его характере, и все более укрепляющееся его общественное положение могут поставить спектакль под угрозу срыва. Молодой режиссер должен усвоить одно нехитрое, но важнейшее правило, что ему придется считаться с внетeatральным положением актера, очень и очень считаться. Нельзя просто-напросто отвергать притязания солидных людей на желаемые ими роли,

возможна ссора и гибель замысла, а то и режиссера. Необходима тонкая политика, чтобы и уважаемых наших ветеранов удовлетворить, и лучшие, опорные роли отдать талантливым актерам, вроде Толи Муравейко. Да, он всего лишь шофер в быткомбинате и сам неспособен ни на чем настоять, а явный его талант для нашей провинциальной сцены никакой не аргумент. Говорят, в столицах дело обстоит получше, хорошо, если так. А вот у нас если режиссер не исхитрился, то даже Валя Царьковская, продащица из хозмага, всю жизнь будет прозябать на третьих ролях, потому что у нас в коллективе два ветерана труда, две участницы войны и заслуженный учитель республики.

В общем, есть о чем поговорить с Богданом Маланчиком, и в ближайшее же время выберу удобный случай для этого разговора. Благо до репетиционного периода остается еще несколько недель.

Очень удивил меня Сергей Николаевич Майборода своим внезапным, бурным визитом. Это было слишком на него непохоже. В последние двадцать лет в отношениях между нами сохранялся статус-кво, и неожиданная вспышка с его стороны вызвана какими-то фактами, мне неизвестными. Очень жаль, если эти факты имели место в действительности, а не только в немного нездоровом воображении нашего историка, и остались незамечены мною. Хочется верить, что мираж, испугавший моего давнего приятеля до того, что он с воплями кинулся мне угрожать физической расправой, есть продукт его болезненной фантазии.

Все, даже микроскопические, изменения сонной нашей действительности попадают, как правило, в поле моего зрения, ибо я не гнушаюсь ни мелким, ни неприглядным, не отрицаю из ложного благородства роли сплетен, не презираю из снобизма информации из нашей районной газеты. Часто и продолжительно прогуливаюсь по улицам, это, кроме всего прочего, полезно для здоровья, имею продолжительные беседы с самыми разными представителями нашего населения, не ленюсь следить за ценами на рынке, за репертуаром двух наших кинотеатров, за изменением длины волос и ширины брюк у нашей славной молодежи, и при этом ни-

когда не ложусь спать без того, чтобы не прочитать 10—16 страниц моего любимого Монтеня.

В потоке нашей равномерной и ничем не замечательной жизни август — самый уравновешенный и пустынный месяц. На каникулы разъезжаются студенты техникума и медучилища. Пустеют их общежития, меньше становится драк на танцплощадке. Мне, прямо скажем, противна муравьиная жизнь общежитий. Обычный деревенский ребенок теряет в его условиях все лучшее и становится существом малопривлекательным. Оторвавшись от своего естественного микромира — Залесья, Загорья, Новоселок или Новосад, — где он — индивидуальность, подросток становится просто представителем довольно безликой, склонной к пьянству, разврату и самому ничтожному времяпрепровождению массы. В этой части я абсолютно согласен с дорогим моим «приятелем» отцом Константином. Он внешне жалеет это нелепое стадо. Но не думаю, чтобы такое отношение проникало далеко в глубь его души. Думаю, врет работник культа, когда говорит, что нет у него недобрых чувств к этой серой бессмысленной массе, подмявшей под себя большую часть его владений.

Не уверен, что подобное, хоть и временное, скопление молодежи — необходимость, но если уж так сложилось, то какой смысл сетовать. В августе наших школяров нет. Проникнувшись самыми значительными научными идеями — то есть устройством жатки или двигателя внутреннего сгорания, — они разъехались по своим родным весям, неся туда впитанную в техникуме культуру. Становится пусто и тихо. Но, как ни странно, самые интересные наблюдения над особенностями жизни нашего Урядьева я сделал именно в эти августовские недели. Именно в это время становится доступен изучению его невыразительный, но своеобразный характер.

В августе съезжается на каникулы цвет коренной урядьевской молодежи — студенты столичных и областных вузов. Надо заметить, что это очень любопытная категория молодежи. Надо думать, что они считают себя сливками нашего общества, возможно, так оно и есть, но почему-то проявляют

они себя поголовным торопливым блудом, регулярным пьянством и больше ничем. Не думаю, что такое поведение — результат влияния столицы, верю даже, что они учатся там, и учатся неплохо, но так получается, что, переступив порог родного дома, они отдаются во власть какого-то беса и становятся похожи на матросов, только что сошедших на берег. Наихудшим представителем этой молодежи является мой непосредственный сосед — Крушеницкий Андрей. Еще будучи ребенком, он заразился микробами сомнения. Его хромой отец был человеком честолюбия нечеловеческого. Даже немного нелепого. Властолюбия просто средневекового. Но эти качества несколько уравновешивались хозяйственностью. Это он превратил наш техникум в предприятие, в некотором смысле заметное. Я не специалист в этой сфере, но все в один голос приписывают ему чрезвычайные достижения в практической области. Но, надобно заметить, что, несмотря на его достоинства директорские, он был не раз порицаем Тарасом Владимировичем Толочко за его недостатки человеческого плана. Уважал, но порицал. И порой жестоко. Сынок же его есть не что иное, как самонадеяннейшая орясина, без такта, своеобразия ума и признаков совести. Обладая примечательной статью, здоровьем и развязностью, он усвоил себе привычки какого-то барочета. Были бы дуэли, дрался бы и убивал, ибо своей, в общем-то никчемной, жизни он ценить не привык, цены достижениям своим не способен знать, стало быть, и жизнь другого человека для него тряпка.

Выработке подобного моего к нему отношения очень способствовало непосредственное наше соседство и спорное строение на границе владений. И более всего меня возмущает его похабная, самоуверенная манера общаться с женским полом. Я не из тех, кто за каждой юбкой желает признавать права на привлечение великого чувства. Слабости женщин известны мне лучше, чем торопливым нынешним развратникам из молодых. Я реалист в женском вопросе, но мне отвратительна эта псевдо-ишляхетская уверенность в собственном «праве» и обаянии. Нашей бедной провинции немного надо. Очень печально, но приходится констатировать, что

многие девицы были очарованы его пошлейшими приемами. Для его гусарства нашлась какая-то почва в нашем обществе, и даже определенное одобрение в общественном мнении и подражание — уже совсем похабное и плебейское. Я был рад, по-человечески рад, когда узнал, что в его успешном донжуанстве наступил сбой. А нанесла ему этот удар не кто иной, как Светлана, дочь нашего кристальнейшего Сергея Николаевича. Я всегда отмечал ее благородство, сдержанность, достоинство и умение себя вести. Все мы, даже атеисты и старики, в глубине души неисправимые идеалисты, все мы заняты поисками в нашей убогой реальности чего-нибудь идеального. Из всех девушек своего поколения Светлана ближе всех к смутному моему идеалу. По крайней мере, для меня.

На этот раз наш баронет прибыл на похороны отца, причем все отметили громадное запоздание, почти в неделю. Кроме того, он прибыл не один, а с другом. В день их приезда я столкнулся с этим другом в беседке. Меж нами состоялась беседа. Этот примерно лет двадцати семи, но уже рыхловатый молодой человек произвел на меня странное впечатление своими речами. Разговор зашел о детях, о детстве, и мой собеседник вдруг разъярился на какое-то мгновение, причем для его ярости не было ни малейшего повода, и подверг злобному осмеянию банальное отношение к детству, бытующее среди людей. Детство, по его словам, самая ужасная пора жизни, все грехи и все самые тяжелые нравственные преступления совершаются в детстве. Из-за незнания боли, ответственности и т. п. Ребенок, по его словам, или неизмеримый страдалец, всю жизнь потом мстящий за свои муки близким и вообще людям, или равнодушный садист, который губит душу еще в раннем возрасте. Речь его была короткой, но страстной. Он внезапно спохватился и потом явно жалел о том, что завел со мной эту беседу. С появлением нашего баронета разговор наш иссяк, но и без его появления он вряд ли бы уже продолжался в том же ключе.

Разбираясь во впечатлении, произведенном на меня словами этого молодого человека, я на следующий день отыскал (из закров моего предше-

го образования), может быть, источник столь необычных воззрений. История с грушами у пресловутого Августина. Никакое образование, в конце концов, не лишнее. Наверное, он, этот мой молодой собеседник, вычитал свои мысли в этой книжке, они там в Москве читают черт-те что. Но если даже совпадение, то забавное. С одной стороны, истерические откровения малахольного церковника, с другой — жизненная позиция, видимо, вполне развращенного современной системой жизни молодого бездельника.

Но как бы там ни было, этот парень меня заинтересовал. Роль его в жизни баронета понятна. Но помимо дружеской помощи другу в несчастье у него есть и свои интересы в нашем городке. Используя свою проверенную систему, я постарался собрать о нем как можно больше информации. Из микроскопических деталей составилось подобие картины. Пожалуй, теперь уже можно сделать вывод, что его поведение не укладывается в рамки той легенды, под покровом которой он прибыл к нам. Из полученных мною сведений я бы не взялся сложить одну правдоподобную версию. Каждый факт сам по себе выглядит просто-напросто странным. Пожалуй, лишь визит к Майбородам имеет логическое объяснение. Ходил в качестве ходатая к неприступной возлюбленной друга. Почему бы нашему дорогому баронету не опуститься и до таких просьб? Но и здесь не все понятно. Зачем это было делать после крайне неудачного визита самого влюбленного? Полная темнота и в прямом и в переносном смысле окружает прогулку на кладбище. Сведения имеются, но очень искаженные. Можно заключить пока только одно — наличествует какая-то сила или какая-то тайна, которая так сильно влияет на нашего баронета и его друга, что заставила их поздно ночью в очень пьяном виде (может быть, и специально нахлестались для храбрости) отправиться на кладбище. Возможен, конечно, и дурацкий молодежный гонор или кураж, тем более — напитки, но не думаю, вернее, не верю я в безобидные случайности. Неплохо бы поговорить с участником путешествия. Сведения имеются самые косвенные. Была какая-то мистика, но поскольку ничего по-на-

стоящему сверхъестественного произойти не могло, то эта мистика, скорей всего, просто курьез или раздутый самогоном страх. Наверняка в самое ближайшее время поступят новые сведения.

Накануне с моим, так сказать, подопечным произошло любопытное событие. Он вместе с Вавиловым и баронетом направился куда-то в сторону городского парка. Видимо, слонялись просто так, делать было нечего. У входа в парк эта группа столкнулась с другой группой приезжих, а вернее сказать, проезжих молодых людей. Сейчас их появилось много, они обычно без денег, в какой-нибудь иностранной рванине, с длинными волосами. Любят веревки вокруг головы. Путешествуют они автостопом. Просятся и их подвозят... Питаются тем, что уворуют с чужого огорода. Исповедуют какую-то, кажется индийскую, идею. Своего постыдного поведения ничуть не стыдятся, а, наоборот, считают себя наилучшими из людей. Что касается индийской философии, то я ей не завидую ввиду таких поганных последователей. В Америке, говорят, таких молодых людей полно, и наши принимают над собой их идейное руководство и держат общий фронт борьбы против пошлости и бомб.

Сцену встречи мне довелось видеть лично. В первый момент было некоторое замешательство. Исповедующих американо-индийскую идею было пятеро, три парня и две девицы, они вяло выбирались из парка, где, надо думать, провели ночь. Вавилов, этот прихвостень западного образа жизни, находясь из-за своего вечного алкоголизма в эйфорическом состоянии, завидев экзотических молодых людей, сразу решил, что перед ним — представители столь им уважаемой западной музыки, и со слезами на глазах кинулся обниматься и, рыдая, повис на плечах оборванцев. Те не сопротивлялись, они вообще, следуя своей идее, ничему не должны сопротивляться, да и опыт им, видимо, подсказывал, что сопротивляться не нужно. Но бить их не стали, хотя вообще урядьевские — ребята крутые. Выяснилось, что приезжие знают Шапырина. Вернее, не все, а одна девица. Она кинулась к нему целоваться, не скрывая радости. Но он был с ней крайне сух, почти невежлив, на что она, кстати, не

обращала внимания, предлагала своим друзьям разделить с нею радость. «Это же Шапырин, понимаете, это же Шапырин!» — не очень понятно на что рассчитывая, кричала она.

Четверо молодых людей, последователей индийской мысли, проследовали дальше, куда-то в Прибалтику, где сейчас у нас с наибольшим пониманием относятся к нуждам подобных движений. А беловолосая поклонница Шапырина осталась, ее устроили у каких-то вавиловских знакомых.

Сегодня выяснилось, что это некая Базеева, промышляющая сдачей жилья студентам. В нашем славном техникуме на всех не хватает общежитий, и часть старшекурсников живет «на квартире». Старушка эта мне известна, она из тех престарелых стяжательниц, которые влачат полунищенское существование, вызывая всеобщую жалость, а после смерти оставляют под полом кубышку старых монет и полподушки современных банкнот. Как и все подобные старушки, она отличается чрезвычайной религиозностью, переходящей иногда в опасную для здоровья истовость. «Крепка в вере», — говорил мне о ней недавно наш отец-эконом. Может, и так, в вере крепка, но вместе с тем за копейку удавится и с неохотой согласилась провести к себе в дом электричество. С огромного огорода все тащит на рынок. Помолится, и на рынок. На подобной святости и стоит нынче наша церковь. Дом этой страстотерпницы как раз напротив тещиною, Серафимы Петровны Кубаревой. Сегодня за обедом моя утица рассказала мне несколько курьезных случаев, случившихся между шапыринской знакомой и Базеевой. Даже имя, которым она назвалась, никем у нас не слыхивано, — Ундина. Моя утица глупа, как творог, но с хорошей памятью, и если что услышит, запоминает обязательно и надолго. Стало быть, Ундина. Это в наших-то заштатных пылях! Да еще веревка на волосах. Волосы белые, а брови черные, что-то в этом, согласен с тещей, есть поганое. У меня такое впечатление, что старуху Базееву как-то дурачат, но мне ее нисколько не жаль, только интересно, с какой целью. Назревают какие-то события. Что-то быстрым стало время.

Сам Шапырин и не подумал поселиться с этой

Ундиной, он даже, кажется, не пошел посмотреть, куда ее селят. Все дело выполнил Вавилов.

Моя утица принесла забавную информацию. Ундина вчера вечером устроила целый спектакль своей хозяйке и соседям. Стала она просить у старухи Базеевой ее икону, которая составляла центр маленького иконостаса в ее доме. Предлагала деньги, долго упрасивала, набавляла цену. Базеева отказывалась, сердилась, крестилась, говоря, что ни за какие деньги иконы не отдаст, объявляла жиличку «ведьмачкой», запиралась, молилась, Ундина сидела на крылечке, ела крыжовник и ждала появления хозяйки и опять лезла к ней со своими предложениями. Цена при этом все набавлялась. Сердце Базеевой было на грани разрыва, надо думать. Причем странно, что жадный человек редко бывает практичным. Посмотрела бы Базеева внимательно на эту Ундицу: рвань, да и только, откуда у нее шестьсот рублей? Она и путешествовала автостопом, то есть Христа ради. Однако у нас думают, что если человек издалека, то обязательно со средствами. Старуха, короче говоря, согласилась наконец. За семьсот, что ли, рублей. Облилась слезами, отбила с полсотни поклонов своей ненаглядной иконке, ну и выносит, стало быть, Ундине на крыльцо. А та говорит — нет, присмотрелась, мол, раздუმала. Старуха, естественно, обезумела, сует ей икону. Ундина от нее к себе в пристройку и закрылась там. Старуха лупит ногой в дверь, рыдает в голос и кричит: «Чаго ж вы ад мяне хочаце?» Все вокруг смеются, зевак собралось, конечно, много.

ГЛАВА 6

1

Шапырин несколько часов просидел на скамейке возле реки. Парк был гордостью Урядьева. Пологий берег Чары обладал неисчерпаемым, как щека Ноздрева, запасом растительной силы. Река целомудренно

прикрывала буйными зарослями самый укромный изгиб своего течения. В этом-то месте и решено было в отдаленные еще времена устроить парк. В мало изменившемся состоянии он дожил и до наших дней.

Шапырин, очень недолго погуляв по кривым, естественным дорожкам, миновав две-три скульптуры, уступающие древнегреческим по уровню искусства, но превосходящие их по степени разрушенности, понял, что интереснее всего тут — подвижное зеркало реки. У Чары был столь ровный нрав, что урядьевцы спокойно селились вплотную к ее воде. Дома стояли у противоположного, непаркового берега. Шапырин разместился на стороне, принадлежащей парку. Река плавно изгибалась, открывая широкую перспективу своих отличных взаимоотношений с человеком. Если бы в наших краях росли такие же раскидистые деревья, как в южных странах, река наверняка имела бы естественную зеленую крышу, потому что и деревья разделяли стремление людей поселиться у самой воды. Река могла гордиться, что помимо поэтического значения, которым вот в кои-то веки заинтересовался приезжий молодой человек, она имеет и большое промышленное. Чуть ниже по течению дребезжала как швейная машина поставленная в трясину небольшая фабрика, несколько раз проплыли вниз по течению небольшие баржи с песком. А многочисленные деревянные и железные лодки, покачивающиеся у индивидуальных пристаней, позволяли заключить, что Чара, ко всему прочему, еще и отрада рыбащей.

Шапырин сидел себе и смотрел, пользуясь успокаивающим эффектом текущей воды, предаваясь никому не известным мыслям. Ему нравилось, что парк практически пуст.

И вот, когда солнце начало клониться к закату, напоминая о том, что на дворе конец августа, а не середина июня, Шапырин почувствовал легкое, но крепнущее ощущение неудобства. Он принужден был оставить свои, очень занимавшие его, мысли и попытаться определить, в чем дело. В парке зародилась новая жизнь и набирала силу. Кто-то открывал ворота в заборе, ограждавшем огромную деревянную и час назад совершенно мертвую на вид танцплощадку. Заработала касса, торгующая билетами, появились многочисленные, пока еще скрывающиеся под сенью зарослей парочки и группы. Танцы, тоскливо понял Шапырин и, переставив но-

ги через доску, на которой сидел, стал смотреть на реку, так сказать, человеческой жизни.

2

Адам Аркадьевич очень нервничал, что выражалось в почти непрерывном кружении по дому. Несколько раз он принимался что-то писать у себя в кабинете в толстой, бухгалтерского вида, тетради в бумажном переплете, но бросал в нервном отчаянье: видимо, что-то было недодумано. Жену, попавшуюся ему под горячую руку, он обозвал «ракалией» и велел убираться. Она сказала, что пойдет ночевать к матери. «Хоть к черту лысому»,— сказал он ей в потемках коридора. Но, выскочив на кухню, он увидел там огромную выварку с кипящим свиным варевом и закричал: «Данута, а свиньям давать?» Жена молча сняла выварку и потащила в хлев. Делала она это настолько медленнее, чем хотелось бы Адаму Аркадьевичу, что он с трудом удержался от того, чтобы ее не пнуть вдогонку. Вернувшись в кабинет, он упал на диван и так лежал довольно долго, перебирая пальцами на животе. Потом он выбрался в сад и там уселся в плетеное кресло рядом с грубо и неизвестно зачем сколоченным столом—им никто никогда ни для каких целей не пользовался. Кресло было поставлено таким образом, что с него отлично просматривались некоторые важные части усадьбы Крушеницких, и Адам Аркадьевич дико злился, когда жена куда-нибудь это кресло утаскивала или позволяла во время прогулки задевать своей любимой свинье. Итак, он уселся, немного поелозил полозьями кресла по траве, наводя фокус, и теперь был спокоен, что никто к Крушеницким не войдет и не выйдет без его внимания.

Довольно быстро стало смеркаться, потянуло августовской прохладой. Адам Аркадьевич крикнул, чтобы жена принесла ему покрывало. Жена не появлялась. Видимо, действительно ушла ночевать к матери, к этой «кривой карге». Адам Аркадьевич мысленно присовокупил к этой характеристике еще несколько самых нелестных и этим полностью согрелся. Через несколько минут он был вознагражден за терпение. Вернулся домой возбужденный Револьт и вскоре выскочил обратно вон со

двора, крикнув что-то неопределенное Ольге Лукиничне, поинтересовавшейся, куда это он? Прошло еще немного времени, и сама вдова покинула свое безрадостное жилище, наверняка пошла к своей подруге Эмилии Эдуардовне Кóбель. Судя по слухам, они там гадают на картах, еще чем-то и поедают пирожные с чаем. Адам Аркадьевич совсем было собрался покинуть свой наблюдательный пост ввиду прохладной опасности для здоровья и уже оперся локтем о стол, когда в очередной раз хлопнула дверь чужой веранды и к калитке подошел «баронет». Он не торопился покинуть усадьбу, он стал оглядываться. Адам Аркадьевич замер в неестественной позе. Он очень рассчитывал на темноту, она уже достаточно сгустилась. От «баронета» остались только белые поперечные полосы на джемпере и воротник рубашки. Чего же это он стоит?! Адаму Аркадьевичу хотелось сменить позу, почесаться, чихнуть, высморкаться, пить, есть и спать. Наконец шелкнула калитка. «Ага»,— сказал себе тихонечко лысый старик и быстро побежал к заднему крыльцу своего дома.

3

Когда на эстраде появились музыканты, Шапырин покинул свою скамью и подошел поближе. Настроение у него немного переменилось, в глазах прибавилось живого блеска, хотя улыбка, игравшая на губах, оставалась все еще слишком философической. Музыка там, на эстраде, как мозаика, собиралась из отдельных звучащих кусочков. Вот бренькнула гитара, вот бабахнул барабан, вот хлюпнули клавиши электрооргана. На танцплощадке народу еще почти не было, основная масса роилась вокруг, в крепнущей темноте все заметнее становились сигаретные огоньки, и чем дальше, тем этих искусственных светляков становилось все больше. Много было чисто девичьих группок. Самые добропорядочные держались за руки, словно удваивая таким образом свое стремление не согрешить; разбитные и непутевые много курили, цинично, как им казалось, выпуская дым меж передних зубов, и издалека могли показаться знающими жизнь. Увереннее всего выглядели те девушки, что пришли на танцы с офицерами и курсантами-отпускниками. Они считали, что заботу об их достоинст-

ве взяло на себя само Министерство обороны. Твердое общественное положение сказывается в женщине значительно явнее, чем в мужчине.

Эти танцы были типичными районными танцами, и, стало быть, не все вокруг было спокойно: хватало тут всякого еле-еле проспавшегося сброда, отдельные представители которого то и дело шумно застревали в каком-нибудь кусте или съезжали одним туфлем в реку. Имелась, надо думать, и более или менее организованная преступность, разбитая, как это водится, на отдельные группировки, враждующие между собой и сейчас напряженно следящие друг за другом, сжимая в многочисленных карманах ко всему готовые кулаки. Если бы можно было перевернуть и встряхнуть всю эту молодежь, то из нее высыпалось бы несколько десятков кастетов, пара-тройка велосипедных цепей и монтировок, обернутых в газету.

Танцплощадка считалась среди урядьевской шпаны и примыкающей к шпане молодежи нейтральной территорией. Картонажная фабрика, «красные дома», «Газопровод» и вторая школа находились под присмотром команды Васи Карателя. Центр, заправка, моторный завод и стадион были территорией, признававшей над собой суверенитет соперника Карателя по кличке Шило. Время от времени, очевидно в периоды особой солнечной активности, когда, например, кочевники вскакивают в седло и едут грабить землепашцев, возникали довольно обширные побоища между этими группировками. Но ввиду того что силы все время оставались примерно равны, статус танцплощадки в результате не менялся, хотя каждый из преступных принцев мечтал овладеть ею.

Осенью, когда съезжались в техникум студенты, возникала третья сила в городе, плохо организованная, но самая многочисленная. Она тоже имела своих вождей, обычно недолюбливавших друг друга, что являлось причиной досадной раздробленности. Были даже случаи союза одного из техникумовских лидеров с Карателем или Шилом для захвата единоличной власти. Словом, все это очень напоминало известные эпизоды отечественной истории. Если добавить сюда десяток вольных рыцарей, подобных, скажем, Андрею Крушеницкому, завоевавшему право на независимое поведение и чрезвычайными физическими данными, и силой

характера, то получится почти исчерпывающая картина инфраполитической жизни Урядьева.

Ничего этого, конечно, не знал Шапырин, когда подошел вплотную к танцплощадке. Все здесь вызывало его улыбку, неприятную снисходительную улыбку. Он заранее очень невысоко ставил искусство местного вокально-инструментального ансамбля. Ансамбль же, постепенно нащупывавший на эстраде нити музыкального взаимопонимания, был, между прочим, несколько раз активным участником театральных постановок Урядьевского народного театра. Это случилось при Олеге Неверо, который очень тяготел к шумливой, громоблистательной форме спектакля. Ребята были местными самородками, не мыслившими свою жизнь без музыки.

Наконец руководитель ансамбля Толик Тендитный проговорил в микрофон несколько хриплых цифр и, махнув своим парням, ударил белой кистью поперек сверкающей гитары. И сразу все изменилось на танцплощадке — хлынула публика.

— Мы приветствуем вас в этот чудесный вечер после нелегкой трудовой недели, сегодня вместе с вами группа «Солнечное затмение», — торжественным голосом возвестил Толик, и музыка по неуловимому мелодичному каналу перебралась в другое, более широкое русло и решительно пошла на танцующих.

Мода — ужасная вещь, дорого и хлопотно угождать всем ее крикливым капризам, даже живя в столице, но как делать это здесь, в Урядье, не имея настоящей возможности составить полное представление о ее требованиях на сегодняшний день. Здесь все время подстерегает опасность впасть в безвкусицу, а по-настоящему безвкусно то, что было модно вчера. Описание туалетов должно быть, думается, опущено, нельзя опускаться до злорадства.

Танец стал массовым. Многие понимали его не как возможность самовыражения, а скорее, как легкую и веселую повинность. Танцоры стояли в кругу с немняющимся выражением лица, одним и тем же образом передвигая ноги. Такой танцевальный тип был основным, все остальное являлось просто отклонением от него: робкие девушки на огибающих пространство танцплощадки скамейках и пятеро волосатиков, бьющихся в негармоничной истерике прямо перед зевом динамика. Четыре военные пары образовали свой кружок, свой

танцевальный гарнизон, и танцевали независимым, но несколько консервативным образом. Конечно, имелось и несколько пластически одаренных молодых людей, танцевавших самозабвенно и, возможно, чувствовавших в этот момент, что они живут какой-то особенной жизнью, не похожей на свое обычное беспросветное существование. А может, и не чувствовали, как не чувствует своей избранности породистая лошадь, бегущая посреди степного табуна.

Надо заметить, что жизнь вокруг танцплощадки не слишком ослабела с оттоком большого количества молодежи на освещенное пространство. Происходили какие-то перестроения, отмечаемые перелетами сигаретных огней. Крепло веселое раздражение, копилось не вполне понятные силы. Продефилировал по дорожке вдоль реки милицейский наряд; для прогулки он выбрал самое удобное место, откуда равно хорошо просматривалась и танцующая толпа, и прохладная река. Шапырин их не видел, так же как и небольшую группу преподавателей техникума с красными повязками на рукаве, они тоже в день своего дежурства в дружине основное внимание должны были отдать рассаднице преступности — танцплощадке. Группа состояла из Стапислава Борисовича Бабинского, Антона Антоновича Трусевича и Револьта Матвеевича Евхуты.

Шапырин слишком был занят танцующей толпой, его, видимо, нешуточно занимало это многочисленное скопление людей, столь неизобретательно, столь несвободно танцующих. Косность была массовой, и каким-то образом это обстоятельство его забавляло и увлекало. Из его улыбки исчезли блики снисходительности. Шапырин был весел, естествен и радовался жизни.

Таким образом он собирался провести большую часть вечера и очень удивился, заметив с той стороны ограды знакомое женское лицо. Настроившемуся для общения с массой непросто перестроиться и заговорить с отдельным человеческим существом. У вынырнувшего из толпы «существа» было крупное круглое лицо, большие черные глаза, ярко накрашенные губы и черная челка, доходящая до бровей, — Галя Пятак. Галя обрадовалась встрече и спросила Шапырина, почему он не танцует. Она сегодня одна, и если он хочет, то может потанцевать с ней. Шапырин, немного озадаченный поворотом событий и хотевший в первое мгновение отка-

заться, успел сообразить, что это было бы крайне невежливо, улыбнулся и принял этот не вполне ему нужный дар судьбы.

Через несколько секунд он уже был в гуще событий. Музыканты как раз решили устроить передышку и заиграли что-то медленное, будто выпустили лебедя на поверхность пруда. Шапырин понимал, что обычное его выражение лица сейчас неуместно, но заменить его было нечем, никакое другое из испробованных не могло продержаться дольше нескольких секунд. Так и пришлось ему танцевать, имея на лице улыбку энтомолога, присевшего перед муравьиной кучей. Он был благодарен Гале за ее крепкую талию, опираясь на которую он почувствовал себя увереннее. Галя, остывая после прошлого танца, чуть-чуть слишком сильно дышала Шапырину в плечо, и ему могло показаться, что у него есть эполет. Речь пошла конечно же об их последней встрече в комнате у Маланчика. Галя с большим уважением отзывалась об их мужском решении сходить ночью на кладбище и даже не пробовала понять, зачем им это было нужно. Этим она вызвала искреннее к себе расположение Шапырина. Потом разговор переметнулся на жизнь Гали. Она незаметно выложила все о себе и своем семействе и спохватилась, только когда собеседник стал расспрашивать ее о доме, в том смысле, хорошо ли расположен он. Она расценила этот интерес, как ненавязчивое предложение проводить ее после танцев. И она сказала, что не возражает. Шапырин не понял ответа и переспросил, тогда Галя, немного досадуя на его неделикатную непонятливость, прямо ему сказала, что у нее все ложатся спать рано, а на веранде стоит кровать и там достаточно тепло. Тут опять началась громкая музыка. Шапырин, несмотря на свою коротконогую, грузноватую фигуру, заплясал самым бодрым образом. Он понял, на что согласна его партнерша. Он сквозь грохот музыки всматривался в крупное с мощными надбровными дугами лицо Гали и искренне восхищался равнодушнойшим выражением на нем, умилялся прыжкам, в которые она вкладывала всю себя. Гале тоже нравилось происходящее, партнер, по ее мнению, танцевал неправильно, но зато старался и всячески показывал, что ее манера танцевать — Галя считала ее безупречной — ему очень нравится. Это не могло не подкупить.

Ансамбль взял себе короткую паузу. Шапырин и Галя остановились, тяжело дыша. Они были в этот момент счастливы и с благодарностью и интересом смотрели друг на друга. Шапырин расстегнул пиджак и взялся за ворот рубашки, а Галя сильным фонтанчиком воздуха, производимым красными губами, держала в постоянном волнении свою челку. Шапырин расстегнул и ворот рубашки, наклонился над мокрым ухом Гали, чтобы сказать что-нибудь подходящее к случаю, но заметил, что выражение лица девушки резко изменилось, и невольно проследил за ее взглядом, явно направленным мимо него. За оградой танцплощадки стоял молодой человек в белой рубашке с сигаретой в зубах и махнул его, Шапырина, к себе.

4

Нельзя сказать, что Адам Аркадьевич решился на это сразу, потому что сначала просто не представлял, что именно в создавшейся ситуации можно предпринять. С другой стороны, готовность что-то немедленно делать прямо-таки заняла в нем, когда он понял: дома у Крушеницких никого нет. В глубине его души уже давно жила мечта о некоей замочной скважине, сквозь которую можно было незаметно взглянуть, что же на самом деле происходит в темноватой душе московского гостя. Вообще, все его колоссальное любопытство льнуло к явной теперь таинственности Шапырина, но, поскольку не возникало до сих пор ни одной ситуации с конкретными возможностями, оно и не вызывало решительного стремления к действию. И вот наконец! Еще не зная, что он предпримет, Адам Аркадьевич понимал: нужно спешить. Для начала он сбегал к своему сарайчику и отыскал там гвоздодер. Сжимая его холодное тельце в руках и предусмотрительно оглядываясь, Адам Аркадьевич тихонечко приблизился к пограничному забору и выбрал самую ненадежную доску, долго пытался, пристраивая инструмент, раз сорвалось, второй, и вот пошло. Гвоздь пискнул, как птенец, покидая родимое гнездо. Адам Аркадьевич, еще раз оглядевшись — темнота стояла уже абсолютно надежная — и отодвинув доску, незаконно проник на враждебную территорию. Там рос высокий, уже слегка подсохший малин-

ник. Адам Аркадьевич ненадолго замер, а потом стал медленно-медленно продвигаться к зияющему черным проемом окну шапыринской комнаты. На короткий, каких-нибудь четыре метра, путь ночной гость затратил, наверное, десять минут, сто раз по его лицу пробежала судорога, когда осторожно отодвигаемая им малиновая ветвь издавала особенно громкий хруст.

Глаза Адама Аркадьевича настолько привыкли к темноте, а зрение было настолько обострено волнением, что он, еще находясь в гуще зарослей, разглядел, что на подоконнике стоит что-то большое. О, как он захотел поскорее потрогать это большое, но он сдержал себя. Эта выдержка помогла ему в свое время пережить Сталина и оккупацию, перетерпеть два неприятнейших следствия, когда он месяцами не имел возможности психологически шелохнуться, он и сейчас поборол свое пусть и сильное, но элементарное желание и продолжал продвигаться, соблюдая все предосторожности. И когда он наконец приблизился к окну и наложил руку на сумку с шапыринскими вещами, вокруг стояла полнейшая тишина, и Адам Аркадьевич был уверен, что его никто не видит.

5

Парень был крупный, но, оттого что стоял на земле, в то время как Шапырин на помосте танцплощадки, его вид не казался угрожающим. Глядя на приближающегося Шапырина, он продолжал спокойно курить. «Что?» — спросил Шапырин кивком головы. Парень показал одним экономным жестом, что, мол, далеко, не будет слышно, подойди поближе, чтобы не пришлось кричать. После короткого сомнения Шапырин взобрался с коленями на скамейку, иначе никак приблизиться было нельзя. Лицо парня, пожелавшего с ним говорить, было приятным, открытым, лоб высоким, немного портили его образ рыжеватые кудри и веснушки на крупном носу. Он улыбался естественной, ничуть не блатной улыбкой.

— Ты знаешь, что это моя девушка? — сказал он, не переставая улыбаться.

— Галя? — спросил Шапырин, бросив мгновенный

взгляд себе за спину, там уже опять танцевали, и Галя вместе со всеми,— разумеется, не знал.

— А теперь знаешь, да?

— Ну да,—немного недовольно согласился Шапырин.

Ему было ясно, что спорить в этой ситуации не приходится, тем более что Галя, собственно говоря, вызывала в нем не столько мужские, сколько этнографические чувства. Он хотел, правда, для поддержания своего достоинства сказать что-нибудь, вроде того, что в таких ситуациях принято в цивилизованных странах спрашивать женщину, но чутье ему подсказало, чтобы он никаких подобных фраз не произносил. Он молчал, но и это, оказывается, было не совсем то, чего от него ждали. На приятное лицо парня набежало недовольное облачко.

— Я не знал,—улыбнулся Шапырин,—она мне же этого не говорила. Я понял свою ошибку, извини.— Шапырин уже внутренне перестроился, и теперь ему уже ничего не стоило произнести какие угодно извинения, тем более что он отчетливо ощущал — опасность не миновала, ее нужно заговаривать непрерывно, как кобру.— Не сердись, старик, если бы я знал, что это твоя де-вушка...

— Значит?..

— Значит, я ухожу, сваливаю, исчезаю, прости, что невольно испортил тебе настроение.

Парень докурил свою сигарету и отбросил бычок.

— Ладно,—сказал он,—держи кардан,—и протянул свою руку сквозь просвет в ограде. Шапырин охотно протянул ему свою и вполсилы пожал мощную влажную ладонь. И в следующее мгновение вонзился лицом в ограду. Рыжий так неожиданно и сильно дернул его на себя, что полуоглушенный Шапырин несколько секунд не мог понять, что произошло. Он свалился назад со скамейки на помост. Рядом взвизгнуло несколько танцующих и сидящих девиц, они мгновенно разлетелись, освобождая угол танцплощадки и коридор к выходу. К нему, к этому коридору, не торопясь направился рыжий и еще двое рослых парней.

Шапырин с трудом поднялся на ноги. Ох как звенело в голове, один глаз вообще не смотрел. Звон уходил куда-то в колени и заставлял их подгибаться. Шапырин, все еще плохо соображавший, неуверенно топ-

тался на месте, и любому, наблюдающему со стороны за этой сценой, было понятно, что через несколько мгновений он станет беззащитной жертвой тех троих, вступающих на танцплощадку. Вот они подошли и встали подлым полукругом перед покачивающимся московским гостем. Они чего-то ждали. В это же время к воротам танцплощадки подошел Андрей вместе с Кристиной, которую он уговорил пойти потанцевать, несмотря на насморг. Музыка продолжала играть, и все продолжали танцевать, но одним глазом посматривая в сторону драки. Андрей сразу почувствовал какой-то диссонанс в звучной атмосфере танцплощадки и стал осторожно оглядываться.

Шапырин, устав ждать и понимая, что продолжения все равно не избежать, размахнулся... и получил четкий удар в подбородок, но не упал, а просто сделал несколько движений, как если бы решил станцевать вприсядку. Видевший все это Андрей поморщился. Он отлично знал этих парней, они были из команды Шила. Связываться с ними конечно же не стоило. Андрей быстрым шагом пересек пустое пространство и положил руку на плечо рыжего и попытался ему что-то объяснить, но тот, несколько удивленный в первую секунду появлением Андрея и его поведением, быстро собрался и, положив ему ладонь на грудь, стал улыбаясь, но очень настойчиво отталкивать. В этот момент Шапырина ударили ногой в живот.

6

Адам Аркадьевич не сразу стащил сумку. Он осторожно заглянул в комнату и довольно долго ее осматривал — комната была пуста. Он еще пошарил взглядом, надеясь обнаружить что-нибудь интересное, может быть, неотправленное письмо или что-нибудь подобное. Пришлось удовлетвориться сумкой, Шапырин других компрометирующих следов не оставил. Адам Аркадьевич стал стаскивать ее с подоконника осторожно-осторожно, как бы проверяя, не подсоединена она к какой-нибудь mine. Она вполне может быть приманкой: Шапырин, по внутреннему ощущению Адама Аркадьевича, мог пойти на все. Несмотря на страшную спешку, ибо было неизвестно, сколько у него осталось времени, Адам Аркадь-

свеч так же бесшумно вернулся на свою территорию, внутри у него все пело. Он сразу же кинулся в свой кабинет, нервным движением достал лист чистой бумаги, положил рядом с ним свою любимую ручку. Огляделся, глубоко вздохнул и, обернув руку носовым платком и сопровождая шипение молнии собственным страстным сопением, распахнул сумку.

— Ага-га-га-га! — проговорил он, глядя в ее темноватые недра. Он понимал: прежде всего нельзя нарушить порядок, в котором уложены вещи, и вот, стараясь его не нарушить, он начал вынимать и, осторожно исследовав, раскладывать на креслах и на письменном столе составные части нехитрого шапыринского скарба. Он был уверен, что содержимое багажа, проанализированное умным человеком, все расскажет о своем владельце, даже если он настолько осторожен, что не хранит в нем своего, скажем, удостоверения или дневника.

Вынув лежавшую на дне электробритву и тщательно пошарив на дне и под откидным дном сумки, заглянув во все потайные карманы и кармашки, Адам Аркадьевич прошептал: «Ну вот» — и придвинул к себе лист бумаги, собираясь составить опись, но услышал торопливые шаги по коридору и, сразу же обернувшись, увидел лицо жены в дверном проеме. Он, замерев и выпучив глаза, смотрел на нее, стараясь, кажется, испепелить ее взглядом. Вскочив, он заорал на нее:

— Ты чего явилась, дура?! Ты же сказала, что пойдешь к матери! Ну иди, иди, иди! — он подбежал к ней и стал выталкивать обратно в коридор. — Иди, я тебе сказал!

Данута явилась так неожиданно домой, подгоняемая довольно смешной мыслью. Вернее даже сказать, не мыслью, а измышлением своей матери, гипертонической старухи Кубаревой, у которой Адам Аркадьевич три года назад вследствие известного рода договоренности взял в жены немного увечную от природы дочь. Когда Данута, явившись сегодня днем, рассказала матери о занятиях мужа (старуха, надо заметить, относилась с уважением к зятю, считая его хоть и жадным, но очень умным человеком), то есть о его длительной и, как она выразилась, «жалостливой» беседе с крашеной Ундиной, мысли старухи Кубаревой, вечно подогреваемые напряженной гипертонической кровью, приняли следующее направление: старый черт (всегда славив-

шийся просто-таки патологической тягой к женскому полу, что она, как коренная урядьевка, знала хорошо), так вот, старый черт решил затащить в постель эту заезжую чертовку. А та в свою очередь, не имея ни кола ни двора, судя по одежде, и прослышав от этой гадюки Базеевой, всегда любившей посчитать чужие денежки, что у лысого гада кое-что скоплено умным поведением в лихие годы, сама к нему и явилась. А сегодня «лысая кочерга» специально выставил ее безропотную дочку, чтобы провести вечерок с этой заезжей змеюкой. Разговор, судя по всему, состоялся накануне. «Когда ты, дура, хлопала глазами и давала свиньям».

Чувства Дануты по отношению к Адаму Аркадьевичу всегда были непросты, даже когда он ее бил, она понимала — благодетель. Никто бы больше косоглазую от больной матери не взял бы. Но вот Ундина ее как-то задела. Была ли это ревность? Вряд ли. Ревность предполагает существование перед этим какого-то права. Ей бы самой стало неловко, если бы она вдруг заговорила с Адамом Аркадьевичем о каких-то своих правах. Она даже осуждала раздражение матери по поводу того, что она не пытается прибрать к рукам тайное финансовое хозяйство мужа, да и самого мужа. Но вот Ундина! Данута ощутила в себе право быть недовольной. Потому что крашенная москвичка с черными бровями — это слишком. Данута спешила домой, пестуя в душе возмущенное пламя, она не представляла, в какую форму выльется ее справедливый гнев. Но чем ближе она подходила к дому, тем сильнее она хотела, чтобы произошла ошибка, чтобы мать просчиталась и не надо было скандалить с Адамом Аркадьевичем. И когда в самом деле выяснилось, что никакой Ундины нет, а Адам Аркадьевич занят чем-то другим, пусть даже не очень научным на вид, делом, ей стало так стыдно! И она приняла как должное и яростное выталкивание из кабинета, и несколько тумачков вслед. Стоило остаться ей одной, у нее полились слезы. Адам Аркадьевич еще выше поднялся в ее глазах, но от этого ей не было легче. Ей стало обидно, его честность почему-то не радовала, и выталкивание из кабинета странным образом ассоциировалось в ее сознании с выталкиванием из жизни. Все это были смутные мысли и ощущения, но жгучие, и она рыдала все сильнее и сильнее.

Адам Аркадьевич, захлопнув дверь кабинета, повер-

нулся к разложенным вещам и с ужасом понял, что забыл порядок, в котором извлекал их наружу. Во всем, конечно, был повинен внезапный визит этой ракалии, он даже погрозил ей через стену кулаком. Ему было страшно, он тер ладонью лоб и постукивал по затылку тем же кулаком, который только что использовался для угрозы, словно пытаюсь завести машину памяти. Адам Аркадьевич на мгновение пожалел о том, что ввязался в эту историю. Если Шапырин тот, за кого он его принимает... «Нет, нет, нет», — забормотал учитель атеизма и присел к столу, потому что опись содержимого следовало составить в любом случае.

7

Когда в коридоре раздались приближающиеся шаги, Маланчик застонал, понимая: работать ему сегодня опять не придется. Он рассматривал этот неотвратимо накатывающийся визит как нежелательный, но он не думал, что все будет так плохо, как вышло в результате. К нему в гости принесли тело. Трое незнакомых молодых людей, кратко осведомившись у Богдана, не Маланчик ли он, деловито внесли и уверенно положили на единственную кровать в комнате тело Виктора Шапырина. Маланчик опешил и сразу же занервничал. Труп ему был ни к чему, он не стал раздумывать, почему эти незнакомые люди (они, кстати, к этому моменту уже ушли) так были уверены, что на его кровати труп будет лучше всего. Погибающий при каких-нибудь неожиданных обстоятельствах Шапырин мог шепнуть адрес немеющими губами... Важно другое: он, Богдан Маланчик, абсолютно не знает, как объяснить недоверчивым органам то, почему это тело имеет койко-место в его номере. Мысль эта не характеризует душу режиссера с блестящей стороны, но понять его все же можно. Труп Шапырина на мгновение стал для него трупом, метафорой, представляющей суть того, что произойдет с ним, Богданом, как с театральным деятелем. Труп, появившийся накануне знакомства с труппой, не есть ли это ужасающий происк каких-нибудь скрытых до сих пор недоброжелателей. Неужели так страшно возглавлять Урядьевский народный театр, неужели это связано с такими страшными вещами. Молодой режиссер,

как ему казалось, был готов ко всему, но все-таки не к такому.

Маланчик обругал себя за то, что не догадался остановить и расспросить носильщиков, он пожалел, что приехал в этот город, он пожалел о том, что выбрал профессию режиссера, и в этот момент труп застонал. Видимо, его расшевелили мощные волны отчаяния, одна за другой выплескивавшиеся из души Богдана. «Сейчас попросит пить»,— с какой-то обреченностью подумал Маланчик, не успев обрадоваться тому, что труп не мертв. «Пит»,— кое-как проговорили губы Шапырина, и Маланчик тут же подбежал к нему со стаканом, но выяснилось, что он ошибся, Шапырин просто спрашивал — ничего, если он здесь поспит? Разумеется, Богдан стал кивать и делать жесты, означающие согласие, удовлетворение, радость. Ему бы лучше было сказать это же вслух, но он, скорее всего, решил, что раз больной так плохо говорит, то он так же плохо и слышит. Но это смятение было легко объяснимо: вид Шапырина был страшен. Губы — лепешки, правая бровь рассечена в двух местах, быстро эволюционирующий кровоподтек на левой скуле. Длинная царапина на подбородке, которую можно было нанести даже не ударом, а взяв за шиворот и повозив по танцплощадке. При всем при этом надо отдать должное Шапырину, он старался продемонстрировать, что сохраняет иронический взгляд на вещи. Заметив, как внимательно присматривается режиссер к отделке его физиономии, он сказал, что оставшееся под одеждой пострадало еще больше и поэтому придется спать не раздеваясь. А в ответ на растерянный вопрос Богдана, как все это понимать, Шапырин ответил, что совершил не вполне удачную попытку слиться с народом.

— Когда народ тебя раскусывает, он обычно поступает именно так.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

1

После роковых танцев в жизни Урядьева наступило определенное затишье. Нескладная житейская драма, невразумительно разыгрывавшаяся в течение трех дней, внезапно оборвала свое развитие, и причиной этому послужили, как можно было видеть, события по большей части механического плана, может быть и имеющие какую-то связь с провидением, но, на простой человеческий взгляд, крайне нетворческие, нелепые и слишком внезапные. Начало им положила Светлана своим ни на что не похожим отъездом. Можно, конечно, предположить, что ей просто-напросто все надоело. Но как быть всем тем, для кого присутствие ее в Урядьеве составляло смысл существования. С этим отъездом у них пропал всякий повод действовать. Менее заметным, но более понятным было исчезновение Ундины. Надо понимать, что она убыла потому, что ей удалось, по крайней мере частично, свести с Шапыриным свои запутанные счета, а не затем, чтобы уберечь от язв ревности душу супруги Волотовского.

Шапырин и Крушеницкий, физически, так сказать, удаленные со сцены, по-разному проводили время, но оба с одинаковой убежденностью в сердце — все кончено. Причем эта убежденность доставляла им переживания разного типа. Трудно, например, поверить, что Шапырин мучался сильнее Крушеницкого, а было именно так, и объяснений разумных этому факту пока не видно. Андрей пострадал в драке меньше и вспоминал о ней со смешанным чувством удовлетворения и волнения. Он красиво дрался, имел удовольствие три-четыре раза самым полновесным образом приложиться к рожам этих гадов. Причем он прекрасно сознавал, что никаких последствий для него эта история иметь не будет, он не задел жизненных интересов Шила, а просто подтвердил свои права на независимое поведение. К

тому же мафия обязательно примет во внимание то, что он вступился за своего гостя.

Любопытно, что Ольга Лукинична даже с некоторой радостью отнеслась к этому приключению сына. В длинной цепи его непонятных, пугающих поступков появилось нечто привычное, он повел себя отлично и не получил никаких опасных ран. Стал оживленнее. Револют Матвеевич не приставал к нему больше со своими разговорами, один раз даже намекнул, что неплохо бы выпить, но поддержки у племянника не нашел: конфликтная ситуация рассеялась еще не полностью. Дюдю, явившегося с визитом, Револют выставил из дому, разумно предполагая, что тот попробует продолжить свою неподкупную и совестьливую роль в происходящих событиях и что это может опять ухудшить климат в семействе. Опытный Револют опасался не зря, Дюдя явился с готовой разоблачительной речью, из которой следовало, что Револют, именно он, инспирировал инцидент на танцплощадке, купив каким-то образом Шило и его скотов. Доказательств у него не было, но когда и кого из политиков останавливало подобное обстоятельство.

Адам Аркадьевич уже в три часа ночи, задышавшись от волнения, вынужденный прислушиваться не только к дому Крушеницких, но и к своему собственному, приблизился к забору. Долго он стоял, но так и не смог избавиться от ощущения, что в доме у Крушеницких происходит какая-то жизнь. Задерживать у себя сумку дольше было невозможно, но и не представлялось возможным вернуть ее на место без страшного риска. Положение было отчаянным, Адам Аркадьевич призвал на помощь всю свою смекалку, столько раз помогавшую ему выбираться из самых заковыристых ситуаций. Смекалка не подвела его и в этот раз: необязательно ведь, чтобы сумка заняла именно то положение по возвращении, которое у нее было перед похищением. Достаточно, если она будет обнаружена в положении, которому хозяин сумки сможет подыскать разумное объяснение. Найдя ее под окном, он наверняка подумает, что она всего лишь была недостаточно надежно устроена накануне на подоконнике и неведомое сотрясение свалило ее. И, расчетливо размахнувшись, Адам Аркадьевич бросил увесистую сумку через забор и через малинник прямо к открытому окну и, пригибаясь по-разведчески, петляя зачем-то, посеял к своему дому.

Товарищ Волотовский напрасно так спешил и волновался. Виктор Шапырин в тот момент лежал на кровати своего друга Маланчика и менее всего был способен учинить следствие по поводу странного поведения своей сумки. Травмы его оказались нешуточными, особенно беспокоил бок. Осматривавший его на следующий день врач, озабоченно покачав головой, сказал, что не исключена трещина ребра.

Раны на лице были не столь опасны, но значительно более досадны. Шапырин не скрывал того, что его очень заботит пристойность облика. После ухода врача он разразился несколькими очень яростными тирадами. Себя он в своих высказываниях не щадил, свое нынешнее положение он считал следствием своей глупости и не раз заявлял об этом громко и решительно.

Богдан Маланчик сначала расстроился, узнав, что выздоравливать Шапырину придется у него. При всем своем дружеском к нему отношении режиссеру хотелось иметь творческое убежище. Но довольно быстро он понял, что ему в каком-то смысле даже повезло. Травмированный оказался прелюбопытнейшим собеседником. Два дня назад он был совсем не таким. В нем почти совсем не осталось иронической уклончивости, умело, но не полностью скрываемого столичного снобизма, видимо, честные районные кулаки способствовали известному перевоспитанию гордого гостя.

Беседы получались захватывающие и, что самое главное, творческие. Никогда, даже во время общения с лучшими людьми культпросветучилища, Маланчик не испытывал таких подъемов духа и таких глубинных прозрений. «Учителя» скользили по линиям традиционных лекал, они ужасно много всего знали, кроме того, чем можно взволновать сердце современного пытливого юноши. Шапырин не читал лекций, он просто лежал, часто скулил, ругал жизнь, говорил, что собирается уехать, чуть только поправится его здоровье, кричал, что ненавидит провинцию с ее непроходимым тупоумием, капризно ел, но в промежутках между проявлениями своего скверного характера вдруг высказывал идеи, сверкавшие как алмазы. Иногда среди абсолютно вздорного, то ли снобистского, то ли дилетантского трепы у него проскальзывали мысли, быстрее анальгина снимавшие застаревшие интеллектуальные боли Богдана. Началось это путаное, но очень вдохновенное (на взгляд

Маланчика, мнение Шапырина по этому вопросу осталось неизвестным) общение ссорой столь яростной, что режиссер чуть было не вышвырнул вон из помещения своего собеседника, невзирая на всю его немощность. Дело в том, что Шапырин покусился на самое святое, он сделал вид, что собирается втоптать в грязь само Театр. Было это так: Богдан в своем рабочем одеянии, опираясь одной ногой на стул, ерзал другою, как бы готовясь перепрыгнуть стол, попутно он делал пометки в лежавшей перед ним тетради. Он думал, что пострадавший спит, но тот давно уже не спал, более того, он решил вмешаться в творческий процесс какими-то нетактичными и почти недружелюбными замечаниями. Маланчик мягко и доходчиво объяснил ему, чем именно он занимается и зачем это ему нужно. Пошел обмен малозначительными репликами, засасывающий, раздражающий, и Богдан, которому надоело подбирать мелкие аргументы и чтобы раз и навсегда сделать понятной свою позицию и очевидно нелепой позицию оппонента, с улыбкой сказал Шапырину, что тот прав. «Давай, давай отменим театр вообще». Собеседника нисколько не задела ирония, скрытая в этом предложении. Он охотно согласился театр отменить и аргументировал это тем, что театр безусловно и однозначно вреден. Обиднее всего был тон, которым все это было сказано. Маланчик только всплеснул руками, он еще пытался воспринимать этот разговор юмористически, но ему это уже почти не удавалось. Шапырин, используя один из известнейших демагогических приемов для того, чтобы доказать сегодняшнюю свою мысль, обратился к опыту отдаленных предков и напомнил Богдану отношение простого славянского народа к театральной забаве, а отношение это отчетливо запечатлелось в названиях, какие этот народ давал театру — позорище, бесовские, сатанинские игры, схожахуса на игрища, на плясанье и на вся бесовьская игрища.

Маланчик не был готов к спору на столь научном уровне, но знал, что соглашаться не имеет права. Он чувствовал, что у него за спиной весь советский театральный мир. Нежелание — сильный союзник, оно помогает создать аргументы из ничего. Маланчик заявил, что все приведенные слова только сейчас имеют такое значение, какое вкладывает Шапырин, а раньше в них не было никакого яда, и добавил, что для оправдания

любого современного мракобесия можно подыскать какой-нибудь древнерусский текст. На что Шапырин заметил с особой едкостью в голосе, что для Маланчика отечеством является, судя по всему, театр, а не родная земля и история, но ведь театр — это химера. Если уж на то пошло, может быть, и сама жизнь какая-нибудь химера, и удивительно забавно выглядит человек, тратящий силы и время на пребывание в химере химеры. Ни в чем не виноватые предки просто пахали землю, а нам оскомину, видите ли, набила их сельскохозяйственная естественность, нас оскорбляет их здоровье. Нам подавай материи потоньше, переживания поиндивидуальней, нас обыденность якобы заела, и вот мы создаем театр. Но он из храма давным-давно превратился в учреждение, требующее себе официально-бюрократических жертв. Форма небытия — вот что такое современный театр. А землелашец пашет, и пот каплет, каплет, каплет на его соху, плуг, трактор.

Маланчик затрясся всем телом в этом месте шапыринской филиппики. И возмутила его не столько сама эта точка зрения, а то, что Шапырин врал. Он не мог так думать. Маланчик это чувствовал. Он не полностью нашелся в этой ситуации, он закричал — да, да, да, театр нуждается в обновлении, что он погряз, но нельзя на нем ставить крест (а здесь — давно стоит, замечал Шапырин), потому что тот театр, который мы сейчас видим, это не театр. Реформа нужна, решительная реформа, но главные наши театральные замки стоят неприступно (он, между прочим, имел в виду всего лишь областной драматический и кукольный театры), и вся надежда на низы, на таланты почвенные, природные. «И потому я здесь!» — вскрикнул режиссер в конце своей речи.

— Я только об одном прошу, товарищ режиссер, — не надо трогать народ. В результате все кончится тем, что народ придет с лопатами и вилами и спихнет вас всех в какую-нибудь подходящую яму. Я бы на вашем месте, режиссерском, скрывался.

— Народ же у нас!! — страшным голосом прошептал Богдан.

— У вас не народ, а самодеятельность, всю эту банду надо высмеять или высечь и заставить вернуться к исполнению своих прямых обязанностей.

— Но тогда же косность и водка!

— Пусть лучше косность и водка, чем химера и позор.

Маланчик схватился за горло и стал расхаживать по комнате, хохоча самым гомерическим образом. Шапырин был несомненным ретроградом, хотя и начитанным. Маланчик в этот момент со всей отчетливостью ощутил, что высшая правда на его, режиссерской, стороне, весь ход истории на его стороне, а собеседник просто-напросто применяет очень грубые приемы и ни за что не хочет признать себя побежденным.

— Ладно, актеры есть актеры, да и мы, работаги-режиссеры,— мы слуги Мельпомены, это понятно, а вот зритель? Как же его лишать общения с живым искусством, как у него отнять высокое удовольствие?

— Очень сомневаюсь насчет удовольствия...

— И как можно отказываться от такого инструмента воспитания?

— Родной, где и когда ты видел хоть одного человека, которого воспитало искусство. Я убежден, что среди читателей Островского найдутся и тунеядцы, и изменники родины.

— А какого Островского ты имеешь в виду? — Шапырин отвернулся. Маланчик улыбнулся.— Да, да, да. Так ты отрицаешь воспитательную роль искусства? — как бы потрясенно, а на самом деле язвительно поинтересовался режиссер.

— И тебе советую отрицать, очень вредная иллюзия.

— Ну почему же иллюзия. Возьмем хотя бы ту пьесу, что я привез с собой...

— Совершенно ублюдочная пьеса, по крайней мере, по твоему пересказу судя.

— Современная, по-настоящему современная пьеса...

— Очень плохая по-настоящему современная пьеса. Хотя что значит современная? У тебя там кто-то в деревню возвращается из города, выдвигается идея, что песня деревни не спета, и так далее. Так вот запомни, что победа города над деревней состоялась еще в двенадцатом веке. Окончательная. Слышал про Возрождение, так вот это городская культура, пришедшая на смену сельскохозяйственной. То, что мы слегка отстали... — Шапырин шумно вздохнул, он лежал и смотрел в потолок.— Ну это частное. А вот наши драматурги... Ну вот хотя бы твой...

— Олег Торцовский.

— Вот именно, он описал, как там комсомольский работник ломает в себе индивидуалистическую черту, но ведь у Шекспира дана критика индивидуализма во всех ответвлениях и без малейшей пощады... хотя, зачем это я,—усмехнулся Шапырин и махнул рукой.

Маланчик объявил, что совсем перестал понимать собеседника, который противоречит себе на каждом шагу. Отчетливо улавливается только одна мысль: Шекспир — это хорошо, а «Домой возврата нет?» ни на что не годится. Но ведь и без всех этих речей ясно, что Шекспир драматург великий. Шапырин опять махнул рукой и стал проклинать рыжего дьявола с танцплощадки. Маланчик осторожно и задумчиво присел на край кровати, глядя в широкий небритый подбородок Шапырина. Ему стало жалко избитого друга, к последствиям драки он отнес и потерю способности к четкой формулировке своих мыслей.

— Спасибо, Витя, ты, конечно, дилетант, у тебя немного незрелый ум, но несколько интереснейших наблюдений я почерпнул, почерпнул. Они могут пригодиться в моей работе.

— Я очень рад.

Такие споры происходили почти непрерывно. Несколько раз у Маланчика появлялось желание продолжить тот старый, похмельный разговор, а вернее сказать, пьяный разговор, якобы состоявшийся по дороге на кладбище и произведший столь сильное впечатление на воспаленную в тот момент душу режиссера. Впечатление это слабело, стиралось в памяти, но продолжало немного мучить и волновать. Но в целом Маланчик взял надежный, значительный стиль в отношениях со своим малоподвижным гостем. Цени оригинальный поворот шапыринского интеллекта, охотно пользовался плодами деятельности этого интеллекта. Снисходительно взвешивая на своих внутренних весах результаты очередной беседы, он ощущал себя сильным, реалистичным (и терпимым) профессионалом, позволяющим одаренному дилетанту свободно высказывать свое мнение.

Лежащий друг заявлял, например, что персонажи любимой Маланчиковой пьесы кажутся ему безжизненными. Зритель не должен верить автору на слово, что вот тот тракторист, а другой секретарь. Одно дело — верить на слово, а другое — сопереживать. Сопережи-

вать персонажам пьесы «Домой возврата нет?» невозможно.

Маланчик тряс непокорной головой и говорил, что речь Шапырина неубедительна, пусть товарищ критик пояснит свою мысль на примере.

— Ладно, вот тебе пример. У тебя действует в пьесе дружок секретаря, по замыслу драматурга, опытный циничный соблазнитель.

— Да.

— А как ты думаешь, можно было бы при помощи шуточек этого персонажа соблазнить какую-нибудь реальную женщину, ну хотя бы ту же самую танцевавшую здесь Галю? Ты зря так долго думаешь над ответом. Послушав болтовню этого соблазнителя, сдохнет со скуки и сбежит даже на все готовая Галя.

— То есть ты хочешь сказать...

— Да, да, Дон Жуан должен действовать так, чтобы любой сидящий в зале мужчина мог воспользоваться его приемами, и главное, чтобы эти приемы действовали безотказно.

— Это типизация, а вот идеалы?

— Да идеал только выиграет оттого, что подступы к нему вымощены надежными плитами. В девятнадцатом веке это отлично понимали... даже вот, — Шапырин постучал ногтем по томику Валентина Катаева, лежащему рядом на кровати, — здесь, в «Траве забвения», есть место... — он быстро листал. — Там, где Бунин говорит молодому литератору Катаеву, что носки нужно стирать в холодной воде. Объективно полезный, практический совет, легко переносимый в реальную жизнь. Это место невозможно не запомнить, на этом рецепте, как на гвозде, держится вся повесть.

Маланчик, с уважением относившийся к творчеству Валентина Петровича, недовольно поморщился.

— Ты отрицаешь за искусством право на парение. Оно, конечно, связано с жизнью, ибо нельзя жить в обществе и считать себя свободным от него, но не такая же грубая зависимость...

— Такая, такая, товарищ режиссер.

— Ты говоришь не вполне понятно, я никак не пойму, какая у тебя система. Допустим, почему ты, такой, как ты утверждаешь, реалистический человек, стоишь против документального жанра? (Однажды Шапырин действительно сказал нечто подобное.)

— Потому что это ложь.

— Да как же ложь? Ну а если люди не врут?

— Конечно, не врут, да если бы и ввали, ничего бы не изменилось. Я даже не про то, что человек невольно приукрашивает себя или, наоборот, очерняет. Дело в другом: чтобы хоть что-то описать правдиво, надо собрать мнения и воспоминания всех свидетелей, всех участников события. В суде допрашивают всех свидетелей, не правда ли?

— Да...

— Ну а если мы берем такое событие, как война?

— Берем,— напряженно кивал Маланчик.

— Есть возможность собрать свидетельства всех участников события? Правильно, нет. Так что суд в такой ситуации неуместен. Но даже если бы мы смогли, допустим, такое чудо, то и тогда картина была бы лжива, потому что мы увидели бы просто кашу. Кошмарную кашу и ничего больше. Нам бы все равно пришлось что-то отбрасывать, чтобы составить более или менее компактную историю, что-то нам мешало бы, было не нужно. Что бы мы отбрасывали? Какие именно свидетельства? Чем бы мы руководствовались в подобной работе? Я понятно говорю? Скажу образно, что бы нам диктовало принцип, по которому мы бы отсекали куски правды, чтобы воздвигнуть монумент истины? Может быть, идея, появившаяся еще до знакомства со всеми фактами?

— Я не знаю,— честно, но недовольно сказал Маланчик. Шапырин замолчал, выпил глоток воды из стоявшего на полу стакана, опять лег на спину и тяжело вздохнул.

— Ну так что бы руководило?

— Ты знаешь,— Шапырин опять вздохнул,— дальше идет очень путаное, но, поверь, очень надежное доказательство. Что-то меня подташнивает, можно я опущу все эти детали? Я, собственно, хотел высказать одну мысль. Я понимаю, что ее сразу захочется подвергнуть критике, не сразу дойдет ее настоящее, ни для кого не обидное содержание... Классическая литература — это жизнь, на самом деле прожитая народом. А то, что мы считаем жизнью, просто цепь несовпадений, путаница. Просто путаница.

Маланчик, напрягшийся во время длинной преамбулы, ждал, видимо, чрезвычайных эффектов во время

явления миру необыкновенной мысли. И его улыбка через несколько секунд после взаимного молчания означала иронию не по отношению к мысли, а к своему преувеличенному мальчишескому ожиданию.

2

Затишье не могло продолжаться вечно. Наконец наступил день, когда должна была состояться пресловутая встреча с труппой Маланчик много думал над тем, как ему себя вести. Он понимал, как важно с самого начала произвести хорошее впечатление. На него сильно подействовало открытие, что не вся поголовно актерская масса в восторге от его приезда. Их, наверное, не очень очаруешь демонстрацией неистового творческого горения. Актеры народного театра отличаются от профессиональных примерно так же, как стрелецкое войско от регулярного. Их, может быть, абсолютно не привлекает возможность оказаться под началом воинственного режиссера. Предубеждение — лень совести. Если они не пожелают увидеть, какой Маланчик хороший, их никто не заставит сделать это. Никто, кроме времени. Но времени как раз у него было мало. Богдан думал обо всем этом, глядя в зеркало и поправляя узел галстука. Наконец он решил остановиться на строгом, простом, дружелюбном, но независимом образе. Шапырин тоже стоял перед зеркалом и при помощи позаимствованного у товарища грима пытался ликвидировать следы избиения на своем лице.

Но ведь не может же среди всей труппы не оказаться десяти порядочных людей, не склонных к интригам и достаточно разумных, чтобы сообразить, что новый режиссер хочет добра театру.

Шапырин обещал не компрометировать дебютанта своим немного уголовным видом, пройти в зал отдельно и сесть подальше. Будет и еще один союзник — Адам Аркадьевич, он вчера специально заходил и обещал помощь. Протирая тщательно выбритое лицо одеколоном, Богдан несколько раз оскалился, он искал в себе необходимые силы для отпора рутинерам. Его не слишком представительное тело внутренне вытянулось в струнку. Не каким-нибудь Бабинским и Трусевичам запугать его. Он кивнул давно готовому Шапырину — пошли.

Наряду с этим, безусловно важным, событием в культурной жизни Урядьева произошло и другое, вызвавшее, как потом оказалось, ни с чем не сравнимые толки и сплетни и имевшее столь поразительный финал. К железнодорожному вокзалу неторопливо подошел состав московского поезда. Громыкнули, поднимаясь, железные ступеньки, и несколько человек, целью путешествия которых был город Урядьев, торопливо вышли. Их было немного. Но даже если бы их было очень много, среди них бы все равно выделялась одна пара. Симпатичная, строго одетая девушка с гладко зачесанными волосами взяла под локоть рослого, атлетически сложенного негра в белой рубашке с закатанными рукавами и показала кивком головы, куда нужно идти. Негр закинул на плечо большую синюю сумку, и они не торопясь двинулись мимо сонных пыльных акаций к зданию вокзала. Пара вызвала сдержанный, но жадный интерес всех, кто их мог видеть. Урядьевский вокзал и площадь перед ним, может, впервые видели прогуливающего негра. Настоящего, очень черного, не мулата какого-нибудь или араба. Другое дело, что лицо у него было не столь безобразно, как это часто бывает у представителей Африканского континента. Он имел цивилизованную осанку и добрые глаза. На нем синели отличные джинсы, на левой кисти сверкали иностранные часы, из заднего кармана джинсов торчала газета, но при всем при этом он был самым настоящим негром. Мощенная польскими мастерами площадь, по которой ступали его белые с синим кроссовки, была столь провинциальна, что никто бы не удивился, когда бы камни возопили от прикосновения этих кроссовок.

Светлана, а это была она, продолжала держать иностранца под локоть и осторожно направлять его движение. Ей эта неспешность давалась нелегко: губы побелели, щеки и подбородок напряглись, глаза время от времени стреляли по сторонам, но в основном ей удавалось себя удерживать во вполне пристойных рамках и сохранять небрежный, почти экскурсионный вид. Ее экзотический спутник наслаждался обстановкой, смотрел по сторонам с интересом, улыбался, иногда наклонялся к уху Светланы и что-то у нее спрашивал. Народу навстречу попадалось немного, и тем заметнее было удивление каждого при встрече с этой неторопливо идущей по тротуару парой.

Возле Успенского собора черный гость остановился. Он довольно долго рассматривал достопримечательность, и она удостоилась нескольких одобрительных жестов и кивков. Светлана при этом что-то ему объясняла, глядя вверх на купол, над которым медленно-медленно разворачивалось ленивое районное облако. Две старушки, сидевшие на скамеечке возле аптеки, затем, видимо, чтобы быть поближе к месту торговли лекарствами, встали и напряженно следили за парой во время этого эпизода. Уловив одобрительный характер отношения негра к собору, они почувствовали себя польщенными.

Наконец, насытившись видом православного храма, заморский гость позволил вести себя дальше. Возрастные приметы чужих народов, тем более столь отдаленных, как негритянские, малопонятны. Одно можно было сказать про спутника Светланы, что он не юноша, статью он обладал безусловной мужской. Может быть, ему было двадцать пять лет. В конце концов, появится возможность справиться об этом по документам.

Пара вышла на улицу Мицкевича, и описываемая ситуация еще более усугубилась. Улица Мицкевича была полудеревенским прошлым Урядьева, когда в нем не было и в помине народного театра. Здесь среди вишневых садов, гусей и уток, вояжировавших вдоль и поперек по непроезжей проезжей части, гость из мира негров особенно поражал воображение. Одна женщина уронила таз с бельем, заметив его черную физиономию над своим резным забором. Кто-то покачулся на лестнице, на которую взобрался посвистать голубям. Один солидного вида дядечка бросил ручку колонки и позорно спешил себе на двор, расплескивая нужную огороду воду. Неуверенно гавкнуло несколько собак. Это была самая малая, самая внешняя часть тех событий и страстей, которые обязательно должно было вызвать явление этого гостя.

— Пришли,— сказала Светлана и со вздохом толкнула высокую деревянную калитку.

3

Историческая встреча с самого начала пошла не по лучшему руслу. Перед тем как представить Маланчика

труппе и труппу Маланчику, Антон Антонович Трусевич, взявший на себя роль организатора, решительно потребовал, чтобы зал «покинули те, кто не имеет непосредственного отношения к этому производственному совещанию». При этом он самым выразительным образом посмотрел сначала в сторону загримированного, но не до неузнаваемости, Шапырина, а потом в сторону какого особенно лысого в этот день Адама Аркадьевича. Пополз шумный шепот по залу, шепот, грозящий перейти в ропот. Шапырин на секунду обрадовался, здешний театр держался, кажется, на демократических традициях. Он даже привстал, собираясь апеллировать к публике, но вдруг ощутил, что слышит ропот отнюдь не демократического типа, они все явно на стороне Трусевича, они готовы вышвырнуть вон всех посторонних. Адам Аркадьевич, видимо лучше знавший типы здешних ропотов и сразу понявший, какой именно наличествует, уже шел к выходу. Он выглядел сегодня хуже, чем обычно. Ему даже понадобилась старая его палочка с костяным набалдашником. Эту палочку он и поднял перед кафедрой, которую занимал в этот момент Антон Антонович. Таким образом Адам Аркадьевич напоминал, что является историографом Урядьевского театра и имеет к этой встрече непосредственное отношение. Антон Антонович кивнул и, снисходительно улыбаясь, сказал, что Адам Аркадьевич все «получит документами», когда этого потребуют обстоятельства его труда. И Адам Аркадьевич покорно вышел, что многих, знавших его, удивило. Ибо он был известен в городе как склочник, буквоед, он добивался своего в ситуациях, в которых у него было куда меньше прав, чем в этой. Шапырин тоже покинул зал безропотно. Выходя, он еще слышал, как Антон Антонович, отвечая, видимо, на чей-то вопрос, сказал: «А это корреспондент нашей газеты». И дверь закрылась.

Адам Аркадьевич стоял у окна, и по его виду было понятно, что он дожидается Шапырина, что тот ему нужен.

— Какая тьмутараканская неделикатность, да? — сказал он, явно стараясь завязать беседу.

Шапырин, поскольку собеседник смотрел ему прямо в побитую физиономию, не мог понять, что именно он имеет в виду — давешние танцы или сегодняшнюю встречу, пожал плечами и сделал несколько шагов в сторо-

ну, неуверенно оглядываясь. Коридор был не просто пуст, он был безжизнен. Дощатый крашеный пол тускло отсвечивал. Очень скучно ходить по такому полу. Старинные стенды на свой нехитрый манер рекламировали правила техники безопасности. Глубочайшие проемы окон и прочие угрюмые приметы монастырской архитектуры сейчас особенно бросались в глаза.

Волотовский осторожно подсеменил к Шапырину и несколько раз деликатно кашлянул.

— Я, собственно говоря, хотел бы просить извинения,— увидев, что Шапырин поворачивается к нему, Адам Аркадьевич заговорил быстрее,— за то, что стал невольным, так сказать, объектом для откровений одной теперь уже общей знакомой.

Шапырин внимательно, но без всякого интереса смотрел на него и ждал, что еще скажет старичок. Старичок считал, что сказал достаточно для начала диалога, и поэтому чувствовал себя неудобно и понимал, что неожиданная и удобная возможность поговорить, кажется, прогорает.

— Я только для того, чтобы успокоить. Известные мне факты—она поделилась некоторыми фактами—будут похоронены на дне... Я умоляю не волноваться. У меня, может быть, и не самая лучшая, ха-ха, сложилась здесь репутация—я бы мог кое-что при случае разъяснить,—но чувствую, что в этом нет надобности, да? И не в этом дело. За одно я отвечаю—на мне все умрет.

Молодой человек продолжал молча разглядывать Адама Аркадьевича, и Адаму Аркадьевичу этот взгляд был неприятен. Он сказал еще несколько слов, покрутил рассеянно своей интересной палкой на прощание и убыл вниз по лестнице, стараясь придать своей походке независимый оттенок.

Воспользовавшись тем, что этот странный старикашка ушел, Шапырин тихонечко, на цыпочках подобрался к тяжелой двери зала и припал к ней ухом; долго ничего не удавалось услышать, наконец раздался громкий взрыв хохота. Шапырин потрогал свое родимое пятно и медленно пошел вниз по лестнице на первый этаж.

Сергей Николаевич с Юрой сидели за столом и пили чай. Первым заметил гостя Юра, он замер, прижимая чашку к губам. Отец, неторопливо беседовавший с ним и сидевший спиной к калитке, сразу заметил в нем перемену, проследил взгляд и обернулся. Светлана с Негром приближались по цветочной галерейке. Негр был рослый, ему, так же как и Андрею Крушеницкому, приходилось нагибаться, чтобы не задеть цветочные плети. Подошли. Гость лихо опустил на землю тяжеленную на вид сумку и приветливо улыбался.

— Знакомьтесь,— сказала Светлана,— это мой муж, его зовут Набебе, а это мой папа и брат Юра.

Набебе улыбнулся еще приветливее и протянул Сергею Николаевичу черную снаружи и бледную изнутри ладонь.

— Папа, брат, добрый день,— бодро сказал он тоном человека, отлично понимающего, как ему рады. Это только потом выяснилось, что он неважно знает русский язык и к получающимся у него интонациям прислушиваться бесполезно, а в момент знакомства его поведение и речь выглядели крайне самодовольно и нелепо.

Сергею Николаевичу не раз приходилось оказываться в ситуациях, когда нужно было пожать руку человеку, которого он презирал или ненавидел, и сейчас он рефлексивно пожал эту невозможную ладонь. Юра последовал примеру отца. Более того, он даже пригласил гостя к столу.

— Чаю? — предложил он и отправился за дополнительными чашками. Сергей Николаевич, как раз размешивавший сахар перед приходом гостей, теперь никак не решался опустить ложку на блюдце — слишком неуверенно вели себя пальцы. Светлана старалась на него не смотреть и с нетерпением ждала появления Юры с чашками, чтобы можно было чем-нибудь заняться. Набебе, напротив, не чувствовал никакого стеснения, оглядывая сад — стол стоял прямо в траве под яблоней, — выражение лица его менялось. Кто знает, может быть, он сравнивал наши скромные, но на свой лад прекрасные растения и деревья с пышной и небось вечнозеленой растительностью своей солнечной родины.

Вернулся Юра, налили чай. Положив наконец свою

ложку на стол, Сергей Николаевич спросил Набебе нарочито спокойным безучастным голосом:

— Вы что же, на учебу к нам прибыли?

Набебе выслушал вопрос очень внимательно, несколько секунд вслед за этим размышлял и наконец дал ответ:

— В институте учусь.

— А какой республики гражданином изволите являться? — Сергей Николаевич не понимал, откуда у него берутся такие цветистые вопросы, может быть, возникают от отчаяния?

Набебе не «просек» вопроса, и ему помогла жена:

— Нижняя Омма.

— Да, да, Нижняя Омма,— подтвердил, энергично кивая, гость, очень, видимо, довольный именно такой государственной принадлежностью.

— Понятно,— кивнул Сергей Николаевич и отхлебнул уже остывшего чая,— надо понимать, из развивающихся? Третий мир. Мы, значит, вам экономическую помощь, а вы нам... — Набебе слушал очень напряженно, его лоб свела легкая судорога,— он очень старался понять. Выражение его глаз перестало быть беззаботным. Отец Светланы был, кажется, чем-то огорчен. Набебе вздохнул, печаль, проступившая в его облике, очень к нему шла. И вообще надо сказать, что негроидные черты в лице Набебе почти отсутствовали. Несомненное кровное и личное благородство просто бросалось в глаза. Будучи крупным широкоплечим мужчиной, он очень изящно подносил ко рту свою маленькую чашку и аккуратно отбирал из нее очередной глоток своими нормальными по толщине губами. Зубы, слегка обнажавшиеся при каждом глотке, как это и было им положено, сияли редкой белизной.

Сергей Николаевич допил чай и, откланявшись, отбыл в свой кабинет, и фронт международной встречи пришлось держать Юре. Его обуревали не столько отрицательные, сколько неопределенные чувства. Он понял, что отец поражен этим браком до глубины души. Но в себе никаких трагических переживаний не обнаруживал. Негр его, конечно, тоже удивлял, плоховато говорит по-русски, но чувствуется, что не дурак, и в общем видный. Но даже если бы он знал русский в совершенстве, невозможно придумать, о чем с ним говорить. Юра не мог вспомнить, когда он слышал о су-

ществовании такой страны, как Нижняя Омма; несмотря на то что он работал шофером, к географии Юра относился равнодушно. Можно было бы, правда, завести разговор о зверствах расистов ЮАР, но при наличии остатков языкового барьера легко могла получиться какая-нибудь обида. И тогда он решил говорить со Светланой, которая все это время молчала и быстро, как-то формально, без удовольствия пила чай.

— Вы то есть расписались?

Светлана кивнула и стала себе опять подливать из заварочного чайника.

— А к нам надолго?

— Несколько дней побудем, если не возражаешь?

— Не надо так. Сама должна понимать, как это все неожиданно.

Набебе, краем уха слушавший, но ничего не понимавший, решил привлечь к себе внимание. Он полез в задний карман своих великолепных джинсов, достал оттуда очень красивый брелок в виде автомобильного колеса и, улыбаясь, протянул Юре. При этом он картинно подвигал руками невидимую баранку и улыбнулся еще шире.

— Я рассказала ему, что ты работаешь шофером,— пояснила Светлана.

Юра рассматривал подарок не без некоторого недоверия. Он видел похожие брелоки отечественного производства, но этот был настолько их лучше, что в сердце поселялось именно недоверие, хотя, казалось бы, чего тут бояться, всего лишь брелок.

— А эта... Нижняя, капиталистическая?

— Она встала на путь строительства социалистического общества.

Юра улыбнулся родственнику, то ли благодаря его за подарок, то ли извиняясь за внезапную судорогу классового чутья. Светлана сказала, что ей нужно подняться к отцу. Мужчины кивнули, они одновременно поняли ее намерение.

Светлана волновалась, но так уж был устроен ее характер, что сложности и перипетии склоняли ее не к унынию, а, наоборот, к большей собранности и пробуждали неожиданные силы, помогавшие полностью овладеть собой. Когда она поднималась по ступенькам на веранду и открывала дверь в дом, ее движения были решительны и дышали особой женственной пластичной

силой. Муж и брат, не удержавшиеся от того, чтобы не проследить за нею, каждый по-своему, но оба с восхищением смотрели ей вслед.

— Папа,— тихо сказала Светлана, открывая дверь в отцовский кабинет. Дверь он не запирает почти никогда, сейчас же она была закрыта.— Папа.

В кабинете стоял полумрак, не сразу Светлана обнаружила, где именно в комнате находится отец. Он лежал на черном кожаном диване, сложив руки на груди. Он и так был человеком худым, так что навалившаяся на него тяжесть сделала его тело столь плоским, что оно почти ничем не отличалось от покрывала, которым мог быть накрыт этот диван. Единственное, что помогло Светлане сориентироваться,— блеск глаз. Голова, занимавшая дальний валик, грустно смотрела на вошедшую жену Набебе.

Несколько секунд они молча рассматривали друг друга. Их полное взаимопонимание было в недавнем прошлом. Отец многого ждал от нее, и она слишком хорошо знала, какой удар она ему нанесла, чтобы между ними могло произойти примиряющее, бурное, со слезами и объятиями, объяснение. Было бы легче, когда бы он относился к своей дочери обыкновенным образом. Когда бы его любовь была простым родительским чувством, равно вбирающим в себя любые превращения, могущие произойти с ребенком. Он любил в ней, кроме всего прочего, и свою последнюю возможность полноценно и великолепно осуществиться в этой жизни назло всем ее козням. И все эти тончайшие и острейшие надежды, составляющие ежедневную пищу его души, с грохотом рухнули.

— Уже все поздно, папа,— сказала Светлана. Она готовила первую фразу этого разговора, но вместо подготовленной выскочила эта. Светлана очень сильно любила своего отца. Любила и уважала. Ей было больно причинять ему боль. Но она считала, что нужно объяснить ему сразу, что никаких шагов в обратном направлении сделать уже нельзя, все решено раз и навсегда. Но вместо заготовленной фразы прозвучала эта неожиданная, причем произнесена была напряженным, нервным голосом. Сергей Николаевич услышал сквозь это напряжение женскую горечь. Ему почудилась не растерянность, а фаталистическое решение следовать своей судьбе, пусть даже столь несчастно сложившейся. В

душе отца зашумел внезапный ветер, нежный и мощный.

— Он тебя заставил? Обманул? Что он с тобой сделал? Скажи мне немедленно.

— Нет, папа, он меня не заставлял, скорее я сама... я люблю его. Я мечтала о том, чтобы выйти за него замуж. Он удивительный человек, папа. Ты полюбишь его, он добрый, умный, ты же сам говорил... — Светлана вдруг остановилась, услышав какие-то непонятные звуки: Сергей Николаевич, кажется, плакал. Именно плакал. Тихонько, жалобно. Маленькая волна рыдания пробегала по его плоскому телу. Хорошо, что полумрак не давал Светлане рассмотреть отталкивающих деталей этого процесса. Светлана подбежала и села в ногах у отца, она не знала, что ей делать, у нее не было сил все это выносить. Несколько раз она порывалась что-то сказать, но останавливалась. И наконец набрела на хорошую мысль:

— Папа, ты ведь его совсем не знаешь, он настоящий борец, революционер, он организовал стачку сельскохозяйственных рабочих, он большой друг нашей страны, ну что же ты, папа!

5

Выйдя из здания, Шапырин остановился. В угрюмо затененном кроном очень старых высоких кленов дворе было прохладно и укромно. В отсутствие копошащихся вокруг людей разнообразная сельхозтехника, занимавшая угол двора, становилась робкой и неприметной, на первый план выступали давящие своими церковно-историческими тайнами стены. Священная древность была ничуть не поправа вторжением примет современности в виде веялок, сеялок, комбайнов и плакатов, на которых стаи книжек с надписью «Диплом» брали курс по направлению к «Дому». Шапырин довольно долго всматривался в открывшийся вид. Трудно сказать, что именно он рассчитывал высмотреть. Может быть, его богатое воображение рисовало ему в этот момент картину религиозных экстазов и духовных подвигов, имевших место в прошлом этой обители. А может, он ничего и не представлял, может, просто старался ощутить особенность здешней атмосферы, отличной

от обычного воздуха местных лесов и полей. Где-то здесь явно таилось чудо сгущенной истории, при приближении которого нервная система тонко чувствующего человека обязательно напрягается. А может быть, ни то и не другое. Просто постоял человек да и отправился прочь с монастырского двора. У него, наверное, возник некий план. Если судить по тому, как он шел — сначала медленно и нехотя, а потом все более быстро и целеустремленно, — план этот постепенно овладевал всем его существом.

Вскоре стало понятно, что это за мысль. Шапырин направлялся к дому Крушеницких. Накануне Маланчик в очередной раз предложил ему перебраться в общежитие медучилища. Шапырин это предложение принял и решил сейчас, пока Богдан занят, сходить за вещами.

Ольга Лукинична встретила «гостя» растерянно. Она давно уже, про себя, отправила Андреева друга домой. Его внезапное явление здесь, на кухне, было для нее чем-то чуть менее невозможным, чем воскресение из мертвых. Довольно долго она ничего не могла сказать. Шапырин был терпелив, он только один раз повторил, что ему хотелось бы забрать сумку со своими вещами. Постепенно Ольга Лукинична поняла, чего от нее хотят, не прекращая забывчиво вытирать давно уже сухие руки фартуком, она пробормотала, что сейчас все принесет. Шапырин остался на кухне один, но ненадолго. Явился из своей комнаты Револьт. Он был одет по-домашнему, в майке и тренировочных брюках. Шапырин с удивлением обнаружил, что на плечах и груди кожа у Андреева дяди была вполне нормального цвета, не то что на лице. Внимание заведующего авторемонтным отделением тоже было приковано к лицу гостя. Не без удовольствия находил он на нем следы возмездия. То, что они были явно рукотворного происхождения, нравилось ему особенно. Шапырин удивился неожиданному добродушию недавнего лютого врага. В другое время он, может быть, с ним и поговорил бы, но сегодня самодовольная модификация Револьта нагоняла на него скуку. А заведующий отделением не мог отказать себе в удовольствии поговорить.

— Ну что? — сказал он и выразительно склонил голову.

Шапырин, чувствуя крепнущее раздражение и не умея с ним совладать и злясь на себя за эту слабость,

ответил на бессодержательный вопрос столь же бессодержательным, но значительно более резким вопросом:

— А что?

Револьт захохотал, разговор ему явно нравился.

— Товарищ не понима-ает! — Револьт потрогал короткопалой, очень автолюбительской рукой те места на своем лице, которые соответствовали пораженным местам на лице Шапырина. — Хорошая работа! — И поскольку собеседник, демонстрируя жалкую гордость, не реагировал, сам себе ответил: — Работа отличная, как по заказу.

Трудно сказать, куда бы пошел этот разговор, не пояись Ольга Лукинична, лицо у нее было вытянувшееся, она разводила руками.

— Что? — спросил Шапырин зло. Выяснилось, что сумки в комнате нет. Проверен каждый угол; заглянули и под кровать и т. п.

— Я оставил ее на окне.

Шапырин решительно двинулся в сторону своего недавнего жилища. Хозяева последовали за ним. Войдя в комнату, Шапырин похлопал ладонью по тому месту, где была им оставлена его сумка. Медленно повернулся на месте, оглядывая комнату. Потом лег на подоконник и свесил голову в малинник. Сумку он увидел сразу: ее яркое красно-сине-белое пятно виднелось справа от окна на крохотной полянке меж малиновыми кустами.

— Как это она туда закатилась? — туповато спросила Ольга Лукинична, вслед за Револьтом тоже выглянувшая в окно. Ситуация создалась неприятная. Ненормальность в положении сумки была слишком очевидна. Пища для подозрений, инсинуаций и т. п. — налицо. Но против ожиданий, Шапырин, не говоря ни слова, тяжело сопя, взобрался на подоконник, спрыгнул в малину и присел на корточки перед своей сумкой. Он еще не знал, как ему себя вести. Стоит ли объявлять, что эта история, по его мнению, носит уголовный характер? Стоит ли вообще что-нибудь объявлять? Но дело в том, что он с самого начала был уверен, что ни Револьт, ни Ольга Лукинична никакого отношения к странному поведению сумки не имеют. Он решил ничего не показывать своим видом и ничего не говорить. Револьта неплохо держать в узде. Сейчас он явно смущен. Это хорошо. Начальник отделения по

опыту знал, что во всех подобных ситуациях главное нахрап, и хрипло закричал из окна:

— Далеко же ты ее запрятал, боялся, что полезем рыться в твоих подштанниках?

На волне подобных переговоров Шапырин и покинул гостеприимный дом. Мысли его вились вокруг неловко лежащей в малиннике сумки, а чувства его устремлялись к запечатлевшемуся в сознании полуголому образу Революта и, превращаясь в крылатые острия, разили его. Занятый этой сложной внутренней работой, Шапырин довольно быстро шел по направлению к монастырю. Но вдруг остановился и поднял голову, как человек, собирающийся чихнуть, но не чихнул, а приснул струей смеха.

— Как же я сразу не сообразил! — весело закричал он. — Вот у меня и соперничек здесь есть, причем работает в отличие от меня без сбоев. Скотина!

И, подхватив сумку, он пошел дальше, а единственная свидетельница этой сцены — бабулька, сидевшая на скамеечке поблизости, украдкой вслед перекрестила воздух.

6

Светлана слишком долго скрывала свой замысел, слишком долго сомневалась, что его вообще когда-нибудь возможно будет объявить, и вот теперь, сделав главные шаги, она стремилась, чтобы поскорей брак стал достоянием всеобщей гласности. Ей нечего скрывать! Она любит негра! Она счастлива с ним!

Набебе встретил появление Светланы после разговора с отцом довольно настороженным взглядом.

— Пойдем, погуляем, — сказала Светлана мужу. — Пока здесь все уляжется, — добавила она для брата. Юра кивнул.

За время двадцатиминутного разговора с Набебе он еще не успел привыкнуть к черному родственнику, хотя и стал понемногу склоняться к мысли, что этот курчавый — парень ничего. Набебе был человек общительный, но почти без знания нужного в здешних местах языка. Он был привлекательный мужчина, но негр. Светлана созрела для брака, но это ее замужество выглядело непостижимым. Примерно такие противречи-

вые мысли вращались в голове старшего брата, когда он улыбнулся в ответ на слова сестры.

Светлана решительно подняла мужа и повлекла его к калитке, она приучит Урядьев к виду своего счастья!

Когда молодые стояли уже у калитки, на веранде показался Сергей Николаевич. Он не подал никаких знаков, но было понятно — ему есть что сказать. Он медленно подошел к парочке, стоявшей на улице. После короткого молчания, во время которого казалось, что он скажет что-нибудь дочери и погладит ее по волосам, он повернулся к Набебе и мрачно проговорил, глядя в его своеобразные — чего уж там скрывать — глаза:

— Ну что ж, идите гуляйте. А ты смотри за ней внимательно. Если она провела меня, старого партизана, то тебя... обманет и подавно.

Лицо Набебе было очень серьезно. Обычно его не очень волновало, когда смысл русских разговоров, происходивших в его присутствии, до него не доходил, но сейчас, ощутив, что говорится что-то для него важное, он напрягся и, кажется, понял. Может быть, Сергей Николаевич шутил, Светлана, хорошо его знающая, наверное, улавливала весь набор нюансов. Набебе же видел перед собой очень изможденное, суровое, благородное лицо белого человека, предупреждающего его о возможной измене. К тому же нельзя забывать, что действие происходило за одиннадцать тысяч километров от родины Набебе.

7

Встреча с трупой закончилась как раз в тот момент, когда Шапырин со своей трехцветной сумкой вошел во двор техникума. Он рассчитывал найти там укромное местечко, где можно было спокойно проверить состояние своего скарба. Он был в некотором возбуждении, факт непонятного поведения сумки волновал его. Но стоило ему примоститься на какой-то скамейке, как с шумом растворились громадные парадные двери и повалила труппа. Двор перестал быть укромным местом. Шапырин, поигрывая язычком молнии, внимательно рассматривал проходящих мимо людей. Они немного неприязненно на него косились и резко убыстряли шаг.

В их взглядах сквозило осуждение. Поражал пожилой, если так можно сказать, процент. Молодежь, за исключением таких, как Муравейко, то есть людей с врожденной страстью к сцене, бежала театра, находя себе другие, более подходящие виды времяпрепровождения. Не хочется говорить ничего плохого, но в соседнем райцентре были в прошлом году зафиксированы случаи группового секса и наркомании под передачи иностранного радио. Этой своей непопулярностью у молодежи театр очень походил на церковь.

В таком солидном возрастном составе были и свои плюсы. Скажем, чисто внешне пересекаящая поле шапыринского зрения труппа смотрелась значительно, авторитетно, как какая-нибудь облеченная полномочиями комиссия. Никакой вертлявости в поведении, столь заметной в поведении молодняка профессиональной сцены. Театральная игра заключается не в выделянии всяческих па, не в умении пройти колесом, не в передразнивании манер каждого прохожего милиционера, так считали эти люди. Они несли на сцену богатейший опыт своей реальной жизни. Они считали: если человек хороший учитель, слесарь или санитарка, это не то чтобы обязательно должно быть видно, но хорошо, если положено в основу сценического поведения. Лицедейство без берегов было не для них.

Богдан с размаху, что показывало смятенное состояние его духа, уселся рядом с Шапыриным. Он быстро и бурно дышал. Знакомство, надо понимать, вышло простым.

— Азия, А-зи-я! — с чувством произнес молодой режиссер. — Я предполагал кое-что, но не такое...

— Рутина? — без всякого интереса в голосе спросил Шапырин.

— Рутина, — согласился Богдан, — рутина страшнейшая. И амбиции. Мы говорим на разных языках. Единомышленников, людей, которые так же, как и я, горят театром, я скажу тебе, Витя, здесь немного. Работа предстоит серьезнейшая. Все, все надо ломать.

— Но ты готов к этому?

Богдан сидел прищурившись и устремив перед собой пронизательный режиссерский взгляд, и выражение лица у него при этом было такое, будто видит он перед собой не мрачный комбайн, а светлое будущее.

— Ты знаешь, — он крепко сжал своими находящи-

мися как бы в беспамятстве пальцами подвернувшуюся шапыринскую кисть,— готов. Я не привык отступать. Да и кто вообще тогда будет бороться, если мы отступим? У Владимира Солоухина есть такие строчки: «Если не я, то кто же?» Помнишь?

— А пьесу ты им отдал?

— Да. Они сказали, что размножат ее. Я немного, конечно, волнуюсь. Есть-есть маленько, чего скрывать, но я знаю, что они не устоят, настоящее искусство не может оставить человека равнодушным.

Шапырин вздохнул и сказал:

— Послезавтра я уезжаю.

Режиссер не успел ему ничего ответить, потому что в проеме монастырских ворот показалось удивительное видение. Светлана, держа под руку своего экзотического мужа и улыбаясь какой-то шутке Вавилова-старшего, явилась почти прямо перед скамейкой беседующих друзей. Богдан попробовал присвистнуть, Шапырин же неожиданно захихикал.

Живописная троица вплотную приблизилась к встающей паре. Сближение было задумано Светланой для того, чтобы нейтрализовать старшего Вавилова, уже совершенно замучившего какими-то своими вопросами иностранного гостя.

Шапырин с Маланчиком поднялись, пошли рукопожатия. Набебе знакомился радостно, в растущем количестве друзей было для него что-то успокаивающее. Светлана, изменяя своей обычной манере держаться, старалась казаться оживленной. Богдану трудно было перестроиться, мыслями он оставался пока там, наедине с местной косностью. Шапырин сделал несколько комплиментов Светлане и казался оживленнее других, даже значительно оживленнее. Вавилова интересовал только Набебе, его можно было понять. Имел мятежное от природы сердце и ум, готовый к восприятию самых передовых и решительных идей своего века, он вынужден был прозябать на ничтожных должностях и без всякого понимания здесь, в Урядьеве. И вот на излете его молодости, прошедшей в безуспешных попытках хоть как-то не отставать от движения современной музыки, на грани полного примирения с реальностью пошлой провинциальной «житухи», судьба подкинула ему эту встречу. Встречу с человеком второго сорта, если пользоваться нашими газетными оборот-

цами, но «оттуда». О, рядовому негру много легче находиться у горнила, где полыхает вечный огонь музыкальной и свободолюбивой идеи, чем даже тонко организованному, но прописанному в Урядье белому. Вавилов бомбардировал Набебе названиями известнейших групп и хитов, надеясь вызвать хоть какое-то эхо в этом неконсервативно выглядящем человеке. Ведь не мог же он, в самом деле, живя в такой свободной стране, как Нижняя Омма, и имея возможность поехать в какую угодно западную столицу или просто смотреть по телевизору всевозможные шоу, так ничего не увидеть и не услышать.

Вавилов нервничал, он думал, что вежливая улыбка непонимания и рассеянность черного парня идут всего лишь от плохого у него, Дюди, английского произношения, и он изо всех сил старался тут же это произношение подкорректировать. Из-за этого количество названий, произносимых им, утраивалось, учетверялось. Это вызывало удивление и уважение у русских свидетелей этой попытки культурного диалога. Набебе, скорей всего, все произносимое казалось английской тарбарщиной, в смысл которой он не мог проникнуть. Ему начинало казаться, что он так далеко находится от родины, что тут даже знакомый ему английский язык начинает видоизменяться.

С какого-то момента Дюде, да и всем присутствующим при разговоре, стало казаться, что негра что-то отвлекает. Причем по тем микроскопическим, но заметным на таком близком расстоянии деталям мимики, которые появлялись на благородном челе Набебе, можно было заключить, и присутствующие заключали, что объект непонятного пока тяготения гостя находится где-то неподалеку и не является капризом психики. Ситуация с каждой секундой становилась все более интригующей, Вавилов между тем продолжал говорить, он заметил невнимательность собеседника, но относил ее на счет своего неумения заинтересовать его. Он считал, что называет не самые завлекательные группы и хиты, и старался называть все более завлекательные, пытаясь нащупать струнку в душе Набебе. Светлана наряду с любопытством испытывала еще и беспокойство. Ей бы очень хотелось, чтобы поведение мужа было простым и естественным,— вполне достаточное количество оригинальности заключалось в цвете его кожи и названии его

родины. Богдан и Шапырин испытывали просто любопытство и уже перестали скрывать его, они оглядывались, пытаясь глазами увидеть тот предмет, который ощущал гость. Ситуация была разрублена внезапным словом Набебе.

— Сори! — Вавилова сразило это иностранное закливание. — Там! — сказал Набебе и указал на окно подвала трапезной, превращенного рачительным техникумовским руководством в спортивный зал, где подвизались секции борьбы и штанги. В наступившей тишине вырисовался какой-то мягкий неритмичный стук. Шел он из подвала.

— Пинг-понг? — спросил Набебе. Дюдя кивнул. Светлана, Богдан и Шапырин тоже поняли, о чем идет речь, и все трое шумно выразили восхищение тончайшим слухом иностранца. Светлана была крайне довольна.

Удовлетворяя нетерпеливое желание Набебе, все спустились в спортзал. Он имел достаточно неприглядный вид. Под сводчатым потолком висело несколько подробно засиженных мухами люминесцентных ламп. Их ущербный свет, сливаясь с бледным свечением дня, скудно проникавшего сквозь сводчатые окна, плоховато освещал пропахшее холодным спортивным потом помещение. Часть его занимал борцовский ковер, к нему примыкали брусья с надломленной жердью. Где попало стояло штук пять гирь разного веса и столько же различных блинов. Все эти подробности интересны только человеку, профессионально занимающемуся устройством спортзалов в сельскохозяйственных техникумах. Этому человеку было бы интересно поговорить и со Stanisлавом Борисовичем Бабинским, ведавшим этим хозяйством. Внимание вошедших было привлечено столом для пинг-понга, на котором кипела настоящая жизнь. Вавилов-младший и еще трое парнишек состязались по системе: проигравший выбывает. Вавилов-младший играл великолепно, его изящная и вместе с тем мощная фигура, дополненная ракеткой, рационально сражалась с воздухом, обрубая, подрезая и похлестывая его. Результатом этих совершенных и разумных усилий были как бы случайные, но всякий раз очень точные рывки белого шарика на ту сторону стола, где юный соперник, как правило, промахивался и бежал за цокающим шариком в угол спортзала.

Одним словом, наблюдавшие за игрой получали большое удовольствие. Но еще большее получили бы те, кто догадался бы посмотреть на Набебе. Молодой негр, оставаясь неподвижным, был тем не менее такой же динамичной фигурой, как и игроки. Глаза его... глаза его и в обычном состоянии производили сильное впечатление, можно себе вообразить, каковы они были у него волнующегося.

Вавилов-младший выиграл свою очередную партию, и его соперник отошел к скамейке, с которой уже поднимался сменщик, но тут из шеренги зрителей выступил Набебе и, так и не подобрав нужных слов, выразительными знаками дал понять, что ему очень хочется сыграть. Разумеется, местные ребяташки не стали настаивать на своей очереди и заступать дорогу международному поединку. Набебе вручили основательно потертую ракетку, он взял ее за черенок и большим пальцем свободной руки потеревил ее край, как если бы проверял остроту топора. При этом он отпустил несколько то ли английских, то ли омских замечаний, показавшихся присутствующим молитвой. Вавилов-младший спокойно рассматривал соперника, в его аккуратных круглых очках, кажется, поблескивали искорки иронии, а может, и не поблескивали. Он вызывал симпатию публики своим спортивным и одновременно интеллигентным видом.

Публику постепенно стал охватывать ажиотаж. Еще не было известно, способен ли заморский спортсмен хотя бы попасть ракеткой по шарiku, а Дюдя уже пытался организовать тотализатор; в каждом его движении сквозило преклонение перед западным образом жизни. Светлана, хотя и являлась ближайшей родственницей гостя из-за рубежа, заняла патриотическую позицию. Богдан, конечно неостроумно, выкрикнул, что должна победить дружба. Шапырин просто улыбался и перемещался таким образом, чтобы оказаться как можно ближе к Светлане.

Все эти параллельно происходившие события заняли разве что пять секунд времени. И тут же грянул бой. С первого взгляда стало ясно, что соперники достойны друг друга. У каждого были свои козыри. Набебе обладал немыслимой реакцией и координацией движений, но на реакцию и координацию есть глазомер и точность, имевшиеся в избытке у урядьевского пинг-понгиста.

Вавилов-старший постепенно взял на себя роль ком-

ментатора. Не очень хорошо разбираясь в специфике этого вида спорта, он любил хорошую шутку и прибаутку и при этом отлично понимал, что гостя обижать нехорошо. Можно себе представить этот комментарий. Богдан просто наслаждался магическим умением обоих игроков долго-долго поддерживать подвижное равновесие шарика над столом. Шапырин что-то шептал на ухо Светлане, навряд ли что-то приятное, она морщилась, но и не слишком неприятное, потому что она не делала попыток уклониться от шапыринского шепота.

Было сыграно шесть сетов, и при счете 3:3 соперники вынуждены были разойтись, потому что вдруг выключился свет: такое время от времени случалось в Урядьеве. Света, падавшего из окон, явно не хватало. Набебе в отчаянье ударил себя ладонями по коленям, Вавилов-младший только пожал плечами, стараясь сказать, что ничего не попишешь, надо смириться и ждать следующего раза. Набебе довольно долго еще выражал свое отчаяние на предельно непонятной смеси языков, которые и по отдельности были не очень-то понятны присутствующим. Светлана довольно быстро его успокоила. Свирепый лев пинг-понга быстро становился ручным по мановению узкой нежной ладони. Перед расставанием Набебе крепко пожал игравшую против него руку и с чувством сказал:

— Друг, что ты скажешь завтра?

— Набебе предлагает продолжить завтра,— пояснила Света.

Вавилов-младший кивнул.

ГЛАВА 2

1

Тарас Владимирович Толочко приезжал на работу рано. За долгие годы его руководства все работники райкома привыкли к этому, и никого не удивляла большая очередь у дверей его кабинета в семь часов утра. Секретарша Мария Марковна что-то выстукивала на машинке. За окном сверкало ослепительными краска-

ми раннее утро, даря коридорам и комнатам главного районного учреждения часть своей спокойной свежести, ясности и чистоты.

Тарас Владимирович походкой, немного затрудненной старинным партизанским ранением, проследовал по чистенькой ковровой дорожке, устлавшей коридор, и решительным, ставшим автоматическим за долгие годы движением открыл дверь в свою приемную. Одним взглядом он окинул состав посетителей и с первого взгляда их всех запомнил, и через секунду — Тарас Владимирович обладал немалыми физиогномическими способностями — он уже представлял, каким примерно будет сегодняшний день приема по личным вопросам. Он поздоровался и вошел в свой кабинет. И плотно прикрыл за собой дверь. Посетители хорошо знали здешний этикет, и никто даже не шелохнулся, не показал намерения встать, хотя имелась прочно установленная очередь. Минуты три Мария Марковна продолжала печатать — все сейчас смотрели на нее, может быть, кто-то даже думал о годах ее борьбы вместе с Тарасом Владимировичем в партизанских рядах. Была своя логика в том, что великолепная связная меж лесом и подпольем стала отличной связующей, если так можно сказать, меж кабинетом и приемной. Забулькал наконец голосок селектора. Мария Марковна, оставив машинку, взяла со стола папку с заранее подготовленными документами и с важным выражением лица вошла в кабинет. Провела она в кабинете минут десять, получая срочные распоряжения. Выйдя, она, не глядя на посетителей, села на свое место, положила перед собой папку и стала смотреть на нее так внимательно, словно старалась взглядом развязать тесемочный узел. Наконец, не поднимая головы, сказала:

— Товарищ Волотовский, пройдите.

Адам Аркадьевич был одной из колоритнейших фигур Урядьева, и Тарас Владимирович, приехав в свое время на секретарство в этот городок, сразу же с ним столкнулся. Правда, надо заметить, что начало их знакомства было омрачено одним туманным, теперь почти забывшимся, очень неприятным для репутации Адама Аркадьевича делом. Изложить его здесь не мешало бы, но оно действительно полузабылось, и никаких документов достать по нему невозможно. Детали его распались в памяти, может быть, даже самого Тараса Вла-

димировича, но какая-то тень набегала на высокое чело секретаря, когда он размышлял о бывшем партработнике и священнике. Тарас Владимирович отдавал должное оригинальным сторонам личности Адама Аркадьевича. Ценил его острый, самый атеистический в районе ум, уважал его стремление дать хоть какое-нибудь увековечение главным сторонам урядьевской жизни и истории. Он лично написал письмо в одно издательство, прося издать «Историю моторного завода г. Урядьева», написанную Адамом Аркадьевичем.

Адам Аркадьевич понимал, что ему не следует слишком часто маячить перед взором человека, на дне памяти которого хранится тяжелое подозрение на его счет. И если уж он пришел, то, значит, причина была у него настоящая.

Интерьер кабинета был не совсем в духе времени. Хозяин кабинета любил вещи прочные, зарекомендовавшие себя, он испытывал сильную привязанность, может быть даже не отдавая себе в этом отчета, к светлым дубовым панелям, придававшим значительность атмосфере помещения.

Европеизировало обстановку жужжание не сразу обнаруживаемого вентилятора. Адам Аркадьевич, оглядевшись, не увидел его. Широкая ладонь Тараса Владимировича указала наиболее удобно стоящее кресло, а лицо Тараса Владимировича выказало приличное внимание.

Тарас Владимирович сидел в позе человека, предвкушающего нечто приятное. Его большая, с плоско расчесанными на квадратном черепе седыми волосами голова удобно прислонилась к высокой спинке кресла, руки располагались на положенном по возрасту животе. Адам Аркадьевич не то чтобы волновался, хотя, конечно, и волновался... В общем, он решил рубануть напрямик.

— Дело мое не личное, а общественное. Вчера мне стало известно, что дочь нашего уважаемого человека, ветерана, историка, явилась в город со своим мужем, прости господи. По крайней мере, так она его рекомендует. Вам не любопытно узнать, что это за муж? Так вот — он негр. Настоящий черный негр.

Лицо Тараса Владимировича несколько утратило свое спокойствие, в нем проступило удивление, но поза продолжала оставаться олимпийской.

— Я требую, чтобы восторжествовала справедливость. Обычным путем, то есть вы понимаете, о чем я говорю, она в него не могла влюбиться. Она незаурядная девушка, умница, очень красива, вся в покойницу-мать. Отличница. Здесь какой-то секрет, умысел... эти черномазые способны на все. Стоит девушке оказаться в сомнительной ситуации, сразу шантаж или что-то в этом роде. Конечно, я домысливаю, но в одном я уверен — здесь не может не быть какого-нибудь преступления. И я требую, чтобы наша Советская власть немедленно пришла на помощь советской девушке.

— Признаться... — Тарас Владимирович постучал себя средним пальцем вдоль по носу. — Признаться, не представляю. — Таким было самое первое заявление.

Адам Аркадьевич наседали:

— Прошу меня понять как-нибудь правильно, я не расист, но все должно быть на своем месте. Негры там, а мы здесь. Они, может быть, и друзья наши...

— А что за страна?

— Нижняя Омма. Из газет можно заключить, что она становится на демократический курс развития. Сегодня становится, а завтра с него сойдет. А наша Светлана будет пятой женой местного шамана. Будет мыть казаны и ходить за водой на реку с крокодилами.

— Их брак зарегистрирован?

Адам Аркадьевич крутнулся, как уж на сковородке, это было самое слабое место в его позиции.

— Но если даже и да?! Что это меняет? Это показывает только величину обмана и шантажа. Вмешательство настоящей власти только тогда и требуется, когда все как бы законно.

— Конечно, это все... Но пока, признаться, не представляю себе. Хотя — негр. Что же это, он вообще у нас?

— Вот именно, это одно наводит на мысль. Что тут может делать негр из страны, не полностью вставшей пока на демократический путь.

— Ну вы уж прямо, — сказал никогда не теряющий голову Тарас Владимирович, — это больше забавно. Объектов у нас, надо признать, маловато, но ведь кто может знать, какие их интересы на сейчас.

— И я о том же, очень уж эта женитьба напоминает...

— С другой стороны, выдворение — инцидент,

— Так что, сносить и цинизм даже?! Это ведь цинизм сильнейший — приехать, надругавшись над Светланой, над всем. Он же негр, опуская даже, что шпион.

— Ну, мы — интернационалисты. — Тарас Владимирович поморщился. Он не любил скоропостижных выводов и формулировок, но сильнее всего он не любил, когда на него давят, в любом смысле, хоть в нравственном. — Спасибо за сигнал, Адам Аркадьевич. Что с этим сигналом, — он сделал задумчивое движение руками, — делать, мы тут подумаем.

Адам Аркадьевич понял, что аудиенция закончена.

2

Молодые в этот час еще спали, а на веранде дома Майбород происходил семейный совет. Участвовало в нем три человека: подавленный, постаревший Сергей Николаевич, все время прятавшийся в облаке табачного дыма от вопиющей остроты возникших семейных проблем, рядом с ним сидел все еще растерянный Юра. Третьим лицом была Раиса Романовна, двоюродная сестра Сергея Николаевича, очень крепко сбита женщина среднего роста, с зычным голосом, простыми манерами и оптимистическим взглядом на жизнь, сформировавшимся в сфере торговли, где она подвизалась последние годы. В Урядьев она прибыла по своим производственным надобностям, но, застав здесь «ситуацию», посчитала своим священным долгом принять в ней активнейшее участие. Причем программа действий сложилась у нее мгновенно, как только она досконально изучила состояние дел. Ее большой практический опыт и трезвый житейский ум явно брали верх над рассеянным, злым нежеланием Сергея Николаевича что-либо предпринимать. Юра склонялся на сторону тетки. А предлагала она ни много ни мало, как устроить молодым пышную или хотя бы пристойную по урядьевским меркам свадьбу. Это прекратит все глупые язвительные разговоры, покажет, что семья была обо всем осведомлена и давным-давно выдала согласие на чернокожий брак. Если всего этого не устроить, «позор» (она так считала и говорила) останется надолго, а может, даже и навсегда, на всем семействе. Был, правда, еще способ — проклясть Светлану вместе с ее мужем. Но вооб-

ще говоря, это черт знает что, «патриархат, да и только», сказала Раиса Романовна, да и слегка поздно, молодые живут здесь уже второй день, а если гнать, то гнать надобно от порога, сразу.

Сергей Николаевич в очередной раз затянулся и выдохнул много дыма особенно темного, как будто сумел выдохнуть вместе с дымом часть своих мыслей.

— У меня нет сил этим заниматься.

Ему было сказано, что это понятно, никто и не рассчитывал на то, что он будет чистить картошку и бегать за водкой.

— И когда? — спросил Сергей Николаевич.

— А что откладывать, Сережа? Надо на послезавтра.

На том и порешили, и слава богу, потому что из Светиной комнаты выглянула голова Набебе, а потом появился и весь он в белых брюках и голый по пояс. Он радостно со всеми поздоровался. Раиса Романовна видела нового родственника впервые, и ее добрая воля проходила в этот момент испытание зрелищем полуголой пробежки громадного черного парня за малой нуждой к запрятанному в угол двора туалету. Помотав зажмуренной головой и открыв глаза, Раиса Романовна увидела перед собой Светлану, сладко заспанную, в миленьком халатике, с живописно распущенными волосами.

— Здравсте, тетя Рая.

— Здравствуй, путешественница.

— Почему путешественница?

3

В это же самое время Адам Аркадьевич поздоровался с супругой Миши Гужевого. Антонина Захаровна была маленькой сморщенной, темной старушкой. Образования она получить не смогла, жизнь промелькнула за хозяйственными заботами и вот теперь была на исходе. Кажется, имелись где-то неблагодарные дети, но здесь, во дворе, были повсюду лишь приметы тусклой провинциальной старости.

— Здравствуйте,— повторил Адам Аркадьевич, вспомнив, что Мишина старуха слегка глуховата,— мне бы нужно было с Мишей перекинуться парой словечек.

Старуха что-то залопотала, пытаясь одновременно сообщить, что Миша дома и смотрит телевизор, и посетовать на непорядок «у фатерке». Речь ее от перенасыщенности словами стала похожа на бессмысленное бормотанье. «В фатеру» Адам Аркадьевич между тем вступил. Дом этот был типичным урядьевским неухоженным усадебным домом. На кухонной плите ведро со свиным варевом и таз с плохими яблоками. Тьма разнокалиберной грязной посуды на кухонном столе. Подслеповатые окна с когда-то отодвинутой и уже, верно, окаменевшей занавеской. Домотканый, сильно затоптанный коврик уводил в блеклую глубину дома. В этом жилище презирали быт, с отвращением и досадой вели хозяйство. Адам Аркадьевич шагнул в комнату, задевая плечом за пыльные бордовые занавеси с фестончиками по краю. Миша смотрел телевизор тут же сразу за занавескою. Он полулежал, широко расставив ноги. Поза была вынужденная — старая рана.

— Доброе утро,— сказал Адам Аркадьевич.

Миша, кажется, обрадовался и улыбнулся своей замедленной улыбкой. На обшарпанной, видимо списанной из больницы, тумбочке стоял плохонький телевизор и отчаянно орал. Шла какая-то кинокартина.

— Нужно поговорить,— сказал Адам Аркадьевич, а потом повторил то же самое втрое громче. Миша опять медленно расплылся в улыбке и сказал «гы». Гость нахмурился, он понял, что разговор будет тяжелее, чем он предполагал. Этот Миша при всем своем идиотизме явно собирался хитрить. Но непонятно, возможно ли его завербовать в какое-нибудь более сложное, чем выпивка, дело? В ответ на эти мысли, пронесившиеся в маленькой лысой голове, Миша снова сказал «гы» и протянул гостю свою безвольную полупарализованную руку с отвратительными на ощупь дряблыми пальцами, увенчанными толстенными страшными ногтями. Поскольку рука эта была левая, гость не сообразил, что ему делать, и отступил на полшага. Миша и не предлагал рукопожатия. «Дними»,— сказал он, и Адам Аркадьевич помог ему подняться, думая, что сейчас они пойдут куда-нибудь в укромное место, где ему будут поведаны решающие тайны. Но Миша просто подковылял к своему телевизору и осторожно его выключил. После этого, вернувшись к дивану, занял прежнее положение. В том, что он не доверил выключение теле-

визора гостю, можно было, пожалуй, усмотреть обиду, но Адам Аркадьевич решил это счесть просто экстравагантностью инвалида.

— Ты на кладбище был? — спросил он напрямик, рассчитывая этим вопросом смутить лукавого «гыгыкалу».

Тот не смутился и, глядя на лысого гостя в упор — насколько это можно сделать снизу вверх, — сказал:

— Сейчас старая чайку.

Выражение лица у него было бессмысленное, но наглое. Старуха его уже внесла грязноватый заварочный чайник и глубокую миску с нечистым слежавшимся сахарным песком. Адам Аркадьевич понял, что ничего он не узнает от Миши Гужевого, но еще несколько секунд он не мог уйти и невольно следил, как хозяин дома (и сахара) правой уверенной рукой накладывает себе в граненый стакан с бледным чайком первую, вторую, третью, четвертую ложку.

— Зря ты, калека, ввязался в это дело, — сказал он пегромко, значительно тише, чем когда здоровался, и, не прощаясь, вышел.

Миша, несмотря на все свои ранения и определенную малахольность, отлично знал о тех опасных слухах, которые окружали этого Волотовского, и сейчас инвалид отлично понял, что очень рассердил гостя. Вместе с тем то, что Миша перестал помешивать сахар и тоскливо посмотрел вслед Адаму Аркадьевичу, конечно, не значило, что именно он был в ту странную ночь на кладбище.

4

— Набебе, я думаю, это неудобно, — Светлана остановилась посреди улицы, показывая свое нежелание сопровождать мужу в его предприятии. Набебе тоже остановился, он понимал, что жена почему-то не хочет, чтобы он шел к своему новому другу Кузе Вавилову, и просил ее доходчиво, на английском языке, объяснить ему — почему? Светлана произнесла много слов, но смысл ее опасений оставался неусловим, английским она не владела настолько, чтобы передать все нюансы. Набебе внимательно выслушал все, что она сказала, и сделал по-своему. Светлана, отчаявшись что-либо объ-

яснить своему мужу, недовольно, но покорно отправилась за ним.

Надо сказать, что продвижение этой пары по улице Маршала Рокоссовского, в конце которой располагалось бунгало Вавиловых, не осталось незамеченным. От усадьбы к усадьбе, преодолевая заборы, катилась волна любопытства.

Две-три женщины, попавшиеся навстречу, были с пустыми ведрами, они якобы спешили к колонке за водой. Набебе никак не реагировал на это обстоятельство — очевидно, суеверия его родины выработали другие приметы.

Можно было ожидать, что появление иностранца у них на дворе очень польстит Вавиловым, — ничуть не бывало. Появление иностранца их неприятно поразило. Старуха Вавилова, провинциальность которой была из-за страсти к «Клубу кинопутешествий» не вполне герметичной, удержалась от немедленного бегства, но не удержалась от того, чтобы смертельно побледнеть. Наверяд ли это было стремление усилить свой расовый признак. Светлана приветливо поздоровалась с ней и быстро объяснила цель визита: дело в том, что ее муж договорился с Кузей о встрече. Старуха кивнула и, не говоря ни слова, показала за дом, надо было понимать, что Кузя находился там. И действительно он сидел там под яблоней за самодельным столом, пил молоко из литровой банки и читал толстую книгу. Он удивился чуть меньше матери, оглянувшись посмотреть, отчего там скрипнула садовая калитка, и обнаружив в смородиновой гуще улыбающееся лицо своего нового друга.

— Кузя, — сказал Набебе, — я жду.

5

Шапырин сидел в раздумье над своей сумкой. Он был удивлен и взволнован. Вчера вечером, уже расстегивая молнию, он ощутил первый укол неопределенного, но неприятного подозрения. Вытаскивая из сумки по очереди свои вещи, прислушиваясь к их неуловимо, но явно изменившемуся запаху, расправляя их чужие, хоть и старательно выполненные, складки, он понял, что его сумка была объектом тщательного, как говорят представители власти, досмотра. Еще вчера от-

крытие подобного факта его скорее бы позабавило, чем расстроило. Теперь же, в резко изменившейся ситуации, то, что появился такой пристальный интерес к его особе, что интерес превратился в настоящую слежку, его расстраивало. Все это было совершенно ни к чему. Судя по методам работы (он очень приблизительно знал подобные методы), за ним следят частные лица. Или лицо. Местную мафию он отмел сразу. У нее не могло быть интересов, кроме мордобойных. На тайного работника ОБХСС Шапырин не считал себя похожим. Он не отрицал возможности того, что его снова побьют, но сомневался, что среди местной шпаны найдется хоть один, у которого были бы причины так тщательно укладывать и подбрасывать обратно украденную сумку. Револьт? Бабинский с Трусевичем? Да за каким чертом им это надо? Андрей со злости пнул?

Шапырин встал и начал прохаживаться, разминая затекшие ноги. У него было ощущение невидимки, внезапно обнаружившего, что кто-то его все-таки видит. Этот лысый? Ундина говорила, что он интересовался. Неприятный старикашка, любопытный, и живет по соседству. «Лысая кочерга», только чем он может быть опасен? Донссет? А о чем? То-то и оно.

Дверь хлопнула, и в комнату вошел Богдан. Лицо его было искажено и окаменело, как театральная маска. В руках у него дрожала лиловая папка.

— В чем дело? — Шапырин решил, что Богдана тоже избили, и удивлялся, не находя следов.

Богдан подошел к окну и осторожным движением, как маленького ребенка, положил на него папку. И сказал:

— Это моя пьеса.

Шапырин сообразил, что на друга обрушилась творческая катастрофа, и с интересом ждал разъяснений. Но немедленному их началу помешало еще одно явление — в комнату неожиданно, фатовской походкой вошел Андрей. Оглядев хозяев немного шальными глазами, он вдруг сделал мгновенный чечеточный переступ и замер с артистически поднятой правой рукой.

— Ну что, слышали?! — В его поведении был кураж человека, знающего, что всем известно, как сильно он пострадал, и из этой уверенности черпающего свой, как ему кажется роковой, артистизм.

— Ты что, с рыбалки? — спросил у него Шапырин.

— Да, с рыбалки. Съездил вот рыбку половить, возвращаюсь — на тебе! Ты, Витя, плохой психолог. Какую ерунду ты мне болтал! Это же обхотаться можно.

— Я и сейчас не отказываюсь от своих слов.

— Ладно, не отказывайся, это дело твое, — махнул рукой Андрей и с размаху уселся на кровать.

— Ты зря размахался руками. Негр есть негр. Экзотика. К тому же, кроме настольного тенниса, ему ничего в жизни не нужно. Еще три дня он проходит с ракеткой...

— Ты все врешь. Я тебе верил, а ты меня обманул.

— Это твое дело, как ко мне относиться. И наверное, это прозвучит смешно, но сейчас ты, как никогда, близок к цели. Он негр, это приедается, как бананы, ей обязательно захочется бульбы...

Андрей скривился и привалился спиной к стене. Его понт на мгновение сошел с него, и стали видны злобные и жалобные линии в его лице. Он не хотел продолжать беседу. Богдан, искренне не понимавший, как сейчас можно говорить о чем-то, кроме его пьесы, поняв, что Андрей временно не может мешать беседе, стал рассказывать о своей неприятности. Оказалось, что сегодня его пригласили в райком партии, где ему было объявлено, что привезенная им пьеса «Домой возврата нет?» ставиться не будет, и посоветовали режиссеру обратить внимание на другую вещь, на пьесу местного драматурга, работника районной газеты товарища Абсуркина.

— Я присел в скверике и полистал, не смог удержаться, — разбитым голосом говорил Богдан, — ты только послушай, как она называется: «Приезжайте в сиреневый сад!» Действие происходит в каком-то доме отдыха, где труженики с различных участков трудового фронта — токарь, библиотекарь, свинарка — собираются вместе, чтобы заслуженно отдохнуть. Идут какие-то приключения, легкая путаница, но все разрешается, ко всеобщей радости, то ли водевиль... — Богдан остановился, потому что к горлу изнутри подкатила волна рыдания. — Абсуркин! Фамилия-то какая гнусная.

— Да, абсурдная фамилия, это верно. Фамилия обычно много говорит о человеке. Вот Крушеницкий — что-то среднее между крушением и Грушницким... —

Шапырин остановился, не уверенный, что его расстроенный друг его слышит.

— Это же тина! Это опять все то же, так больше жить нельзя! — забормотал Богдан.

— Надо что-то делать, ты прав. Ведь ты Маланчик — это что значит?

— От молнии, — потерянно ответил режиссер.

— Ну вот видишь — молния, тем более богом данная здешнему театру. Будь достоин своей фамилии, сверхни! Надо биться за свое искусство, — патетично, с несвойственным ему жаром сказал Шапырин.

6

В одном из длинных флигелей, огромной буквой П охватывавшем основное здание, отнятое техникумом у монастыря, имелось несколько квартир. Одну из них, состоявшую из довольно большой комнаты и закута, кое-как переоборудованного в кухню, занимал Петр Маркович Норкевич, лаборант с кафедры земледелия. Уродился он человеком очень маленького роста, замкнутым, но, как все считали, с очень сильным характером. Никто не задумывался над тем, в чем, собственно, сила этого характера, но мнение это постепенно стало аксиомой. При не известных никому обстоятельствах Петр Маркович потерял правую ногу и заменил ее немного неудачным протезом, всячески подчеркивающим травму. Со студентами он был настоящий иезуит. Накопил множество способов унижения и постановки на место нелепых крестьянских недорослей, приехавших за сельскохозяйственной наукой. Жил уединенно, кажется, в очень отдаленном прошлом была у него интимная история, в настоящее время никакого интереса к женщинам он не проявлял. Они отвечали ему взаимностью. Друзей Петр Маркович тоже не завел, потому что не переносил даже запаха вина. Многие считали, что во время своих затворнических сидений он готовит миру какой-нибудь сильный сюрприз. Не обязательно план идеального севооборота, а может быть, что-нибудь и философское.

Когда Адам Аркадьевич постучал в его мрачноватую дверь, у него нсожиданно появилось ощущение, что он близок к проникновению в необыкновенный мир. Адам

Аркадьевич, несмотря на свои годы, циничный взгляд на вещи и страшную информированность, не был вполне свободен от воздействия общественного мнения. Он тоже почему-то считал Норкевича человеком незаурядным и с тайной.

Дверь довольно долго не открывалась, хотя внутри слышны были шаги. Адам Аркадьевич постучал еще раз, но и после второго стука прошло около минуты, прежде чем левая створка двери стала медленно отходить от правой. Хозяин впустил гостя, не спрашивая, зачем он пришел, и этот мелкий штрих подчеркнул значение Норкевича в сознании Адама Аркадьевича.

Жилище оказалось чистеньким, но очень мещанским и в общем-то бедным. Бросалось в глаза почти полное отсутствие книг. На окне лежали две аккуратные стопки журналов «Полеводство». Другими словами, никаких следов уединенного творческого подвига в квартире Норкевича на первый взгляд не имелось. Адаму Аркадьевичу, слегка удивленному несоответствием предвкушаемого и увиденного, было предложено присесть к круглому столу, накрытому чистой белой скатертью. Пододвинутый стул сверкнул лаком на витой спинке. Два старичка (Норкевича в его 48 лет вполне можно было уже отнести к этой категории), сойдясь в описанном интерьере, напомнили о стиле и атмосфере пятидесятых годов. На столе, кроме идеально чистой пепельницы, не было ничего. Адам Аркадьевич знал, как начать, но сомневался, принесет ли домашняя заготовка немедленную пользу. Норкевич поправлял очки и не проявлял признаков внутренней жизни. Адам Аркадьевич, считая, что перед ним сильный соперник, решил идти ва-банк.

— Я насчет кладбища... не разрешите ли вы кой-какие мои сомнения?

Норкевич замер, прекратились даже мельчайшие, вроде подрагивания крыльев носа, движения, может быть, даже остановилась кровь в сосудах.

— Да, да, я хотел бы узнать, кто вас уговорил участвовать в этом маскараде на кладбище и чего он хотел добиться? — Адам Аркадьевич выглядел достаточно зловеще — лысый, официальный, явно знающий что-то особенное. — Поймите, Петр Маркович, интерес у меня не праздный и... не частный. Не знаю, когда я вам смо-

гу объяснить, почему я всем этим так заинтересовался. Но вы отвечать должны сейчас.

Норкевич находился в прежнем состоянии, только ткань скатерти под его локтями собралась слегка.

— Я не могу поверить в то, что вы могли согласиться сделать это, не поинтересовавшись, в чем смысл дела. Или он вам заплатил? Сколько он вам заплатил?! — Адам Аркадьевич вбивал свои вопросы, словно гвозди. — Ладно, в том, что касается денег, это вопрос вашей совести, меня интересует другое. Кто он? Я много думал над этим вопросом и спрашиваю, уже кое-что зная, поэтому, ответив, вы не совершите предательства. Достаточно кивка. Я сам произнесу фамилию. Вы только кивните. Это Шапырин?!

Норкевич вдруг, без всяких предварительных гримас, повалился вместе со стулом, увлекая локтями вслед за собою скатерть.

ГЛАВА 3

1

Раиса Романовна подтвердила свое звание делового человека. Поговорив со своей приятельницей из гастронома, она сняла проблему закуски, и, если присовокупить к обещанной ветчине, колбасе, сыру и красной рыбе запасы довольно богатого майбородовского погреба, по поводу стола можно было не беспокоиться. Закуплена была для представительства дюжина бутылок водки, и заказано у Анфима Речнюка сорок литров хорошего самогона, чтобы «дать по голове». Позаботилась Раиса Романовна и о культурной программе. После коротких переговоров согласился за 120 рублей привести свою джаз-банду Толик Тендитный с танцплощадки. Братьям Вавиловым и тем, кого они захотят позвать, предложено было построить «брату» — сооружение над воротами из сосновых стволов с плакатом «Добро пожаловать» и двумя лампочками для иллюминации, если получится. «Брама» являлась последним остатком пышного свадебного ритуала, бытовавшего в здешних местах в прежние времена. Теперь уже перестали посыпать новобрачных льняным семенем для плодородия,

носить за ними длинные вышитые рушники, петь и водить замысловатые, но красивые хороводы. Теперь просто молодые ребята сколачивают «браму», ждут, когда подъедет из загса машина с молодыми, и объявляют, что ни в коем случае не пропустят их, если те от них не откупятся. Выкуп стандартный — самогон, от пяти до семи литров. В этой ситуации не ожидалось никакого загса, он остался в Москве, но «браму» решили все-таки ставить, побоялись отказаться от последнего символа. Раиса Романовна уговаривала братьев, обещая очень даже не обидеть, на что Дюдя понимающе кивал, а Кузя безучастно улыбался.

Столы, решила Раиса Романовна, должны встать в саду. Погода не подведет, и всем будет просторно.

Сергей Николаевич никакого участия в хлопотах, разумеется, не принимал, по большей части лежал в своей комнате, выходил только к приему пищи, да и то не всегда и ненадолго. Сношения с внешним миром происходили у него через сына. Юра рассказывал ему о ходе приготовлений, о старании, практических подвигах и энтузиазме Раисы Романовны, об увлечении зятя настольным теннисом. Сергей Николаевич, естественно, курил и молчал, и Юра не мог понять, одобряет он происходящее или нет. На прямые вопросы он не отвечал, загадочно гмыкал, да и только. Юре стало казаться, что отец готовит какую-то акцию, которая, может быть, перевернет все вверх дном, покажет, что прав был он со своим лагерным опытом, а не Светлана и Набебе с их страстью. Юра поделился этими мыслями с сестрой, та помрачнела, но поддерживать разговор на эту тему не стала. Однажды после обеда во дворе готовящихся Майбород появился неожиданный гость — Адам Аркадьевич Волотовский. Он неодобрительно оглядел приметы праздничных приготовлений и сердито спросил у встретившей его Светланы, где отец. Светлана, удивленная этим визитом, некоторое время довольно неделикатно рассматривала гостя, его необычайный череп. Она была прекрасно осведомлена об отношениях отца с этим человеком и понимала всю невозможность этого посещения. Адам Аркадьевич рассматривал молодую жену негра с не меньшим интересом: во-первых, он был от природы невероятно любопытен, во-вторых, у него были для этого некоторые особые основания. Спohватившись, Светлана кивнула в сто-

рону дома и сказала, что отец у себя. Она проводила старика к двери отцовского кабинета и, сказав: «Папа, к тебе гости», вернулась в сад. Но заниматься прежним делом она уже не могла, неопределенное и неприятное чувство поселилось в ней. Понятно, что оно было связано с приходом Волотовского. Его беседа с отцом продолжалась неожиданно долго. Очень дорого Светлана готова была заплатить, чтобы узнать, о чем говорил ее отец с человеком, которого считал «подлым, ничтожным, изворотливым червяком». Что такое произошло в мире, что он терпит его общество в течение вот уже пятнадцати минут? Наконец гость появился. Выражение лица у «лысой кочерги» было печальное, горькое, очень человеческое. Сергей Николаевич не вышел его провожать. Волотовский зачем-то на секунду остановился перед Светланой и посмотрел на нее приязненно и несчастно. Светлану холодом окатило от этой приязни. И чтобы не дать ему заговорить, а было заметно, что он подыскивает какие-то слова, она решительно сказала «до свидания».

С уходом странного визитера пропало и необъяснимое волнение, и Светлана опять закрутилась по хозяйству.

Набебе, точно знавший, что в Советской стране расизм невозможен, глубоко любивший свою молодую жену и от этого испытывавший состояние полнейшего счастья, не видел возникших вокруг сложностей. Он огорчился, узнав, что Сергей Николаевич заболел. «Папа бобо!» До самого дня свадьбы у него не было и тени каких бы то ни было темных настроений. Светлана же была просто угнетена состоянием отца. Она, конечно, с самого начала предполагала, что ее появление с таким мужем в Урядье будет для Сергея Николаевича ударом, но этот удар рисовался ей в виде одной, пусть бурной, сцены, которая разрешится общими слезами, благополучным примирением. К скрытому, нудному протесту отца она была не готова. Она еще раз попыталась с ним поговорить в надежде, что он ее отчитает, обругает хотя бы и этим даст выход своим мыслям. Он же, выслушав все ее тщательно подобранные доводы, вдруг стал говорить что-то непонятное, даже не относящееся к теме разговора: «Господи, как смехотворна моя жизнь» и тому подобное. Хриплым, ничуть не наигранным шепотом он перебивал длинные, все более пута-

тые объяснения дочери и выпускал серый клуб дыма, становясь так же невидим в вечной полутьме своего кабинета, как был неразличим смысл в темноте его высказываний. Почти уже рыдая, Светлана спросила его, будет ли он хотя бы присутствовать за свадебным столом. Он сказал, что будет.

После этого разговора Светлана пошла к себе, где Набебе, сидя на кровати, пытался починить маленькое пианино, детскую игрушку своей жены. Он был мастер на все руки, чем, кстати, вызвал большое уважение Юры. Он улыбнулся Светлане, но сразу помрачнел, заметив ее слезы, она их все-таки не удержала, выйдя от отца.

— Света, какое дело?

Она помотала головой и легла, уткнувшись в подушку. При этом она нечаянно сбросила тренькнувшее пианино на пол. Набебе растерялся. Почему-то его потянуло оглядеться, и это стремление было даже сильнее стремления утешить плачущую жену. Он медленным взглядом обвел комнату: этажерку с книгами, накрытую белой вязаной салфеткой, радиолу с пыльной панелью, стул с никнувшим через спинку халатом, фотографию Гагарина на стене, полку с двумя цветочными горшками и шкаф с зеркальной створкой, отражающей громадного испуганного негра, взобравшегося с ногами на большую железную кровать.

— Света,— наклонился он к жене,— Света, я здесь,— говорил он таким тоном, словно это он нуждался в помощи, а не она. Хотя это могло быть всего лишь действием «негритянского» акцента.

Он очень долго пытался выспросить, в чем причина печали, он готов был растерзать ее обидчика, и это он сообщил ей первым делом. Он сказал, что у него все болит внутри, когда он видит ее слезы, он велел ей помочь ему оказать ей помощь, иначе «где же семья?!». Светлана наотрез отказалась что-либо объяснять, причем отказалась так однозначно, что Набебе понял ее с первого раза, но это сильно его задело. И даже напугало. Подобное случилось впервые. Он попытался как-нибудь... Но Светлана вдруг бодро поднялась и, пресекая последнюю возможность продолжить этот разговор, сказала, что им пора на теннис, что Кузя, наверное, ждет.

— Один раз,— сказал Набебе просительно.

— Нет, нехорошо заставлять человека ждать.

— Света, надо знать!

— Кузя ждет, понимаешь, Кузя.

Набебе сделал возмущенный, южного происхождения, жест и тоже встал, нежно взял в широкие ладони аккуратную голову жены и слегка ее запрокинул.

— Слезы,— сказал он тихо,— посмотри.

Светлана, освободившись от черного воротника, посмотрелась в зеркало.

— Это черт знает что,— фыркнула она.

— Грим!!! — воскликнул Набебе, ощупывая тумбочку с косметикой. То, что он искал, не находилось.

— Ладно, ладно, я просто умоюсь. А красками этими я не пользовалась никогда,— нежно понижая голос, сказала Светлана и, щелкнув мужа по точеному черному носу, выбежала из комнаты.

2

Когда Адам Аркадьевич снова подошел к дому Миши Гужевого, тот, как нарочно, стоял на своем высоком крыльце и поза его была надменной. Руки сложены за спиной, правая нога вывернута и отставлена. Поза, как известно, была следствием ранения и в этот раз случайно совпала с настроением, которое выражала. Адам Аркадьевич замедлил шаг, подходя к крыльцу, и наконец полностью остановился. Он не смог бы объяснить, откуда в нем появилась робость, он обрадовался этой робости.

— Миша,— сказал он, ставя худую ногу на нижнюю ступень,— я всегда догадывался, что ты... что ты человек незаурядный. Что молчишь? А я ведь теперь точно знаю, что это был ты. Норкевич тряпка, рвань, у него понос случился от одного только разговора со мной.

Помолчали с полминуты.

— Так это ты? Ну, ты ведь, да? Хорошо, молчишь, и ладно. У меня к тебе предложение... Сколько он тебе заплатил? Даю полста сверху, а? Если ты обещал молчать, то в этом случае свободен от слова. Скажи, чего он от тебя хотел и... я плачу. Ну, чего молчишь?

Выражение лица Миши Гужевого показывало, что он обдумывает предложение. Адам Аркадьевич напрягся, он был уверен, что Миша согласится, и даже жалел

о том, что так много ему предложил. Небось Шапырин купил его за поллитру. Еще через минуту он уже решил, что, получив информацию, не даст этому гаду ни копейки.

— Нет,— сказал Гужевой.

— Что нет? — нервно не понял Адам Аркадьевич. — Что нет-то! Не скажешь? Почему?! А-а-а! Ну ладно, шестьдесят, семьдесят... пять.

— Тьфу,— сказал Миша и каким-то особенно отвратительным образом искривил лицо. Кажется, помимо характерного звука было и немного слюны. До Адама Аркадьевича, конечно, ничего не долетело, но он повел себя так, как будто в него швырнули булыжником. Причем он сразу догадался, что плевок относится не к сумме, а в целом к его поведению. Гужевой в этот момент гордо переступил и собирался покинуть крыльцо. Жаль, что всей этой сцены не видел, кажется, никто из соседей, это был момент наивысшего взлета Миши Гужевского. Испугавшись, что нравственно воспаривший калека уйдет, Адам Аркадьевич со всей возможной в его возрасте стремительностью кинулся вслед за ним и, поскользнувшись на верхней ступеньке, чуть не упал, и схватиться ему пришлось за калеченую бесчувственную ногу Гужевского. Образованнейший, таинственный Адам Аркадьевич оказался практически на коленях перед самым последним инвалидом райцентра. И тут еще раз приходится пожалеть о том, что никто в этот момент не проходил по улице и не смотрел в окно. Даже жена... нет, жена все видела и почему-то ревела. Она вспоминала, как переписывалась с Мишей во время войны, и как он явился к ней уже калеченый, и как они поженились, и как он несколько лет скрипел зубами по ночам, и думала она сейчас о неизбежной и скорой расплате за такой невероятный взлет. Не может просто так закончиться то, что Адам Аркадьевич Волотовский, уважаемый атеист и преподаватель, валяется в ногах у ее сильно пьющего, хромого мужа и, рыдая, просит:

— Миша, ну скажи мне, ради бога, я прошу тебя, Миша, что он просил тебя сделать? Видишь, как я стою, видишь, что еще нужно!

Миша Гужевой высвободил ногу и, подождав, не захочет ли падший Адам Аркадьевич снова за нее схватиться, двинулся к двери и, отворяя ее, сказал, подни-

мая менее парализованную руку с назидательным указательным пальцем:

— Он человек!

3

Когда Набебе нырнул в нижний спортзал, то увидел, что у теннисного стола жизнь кипит вовсю. Играли Кузя и Шапырин, вокруг толклось с полдюжины ребятишек в надежде тоже чуть-чуть постучать, когда стол освободится. Шапырин играл технически слабо, но в нем полыхал такой азарт, что его великолепному сопернику приходилось все время быть начеку. Набебе видел Шапырина второй раз в жизни и в первый раз имел возможность к нему присмотреться. Он решил, что этот маленький увалень — человек страстный, веселый и решительный. Ему было приятно, что у пинг-понга есть здесь еще один взрослый друг.

Несмотря на свой азарт, Шапырин достаточно быстро уступил партию и перешел в разряд зрителей. Набебе благоговейно взял в руки ракетку. Мальчишки, шнырявшие вокруг стола, поощрительно загудели. Для них, воспитанных телевизором, на вершине спортивной мифологии находился спортсмен-негр, и если учесть вообще свойственное славянам уважение к иностранцам и тягу к экзотике, то становится понятно, почему появление Набебе у ихнего обшарпанного теннисного стола так волновало и будоражило нерастраченное воображение. Набебе не разочаровал их своей игрой. Он был картинен, изобретателен, иногда его приемы напоминали цирковые номера. Мальчишки были в восторге, и восторг их становился все более благоговейным. От негра всегда ждут, чтобы он в спортивной области выходил за пределы нормальных человеческих способностей. Кузя сражался изо всех сил, он не позволял себе цирковых выходов, тщательно собирал крупницы мелких выгод, и это позволяло ему удерживать примерно равный счет.

Когда сет заканчивался, в спортзале появилась Светлана. Она была в новеньких, подаренных мужем джинсах, на лице ни малейших следов недавних слез. Кузя воспользовался тем, что внимание соперника несколько рассредоточилось, и сделал свое преимущество решительным.

— На вылет! На вылет! — закричал Шапырин.

Набебе проиграл, и выяснилось, что теперь очередь Светланы. Она несколько удивленно, но не особенно сопротивляясь приняла из рук мужа ракетку. Кузя был джентльменом и поэтому старался не показать сопернице разницу в классе. Светлана играла, естественно, настолько хуже его, что эта своеобразная галантность не могла ее оскорбить, она, наоборот, улыбалась и весело переговаривалась с партнером.

Шапырин и Набебе сидели рядом на низком подоконнике и оба внимательнейшим образом следили за этим искусственным поединком.

— Они знают друг друга всю жизнь, — сказал Шапырин на ухо Набебе. Он имел в виду, что Костя и Светлана учились вместе с первого класса, а такую форму сообщению придавал, видимо, для того, чтобы оно легче дошло. Набебе понял, быстро посмотрел на собеседника и опять обратился к игре. Светлана покатывалась со смеху от выходов Кузи, а он, раскрепостившись после напряженного состязания с иностранцем, радовался возможности подурачиться и порисоваться. У него, надо сказать, все получалось отлично. Светлана тоже раскрепостилась после тяжелого разговора с отцом, и рассмешить ее сейчас можно было самыми простыми средствами, ее реакция явно не соответствовала величине комических усилий Кузи. Это было заметно всем, и в первую очередь Набебе.

— Какая хорошая теннисная пара!

На это замечание Шапырина Набебе не отреагировал никак, он не мог ни на секунду оторваться от стола. Наконец сражение кончилось. Несмотря на все усилия завершить все торжеством галантности, восторжествовала справедливость. Мило, спокойно, всех пленив естественностью своих промахов, Светлана проиграла. Набебе резко встал, но был схвачен за руку Шапыриным:

— Теперь моя очередь, — но, посмотрев в умоляющие глаза иностранца, Шапырин смягчился: — Ладно, уступаю.

Совершенно по-другому повел Набебе эту партию. От добродушного карнавального гиганта не осталось и следа. Ошеломленный Кузя не сразу сообразил, что происходит, а когда сообразил, было уже поздно. Набебе играл на выигрыш, взяв на вооружение методу,

использовавшуюся ранее соперником. Глядя на эту партию, Шапырин подумал, что если европейский рационализм просто утомителен и теплокровен, то африканский просто-напросто жуток. Примерно так или чуть-чуть мягче сформулированную мысль он прошептал Светлане на ухо. И добавил, что у него такое впечатление, что ее муж за что-то недолюбливает Вавилова-младшего. Светлана ничего на это не ответила, только слегка повела плечом в знак того, что слышала. Ей тоже не нравилось, как играет ее муж, воинственно и расчетливо одновременно. Чтобы сделать такой вывод, не нужно было знать технические нюансы пинг-понга, достаточно было всмотреться в лицо и фигуру и почувствовать, что они излучают. Да, Набебе ее явно огорчал, победа в этом смехотворном состязании не стоила того, чтобы подчинять ее достижению благородное расположение духа. Вот даже детишки притихли, явно напуганные. Необыкновенность Набебе для нее как раз и заключалась в контрасте между достаточно все-таки монстрической внешностью и интеллигентной, тонкой и мягкой повадкой. Светлана решила, что так все это оставить нельзя, впечатление надо смягчить, и, когда муж выиграл последнее очко и заявил, что они с женой немедленно уходят, она пригласила молодых людей, стало быть Кузю и Шапырина, пойти вместе с ними и попить чая. Кузя, наверное, отказался бы, но Шапырин так быстро и охотно согласился, что отказываться стало неудобно.

4

Во дворе у Майбород было многолюдно. Кузя тихонько прошептал на ухо Шапырину, что ему неудобно быть в тягость хозяевам. Но друг тоже тихонько, но настойчиво упросил его остаться.

Возле стола под яблонями сидел Сергей Николаевич, рядом с ним Раиса Романовна и какой-то незнакомый мужчина интеллигентной, но отталкивающей наружности. Происходило чаепитие. Светлана напрямик направила теннисную команду к умывальнику, а потом пригласила к столу. Получилось довольно многолюдное застолье. Светлана быстро и умело накрыла свободный край стола на четыре чайных прибора. Когда все расселись, Сергей Николаевич своим могучим и

очерстевшим за время отцовского горя голосом представил незнакомца:

— Знакомьтесь, Арсений Саввич Абсуркин, работник нашей районной газеты.

Арсений Саввич привстал, зачем-то приподняв свои огромные очки, закрывавшие лучшую часть лица, и улыбнулся улыбкой человека, отлично знающего, что нравиться он ни в коем случае никому не может. Лет ему было под пятьдесят. На голове его блестела не полностью проявившаяся и от этого беззащитная на вид лысина, столь непохожая на гордые, полноценные лысины смело облысевших людей.

— Арсений Саввич к нам по делу, он хочет побеседовать с твоим мужем, Света.— Сергей Николаевич сначала хотел обратиться прямо к зятю, но не смог почему-то и решил применить дипломатический прием.

Набебе между тем догадался, о чем идет речь, и спросил удивленно:

— Пресса?

Арсений Саввич радостно закивал улыбающимся брыластым лицом. Набебе выражением лица и жестами показал, что он готов общаться с прессой, что он не боится гласности. Тогда Арсений Саввич длинно и излишне вежливо попросил позволения поговорить тет, так сказать, а тет. Это Набебе не понравилось, он, отхлебнув чаю, обвел рукою стол и сказал:

— Друзья мои.— Отдельно указал на Сергея Николаевича: — Папа. Нет секретов.

— Ага, ага,— быстро заговорил Арсений Саввич, поднимая из-под стола свой портфель и вынимая оттуда нагловатого вида блокнот с карандашом, закушенным белыми челюстями.— Понимаю, понимаю. Хорошо, ну тогда первый вопрос. Цель, так сказать, вашего приезда в Урядьев?

Набебе задумался с таким видом, будто этот вопрос заслуживал серьезного, подготовленного ответа. Потом он повернулся к Светлане за подсказкой, и она сказала:

— Мы приехали познакомиться с моими родственниками.

— А-а-а,— стал скоренько записывать эту новость и понимающе кивать всею верхней частью туловища Арсений Саввич.— Вот из какой, так сказать, вы прибыли страны к нам в Урядьев, хотелось бы узнать.

Интервьюируемый приосанился и ответил с большим достоинством:

— Нижняя Омма.

Арсений Саввич профессионально зафиксировал это.

— Да, да, очень приятно, что из таких уже стран к нам добираются в Урядьев гости. Нашим читателям очень полезно было бы узнать насчет климата в вашей стране.

Набебе не понял, заволновался, повернулся к жене.

— Дождь,— сказала она.— Дождь. Снег.

— Снег нет,— улыбаясь, сказал негр.

— А дождь?— тут же переспросил корреспондент.

— Очень,— сказал гость города и помотал уважительно головой, припоминая, очевидно, какой-то ливень.

— Ураган? Я имею в виду ветер...

— Э-ех!— радуясь, что сразу понимает, воскликнул Набебе.— Слабый, слабый. Жарко.

— Это надо же. Понятно, поня-ятно,— кивал сосредоточенно Арсений Саввич. Карандаш его так и бегал по листам блокнота.— А насчет животного мира? Наш читатель очень интересуется животным миром вашей родины. Слоны, например, есть?

— Этот есть,— уверенно отвечал Набебе, довольный, что дошли до самого лестного для его национального самолюбия места. Он даже не стал дожидаться остальных вопросов на эту тему и пошел перечислять сам, загибая пальцы на огромной двухцветной ладони:— Крокодил.

— Интересно, интересно,— строчил Арсений Саввич.

— Жирав.

— Да, да, пишу, пишу.

— Удав.

— Понима-аю.

— Теперь,— Набебе задумался, припоминая слово,— травожадные, м-м, таки маленькие бички...

— Антилопы?— угодливо спросил корреспондент.

— Вот, да!

Арсений Саввич записывал с такой жадностью, как будто все сообщаемое являлось для него полной новостью и откровением.

Сергей Николаевич встал и, не прощаясь, отправился к дому. Интервью продолжалось в прежнем темпе. Минуты через три приподнялась со своего места Раиса Романовна и, многословно извинившись, ушла по

делам. Кузе тоже очень хотелось куда-нибудь ушмыгнуть, происходящее казалось ему бесполезной тратой времени, он рассчитывал еще сходить искупаться сегодня. И он ушел бы, если бы не настойчивый шапыринский шепот, сообщивший, что это будет выглядеть вызывающе. К Шапырину Кузя испытывал определенное уважение, смутно чувствуя в нем большую образованность, и поэтому смирился, решив, что старшему другу виднее.

— Арсений Саввич, не притомились, может быть, еще чашечку? — спросила Светлана. Корреспондент чая, по всей видимости, не хотел, но отказаться посчитал неделикатным. Это обнаруживало не столько мягкость его характера, сколько наличие какого-то умысла, для сохранения которого в тайне он предпочитал никаких отношений ни с кем не портить.

Тут же выяснилось, что на исходе варенье в вазочке.

— Я, — быстро воскликнул Шапырин, — я схожу и попрошу у Раисы Романовны. Она ведь знает? — Светлана кивнула, она была рада возможности остаться переводчицей при муже.

Шапырин решительным шагом пошел к вожделенному дому. Он мечтал взглянуть хотя бы одним глазком. Трудно себе представить, что именно он хотел там высмотреть, но тем не менее... Взойдя на крыльцо, он обернулся и посмотрел на беседующих. Они беседовали. Набебе что-то увлеченно рассказывал Арсению Саввичу. Светлана внимательно следила за развитием диалога, готовая в любой момент прийти на помощь мужу.

С прошлого раза Шапырин отлично запомнил расположение комнат. Кабинет Сергея Николаевича его не интересовал. На кухне — он обежал ее напряженным взором — ничего заслуживающего внимания, кажется, не было. Более всего лакомой для его любопытства была комната Светланы, комната молодых. В полутьме коридорчика виднелись две двери. Стараясь ступать как можно осторожнее, Шапырин пересек кухню и прислушался. В доме находились как минимум два человека, но они никак не проявляли себя. Времени было немного, в любой момент могла прибежать Светлана, выйти из своего кабинета хозяйин. Шапырин направился к левой двери. Нажал на ручку, просунул голову, ему хватило двух секунд, чтобы понять, что эта комната Юры,

отсутствующего в настоящий момент. Обернувшись, Шапырин увидел, что дверь второй комнаты тоже приотворена и в широкую щель отлично видно Раису Романовну, замершую перед зеркальной стенкой шкафа с открытым косметическим набором в руках. Раиса Романовна тоже видела Шапырина, но она была парализована тем, что ее застали на месте преступления,— она наводила красоту при помощи не принадлежащего ей косметического набора, находясь на территории чужой комнаты. Шапырин мгновенно сориентировался в ситуации, надо отдать ему должное. Во-первых, его расшеимила мысль о том, что этот ничтожный Арсений Саввич может еще кого-то заставить прихорашиваться. Во-вторых, Шапырин отлично разглядел растерянность в лице застигнутой женщины и не откладывая использовал эту растерянность. Для начала он смело вошел в супружеское гнездышко, радуясь стечению обстоятельств, позволяющих сделать это без опасности навлечь на себя какие-то подозрения. Но пока он будет все здесь осматривать, в престарелой кокетке нужно поддерживать ощущение вины.

— Так вот вы где, Раиса Романовна!

— Конечно. Да,— пытаюсь насупиться или говорить с вызовом, сказала женщина, но у нее не очень хорошо получалось.

— А-а! Так это их комната. Смотрите, как тут все интересно.— Шапырин свободно прошелся по помещению, рассматривая и даже трогая различные предметы. При этом он держал Раису Романовну в поле своего бокового зрения, не давая ей тем самым пошевелиться.

— Я решила немного привести себя в порядок,— пытаюсь наконец объясниться, заговорила Раиса Романовна. Она не отдавала себе отчета, в чем, собственно, ее вина, но чувство вины испытывала. И чувство это специально оттенялось тоном этого молодого человека. Неопределенность положения не давала ей возможности взбунтоваться и спросить что-нибудь вроде «а ты кто такой?!». Шапырин почувствовал, что его жертва начинает опоминаться, и резко к ней повернулся.

— Знаете, Арсений Саввич мне очень понравился. Он серьезный, думающий журналист.

Раиса Романовна неуверенно улыбнулась, почва все еще оставалась зыбкой, что сказать в этой ситуации,

она не знала. И чтобы как-нибудь заполнить образовавшуюся по вине ее несообразительности паузу, она стала тщательно упаковывать имевшийся у нее в руках косметический набор.

— Какая очаровательная вещица,— сказал Шапырин и провел пальцем по красной пластмассовой крышке.

— Это мне подарила Светочка.

— Она же никогда не красится? — быстро, как специалист по ошеломлению, сказал Шапырин.

Раиса Романовна потупила взор, абсолютно весь город отлично знал, что Светлана никогда не красилась.

— Это ей давно уже подарил наш Набебе,— с усилием выдавила из себя Раиса Романовна.

Она совершала предательство и знала об этом. Даря ей этот косметический набор, Светлана просила ее только об одном — чтобы она никому не говорила, откуда он у нее. Через несколько минут после этого разговора Раиса Романовна будет недоумевать, как это ее, третью и битую, приперли к стенке, а сейчас была просто испугана, она понимала, что попалась, но не понимала на чем. То, что этот парень так легко и добродушно улыбается, означает, что попалась она точно.

— А,— разряжая ситуацию и спасая Раису Романовну, заговорил Шапырин,— он подарил ей этот косметический набор, еще не зная, что она не красится. А потом эта штука просто валялась без употребления, пока Светлана... Зачем, действительно, пропадать добру. Но напрасно вы им пользуетесь здесь. Набебе увидит, обидится. Не бойтесь, я не скажу никому ни слова. А теперь пойдемте, меня послали за вареньем.

5

Адам Аркадьевич сидел за столом и тупо смотрел на свою толстую тетрадь в белом бумажном переплете. Сидел он в этой позе уже давно. Тихонько скользившая по дому Данута начинала бояться за его здоровье. Он и раньше любил уединиться, полистать книжки и что-нибудь записать. Но всегда после этого любил хорошенько закусить и пребывал почти постоянно в неплохом расположении духа. Был ядовитым, но бодрым человеком. И ее, жену, он если и третировал, то по большей части для порядка, а по сути добродушно. Данута

хорошо усвоила, что у ее мужа есть помимо внешней жизни и какая-то другая, куда вход закрыт всем, даже жене, и не только ввиду ее слабого образования. Она усвоила, что в той другой жизни тоже что-то происходит, дела идут то лучше, то хуже. Может быть, Адам Аркадьевич той другой жизни придает даже большее значение, чем этой, в которой находится она, Данута, свиньи, сад... Раз и навсегда усвоив это, Данута успокоилась, дополнительная мужнина реальность ее не волновала. Очень мало о ней зная, одно она знала точно — там нет женщин, и стало быть, погружения мужа в нее не опасны. Так продолжалось несколько лет. Но стоило ему вместо обычных клеенчатых тетрадей, которыми он пользовался для своих записей последние годы, завести себе эту толстую белую, что-то произошло. И произошло именно в той, невидимой и считавшейся неопасной, жизни. Старик стал усыхать. Попишет немного, побегаёт по городу, опять пишет, а потом сидит согнувшись. Данута попробовала понять, что там могло произойти, и, конечно, ей это не удалось. Как только она пыталась сосредоточиться... В общем, ей так и не удалось сосредоточиться. Тонкие нити воображения тоже легко ускользали из ее грубоватых, как пальцы, мыслей. Не зная, что ей делать, она решила посоветоваться с матерью. Старуха Кубарева сразу же заявила, что «у старóго баба». «Так ведь уехала», — сказала объективная Данута. Старуха конечно же заявила, что та ничего не понимает, а пусть лучше слушает ее, свою мать. Странное поведение Адама Аркадьевича, по мнению Кубаревой, было первейшим и неотразимейшим доказательством супружеской неверности. Два примерно часа разговаривали женщины, полупшепотом, причем то и дело зажимываясь и качая головами. Наконец мать велела дочери бежать домой и не спускать с «лысой кочерги» глаз. Данута так и поступила, несколько раз в течение часа она прокрадывалась мимо двери кабинета, изо всех сил прислушиваясь, слух у нее, может быть в качестве компенсации за порченное зрение, был феноменальный. Она даже слышала скрип мужниного пера, и так отчетливо, что, будь она пообразованней, можно было бы подумать, что она собирается по особенностям скрипа определить, какие именно записываются слова.

Адам Аркадьевич, разумеется, не обращал ни малейшего внимания на изменившееся поведение жены, и

лишь однажды, когда она в припадке своего любопытства стала щекой и носом проникать в оставленную дверью кабинета щель, он нервно обернулся на легкий скрип и прошипел:

— У, щучья морда!

Временами у Дануты мелькали сомнения. Она пыталась посмотреть на материнские выводы трезво, пыталась их отместить, и даже отметала, но через некоторое время выяснялось, что заменить их совершенно нечем. А Адам Аркадьевич меж тем худел. Ладно, думала Данута, пока «кочерга» торчит дома, как говорится «страху нема».

В таком раздвоенном, непривычном для нее состоянии находилась душа Дануты, когда раздался неожиданный стук во входную дверь. Проходя мимо кабинета, она заглянула во вновь образовавшуюся щель и увидела, что Адам Аркадьевич лежит на диване и смотрит в потолок.

— Что глядишь,—сказал он ей сердито,—иди открывай!

Данута пошла и, открыв дверь, поняла, сколь справедливы были подозрения ее матери. На крыльце стояла высокая белокурая женщина в очень хорошем платье, в темных очках и с иноземного вида сумкой на плече. На ногах у нее были босоножки с серебряными ремешками. Она нагло улыбалась и, едва поздоровавшись, спросила Адама Аркадьевича. Хозяин, не утерпев, сам выбежал ей навстречу и в первое мгновение остолбенел. Гостя сняла очки, и только тогда, и все равно не без труда, супруги узнали ее.

— Ундина,—воскликнул Адам Аркадьевич.

— Угу,—сказала Данута и удалилась.

— Поставь чайник,—крикнул ей вдогонку муж.

6

— Ну что ж,—сказал Арсений Саввич, бегло просматривая свои записи,—беседа, я считаю, получилась содержательная, нужная. Ведь мы, провинциалы, тоже стремимся как-нибудь быть на уровне, и такой гость из страны, избирающей единственно правильный путь развития, для нас большая радость.—И, сняв очки, корреспондент протянул Набебе руку и совершил настоя-

щее, длинное рукопожатие с встряхиванием ее и поджиманием губ. У него даже свалилась на лоб непокорная прядь.— И вам спасибо, Светлана. Жена играет огромную роль в том, какую идейную позицию избирает муж, так сказать, ищите женщину, ищите,— и он прилично хохотнул.

— Верно, Арсений Саввич, верно,— проникновенно улыбаясь, сказала оказавшаяся рядом Раиса Романовна. Журналист поощрительно мотнул зажмуренным лицом и в ее сторону.

— Молодые люди,— Арсений Саввич повернулся к молодым людям Шапырину и Вавилову,— прощаюсь и с вами. Дерзайте, поверьте мне, человеку, прожившему непростую жизнь,— надо дерзать. Особенно в вашем возрасте. И особенно в нашей стране,— при этом он почему-то погрозил пальцем Набебе и лукаво улыбнулся.

— А вы ведь драматург, да? — спросил Шапырин.

Арсений Саввич весь как-то подобрался и посмотрел на любознательного молодого человека исподлобья.

— Я пишу для нашего театра... — он ждал и других вопросов, но Шапырин не стал их задавать и даже отвернулся.

Сцена прощания была немного скомкана, но все же Арсений Саввич ушел очень солидно, провожаемый целым обществом. Кузя тоже поспешил откланяться. Шапырин же проторчал на дворе у Майбород еще по крайней мере полчаса. Вел он себя не вполне понятно, трижды сходил в туалет, беседовал с Набебе о какой-то ерунде, оглядывался по сторонам. Наконец, но не потому, что почувствовал неудобство своего положения, ушел тоже. Светлана и Набебе остались вдвоем за чайным столом. Он являл собой довольно унылый вид неубранными чашками — в каждой, как осадок в душе, остаток холодного чая.

— Меня не любят все,— вдруг сказал Набебе, вертя в пальцах чайную ложку.

Светлана удивленно посмотрела на него.

— Где папа? — спросил Набебе, видимо, стараясь придать голосу саркастический оттенок.— Папа плачет и не хочет,— сам себе отвечал черный муж.

— Что ты такое говоришь! — все-таки вяло воскликнула жена, она чувствовала себя после посещения журналиста обессиленной.

— Плохо знаю,— Набебе пошевелил ловкими пальцами,— языком. Умею не так. Нехорошо.

— Да научишься, не делай из этого слишком большую проблему. Язык нельзя выучить за неделю.

— Сейчас хочу.

— Ну знаешь, хотеть не вредно.

Набебе, не столько разговаривая с женой, сколько отвечая своим нижеомским мыслям, говорил:

— Выучу, тогда хороший. Зайду папе...

— Глупый,— Светлана улыбнулась и, ласково наклонив к себе курчавую голову, нежно ее поцеловала,— ты вообразил, что тебя полюбят за то, что ты выучишь русский язык. То есть что я говорю! — она рассмеялась.— Глупый ты мой, черныш-глупыш. Понимаешь, ты мой глупыш.

7

Ундина сидела в том же самом кресле, что и во время первого посещения, и опять старалась понять фокус с двумя маятниками, и опять ей это не удавалось. Все по-прежнему, стало быть, только хозяин намного пасмурнее, чем тогда.

— Итак,— сказал он,— рассказывайте. Отчего такая перемена облика и такой неожиданный приезд?

— Соскучилась.

— По мне?

— И по вас тоже. У меня, знаете, такое впечатление, что Урядьев стал на время главной точкой на земном шаре. И потом, вы единственный на свете человек, с которым я могу поговорить о страстно интересующем меня предмете.

— Его тут избили...

— Да-а? Я предполагала, что произойдет нечто подобное... И кто же?

— Какие-то хулиганы на танцах. Говорят, очень сильно и без всякого видимого повода.

— Он с кем-нибудь поссорился?

— Я же говорю: без всякого видимого повода.

Первая радость встречи уже улетучилась, и Адам Аркадьевич не проявлял никакого энтузиазма.

— Такое бывает. Драка на танцах — вещь обычная.

Я не думаю, чтобы у него здесь появились настоящие враги.

— Почему вы так думаете? — безэмоционально, почти равнодушно спросил Адам Аркадьевич.

Ундина не успела ответить, был нервно внесен чай, и, пока сервировался стол, стояло молчание. Данута вышла, сверкнув у бедра большим металлическим подносом.

— Он же внешне безобидный, вежливый, к женщинам относится спокойно, не стал бы он отбивать... Не верю я, что можно так сразу почувствовать его эту черноту... Хотя, может быть, народ... вы верите, что народ способен понять сразу то, что...

Адам Аркадьевич поморщился, помешивая чай, ему не нравился этот разговор.

— Что нового в столице?

Ундина почувствовала себя немного неуютно, изменился, значит, не только ее наряд, изменилась и общая обстановка. Вот уже и старичок замкнулся.

— Я, конечно, продолжала собирать информацию о нашем общем друге. Целенаправленно. Поговорила с самыми разными людьми... Вот, например, в школе он был отличником, его не очень-то там любили, считался он там ханжой, вот такое слово можно употребить. Не то чтобы лез с поучениями, просто изображал из себя немой укор. Не лгал никогда и, как сказал мне один из его одноклассников, никогда ничего не боялся. Особенно охотно выполнял шефскую работу, все время носил молоко каким-то старушонкам.

Адам Аркадьевич маленькими глотками отпивал из маленькой своей чашки и внимательно смотрел на гостью. Паузы между предложениями становились все длиннее, каждый раз Ундине приходилось собираться с силами, чтобы продолжить свой рассказ.

— Это очень любопытно, — заметил старичок.

— И представьте, — почти зло продолжила Ундина, — одну из таких старушек я отыскала, — и занялась своим чаем, решив, что если Адам Аркадьевич ничего не спросит, то продолжать она не будет.

— И что же? — спросил хозяин.

— Вы знаете, несмотря на то что ей сейчас за семьдесят, а событиям этим почти десять лет, старушка эта отлично помнит Витюшу и говорит, что худшего человека в жизни своей не встречала, а ей приходилось

иметь дело и со следователями в тридцатые годы и в оккупации...

— Он что, ее ограбил?

— Нет, насколько я понимаю.

— Издевался над ней? Бил?

— Да нет,—усмехнулась Ундина,—ей ведь, как я уже сказала, за восемьдесят. Она так и не смогла ничего путного сказать. Ужасно разволновалась. Хотя признает, что он приносил ей молоко и бегал в прачечную. Дрожит от злости, а сказать ничего не может...— Ундина остановилась, внушительно глядя на старика. Как ей казалось, ее рассказ должен был бы потрясти старческое воображение. И то, что он сейчас так демонстративно наклонился над своей чашкой, наверное, и есть признак такого потрясения. Наклонился и молчит. Она мчалась сюда, не зная в точности, к кому именно она мчится—к Шапырину или к Адаму Аркадьевичу. И сейчас она ощущала, что, выдавая эти, на ее взгляд ослепительно интимные, тайны Шапырина его главнейшему, судя по всему, врагу, она, как никогда, близка с предаваемым. Не зря она летела сюда с такой скоростью, нигде, ни в одной точке на планете, она не могла бы испытать такого блаженства, как в эту секунду в этом кресле.

— А не кажется ли вам, э-э...

— Ундина, меня зовут Ундина.

— Н-да, что мы слишком большое значение придаем фигуре нашего общего, как вы говорите, друга? Может быть, ему и во сне не приснятся все те подозрения, которые мы тут все время обсуждаем? Мне кажется, если к любому человеку присмотреться, то можно такое «вычитать»... Вас он интересует по... ну, скажем, своим соображениям, меня—из извинительного старческого любопытства. У нас нечасто бывают такие неподготовленные столичные гости. Вот он и привлек к себе внимание. Вот сейчас...—У Адама Аркадьевича в этом месте слегка перехватило горло. Ундина даже подумала, что он поперхнулся, и приподнялась, чтобы оказать соответствующую помощь собеседнику, но он энергично протестовал и тут же продолжил говорить.—У нас тут имеется негр, так он по популярности, надо думать, обогнал нашего общего друга.

— Теперь, наверно, ему набьют морду,—задумчиво сказала Ундина.

Адам Аркадьевич улыбнулся так, как будто ему понравилась эта идея:

— Ну, он женатый негр.

— И кто же счастливица?

— К сожалению, девушка очень достойная, с настоящим тургеневским характером, способным на жертвенность, на самоотречение.

— А как ее зовут?

— Света.

— Это не такая вот светленькая, а? В нее еще влюблен Андрей.

— Уж лучше негр,—вставая и давая своим видом понять, что визит окончен, ответил Адам Аркадьевич.

8

Богдан Маланчик сидел в приемной первого секретаря и смотрел на Марию Марковну. Она чувствовала на себе его взгляд, и он ее раздражал. Она привыкла сносить любые взгляды, не высказывая своих чувств, но внутри у нее полыхал огонек непрерывного раздражения. Настырный молодой человек никак не хочет понять, что театр—это не самое главное в жизни. У первого секретаря есть намного более важные заботы. Она посоветовала ему обратиться в отдел культуры, он ответил, что уже обращался и там его вопрос решить не смогли. «Ну что ж, тогда ждите, но я ничего вам обещать не могу. Тарас Владимирович сегодня перегружен». Маланчик ждал уже третий час. За это время Тарас Владимирович выпил четыре стакана чая и переговорил с огромным количеством самого разнообразного народа. Люди шли мимо Маланчика прямо в кабинет, и, когда он пытался слабо протестовать, Мария Марковна говорила: «Вызваны!» Богдан был в силу своей профессии человек наблюдательный, и изучение одного только выражения лиц входящих и выходящих людей дало ему богатую пищу для размышлений и обобщений. Как правило, входили все с напряженными вытянутыми лицами, Тарас Владимирович был, очевидно, человек строгий и самовластный, поэтому любой вызов к нему «на ковер» воспринимался как событие, исход которого трудно было предсказать. Выходили от него или убитые горем (большинство), или сияя, как лампа. Это Маланчику нрави-

лось, значит, все вопросы решались сразу и не было, черт возьми, никакой волокиты. Но наконец и это развлечение ему наскучило. Он начал опять проявлять нетерпение. Он отметил про себя три или четыре случая, когда Мария Марковна явно могла его пропустить и не пропустила. Сволочь! К концу третьего часа ожидания в кабинет проследовал солидного вида мужчина с благородно зачесанной назад шевелюрой, в огромных очках на отлично выбритом, брыластом лице. Богдан припомнил его, это был работник районной газеты, освещавшей его встречу с труппой. Пока еще не осветил. Пробыл он у Тараса Владимировича минут пятнадцать, и, когда вышел, Маланчик заметил, что хозяин кабинета не разговаривает по телефону, а стоит у окна и массирует себе усталый затылок. Не раздумывая ни секунды, Богдан, переступив, как через змею, через запретительное шипение секретарши, скользнул в кабинет.

— Здравствуйте! — громко поздоровался он.

Тарас Владимирович неторопливо обернулся, продолжая держать свои руки на затылке, отчего у сцены появился несколько театральный оттенок, и это придало дополнительную уверенность режиссеру.

— Я вас вызывал, молодой человек?

— Меня вызвало искусство! — не вполне осмысленно, но крайне патетично заявил Богдан. — Я думаю, никто, а тем более человек, от слова которого зависит все в этом городе, не может отмахнуться от его нужд, — наско-ро сплетая ложь с демагогией, говорил режиссер.

— Изложите яснее, — попросил Тарас Владимирович.

— Я режиссер нашего единственного в городе театра. Я приехал недавно, но приехал с планами, с пьесой, с идеями. Главное — пьеса, это новая нужная пьеса, пьеса-призыв, пьеса-размышление.

— Вы собираетесь мне ее прочесть?

— Я прошу ее защитить!

— А в чем дело?

— А в том дело, что вчера меня известили, что ее запрещено ставить, что будет ставиться не она, а пьеса товарища Абсуркина. Я прочитал пьесу товарища Абсуркина... Если вы решили раздробить голову театру, если... то давайте будем ставить этот «Сиреневый сад».

— Мария Марковна, Арсений Саввич недалеко ушел?

Разыщите его, пожалуйста,— сказал Тарас Владимирович в селектор.

— Кто же вам сказал, что будет ставиться пьеса товарища Абсуркина?

— Здесь у вас, там есть кабинет, там товарищ в сером костюме...

— А о чем ваша пьеса?

— Представьте себе современную деревню...

Открылась дверь, и в нее скромно, бочком, перевозимая свою солидность, вошел тот самый брыластый.

— А вот и Арсений Саввич. Познакомьтесь, Арсений Саввич, это режиссер нашего Урядьевского театра, где, насколько я понимаю, в скором времени пойдет ваша пьеса.

Абсуркина от этих слов немного перекосило.

— Неужели это решено окончательно! — пылко воскликнул Богдан. — Это же ужасно, ужасно, ужасно!

— Это вы о моей пьесе, уважаемый?..

— Богдан Леонардович, если угодно. Да, о вашей пьесе.

— Так что же вам в ней не по нраву? — не экономя яду, спрашивал Арсений Саввич, кося одним взглядом в сторону Тараса Владимировича, стараясь знать его мнение о каждой произносимой здесь реплике.

— Да это все позавчерашний день! Где вы все это видели только!

— Действие происходит в профсоюзном пансионате, — пояснил для Тараса Владимировича автор.

— Таких пансионатов нет, наши рабочие не отдыхают в таких условиях.

— Вы что же, отрицаете право на отдых?

— Я отрицаю право на халтуру. Я хотел сказать, что таких пансионатов мало, я лично нигде и никогда их не видал.

— А вы трудитесь получше, и тогда вас, может быть, пошлют в такой пансионат и вы сможете отдохнуть, как настоящий передовик производства. В описанном пансионате одноместные комфортные номера, бассейн, бильярд и прочие приятные вещи, и путевка стоит копейки. — Последним предложением Арсений Саввич отнесся к Тарасу Владимировичу.

— Ну ладно, ладно, даже не это самое ужасное. Где у вас настоящий социальный конфликт? Хоть бы вы разоблачили хищения на кухне или приписочника, зара-

ботавшего обманом звание передовика, у вас нет и намека на конфликт.

— Какие еще хищения на кухне? Этим занимается прокуратура, молодой человек, а искусство служит идеалу. Пансионат «Сиреневый сад» есть идеал социальной справедливости, место, где люди получают по трудовым заслугам, какой такой конфликт вы представляете себе возможным в мире полной социальной справедливости, а?

— Побойтесь бога!

— Нет, вот бога я как раз и не боюсь, но за идеал стою и стоять буду, пока держать меня будут мои ноги. «Сиреневый сад»! — произнес он с чувством, рассчитанным в основном на Тараса Владимировича. — В сиреновом саду нашей жизни все лучшие люди — и хлебороб и слесарь, и доярка и учитель, и партийный работник, прошу заметить. Это философская притча о вечном цветении жизни и цветении труда в жизни человека.

— И что, все так и кончается благополучно? — спросил Тарас Владимирович.

— Разумеется, нет, в конце появляется минорная, но от этого особенно прекрасная нота. Умирает от старых ран старый воин, участник революционных событий, участник войны, заслуженнейший простой человек, лучший по профессии, наставник. Нота светлой скорби звучит среди бушующего праздника жизни.

— Нет там никакой ноты, — быстро сказал Богдан.

— Вы не рассмотрели, молодой человек, — печально улыбаясь, сказал Арсений Саввич, — ведь вы искали только недостатки.

Тарас Владимирович сел в свое кресло и поиграл могучими, хотя и короткими, пальцами на полированной поверхности стола.

— Дело, я смотрю, серьезное. Пришлите мне обе пьесы. Я прочту их сам.

9

— Витечка-а-а!

Шапырин резко обернулся, и несколько секунд выражение лица у него было испуганное. То ли он считал себя застигнутым за недостойным делом (он стоял перед зеркалом и рассматривал свое родимое пятно), то

ли его испугал тот факт, что он не узнает женщину, обращающуюся к нему столь фривольно. Второе. Шапырин узнал Ундину, и испуг на его лице сменился яростью.

— В чем дело?! — рявкнул он.

— Я приехала тебя немножечко пошантажи-ировать.— Ласково растягивая слова, гостья полностью вошла в комнату и чинно уселась на кровать.

— Плевать я хотел на твой шантаж.

— Ты сегодня грубее даже, чем обычно. В чем дело, Витечка?

— Я видеть тебя не могу, что тут понимать? Какого черта ты вырядилась?

— Ну что ты, Витечка, разве можно что-нибудь подобное говорить женщине.

— Какая ты женщина!..

— Привлекательная.— Ундина слегка изогнула стан, стараясь сделать линию бедер как можно пленительней. Помогала она себе в создании пленительного образа и частыми наивно-невинными помаргиваниями.

— Хва-атит! Не устраивай этот дурацкий театр.

— И ты не устраивай,— тихо сказала Ундина, и Шапырин в ответ на эти слова судорожно подобрался, и лицо его напряглось,— не разыгрывай, Витечка, особого негодования. Не разыгрывай,— Шапырин быстро улыбнулся,— лучше спроси, поинтересуйся, зачем это я, такая привлекательная женщина,— она встала и приблизилась к висевшему на стене зеркалу и серьезно в него всмотрелась,— да, привлекательная женщина, я бы даже сказала, породистая, прилетела в такую даль. Спроси, и я тебе не отвечу, а замечу только, что мой приезд для тебя довольно опасен. И ты даже не представляешь, в каком смысле.

Шапырин сухо сплюнул и откинулся на кровати.

— Господи, если бы ты знала, как это все бесполезно! Ты что, хочешь этим лепетом меня расшевелить?

Ундина продолжала любоваться собой в зеркале.

— А скажи, мил дружок, а чего это ты, собственно говоря, меня бросил? Почему неверен мне был?

Шапырин скривился.

— Да, да, да, вот ответ!

— Ну, завела опять. Мне скучно это, очень скучно. Я не хочу разговаривать на эту тему.

— Ты по-прежнему считаешь, что этот малийский

юноша...— Шапырин заткнул пальцами уши и с сонным выражением лица смотрел на губы быстро говорящей Ундины. Она вела свою речь, продолжая стоять перед зеркалом, отыскивая микроскопические дефекты в своем макияже. Наконец она нашла какой-то недочетик, открыла болтавшуюся через плечо сумочку, достала оттуда косметический набор... Пальцы Шапырина выскользнули из ушей.—... Так вот ты скотина, трус, ублюдок, стукач и лизоблюд! Понятно тебе, миленький ты мой?

— Конечно, понятно,— совершенно мирным тоном ответил Шапырин.

Ундина хмыкнула и повернулась к нему. Она хотела его убедить своей проповедью-отповедью, но не очень рассчитывала на это. Она замерла, прислушиваясь к своему чутью, оно должно было подсказать, по какому пути вести дальше разговор.

В коридоре в этот момент раздался гомерический возглас Маланчика:

— Боже мой, рути-и-на!!

Войдя в комнату, он хотел еще что-то крикнуть, но, увидев Ундину, отменил это намерение. Однако набранный уже в грудь воздух не подчинился такому быстрому повороту настроения и хлынул наружу, вызвав неожиданный и мощный храп.

Шапырин засмеялся.

— У-у...— растерянно потянул Маланчик.

— Не уйду,— опередила его Ундина,— мне некуда идти.

— Да нет, я же... Живи.

ГЛАВА 4

1

Молодоженам повезло, на следующий день стояла отличная погода. Тепло, не ветрено. Братья Вавиловы отлично справились с «брамой», она получилась высокой и выглядела пышной от большого количества еловых веток, которыми не без некоторого артистизма были убраны вкопанные у калитки столбы. Устроили и освещение. В исполнении его большая роль принадлежала Набебе, он, несмотря на то что происходил отнюдь не

из передовой промышленной державы, отлично разбирался в электричестве. Юра с удовольствием ему помогал, почему-то именно в этот момент, технического, так сказать, взаимопонимания, ощутив, что Набебе вполне может стать неплохим ему родственником. Сергей Николаевич не изменил своего настроения, с утра помаячил на веранде со своей папиросой, презрительно поглядел на всеобщую суету и удалился на свой надежный диван. Раиса Романовна и Светлана не покидали кухни. Часа в три Раиса Романовна все же прогнала виновницу торжества, требуя, чтобы она привела себя в порядок и отдохнула. На заявление Светланы, что она никогда не красится и потому туалет будет очень короток, Раиса Романовна сказала:

— Ну хоть лежи.

Гостей было приглашено человек тридцать. Из числа тех, кто считался родственниками, пятая, шестая, седьмая и т. д. вода на киселе. Но все же Раиса Романовна рассудила, что без родственников при таком событии обойтись нельзя. Сергей Николаевич попробовал протестовать, заявил, что не знает «этих людей», никаких родственных чувств к ним не испытывает и не желает впоследствии тащить тяжесть никому не нужного общения. Раиса Романовна довольно справедливо заявила, что свадьба — это событие в жизни Светланы и очень эгоистично ставить свою фигуру в центр, хотя он и безусловно отец. Сергей Николаевич махнул рукой и опять ушел к себе.

Большое волнение вызывало долгое отсутствие заказанного ансамбля. Но часа за полтора до прихода гостей музыканты появились со своими потертыми футлярами. Была повторная возня по электрической части. Оказались нужны не совсем обычные устройства для гитар, но в конце концов и это все уладилось, и под яблоневыми кронами начала шевелиться какая-то первая музыкальная фраза. Ансамблистам помогал задержавшийся во дворе Дюдя: он не пошел, как младший брат, переодеваться, потому что у него, скорей всего, не было одежды более праздничного вида, чем та, в которой он возводил «браму».

Понимая, что ребятам невесело томиться в ожидании начала праздника, Раиса Романовна вынесла им бутылочку самой лучшей самогонки и миску соленых огурчиков. Но тут же объявила, что еще раз выпить даст

только в перерыве. «А то у вас пальцы позастряют». Музыканты не возражали, они знали, что свое возьмут с началом брачной ночи.

Столы постепенно покрывались закусками. Две пришедшие помочь Раисе Романовне женщины в голос хвалили ее умение «все обделывать». Набебе мирно разговаривал с любознательными музыкантами, они явно предпочитали его беседу Дюдиной. Дюдя давно уже раздражал их своим спором насчет значения всеми забытых, но когда-то гремевших ансамблей. Набебе вполне российским жестом похвалил выпитую самогонку и хорошо откусил от огурца. Разлили по второй. Жизнь текла приятным широким руслом. Набебе обожал жену, уважал этих почтенных женщин, охотно участвовавших в хлопотах, ощущал дружеское расположение к странному этому, с одутловатым лицом, Дюде, и к этим отличным ребятам, наверное очень одаренным от природы народным музыкантам. Первое опьянение всегда самое возвышенное. Одно лишь слегка задело сознание Набебе — при том, что все огурцы, поданные для закуски, были съедены, его огрызок так и остался лежать на дне миски и к нему никто не прикоснулся, хотя кой-кому нечем уже было закусить вторую стопку.

Основной гость собрался часам к шести. Помимо пожилых родственников Светлана пригласила нескольких своих еще школьных подруг, оказавшихся в это время в городе. Подруги эти продолжали поражаться Светланному выбору и немного боялись оказаться в непосредственной близости к африканскому мужу. С другой стороны, подруги были и польщены приглашением, по причинам легко понятным. И, надев наилучшие свои наряды, они держались веселой стайкой возле немного им знакомых музыкантов.

Команду к рассаживанию подала Раиса Романовна, по праву вставшая во главе события. Сергей Николаевич только мрачно присутствовал поблизости. Рассаживались поспешно, припоминая почти каждый соответствующую случаю шутку-прибаутку.

Приятно, но непросто описывать выставленные на столах пищевые чудеса. Прежде всего, салаты — четырнадцать видов. И каждый со своим смыслом. Особенно хорошо стояли овощные из выращенных на здешних

грядках плодов, из помидоров, огурцов, самого разного лука, укропа, перца, тертой морковки, редьки и свеклы. Имелись конечно же и кальмары с крабами, а также селедка под шубой, превосходившая и кальмары и крабы по оригинальности вкуса. Разные колбасы и сыры, фигурно и даже остроумно разложенные на тарелках, внимания особого не заслуживают. Можно было бы похвалить собственного производства ветчину нежнейшего цвета с розоватыми прослойками, служащими своеобразными магнитами для слюны, но нет времени. Осталось всего несколько предложений, в которых должны быть отражены большие искры на боках водочных рюмок, и все, и надо уже говорить о том, как стало затихать приятное волнение в окружившем стол обществе и как встал вдруг Петр Павлович Конопелько, бывалейший человек, кажется, даже дрейфовавший на льдине и не сдрейфивший там, приглашенный за свой невероятный жизненный опыт на роль тамады. Он окинул взглядом сверкающий стол, являвший собой пример чего-то очень близкого к совершенству. В глазах у него мелькнуло сожаление, он словно пожалел величие стола, ему, наверно, вспомнилось, как вскрывается по весне какая-нибудь великая река. Он махнул рукой, позволяя рушить картину. И тотчас же частые вилки, разнообразно скрежеща зубьями о фаянс, стали цеплять еду. Ковшеобразно заработали ложки. И салат «Оливье», и рыба под маринадом стали перемещаться на тарелки. Быстро прошли разборы рюмок и фужеров, почти никто не соглашался пить шампанское, почти во все рюмки бесшумно, ласково сверкая, наливалась водочка.

Набебе сидел во главе стола, на нем был старательно выглаженный костюм и крахмальная сорочка. Он дружелюбно посматривал на гостей, улыбался. Позволил положить себе салата. Водку, как выяснилось, он не очень любил, но ради такого случая собирался выпить. Лицо Светланы было скорее настороженным, чем праздничным, наверняка она просто ждала, когда все это кончится. Ее пугало лицо отца. Он улыбался, но слишком отрешенно.

Петр Павлович, вытирая поминутно обширную лысину скомканным носовым платком, исполнял нелегкую роль лидера пира. В запасе у него было немало подходящих к случаю словечек, оборотцев, но носили они по большей части флотский или, по крайней мере, прибреж-

ный характер, поэтому временами, если закрыть глаза, могло закрасться сомнение, а действительно ли происходит свадьба в тихих средних землях, а не на лихом морском приволье.

Неожиданно, как и всегда это бывает, прозвучало «горько», и, как всегда, его с охотой подхватила вся публика, желающая немедленно посмотреть, насколько освоила брачащаяся пара первую ступень любовных ласк. Молодые встали и без всякого жеманства поцеловались. Набебе был очень хорош, строен, сдержан. Может быть, некоторые, с расистски настроенным подсознанием, ожидали, что в его поцелуе проскользнет что-нибудь компрометирующее черную расу, но такие все были посрамлены. Набебе дал своим поцелуем пример рыцарственного отношения к женщине, матери своих будущих детей.

Выпили по второй, естественно за родителей. За красавицу мать, не дождавшуюся этого светлого дня, и за столь много прегерпевшего в своей жизни отца, строго сидящего над почти пустой тарелкой — от радостного волнения ему не лезет кусок в горло. Посмотрев на Сергея Николаевича, все гости тут же невольно подумали о том, что неплохо бы посмотреть на родителей жениха. Очень может быть, что общий образ, создавшийся в момент произнесения тоста в коллективном сознании, напоминал телевизионный стереотип: старый, но еще крепкий негр с копьем, в перьях и бусах. Но думать так — значит быть человеком, безнадежно отсталым от движения жизни. Отец Набебе мог оказаться деловым, европейского вида, бизнесменом, в сравнении с которым побледнели бы многие и многие из самоуверенных урядьевских джентльменов.

Когда выпили по третьей и почувствовалось, что вечер удастся, Петр Павлович мигнул Толику Тендитному, и полилась приятная, хотя и молодежная, мелодия. Стали ослабляться галстуки, застолье теряло централизацию, разделилось на группки, объединенные общим разговором. И тут произошло событие, которое приковало бы к пиру внимание всего города, если бы оно и так не было к нему приковано.

У ворот с решительным скрипом остановилась черная «Волга», и в распахнутые ворота медленно и значительно вошла небольшая, солидно выглядящая компания. Все оцепенели, даже ансамбль, не умея сообразить,

какой именно стиль был бы хорош при подобном случае, стушевался. Надо заметить, что Тарас Владимирович не был шокирован такой встречей, он привык, что внезапное его появление создает сцены, подобные знаменитой ревизоровской. Он подошел к тому краю стола, где сидел отлично различимый на привычном этническом фоне жених. И по мере приближения он улыбался все шире и шире. Это постепенно расслабляло очень напряженную публику. И она начала потихоньку жевать, шевелить членами, многие вздохнули. Многие наконец обратили внимание на спутников руководителя города. Справа умудрялся семенить, несмотря на свой большой рост, товарищ Абсуркин, нависавший над небольшою, но страшно плотной, широкой и победительной фигурой Тараса Владимировича. В руках у него была изящного, но подлого вида папочка, придававшая ему, несмотря на отличный костюм и уже упоминавшийся рост, жалчайший вид. Это и неудивительно: с трудом можно представить себе человека, который бы смотрелся рядом с Тарасом Владимировичем самостоятельно.

Третьим участником делегации был просто шофер, несший в руках довольно большой самовар, из-за блестящего тела которого очень по-шоферски выглядывала его голова, высматривающая безопасный путь.

Итак, стало ясно: Тарас Владимирович приехал с самыми лучшими намерениями. Светлана шепнула что-то Набебе на ухо, и они поднялись. Поднялся и Сергей Николаевич с Раисой Романовной. Тарас Владимирович оглядел изучающим, но вместе и отеческим оком молодую пару. Кажется, остался доволен и, сложив руки на животе, сказал:

— А ведь хорошая пара, а? — Все загалдели, соглашаясь. — Ну что ж, от имени, как говорится, и по поручению, — он сделал знак шоферу, и самовар подплыл как корабль, — вот, для заведения домашнего очага. У самовара я и, в общем-то, моя Света, да?

Все ответили на эту шутку страшным хохотом. У многих даже брызнули слезы из глаз.

— Ну давай, давай я хоть тебя поцелую. — Тарас Владимирович хорошо, по-отечески чмокнул Светлану. — Понимаешь свою задачу? Ты теперь полпред нашего образа жизни в... Нижней Омме. Ведь неплохая страна, почему бы нам с ней не подружиться поближе. То-то, — и он ласково нажал пальцем на кончик правильного

Светланиного носа.— А теперь дай-ка я тебе пожму руку.

— Господин мэр...

— Хорошую оторвал девчонку. Прямо скажем, одну из лучших. Только смотри повнимательней, хотя наш товар, как говорится, со знаком качества,— и Тарас Владимирович попытался пальцами правой руки показать знаменитый пятиугольник.

Набебе прижал обе руки к груди и набрал в легкие побольше воздуха.

— Господин мэр!

— Никаких заявлений, а получи-ка ты лучше самоварчик.

И в большие руки Набебе вошел сверкающий подарок, на время намертво связавший гостя. Тарас Владимирович уже пожимал руку отцу:

— А что, Сергей Николаевич, могли ли мы в нашей землянке мечтать о чем-нибудь подобном,— он при этом показал в сторону Набебе с подарком, и могли возникнуть сомнения относительно того, что именно он имеет в виду.

Сергей Николаевич попытался изобразить радость, но это слишком ему не удалось, и опытный Тарас Владимирович благоразумно стал от него отворачиваться, понимая, что поучительного и запоминающегося эпизода с отцом невесты не получится. Раиса Романовна немного исправила положение своими женскими хлопотами. Она подобострастно настаивала на том, чтобы Тарас Владимирович присел к столу и «отведал хлеба-соли». Руководитель района так поблагодарил ее за это приглашение, что у польщенной хозяйки зарделись щеки. Но Тарасу Владимировичу нужно было ехать. Дела, дела, дела. Шумно выражая свое сожаление, гости проводили уважаемого человека к воротам, это короткое, но пышное шествие сопровождалось благородными выкриками, здравицами и обещаниями «не подкачать и навалиться». Выпившего русского человека отчего-то мобилизует присутствие большого начальства. Набебе с трудом глядел из-за самовара. Сергей Николаевич покурил, возглавляла проводы Раиса Романовна. На этот раз оркестр Толика Тендитного не растерялся и дал «Катюшу».

После отъезда первого секретаря все приглашенные с новой силой осознали степень престижности происходящего события. На Набебе теперь поглядывали с безу-

словным уважением, и даже его отдаленная родина перешла в их сознании из разряда развивающихся в разряд братских стран.

Шапырин сидел рядом с Кузей у дальнего края стола. Там образовался естественным путем укромный уголок — непокорная яблоневая ветвь все-таки перехитрила удерживавшую ее веревку и простерлась над сидящими, поглощая свет лампочки, предназначенный для этого края.

— Хорошая водка, — сказал Шапырин, щелкая ногтем по блестящему боку бутылки.

Кузя равнодушно перевернул кусок огурца у себя в тарелке. Он не пил.

— Это свинство, Кузя!

— Ну ты же видел, что со мной происходит, когда я напиваюсь.

— А кто тебя заставляет напиваться? Рюмочку!

Юноша решительно покачал головой:

— Нет.

Веселье шло уже широкой рекой, музыканты блестяли от пота, на заборе висели яростные мальчишки с соседней улицы. В быстро темнеющем небе крепили звезды. Шапырин решил, видимо, во что бы то ни стало добиться своего. Он сходил за женихом, привел к своему краю стола и предложил неожиданно тост за пинг-понг и за счастье. Кузя опять-таки попытался отказаться, но Набебе стал очень настаивать, он страшно хотел выпить со своим партнером по пинг-понгу. Кузя посчитал слишком невежливым отказываться и налил себе полрюмки. «Нет, нет, нет», — закричали вместе и Шапырин и Набебе. Второй, кстати, очень нервно держал себя в этот момент, может быть, это объяснялось тем, что сказал ему Шапырин на ухо, предлагая подойти к Кузе. Вавилову-младшему налили большую рюмку, налили с верхом, что называется. «Штрав», — сказал Набебе, поднимая свои отсутствующие брови. Выпили, разошлись. Шапырин пошел провожать жениха «до места». Набебе был в задумчивости. Подойдя к своему месту, он ласково погладил по плечу потянувшуюся к нему жену и на несколько секунд углубился в себя. Шапырин остался стоять у него за спиной. Рядом гремела пляска на утопанном пространстве перед хриловатыми динамиками. Многочисленные каблуки взбивали легкую пыль, и она своеобразно сверкала в лихорадочном све-

те многочисленных ламп. Звучала знаменитейшая пьеса «Созрели вишни в саду у дяди Вани».

Раиса Романовна наступала кримпленовым бюстом на артистично ретирующегося Петра Павловича. При этом он успевал делать очень поэтические движения растопыренными пальцами у висков. Молодые подружки Светланы плясали посовременнее, но в их движениях чувствовалась опаска за сложные прически, сооруженные по случаю такого дня. Две или три женщины, из родственниц, топтались посреди освещенного пространства маленьким хороводиком, охотно применяя телодвижения, так сказать, народного типа. Словом, много было топота и поощрительного гомона вокруг.

— Дру-уг,— протянул Набебе, обратив к Шапырину свое лицо,— он не пьет?

Шапырин медленно и как бы с сожалением покачал головой. Жених отыскал своим взглядом Кузю, тот почувствовал это, повернулся к нему, улыбаясь, и поднял над столом рюмку приветственным движением, будто бы собираясь выпить его здоровье. Но вслед за этим опустил рюмку на стол, не прикоснувшись к ней. Набебе удручил этот случай, он снова посмотрел на Шапырина, и в его глазах читалась затравленность и тоска. Светлана в этот момент предложила мужу «потанцевать», но получила неожиданно резкий отказ. Главным объектом ее внимания на сегодня был отец, и она не заметила эволюции в настроении мужа. Наткнувшись на его нервный отпор, она сочла это проявлением ревности к Сергею Николаевичу и еще раз внутренне взмолилась, чтобы все это столпотворение поскорей кончалось.

Кузя понимал, что своим излишне трезвым поведением он вносит какой-то диссонанс в праздничный настрой застолья, и наконец ему стало по-настоящему стыдно за это. Чтобы продемонстрировать свои самые добрые чувства к совершающемуся событию, он встал и, подойдя к Светлане, пригласил ее на танец. В ответ он получил от нее благодарный дружеский взгляд, ибо ей в этот момент нужно было опереться на чье-нибудь плечо. Черный муж даже слегка заклокотал, увидев, как развиваются события, но постарался вида не подавать. Танцуя, бывшие одноклассники довольно дружелюбно друг другу улыбались, а поскольку Кузя был практически трезв, у них получилась, плюс ко всему, еще и приятная беседа. Если бы кожа Набебе была бо-

лее привычного цвета, на ней, возможно, удалось бы рассмотреть что-нибудь вроде прилива или отлива крови и сделать какие-то выводы о его настроении. Но кожа его была черной, поэтому никто, кроме, может быть, лучшего теперь друга Шапырина, даже и не догадывался о душевном неблагополучии иностранца.

2

Старуха Кубарева решила, что ей самой нужно взяться за это дело. Рассказы дочери о домашних событиях старуху только раззадоривали и раздражали. Данута все делала не так, а как нужно было делать,— не понимала. Советы же материнские за время путешествия до мужниного дома выветривались из ее головы. Старик вел себя в последнее время явно ненормально. Поведение его всегда было со странностями, но тут были перейдены, кажется, всякие границы. Старик сбрендил. Он или бегал по городу и вытворял бог знает что, или сидел дома в своем кабинете и что-то строил в белой тетради. С той мыслью, что он изменяет Дануте, старуха смирилась быстро, она теперь боялась другого — не собрался ли лысый черт драпануть с белобрысой гадиной, прихватив припрятанные денежки и бросив на произвол судьбы свою законную супругу. Все может быть, вон ведь выходят же теперь за негров. Чтобы расстроить чудовищную хитрость, старуха Кубарева решила пожить пока у Дануты.

Адам Аркадьевич свою тещу, естественно, не любил и высказал самое однозначное раздражение по поводу ее появления. Его бы больше устроило переселение Дануты к матери. Но — хозяйство! Конечно же было самым строгим образом объяснено уважаемой теще, что кабинет хозяина дома — это запретная территория, вход туда категорически запрещен. «Ничего, ничего», — кивнула теща.

Как раз в вечер свадьбы у Майбород на Адама Аркадьевича нашла в очередной раз страсть к сочинительству. Он все сидел и сидел над своей белой тетрадью. Дважды выдергивал из ручки царапающее перо и швырял его в угол. Он всегда пользовался обычной перьевой ручкой. Выражение лица, когда близкие получали возможность его видеть, их пугало — злоба и несчастье

были в нем поровну представлены. Такое было ощущение, что он составляет какой-то план и у него этот план никак не получается. Старуха Кубарева отлично знала всех его последних знакомых, о каждом собрала сведения. И дурачка-режиссера, и мрачного типа, приехавшего с младшим Крушеницким. Не говоря уже об Ундине об этой. На ум не могло не прийти соображение, что все они — люди приезжие, и, стало быть, для чего нужна дружба со всеми ними — конечно, для бегства. Старуха считала, что отлично раскусила «лысую кочергу».

Адам Аркадьевич скрипел пером, и по лицу его пробегали волны мимики: происходящее на бумаге очень влияло на происходящее на лице.

Старуха Кубарева сидела своим необъятным задом на сундуке, занимавшем самое темное место коридора, неторопливо пила чай и глядела в комнату дочери на ситцевую занавеску, разгораживавшую эту комнату надвое, и спокойно размышляла, что обмануть ее, старуху, никому не удастся.

Жалко, что нет никакой возможности привести именно в этом месте все записи Адама Аркадьевича, чтобы по крайней мере решить тот вопрос — права ли была в своей монументальной уверенности его теща.

3

Набебе очень картинно похлопал танцевавшим и, дождавшись, когда они подойдут, наполнил бокалы и потребовал, чтобы все выпили с ним «для Светочки». Тут уж отказываться было нельзя, Шапырин проследил, чтобы тост не был формальным. Кузя, глубоко вдохнув, опрокинул в рот настоящую урядьевскую стограммовую рюмку самогона.

Толик Тендитный снова страстно ударил по струнам. Но Петр Павлович издали просигнализировал ему — музыка стихла. Из дому появилась Раиса Романовна, песя перед собой на вытянутых руках большой поднос. «Сколько можае на молодых» — называлась эта акция. На хорошей урядьевской свадьбе собирали до семи-восьми тысяч рублей, с такой суммой молодое совместное хозяйство пускалось в уверенное плавание по волнам житейским. Сегодня присутствовало сравнительно

немного народу, не двести пятьдесят человек, но Раиса Романовна, учитывая международный характер события и визит с подарком первого районного лица, надеялась на приличный сбор. Громадный самовар поблескивал в тени смородинового куста, как смутный призыв быть щедрей. То, какой был выбран для операции момент, лишний раз доказывало и большой жизненный опыт, и незаурядное психологическое чутье Раисы Романовны. Все были уже вполне навеселе, но вместе с тем не утратили представления о том, где находятся.

Совестливой и просвещенной Светлане эта процедура понравиться, разумеется, не могла. Она даже пыталась протестовать против этого народного обычая, но быстро поняла, что это бесполезно. На этом участке Раиса Романовна никогда не сдала бы своей позиции.

Блюдо поплыло по периметру стола. Музыканты дали соответствующее сопровождение, за что заслужили поощрительный кивок Петра Павловича. На блюдо бесшумно падали кредитки. Подмечающее око Раисы Романовны не только вело немедленный исчерпывающий счет, но и регистрировало сопутствующие жертвованию сумм моменты. Кто давал от щедрости, кто для сохранения лица, кто скащивал сумму, не желая соревноваться с толстосумами и гонорливыми. На середине маршрута Раиса Романовна поняла, что можно рассчитывать минимум на полторы тысячи.

Шапырин и Кузя бросили на поднос по четвертному билету, и Шапырин тут же наполнил рюмки, и они с охотой уже пьющим другом осушили их. Меньше всех дал, конечно, Дюдя, рублей что-то около восьми, но, поскольку это было в порядке здешних вещей, никто не отнесся к этому ненормально.

— Слушай, Кузя, а что это на тебя жених так поглядывает?

— Кто?

— Ну... Набебе,— не без труда выговорил Шапырин.

— А-а... смотрит, я его научу смотреть. Давай пока хряпнем.

— Нет, правда?

— Нет, правда.

В конце путешествия блюда произошел забавный инцидент. После Сергея Николаевича, который, как и было принято ритуалом, положил на блюдо свой бумажник (и щедро, и символично), вдруг вскочил Набе-

бе и выхватил из кармана свой бумажник — надо сказать, более объемистый, чем тестев. Все засмеялись. Конечно, это было всего лишь незнание протокола, но всех невероятно развеселило. Именно в этот момент всем было приятно еще раз убедиться, что черный жених не такой, как они. Вот стоит, как дурак, размахивает своим бумажником, и покрасневшая Светлана еще долго будет его дергать за рукав, чтобы усадить на место.

После этого события общее празднество пошло не совсем стройно. Да и трудно было этого хотеть, выпито было предостаточно, водка уже по всему столу заменилась самогоном, что никого не смущало. Действие же самогона значительно сильнее действия государственного продукта. Легко себе представить, какие после двух-трех стопок получились результаты. Музыканты теперь не очень заботились о чистоте звучания и мелодии, они старались просто давать звук, так что шум стоял чрезвычайный. Может быть подгоняемый этими музыкальными обстоятельствами, и решился подсесть к Набебе неплохо державшийся пока Дюдя. Это сразу было замечено его младшим братом, угрюмо квасившим синий свекольный яд под двойным покровом яблоневого полумрака и товарищеской руки Шапырина. Шапырин что-то непрерывно говорил на ухо Кузе, а тот неотрывно смотрел, как его некрасивый брат в жалком пиджачке держится за черное запястье и что-то страстно, но напрасно шепелявит. Негра томил этот его разговор, и отвечал он небрежно.

— Ты прав,— сказал Кузя Шапырину и, встав, довольно уверенно прошел к тому месту, где сидел старший брат, и решительно вцепился в его плечо.

— Пошли домой! — сказал он вполголоса. — Что я тебе сказал? Пошли домой, пьянь, не позорь нас.

Дюдя небрежно стряхнул его руку, он устал от непрерывного чувства вины перед своими родственниками, он хотел, чтобы ему дали поговорить наконец о музыке. Но младший не хотел отступать, он наклонился, мощно взял своего нелепого Дюдю под мышки и как гнилой зуб вырвал из-за стола и, отступая назад, потащил его к выходу. Дюдя не мог сопротивляться — младший братишка был сильнее его раз в пять. Но тут вступился Набебе, он всегда был против дискриминации и насилия во всех его видах.

— Эй,— сказал он громко,— принеси сюда!

Кузя остановился:

— Это мой брат!

Набебе кивнул, показывая, что понимает, с кем имеет дело.

— Принеси, а? — сказал он и похлопал по стоящему рядом стулу.

— Что принеси? — вкрадчиво-угрожающе спросил Кузя.

— Брат,— честно и прямо отвечал Набебе.

— Ах ты гад,— вполголоса пробормотал Кузя.

— Гад?

— Вот именно.

— Кузя, иди домой,— неуверенно сказала Светлана.

Младший Вавилов медленно покачал головой. При этом он все еще не отпускал старшего брата. Дюдя неловко пошевеливался в родственных тисках, но почему-то ничего не говорил. Кузя шумно дышал, он собирался с аргументами, ему хотелось заявить что-нибудь решительное, ослепляющее, чтобы обнаружить сразу всю коварную черноту души этого зарвавшегося иноземца.

Набебе, понимая, что возникло серьезное недоумение, вскочил со своего места и подошел к братской паре. Он помахивал руками, как бы стараясь разогнать двусмысленности, появившиеся вдруг, сейчас он не хотел ссориться. Кузя его злил сегодня весь вечер, но сейчас никак нельзя было ссориться, и даже говорливого старшего брата Набебе готов был терпеть. Он даже взял и погладил по нелепо торчащей голове и сказал дружелюбно и громко:

— Дурачок!

В следующее мгновение сразу два человека лежало на земле. Набебе отлетел метра на два. Дюдя рухнул вертикально вниз. Надо отдать должное брату победителя, он немедленно воспротестовал. Но Кузя, не глядя, перешагнул его и двинулся на временно поверженного. Черный атлет через мгновение был на ногах, лицо его не выражало страха. И тогда Кузя ринулся во вторую атаку... но она не состоялась, с разных сторон кинулись на сражающихся, схватили за руки и стали удерживать. Набебе был спокоен, как только может быть спокоен человек с рассеченной губой. Кузя, совершая лаокооновские усилия, пытался освободиться от оплетающих рук. И на какое-то мгновение это ему удалось, он выпростал-

таки руку, и она... уже ринулась в направлении беззащитной черной челюсти, но была перехвачена стальными пальцами вовремя подоспевшего младшего лейтенанта Оконечного. Он по опыту службы знал, сколь часто случаются инциденты с рукоприкладством на урядьевских свадьбах. Младший лейтенант все видел, и главное — неожиданный нечестный удар Кузи, Константина Вавилова. Преступник сразу сник, обнаружив, кем именно он схвачен. Он не испугался, просто понял бессмысленность сопротивления. Когда милиционер уводил Кузю, то его не поднятая гордо голова вместе с тем не производила впечатления понуро опущенной. Кузя выглядел независимым и задумавшимся. Надо заметить, что его поступок не вызвал всеобщего осуждения. У многих промелькнуло чувство, похожее на симпатию. Все разговоры в дальнейшем были об этом случае, Набебе увели, чтобы промыть рану. Петр Павлович стал шутить по этому поводу, примерно с третьей шуточки застолье снова завелось и постепенно двинулось дальше. Многие обнимались. Есть такой закон в застольях: если кто-то сорвался, наскандалил, то все остальные могут быть спокойны, больше скандалов не будет, можно пить сколько угодно.

Шапырин перехватил Светлану у входа на веранду.

— Что-нибудь серьезное?

— Да нет, губа рассечена.

— Могут быть неприятности, — Шапырин замялся, — Набебе неплохо бы обратиться к лейтенанту, чтобы дела он не заводил... если ему, конечно, если его тревожит местное общественное мнение. Появление милиции вслед за появлением первого секретаря... не трудно понять, как тут все выстраивается.

— Глупости, — довольно резко сказала Светлана.

— Как угодно, — Шапырин говорил как бы нехотя, медленно, — никто не высказывается в его пользу, чем-то он успел всех задеть...

— Да чем? Что он сделал? Кузя сам!

— Вы жена, это нормальное мнение жены, вы что угодно готовы оправдать. Вы разве не замечали, что никто больше не относится к нему... нормально. — Светлана молчала. — Постарайтесь сделать так, чтобы Набебе завтра же утром прикрыл это дело. Это очень хорошо будет воспринято.

— А я ведь так всего этого не хотела.

Адам Аркадьевич несколько раз подчеркнул последнее предложение. Медленно закрыл тетрадь, несколько раз провел по шероховатой обложке своей старческой ладонью, потом аккуратно спрятал тетрадь в ящик своего письменного стола. И немного посидел просто так, может быть прислушиваясь к своим часам, разнотойное качание маятников в которых стало его с недавних пор раздражать.

Старуха Кубарева, ежесекундно опасаясь, что лопнет ее гипертоническая голова, внимательно смотрела в замочную скважину, стараясь проникнуть в тайную суть происходящих событий. Когда стало ясно, что лысый зять собирается куда-то уходить, она, страшно храпя, протопала на кухню и уселась там на стул.

Проходя мимо нее в полнейшей задумчивости, Адам Аркадьевич все же остановился, водя указательным пальцем по своему лысому черепу, нащупывая таким образом занимавшую его мысль.

— Так вот,—сказал он старухе, с которой за все время ее пребывания в его доме сказал не больше трех слов,—пойду-ка я на свадьбу. Не может быть, чтобы там не случилось чего-нибудь интересного, а? Как вы думаете, Агриппина Александровна?

— На свадьбку, хорошо,—широко улыбнувшись, отвечала Кубарева.

— Так вот, чтобы завтра утром духу вашего здесь не было, понятно?

Старуха захлопала глазами, забормотала что-то, кажется, что больше не станет подсматривать.

Адам Аркадьевич некоторое время молча смотрел на нее, понимая, что внушает ей сильные и неприятные чувства, и испытывая от этого удовлетворение. Медленным, надменным движением он надел шляпу и, не говоря больше ни слова, покинул свой дом.

Под конец Шапырин не удержался и побежал. Здание общежития было таким же темным и загадочным, как в ночь первого знакомства с ним. Только в этот раз Шапырин не стал медлить, хлопнул черной дверью, про-

топал по гулким ступенькам. И вот уже коридор, и вот она, дверь. Заперта!

— Богдан! Богдан! — ударил он в дверь и прислушался: там явно что-то происходило. — Богдан! — и еще несколько сильных ударов кулаком. Опять шаги, потом непонятные звуки, дверь открывается. Вспыхивает свет.

— Ага, ты здесь, слава богу, мне нужно с тобой поговорить.

Слова эти были обращены к Ундине. Рядом смущенно закашлял Богдан. Он был в своем рабочем халате и незашнурованных кедах. Ундина была в наспех надетом платье. Она потупила взор. Богдан старался встать так, чтобы не наступить на свои шнурки.

— Н-да. Тем не менее мне нужно с тобой поговорить. Быстро. Жду внизу.

— Витя... — глухо произнес Маланчик.

— Ты меня поняла, внизу!

Сбегая вниз по лестнице, он издавал звуки, напоминающие хихиканье, но в темноте было не видно его лица, и нельзя было решить, действительно ли ему весело. Во дворе он остановился у заборчика. Двор был глухой. По небу бежала туча с яркими краями. Доносилось дребезжание аккордеона неизвестно откуда. Словом, ночь.

Ундина приблизилась осторожно, но было заметно, что настоящего страха она не испытывает. Она присела рядом на низенький заборчик и сказала:

— Ты сам этого хотел, Жорж Дантон, — и в следующее мгновение, после сильнейшей шапыринской оплеухи, полетела через забор в помидоры.

— Встань и отряхнись. Я сейчас поднимусь и поговорю с твоим хахалем. А потом спущусь и поговорю с тобой. Жди меня здесь.

Маланчик стоял в коридоре у открытой двери. Шапырин стремительно прошел мимо него в комнату.

— Где ее вещи? Вот эта сумка, да? Больше нет? — Он расстегнул сумку и встряхнул ее содержимое.

— Витя...

— Что «Витя, Витя». Нехорошо, Бодя. Ладно, оставайся здесь. Сейчас я ее отправлю и вернусь. Деньги есть?

Маланчик кинулся к своему дипломату.

— Хватит двадцать, — сказал Шапырин.

Положив деньги в нагрудный карман и выйдя из комнаты, он стал спускаться по лестнице, роясь одновре-

менно в Ундиной сумке. Добытый оттуда косметический набор он сунул в карман пиджака, а вновь застегнутую сумку, выбежав на улицу, он бросил к ногам Ундины. Она пила воду из колодезного ведра и тихонько хныкала.

— Вот тебе, золотко, двадцать рублей от возлюбленного. Сейчас ты пойдешь на вокзал и завтра утренним поездом уедешь. Выяснять отношения будем в Москве, ладно? Я понятно говорю?

Ундина кивнула лицом в воду.

6

Набебе лежал лицом в подушку и, несмотря на рассеченную губу, прислушивался к звукам, доносившимся снаружи. Свадьба затихала, хохотали музыканты, беседуя с расплачивающейся Раисой Романовной. Из чьего-то запрокинутого горла взорлила народная песня, но продержалась недолго. Слышалась возня на кухне. Вышел из своей комнаты и вернулся в нее Сергей Николаевич. Скрипнула дверь, и в гнездышке появилась молодая жена. Она некоторое время простояла просто так, привыкая к темноте.

— Светочка,— прошептал он в подушку.

Светлана села в ногах кровати, не говоря ни слова. Набебе не был слабым человеком, он никогда бы не сказал, что нуждается в помощи. Тем более жене. Он был оптимистом, он верил в прогресс и прочие подобные вещи, он был счастлив фактом существования нашей великой страны, он никогда не терял своей доброй воли и готов был для всего, чего угодно, в нашей советской жизни подыскивать положительные объяснения. И вот он лежит, и ему кажется, что он просто-напросто раздавлен. Часть этой тяжести можно, наверное, отнести на счет спиртного, но и моральная травма была велика. Он очень хотел, чтобы жена погладила его по голове и сказала что-нибудь понятное. Никогда еще он не ощущал так остро, что эта женщина является единственным близким ему человеком в этом огромном, занимающем шестую часть всей мировой суши, государстве. Рука Светланы легла на его упругий курчаво-шерстистый затылок.

— Бебик, завтра надо будет пойти в милицию. Надо спасти Костю.

Набебе не понял дословный смысл сказанного, тем болезненней был для него смутно угаданный общий. Он еще сильнее вжался в подушку, невзирая на боль в рассеченной губе, и никакие звуки, которые он, может быть, готов был издать, не прозвучали.

Светлана встала и начала медленно раздеваться. И впервые за время их общения приближение близости, если можно так сказать, вызвало в негре противоречивые чувства.

ГЛАВА 5

1

Утром следующего дня Шапырин осторожно вошел во все еще полураспахнутые ворота вчерашней свадьбы. Столы еще были не убраны, повсюду виднелись следы отшумевшего веселья. Валялся провод от электрогитары, а одна из медных тарелок была вонзена в полувытопанную грядку. Таинственно смотрелся влажный от росы самовар. Смородиновая ветвь по-приятельски расположилась на его крышке. Туман только что пропал, но его скользкие следы остались везде. Например, на клеенке, покрывавшей столы, на яблоневои листве. Шапырин недолго наслаждался этой кинематографической картиной, из-за дома, со стороны удобств, появился подомашнему по пояс голый Набебе. На ходу он ощупывал заклеенную белым пластырем губу. Он искоса посмотрел на Шапырина, не зная, достаточно ли глубоко тот вошел на территорию усадьбы, чтобы считать его гостем, и стоит ли его приветствовать. Шапырин тоже его не окликнул. Набебе стал подниматься по деревянным ступенькам веранды, но остановился, обернулся и внимательно посмотрел на Шапырина. Тот сделал несколько шагов вперед, чтобы рассеялись все сомнения.

— Чего надо? — спросил Набебе.

Шапырин, не обращая внимания на грубоватую форму обращения, улыбнулся и сказал:

— Света.

Муж некоторое время раздумывал, потом ушел. Свет-

лана не появлялась довольно долго. Вышла не в халате, а в обычном своем сером строгом костюме. На гостя она смотрела настороженно. Набебе остался на кухне, чтобы наблюдать за сценой через окно. Шапырин заговорил сразу о деле:

— Протокол еще не составлен, следствие начнется только сегодня. Нужно поговорить с лейтенантом немедленно, потому что, если дело раскрутится, остановить его будет сложно. За нападение на иностранного гражданина, да еще в нетрезвом виде... в общем, не знаю, посадят ли его, но то, что он вылетит из техникума...

Светлана кивнула:

— Мы ходим.

— Ну хорошо. Теперь пойду успокою Кузю.

Светлана опять кивнула, несколько приветливее, чем в первый раз.

— Спасибо вам. Я думала о вас хуже. Спасибо. Мы сегодня же ходим. Сразу после завтрака.

— И знаете еще что, Света, я изучил немного Кузю. Даже больше, чем неприятности с милицией, его будут мучать угрызения совести. Вы же видели, как он привязался к Набебе. Проснувшись и припомнив то, что вчера происходило, он сойдет с ума от стыда и отчаяния. Я... я понимаю чувства Набебе, он вел себя как рыцарь в той злополучной ситуации. Он совершил бы настоящий нравственный подвиг, и на всех это произвело бы громадное впечатление, если бы он навестил сегодня Костю и пожал ему руку, так сказать. Это сразу бы...

— Я понимаю. Я поговорю с Набебе.

— Ну вот и отлично, а я к Кузе.— Шапырин улыбнулся.

Он так искренне обрадовался согласию Светланы, что она невольно тоже ему в ответ улыбнулась. Сложившееся мнение не может измениться сразу. Светлана продолжала видеть и заляпанную родимыми пятнами и поросшую прямым диковатым волосом голову Шапырина, и его полноватую фигуру, и очень несвежий воротник рубашки, но вместе с тем она начала подозревать наличие некоего пламени внутри этого уродливого сосуда.

Шапырин уже шел к выходу. Он был задумчив, он был весь погружен в себя. Его движению помешала внезапная рука, схватившая бесцеремонно его за предплечье и мощно тряхнувшая его только что описанную

фигуру. Очнувшись, Шапырин увидел перед собой иронически улыбающееся лицо Андрея Крушеницкого.

— Куда это ты в такую рань? И главное — откуда?

— А-а, привет.

— Рад меня увидеть, да? Не ожидал? А я вот утречком выскочил, смотрю — Витя. Дай-ка, думаю, посмотрю, куда это наш Витя спешит.

Шапырин молча смотрел на него. Он не знал пока, как себя вести, чувствуя страшное раздражение в могучем Андреевом теле, и вел себя, как человек, которого облаивает большая собака: стоял неподвижно.

— Ну, так что скажешь? Что ты теперь скажешь, после всего-то, а? Расскажи мне еще про то, как сложно любит меня наша Светочка, просто дня без меня не может, и, чтобы посильнее меня к себе привязать, решила выйти за негритоса. Какая теперь твоя теория?! А ты сейчас с нею обсуждал план ее бегства ко мне, да?

— Нет, не к тебе.

— А к кому? Скажи, если не тайна, конечно.

Шапырин молчал, но было видно, что он раздумывает, сказать или не стоит.

— Только не делай вид, что ты мне этим большое одолжение окажешь, все равно ведь совершь.

— Она изменяет негру.

Андрей громко и неестественно расхохотался:

— Ага, ну, в общем, понятно. Может быть, и с кем — скажешь?!

— С Кузей.

Андрей хохотнул еще неестественнее, он собирался еще что-то сказать и продолжать ехидничать, но с толку он был сбит явно. Шапырин решительно высвободился из однорукого объятия и быстро пошел своей дорогой.

2

Светлане не нравилось, как ведет себя муж. Он на чисто перестал быть веселым шаловливым чудовищем, старательно и забавно старающимся преодолеть языковой барьер. Он неподвижно сидел на кровати, внимательно, вряд ли понимая, слушал обращенные к нему речи, и по лицу его нельзя было понять, что происходит у него внутри.

Светлана не понимала, в чем дело, и это ее пугало.

Отсутствие общего языка стало, сверх бытового факта, еще и опасно отсвечивающей метафорой. Милый, родной Набебе все больше становился похож на то, чем он представлялся всем родственникам Светланы, да и всем жителям Урядьева,— опасной, неестественного цвета и с непонятными помыслами громадиной. Светлана решила бороться за него. Она ему подробно и как можно более просто рассказала, какие ужасы ожидают Кузю в том случае, если он, Набебе, не проявит своей доброй воли. Ей же представляется ужасным, говорила она, что ее муж может стать причиной всех этих гонений.

— Набебе, милый, ты меня понимаешь? — находясь в растерянности, постепенно переходящей в отчаяние, спрашивала она.

Набебе слегка приподнимал голову, реагируя на вопросительную интонацию, но ничего не отвечал. Светлана, не выдержав этого непривычного для нее состояния, рухнула на кровать и разрыдалась. Светлана не плакала никогда, ни по какому поводу, связанному с нею или с ним, ее мужем, это Набебе помнил отлично. Глубоко, по-русски вздохнув, Набебе положил жене свою руку на спину и спросил:

— Тюрьма?

— Тебе никого не жалко,— сквозь всхлипы отвечала Светлана. Набебе погладил ее по спине, причем гладил старательно, стремясь уничтожить даже мельчайшие складки на ее платье, как будто они мешали ему посмотреть картину смуты в душе плачущей жены.

— Пошли.

3

Константин Вавилов чувствовал себя совершенно разбитым. Он не без труда поднялся, когда Дюдя сообщил ему, что с ним хочет поговорить Шапырин. В доме Вавиловых царил траурная атмосфера, весть о нелепейшей драке и о милиции мгновенно достигла родительского дома. Ждали со страхом последствий. Репутация семейства Вавиловых была на невысоком уровне, у нее не было авторитетных защитников, могущих пойти к Оконечному и, действуя своим авторитетом, заставить его выбросить уже составленные бумаги в корзину. На такое был способен, например, Сергей Николаевич Май-

борода, но он как раз находился по ту сторону баррикад и свое влияние мог употребить лишь во вред Кузе. Дюдя всячески похмелял и опекал брата, пытался его ободрить. С матерью и женой общался несколько свысока, довольный тем (конечно, глубоко внутри), что, ожидая главных неприятностей семейству от него, женщины просчитались и получили неприятности от своего любимчика. Конечно, при этом старший брат искренне любил младшего и готов был на что угодно, чтобы ему помочь. Приходу Шапырина он обрадовался. Когда пришедший выразил желание говорить с Кузей один на один, он понимающе закивал: «А, конфиденциально» — и удалился. Молодые люди прошли на ту скамейку, на которой состоялся исторический разговор старшего Вавилова с Револютом. Внимательно глядя в лицо невероятно смущенного, отворачивающегося Кузи, Шапырин спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

— Спасибо, хреново.

Шапырин сосредоточенно покивал.

— Ладно, ладно, не переживай, может быть, все еще образуется.

Кузя иронически хмыкнул, он плохо помнил порядок вчерашних событий, приведших его к столь отвратительному результату, но он точно помнил, что Шапырин не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать року. Естественное чувство вины в молодой похмельной душе смешивалось с ядовитой насмешливостью по отношению ко всему омерзительно благополучному белому свету.

— Я поговорил уже с нашим черномазым другом, сегодня он сходит к Оконечному и скажет, что ничего не было, что была шутка.

Кузя осторожно снял свои очки и попробовал их протереть полой своей рубахи. Он разволновался, жизнь свою он серьезно считал пропащей, а тут такое простое и, главное, внезапное избавление.

— Строго говоря, ты вообще был невиноват. Я ничего плохого не хочу сказать о Набебе, но, по-моему, он тебя все же спровоцировал на эту драку. Кажется, он решил, что ты оскорбительно себя ведешь по отношению к Светлане, нечто подобное, впрочем, и было, ты слишком по-товарищески похлопал ее по плечу, не очень вежливо оборвал несколько раз... в таких делах все состоит из мелочей, которые даже не перескажешь. К тому же

выпили. Тут я и свою вину признаю, первую рюмку принудил тебя выпить я. А он решил тебя напоить как следует, поспорить с тобой оснований у него вроде бы и не было, а сильнейшее раздражение против тебя было. Ты вспомни, как он все время подсаживался к тебе и подливал. Когда ты напился, он почувствовал себя увереннее, он начал тебя поддразнивать... А потом ты пригласил Светлану потанцевать, я очень хорошо помню этот момент... Ему показалось, что ты опять что-то недозволенное ляпнул, потому что после танца Светлана резко куда-то ушла. Тут уж он... короче говоря, вызвать тебя прямо было нельзя — компрометация Светланы, и он решил отыгаться на Дюде, как он над ним издевался. Дюдя как-то на это умудрялся не обращать внимание, а ты обратил...

Кузя медленно тер щеки и, прищурившись, смотрел перед собой, ему нравилось то, что говорил Шапырин, мрак, опутывавший душу, редел.

— Я не знаю, сумеет ли Светлана объяснить ему... мы с ней, правда, договорились, что она попытается заставить его прийти к тебе для примирения. Сам понимаешь, такой шаг ему сделать нелегко. Но парень он в общем неплохой, ну, вообразил себе какую-то глупость. Но ты тоже, я думаю, не должен противиться, хотя правда, если честно, на твоей стороне.

— Я не буду противиться,— улыбнулся Кузя и поправил очки.

— А для того чтобы продемонстрировать свою добрую волю, надо что-нибудь приятное сделать для Светланы.

Кузя вопросительно поднял брови.

— Это основной камень преткновения для его черного самолюбия. Надо продемонстрировать, что ты хорошо относишься к Светлане, несмотря на то что она вышла замуж за него... Ну не тебе рассказывать, как он остро стоит, этот вопрос, везде. Ты ведь не расист?

— Ну-у... а что он...

— Да, да, да, именно этот мотив в этой истории самый важный, если приплюсовать сюда слабое знание языка, тоже способствующее развитию всевозможных комплексов, то получается настоящая проблема.

— Ты думаешь, что все так...— Кузя широко развел мускулистыми руками.

— К сожалению, да.— Шапырин на секунду замер, как бы парализованный своею мыслью, его молодой друг терпеливо ждал, когда это состояние кончится.— Н-да, но у тебя, я думаю, нет наготове симпатичной вещицы, чтобы обрадовать молодую женщину.— Кузя сокрушенно помотал головой.— Я об этом догадывался, вот, не бог весть что,— Шапырин полез в карман пиджака и достал оттуда косметический набор Ундины,— это отличная штучка, к ней практически не прикасались. Она будет в восторге.

— Но она же никогда не красится, по-моему.

Шапырин бросил в сторону склонившегося над красной коробочкой Кузи быстрый взгляд.

— Ну правильно, в том-то и заключается весь смысл подарка. Она действительно никогда не красится, и он конечно же это знает. Но ты-то этого совсем не обязан знать, такой именно подарок покажет, что при хорошем отношении к Светлане ты не посвящен в ее интимные, что ли, тайны, понимаешь? Ну, скажем, любовник такого подарка не сделал бы, ну, ясно? Демонстрируя хорошее отношение, очень важно не переборщить, чтобы не возникло неприязни другого рода.

Юноша усмехнулся и поправил свои очки, разговор в этом месте сделал лестный для него крен. Шапырин между тем продолжал:

— Согласись, что мы не имеем никакого права подвергать опасности счастье этого семейства. Нужно позаботиться, чтобы даже теоретическая возможность каких бы то ни было новых неприятностей была исключена. Возьми этот набор. Он в этой ситуации незаменим, только он поможет продемонстрировать все то, что продемонстрировать необходимо.

После некоторого раздумья Кузя кивнул. Очень трудно подвергать критическому анализу действия человека, делающего тебе добро, а именно в таком качестве по отношению к младшему Вавилу выступал сейчас Шапырин. Кузя взял из рук гостя красную коробочку и погладил тонкими красивыми пальцами полированную поверхность.

— Спасибо, Витя, спасибо тебе большое.— Говоря эти слова, юноша покраснел, ему нечасто приходилось оказываться в подобных ситуациях, и ему немало усилия стоило преодолеть естественную сдержанность.

— Ладно, ладно, все в порядке,— очень серьезно ска-

зал спаситель и потрогал родимое пятно возле носа.— А стоит эта штука ровно пятнадцать рублей. Отдашь, когда сможешь.

4

Младший лейтенант Оконечный сидел в своем кабинете и размышлял. В помещении дружины, как известно находившемся неподалеку от ворот монастыря-техникума, было еще три человека. Трое неразлучных друзей: Револют Матвеевич, Станислав Борисович и Антон Антонович. Они только что кончили излагать представителю власти все свои подозрения по поводу личности недавно заявившегося в город Виктора Шапырина. Стройной версии у друзей не было, но сами по себе факты, с пристрастием и жаром преподнесенные, производили достаточно тягостное впечатление. Конечно, можно было трех преподавателей обвинить в склонности к фантазированию, в злопыхательстве, но в том, что они рассказывали, несмотря на весь сумбур, лейтенант чувствовал какой-то объективный смысл, над которым очень бы следовало поразмышлять. У Оконечного была в городе репутация, в общем, умного человека. Револют с друзьями очень на него рассчитывали. Втайне они надеялись, что для такого небывалого и непривычного случая младший лейтенант решится ввести в действие скрытые и могущественные механизмы (они серьезно подозревали Шапырина в чем-то близком к шпионажу). Этого столичного наглого интригана можно разъяснить в считанные часы или по крайней мере выдворить с позором. Оконечный сидел и думал. Револют, больше всех недовольный тем, как медленно принимается милицееское решение, совсем было уже собрался описать, в каком состоянии находится жена его покойного брата, как у нее отекают ноги и что она кричит по ночам, но раздался осторожный стук в дверь.

— Войдите,— сказал Оконечный и машинально пригладил волосы, и без этого гладко зачесанные назад.

В приоткрывшуюся дверь вошли Светлана Майборода, а затем всем известный черный муж. Увидев, как много в кабинете народу, супруги потупились, разговор у них был явно конфиденциальный. Младший лейтенант, поняв это, обратился к предыдущим гостям:

— Револют Матвеевич, товарищи, считайте, что ваше дело у меня на контроле...

Револют встал с недовольным выражением лица, он не считал свой визит исчерпанным, и его задело то, какое преимущество отдается самому ничтожному иностранцу.

— Поймите, лейтенант, что дело наше — дело нешуточное. Как бы не пришлось отвечать за последствия...— Договаривать он не стал, окинул вызывающе небрежным взглядом парочку молодоженов и покинул кабинет со своими клеветами.

— Слушаю вас.

Светлана покосилась на своего безучастно молчащего мужа и сказала:

— Вчера произошло недоразумение. Этот молодой человек, Костя Вавилов, он ведь приятель Набебе и... мой одноклассник, он очень хороший человек, это была не драка... Я очень вас прошу, и Набебе, конечно, тоже просит, не надо, чтобы было какое-то следствие. Костя еще молодой, если дойдет до деканата, его обязательно, обязательно исключат.

Младший лейтенант смотрел в стол и осторожно перекладывал две одинаковые на вид бумажки. Надо сказать, что он испытывал некоторую неловкость от этого напора. Мужчине трудно разговаривать с женщиной, поставившей перед собой ясную цель. Когда он поднял глаза, то увидел покрасневшее лицо молодой женщины и настоящее отчаяние в ее глазах. Тогда он перевел взгляд на мужа. Негр выглядел достаточно невероятно в этой пасмурной, обшарпанной, пропахшей старинными табачными запахами клетушке. Негр молчал, он без всякого интереса относился к тому, что происходило в его присутствии, и только один раз кивнул, когда от него потребовалось, чтобы он кивнул.

5

Жизнь Адама Аркадьевича вошла в свою важнейшую фазу, он ощутил это отчетливо и болезненно. Если бы его попросили словами изложить суть его переживаний и предчувствий, он навряд ли взялся бы за это. Хотя внутри у него время от времени мерцали какие-то прозрения, пугавшие его своей неожиданностью, он доходил

почти до коматозного состояния, пытаюсь получше всмотреться во внезапные блески своего кратковременного понимания, но те, естественно, под воздействием его нетерпеливой пристальности таяли. Он ощутил, что подхвачен могучим течением; так вышло, что затхлый, извилистый ручеек его жизни пересекся с этим течением, и внутреннее дыхание души перехватывало от волнения экзотического типа, столь же невозможного, казалось, в пределах скромного Урядьева, как и явление чернокожего гостя. Страшно на старости лет почувствовать, что где-то рядом готовится распахнуться бездна, но вместе с тем это ощущение льстило. Не могло же, говорил он себе, все, что было, быть просто так. Теперь все ясно — он не лгал, не предавал, не хитрил, не подличал, он просто старался дожить до этого дня. Если бы он хотя бы один раз не проявил своей изворотливости, если бы он наступил на горло своей жизнеспособности, то кто бы, покажите, кто бы присутствовал при этом явно необыкновенном моменте. Ведь здесь нет ни одного человека, способного представить хотя бы одну из мировых струн, которые пытаются у нас в Урядьеве поколебать. «Я просто спал все это время, а теперь просыпаюсь!»

На месте он совсем не мог сидеть. Четырежды за утро пил чай, однажды, совсем задумавшись, обжегся, за что несколько раз двинул кулаком свою безропотную жену по спине. Старуха Кубарева, искоса видевшая этот случай, предпочла не вмешиваться. Она знала, что у нее будут еще выгодные случаи, чтобы излить свое отношение к этой лысой сволочи.

Адам Аркадьевич после этого случая изволил лежать на спине в полной тишине своего кабинета. Белела тетрадь на столе. Дважды Адам Аркадьевич бросался прогуливаться, и оба раза прогулки эти кончались слишком быстро, он возвращался, чертыхался и что-то бубнил у себя в кабинете.

— Да, дочка,— говорила старуха, отхлебывая теплый слой чая из блюдца,— зварьяцев стары́.

Нечего и говорить, что ему не с кем было поделиться. Впрочем, был один человек... Адам Аркадьевич опять вскакивал и начинал ходить по комнате. Время плескалось в его часах.

ГЛАВА 6

1

Поскольку Светлана чувствовала себя до некоторой степени виновницей происшедшей ссоры, она решила, что ее присутствие при объяснении мужчин нежелательно. У поворота на улицу Рокоссовского она остановилась и сказала мужу, что подождет его тут, на этой вот скамейке. Набебе кивнул, поудобнее пристроил под мышкой теннисную ракетку и направился к дому Вавиловых. Ракетка должна была придать его визиту раскрепощенный, непосредственный характер, да и вообще было желательно незаметно перевести разговор в партию пинг-понга, чтобы окончательно рассеять неловкость. Светлана осталась сидеть на удобной скамейке в тени огромного сиреневого куста, положение ее оказалось вполне укромным, но выражение лица оставалось между тем очень напряженным. До нее уже дошло несколько сплетен о событиях на ее свадьбе, возникли эти сплетни мгновенно, уже запутанными и многоступенчатыми, как самостоятельные живые существа, и равномерно расползлись по городу. Сплетни эти были неприятного, туманного типа. Не то чтобы Набебе в этих сплетнях однозначно осуждался, но вместе с тем говорилось, что первые секретари просто так не разъезжают по свадьбам. Разумеется, пока еще никто не путал, кто кому нанес удар, но наряду с этим намекалось, что иногда в жизни бывают ситуации, в которых невозможно удержаться и не ударить. Словом, Светлана с нетерпением ждала, чем кончится мужской разговор.

Начался он многообещающе. Набебе был замечен на дальних подступах и встречен у калитки красным от стыда и волнения Кузей. Во дворе никого не было, хозяин настоятельно предложил гостю пройти в сад к известному уже тесовому столу. Гость, не совсем понимая, зачем это нужно, вынул свою ракетку и похлопал ее пупырчатой лопастью по своей ладони.

— Пинг-понг! — с наигранной бодростью в голосе сказал он.

Кузя в ответ восторженно закивал, но в сад гостя продолжал влечь. При этом торопливо и путано изъясняясь, комкая два заранее заготовленных предложения. Набебе подчинился, прошел, сел бочком к столу. Хозяин

сел напротив, он очень волновался, и это нехорошо подействовало на Набебе, он насторожился. В воздухе меж тем звенели какие-то мошки, теплые пятна света лежали на столе, на красивых руках Кузи, занимавших середину стола. Пахло нагретым подсолнечником. Мирно погромыхивала цепью соседская собака.

— Набебе,— сказал Кузя,— ты не должен обижаться.

— Жаться?

— Не о-би-жать-ся.

— Обида? — Набебе сначала кивнул в знак понимания, а потом, улыбнувшись, помотал головой в знак того, что никакой обиды нет.

Кузя тоже улыбнулся и продолжал:

— Света очень хорошая... (здесь нельзя ставить в общем-то три точки, потому что пауза была крохотной, точки на полторы) женщина. Я ее очень люблю... По-братски, понимаешь? — Набебе слушал внимательнейшим образом.— Понимаешь? По-братски. Брат!

— Юра?

— Да не Юра, а я, я люблю по-братски. Как брат, понял? Тут нет ничего странного.

— Пакт Братски? — проговорил в некоторой задумчивости негр, потом кивнул: — Варшавский?

— Никакого Варшавского Пакта, любовь, понимаешь, хотя и братская.

Набебе опять кивнул, но в душу Кузи закралось все же подозрение, что смысл его высказывания дошел до собеседника в немного искаженном виде.

— Мы с ней одноклассники. Дружба. Восемь лет, потом техникум. Мой, то есть это я пошел в техникум, Света закончила десятилетку.— Кузя испытывал состояние, близкое к отчаянию, оттого что само собою произносилось такое количество лишних, явно непонятных гостю слов.— А потом она поступила в Университет имени Патриса Лумумбы.

После Патриса Лумумбы Набебе уверенно кивнул, он, видимо, не только хорошо его знал, но и одобрял его деятельность. Подбодренный Кузя заговорил поуверенней:

— Вот. И встретила там тебя,— при этом он похлопал по ракетке, рядом с которой лежала чуткая рука черного друга.— Ты должен понять, что я очень хорошо к ней отношусь и не могу обидеть. А вот, в доказатель-

ство,— Кузя полез в целлофановый пакет, лежавший на скамье рядом с ним, и извлек оттуда, как и можно было ожидать, ундиновский косметический набор.

Набебе, не удержавшись, резко приблизил к нему свое лицо, и в его белках мелькнул несколько кровавый отсвет. Разумеется, это было всего лишь отражение ярко-красной крышки косметического набора.

— Что? — хрипло спросил он.

— Подарок,— тревожно сказал Кузя, неуверенный еще, что подарок понравится.

— Мой?

— Подарок Свете.

Ловкая ладонь Набебе, перелетев через ракетку, накрыла красную коробочку. Кузя улыбнулся, он был доволен: подарок понравился чрезвычайно. Вон как схватил. Умница Шапырин.

— Как взял? Где? — спросил Набебе, выражая, видимо, восторг тем, что здесь, в такой глуши был найден столь импортный косметический набор. Кузя, игриво улыбаясь, отрицательно поводит перед лицом негра своим указательным пальцем.

— Не скажу.

Набебе неожиданно отреагировал на это: понуро опустил голову и несколько секунд сидел, глядя на подарок и немного затрудненно дыша. Наконец Кузя, для того чтобы выйти из затруднительного положения, весело хлопнул по ракетке гостя и тихонько крикнул:

— Э-эй, пинг-понг!

Пользуясь не очень благородными филерскими приемами, Шапырин проследил путь супружеской пары до скамейки под сиренью и, увидев, что Набебе, вняв совету, отправился для участия в мужском разговоре один, удовлетворенным, но неприятным движением потер руки и заспешил в обратном направлении. Вид у него был озабоченный. Маршрут его путешествия получился извилистым. Сначала он двинулся к магазину хозтоваров и с огромным неудовлетворением обнаружил, что магазин этот закрыт на учет. Несколько секунд наш герой находился в растерянности, сделал несколько бессмысленных кругов по центральной городской площади, что-то при этом высматривая. В этот час на улицах было пустынно, солнце, скопившись за утро, пропитало воз-

дух, и он уже подходил к температуре плавления. Единственно, что противостояло гнету жары, это одинокая, слегка сырая бочка кваса у входа в сквер. Казавшаяся обугленной, а на самом деле просто очень загорелая продавщица мирно поглядывала по сторонам. Она так спокойно переносила жару, что появлялась какая-то странная гордость за нее и радость, что не полностью перевелись на наших землях богатырские натуры, хотя бы и в женском обличье. Шапырин развлек выносливую женщину покупкой у нее кружки кваса. Зажмутив ослепленные жарой глаза, Шапырин жадно глотнул ледяного пахучего напитка. Сразу же после кваса ему повезло, он отыскал что-то соответствующее его внутренним планам. Он медленно обогнул здание с вывеской: «ДОСААФ, районное отделение» — и проник во двор. Во дворе оказался большой гараж, несколько дверей которого были широко открыты, из них торчали капоты двух грузовиков, вокруг которых слонялось человек пять молодых ребят. Пожалуй что, они изучали эти аппараты. Оглядевшись зачем-то, Шапырин медленно приблизился к крайнему грузовику и скрытно поманил к себе крайнего в этот момент мальчишку. Тот подошел, выслушал Шапырина и, кивнув, удалился. Через несколько секунд он вернулся, в свою очередь оглянулся, и произошел мгновенный натурообмен, и Шапырин быстро удалился, унося в кармане то, что ему было нужно. В движениях москвича появилась бодрость и решительность. Он шел очень быстро и вскоре оказался перед воротами техникума. Там он опять стал оглядываться и, не обнаружив никакой опасности, открыл парадную дверь. Из затененного двора он попал в огромный мрачный вестибюль. Дорогу ему преградило непредвиденное обстоятельство в виде уборщицы со шваброй в руках. Она закатила истерику, увидев, что Шапырин собирается ступить на влажно и ярко поблескивающие пространства свежeweымытого пола. Она вела себя очень напористо. Шапырин растерялся. Человеку, имеющему сложные жизненные интересы и далеко идущие планы, трудно разговаривать с человеком, которому нечего терять. Глядя, как покачивается в воздвигнутом на его пути ведре серая мусорная вода, Шапырин понял, что уборщицыно представление о справедливости и смысле жизни победит его стремление довести до конца начатое дело. Он, правда, пробовал бороться, бормотал какую-то ерунду о документах,

с которыми ему «нужно познакомиться», мотивировал свою настойчивость тем, что все решено на «самом высоком уровне». Уборщица стучала себя кулаком по впадой груди и по-нептуновски черенком швабры в мелкую лужу у своих кирзовых ботинок. Шапырин отступил, похватывая кончиками пальцев свое родимое пятно. «Иди, иди!» — победно гаркнула ему вслед уважающая свой труд женщина. Шапырин понуро остался у окна в вестибюле, из которого ненавидящим взглядом рассматривал стоящий на колодках комбайн.

Разрешилась ситуация довольно просто. Дело в том, что убираемый коридор вскоре делал поворот. Дождавшись, когда женщина со шваброй скроется из глаз, Шапырин стукнул для конспирации входной дверью, снял туфли и на бесшумных цыпочках побежал в противоположную часть первого этажа, которая становилась все суше с каждым шагом. В глубине этой другой части первого этажа коридор тоже имел поворот, и, достигнув его, Шапырин почувствовал себя в некоторой безопасности. Туфли, для экономии времени, он не стал надевать, поставил на пол, а сам двинулся к застекленному стенду, висевшему перед входом в кабинет физвоспитания. Здесь он достал из кармана ДОСААФовскую отвертку, аккуратно и бесшумно вывернул шуруп, державший металлическую петлю замочка. Стекло дверей с почти неуловимым скрипом самостоятельно отворились. Отвертка исчезла в кармане, а в руках у злоумышленника появилась записная книжка, шелестнув страницами которой он достал безопасное лезвие «Восход», тускло блеснувшее в монастырском полумраке. Этим лезвием были осторожно вырезаны несколько фотографий из листа плотной белой бумаги, покрывавшей дно стенда. Все фотографии были скомканы тут же и спрятаны в карман известного светлого пиджака. Все, кроме одной, тщательно уложенной в записную книжку вместе с лезвием. Стекло дверей были бесшумно закрыты, шуруп ввинчен обратно. Шапырин неторопливо и бесшумно двинулся к своим туфлям, и на его лице начинала уже возникать довольная улыбка, когда за спиной раздался лязг двери. Шапырин обернулся и увидел, что тихонечко отворяется дверь кабинета физвоспитания и в нее просовывается голова Станислава Борисовича Бабинского, выражение его, в этот момент особенно брыластого, лица, было страшным.

— Милейший Станислав Борисович, может быть, вы мне покажете, где тут у вас комитет комсомола.

— Мы репетируем,— громко ответил товарищ Бабинский, стараясь выдохнуть воздух вниз, опасаясь, кажется, что до этого пронырливого гада и на таком расстоянии дойдет запах портвейна.

— Ну что ж,— сказал Шапырин,— желаю вам успехов.

В ответ на это безобидное пожелание в кабинете раздался многоголосый возмущенный рев, и на крепкой руке Станислава Борисовича, перегораживавшей проем двери, повисли Револьт Матвеевич и Антон Антонович, они потрясали каждый одним кулаком и самым грязным образом матерились.

— Эй ты, козел, ну иди сюда, ты! Иди отсюда, понял. Ну-ка, иди сюда, ты!

Шапырин в это время неторопливо надевал свои туфли, надел, кивнул беснующимся недругам и скрылся из виду.

2

Набебе выглядел немного заторможенным, и поэтому Кузя и Светлана, шедшие справа и слева от него и немного озабоченные загадочным его молчанием и неадекватной улыбочкой, старались изо всех сил поскорей довести его до спортзала, где бы он смог при помощи любимой игры окончательно примириться с жизнью. Кузю немного удивляло, что черный приятель не спешит обнародовать подарок, сделанный его жене, но напоминать об этом не смел и понимал, что и Свете он сам об этом говорить не должен. Светлана видела, что, несмотря на состоявшееся, по словам Кузи, формальное примирение, полного благодушия и расслабления не наступило. Набебе, всегда такой миролюбивый, кажется, вообще не способный ни к какой продолжительной ссоре, был почти все время пребывания в Урядеве непохож на себя, и это очень пугало Светлану. Перебрасываясь короткими вымученными фразами с Кузей, они быстро шли по направлению к техникуму. На них, конечно, как всегда, обращали внимание, несколько раз возникала опасность ненужной беседы с полужнаемыми людьми, но этого удалось избежать, и компания любителей пинг-понга во-

шла во двор техникума. Именно в этот момент их увидел Шапырин, в хорошем, почти веселом расположении духа покидавший основной корпус. Надо сказать, что явление этой тройцы его озадачило. Он явно рассчитывал, что развитие событий пойдет по другому пути, лицо его вытянулось, и правая рука растерянно забегала по щеке в поисках родимого пятна. Он не кинулся им навстречу, как можно было бы ожидать, имея в виду их дружбу, а, наоборот, постарался остаться незамеченным. Когда теннисисты спустились в спортзал, Шапырин подкрался к одному из низеньких окон и попробовал рассмотреть, что будет происходить внутри. Но темные двойные стекла не позволяли ему полностью удовлетворить свое любопытство. Он становился на колени, прижимался носом к стеклу, нет, ни черта не видно! Шапырин встал и некоторое время, набычившись, думал, похлопывая себя руками, засунутыми в карманы пиджака, по бокам. Ничего другого не оставалось, как спуститься вниз и встретиться с ситуацией лицом к лицу.

Вошел Шапырин в спортзал неуверенно, улыбаясь улыбкой ко всему готового человека — и к объятиям, и к мордобойю. Но когда Светлана и Кузя дружелюбно его поприветствовали, он вздохнул свободнее и стал присматриваться к Набебе. Тот суховато, аккуратно играл с возбужденным, находящимся как бы в легкой лихорадке Кузей. Утратив главное свое теннисное достоинство — собранность, Кузя перестал быть серьезным соперником для Набебе, и партия близилась к своему закономерному результату. Надо отметить одну примечательную особенность — в этот день в спортзале не было никого, кроме наших героев, ни одного местного мальчишки, отчего казематное ощущение, создаваемое сводчатыми потолками, усилилось.

Кузя проиграл, пожимая плечами и разводя руками, стараясь изобразить огорчение, оставил место у стола и предложил Шапырину попытать счастья. Шапырин согласился, переговорить с Кузей он решил попозже. Московский гость очень неважно играл в настольный теннис, и поэтому игра у него невольно отнимала все внимание. У него не было времени рассмотреть, как ведет себя Кузя, присевший на низкий подоконник рядом со Светланой (они превесело хохотали). Не мог он видеть и выражение лица своего соперника, он сосредоточился на глупом малоуправляемом шарике. Шарик все время

старался проскочить у него под рукой, а отскочив от его ракетки, валился куда-то за стол. Шапырин старался из всех сил и в какой-то момент обнаружил, что настала уже середина партии, а ему удастся удерживать примерно равный счет. Противник, еще недавно наводивший на него пинг-понговый ужас, часто мазал, умудрялся не принять элементарную подачу. Чувствуя, что его дело не безнадежно, Шапырин весь отдался борьбе, не успевая подумать над причинами столь внезапной утери противником присущего ему класса. Объяснение явилось само собой. Набебе, вместо того чтобы принять очередную подачу, отшвырнул ракетку, и она, скользя по столу, вонзилась по рукоять под сетку. С криком «о нет!» он кинулся к подоконнику и остановился перед невинно беседовавшей парочкой бывших одноклассников, потрясая при этом огромными и искусными своими руками, громко и угрожающе вопя. О чем именно идет речь, понять было невозможно, но чудовищная ярость и угроза, клокотавшая в этих звуках, была несомненна. Светлана была потрясена, в глазах у нее стоял самый обыкновенный ужас. Черно-белые ладони летали у самого ее лица. Кузя, от неожиданности съехавший с немного наклонного подоконника, держался теперь за него только локтями и во время длинной скандальной секунды безуспешно силился вернуться в прежнее положение. Светлана первая покинула эту дикую сцену — прижав ладони к лицу, она кинулась к соседнему окну и там разрыдалась. Кузе удалось занять прежнее положение, и он сидел, растерянно хлопая глазами. Шапырин подошел сзади к бесцельно, но все еще угрожающе разворачивающемуся Набебе и, приобняв его за могучий торс, стал что-то шептать ему на ухо и увлекать к выходу. Сначала негр еще пытался сопротивляться, еще давали себя знать остатки ярости, но быстро понял, что оставаться в спортзале нет ему никакого смысла, и позволил себя вывести на воздух, бросив ужасающий взгляд в содрогающуюся от рыданий спину Светланы.

Шапырин повел Набебе домой. Интересно, что, выйдя за пределы спортивного зала, Набебе совершенно овладел собой и вел себя совсем не так, как можно было бы ожидать от южанина. Вспышка ярости прекратилась полностью и сразу. Легко подчинился Набебе и совету своего нового друга пойти домой: он вдруг почувствовал себя очень неудобно, ему захотелось где-то укрыться.

Путешествие это прошло в полном сосредоточенном молчании. Молчали спутники не от скуки, а каждый над чем-то размышляя.

Когда они вошли во двор, сидевшие за подъяблоневым столом Сергей Николаевич и Раиса Романовна только покосились в их сторону. То, что Набебе явился один, без жены, было само по себе необычно, но от неожиданности пожилые родственники не знали, что тут нужно предпринять и надо ли, может быть, тут же все и выяснится само собой. Набебе и Шапырин не стали подходить к чаепитию и молчаливо проследовали в дом. Войдя на кухню, Набебе ни с того ни с сего пнул, и очень злобно, мэровский самовар, издавший жалобный звук неплотно прилегавшей крышкой. В комнате Набебе, не говоря ни слова, бросился лицом вниз на кровать, бормоча что-то абсолютно нечленораздельное.

Шапырин, оставшийся в немного неловком положении, не растерялся и стал снова внимательно осматриваться, сказав:

— Тебе надо успокоиться.

Набебе продолжал лежать в прежней позе, и по широкой спине несколько раз пробежали беззвучные судороги. Шапырин полез в карман пиджака, достал пузырек с валериановыми каплями.

— Набебе, принести воды? — сказал он, похлопав ладонью по горячей спине.

Набебе резко сел и довольно бессмысленным взглядом посмотрел на друга, лицо его выражало страдание. Он неприязненно покосился на подсовываемый ему пузырек и жалобно произнес серыми губами:

— Дру-у-уг. Мужчина и женщина!.. — Зажмурившись, замолчал, может быть внезапно осознав, что не сможет поделиться своим горем. Он прижал к лицу ладони таким же движением, каким это сделала полчаса назад его жена, и на несколько секунд затих. Когда же он открыл глаза, выражение лица у него было осмысленное и спокойное. Ему, наверное, стало стыдно за те проявления слабости, которые он допустил. Он взял из рук Шапырина пузырек и, кивнув благодарно (так благодарно, как будто в пузырьке был яд), выпил содержимое и тут же, быстро встав, вышел, видимо чтобы запить.

Оставшийся без присмотра друг торопливо достал записную книжку, нервно ее листая, вынул фотографию

Кузи, тихонько пискнул, порезавшись об спрятанное в книжке же лезвие, и, оглянувшись (выражение лица у него в этот момент было сумасшедшее), одним движением засунул ее в хорошо ему известную плетеную сумочку Светланы, стоявшую на этажерке. После этого он огляделся еще раз, заметил более удобное хранилище для улики и непроизвольно привстал, одновременно протягивая руку к только что заряженной сумке. Но ничего переделать он не успел — Набебе, напившийся, уже входил. Он вернул Шапырину пустой пузырек и протянул руку, пожав которую Шапырин сунул обратно в рот свой порезанный палец.

— Уот? — участливо спросил Набебе и, увидев на показанном ему шапыринском пальце кровь, обалдело помотал головой, как бы говоря, нет, теперь я уже совсем ничего не понимаю.

— Ну, ты себя лучше чувствуешь? — спросил Шапырин и для пояснения своего вопроса прикоснулся пальцами к вискам. Набебе почему-то усмехнулся и снова повалился на постель. Образовалась немного неловкая пауза. — Ну, раз во мне больше нет нужды, я тогда пойду.

Набебе, проявляя неожиданную понятливость, еще раз протянул ему руку и уверенно сказал:

— Спасибо.

— Да не за что, собственно говоря, это был мой долг, — серьезно произнес Шапырин и вышел из комнаты. Бесшумно проследовал по чистенькому коридорному половичку, на кухне улыбнулся самовару и поправил его крышку. На несколько секунд задержался на терраске. Сидевшие за своим чаем Сергей Николаевич и Раиса Романовна сделали вид, что им по-прежнему ни до чего нет дела. Что ж, Шапырин спокойно проследовал по розовой галерее и отворил калитку. Он не ушел далеко, отыскал в ближайших кустах боярышника укромное убежище, откуда отлично просматривались ворота дома, только что им покинутого. Ожидание его было недолгим, минут через десять к воротам прибыли Светлана с Кузей. Шапырину очень хорошо удалось рассмотреть их приход. Они не спешили войти в дом. Напротив, им захотелось выпить чая на свежем воздухе. Завязалась беседа между старым и молодым поколением. Все четыре участника этой беседы разговаривали очень оживленно. Они, конечно, не видели, что в полумраке кухонного **ок-**

на, кажется, мелькнули белки Набебе. Шапырин поморщился от сильного запаха валерианки; в первое мгновение его даже испугало такое совпадение, но в следующее мгновение он понял, что это не причуда воображения виновата, а правая рука, приблизившаяся по привычке к родимому пятну.

Потом Шапырин медленно пошел куда-то, у него было удивительно хорошее расположение духа. Он что-то шептал едва слышно, посасывая свой раненый палец, тихонько хихикал. Наступал вечер, это чувствовалось во всем. Сладко трудились, починяя сыновьям велосипеды, раздевшиеся по пояс отцы возле своих гаражей, густо гудела колонка у поворота, покорно поворачивал в нежные школьные ворота грузовик. Если смотреть направо, то в конце каждого переулочка блестела Чара. Шапырин, подчиняясь поэтическому состоянию своей души, огибал в сонливом слаломе замершие вдоль улицы липы. Когда он совершал очередной вираж, то заметил впереди вздорную фигурку Волотовского. В другое время он постарался бы свернуть в сторону. Он собирался искупаться, побежать к этой сияющей реке, где-то по дороге, он помнил, должны были быть отмели... но он решительно пошел навстречу Адаму Аркадьевичу. Тот тоже издали заметил его и теперь торопливо застегивался, стараясь предстать пред враждебный взор в наиболее неуязвимом виде. Минуты полторы они сближались. Адам Аркадьевич, как уже было сказано, застегиваясь, Шапырин улыбаясь. Сошлись на расстоянии трех шагов. Наконец победивший историографическими пальцами непокорную пуговицу Адам Аркадьевич одернул свой пиджак и сказал:

— Я бы хотел задать вам несколько вопросов.

— Да ради бога, я давно заметил у вас какое-то такое желание, что же вы раньше не подошли?

— Я и подходил... но не об этом сейчас... так вот... Впрочем, мне хотелось бы длинного разговора, в том смысле, что накопилось много всякого, поэтому я вам предлагаю прогулку. Мне кажется, что я многое понял.

— Хорошо, давайте пройдемся.

— Подальше от глаз, это даже необходимо... вы поймете сами, тут есть неподалеку одна старая мельница...

ГЛАВА 7

1

...разрушенная разумеется, очень живописное место. А в городе не то, ходят...

— Да, я согласен, согласен, идемте.

Пришлось вернуться, пройти в опасной близости от дома Майбород. Забор, скрывавший столь соблазнительные для шапыринского ока события, мелькнул за листовой. И тропинка нырнула вниз в овраг.

— Вы знаете, я частенько здесь бываю. Здесь сосредотачиваешься, мысли сами собой приобретают возвышенное направление...

В овраге было уже темно и тихо, поэтому речь Адама Аркадьевича укладывалась, как цепочка на бархат, и Шапырин хладнокровно следил за ее извилинами.

— У каждого маленького городка есть свои предания, и наш не исключение.

Овраг начал мелеть, и тропинка постепенно выводила на поверхность, а там — Шапырин сначала даже не понял, в чем дело, — там тускло сияло поле гречихи, оно было немного неровное, казалось, что это отсвечивает поверхность неравномерно поднявшейся волны. Это внезапное видение пугало, хотелось свернуть в сторону, и как огромное облегчение воспринимался поворот тропинки налево. Попугав путника омутным пылением поля, тропинка спокойно отводила его к реке, к прохладе. Чара в этом месте описывала плавную дугу, редкие кусты, росшие вдоль берега, постепенно густели, и вдалеке, метрах в пятистах, виднелась довольно значительная рощица. Внутри нее как раз и помещалась обещанная достопримечательность. Она пока была не видна. Справа от рощицы на невысоком холмике стояла собранная из бревен вышка непонятного назначения. За этой вышкой виднелись — но уже совсем далеко — три металлических цилиндра, похожих на элеваторные. Они ярко блестели на солнце и придавали окружающему ландшафту своим присутствием ухоженный, рачительный вид.

— Я давно за вами наблюдаю. То, что вы человек незаурядный, я понял, можно сказать, сразу, пожалуй что, во время первого разговора, помните? Про детство?.. Ну так вот, это было неизбежно, что я должен был

обратить внимание... Весь этот городок я держу на ладони, если говорить образно. Малейшие возмущения на нашей тишь да гладь мне сразу видны. Не буду подробно распространяться о причинах такой моей бдительности, они не имеют прямого отношения к этой истории. Так вот, заметив некое... завихрение, я конечно же захотел прояснить для себя, так сказать, его природу. Я посвятил этому... занятию, этому делу большое количество сил и времени, собрал большое количество различных сведений...

— Это то, что вам Катька наболтала? Ундина то есть.

Адам Аркадьевич вежливо поклонился.

— Я не отрицаю и этот источник, но не надо думать, что именно он был важнейшим. Так вот я пришел к определенным выводам. Можете вы быть со мной откровенным? Я понимаю, что прошу, может быть, о чем-то сверх... Впрочем, пока не надо отвечать, я сначала приведу свои выводы, а вы, если захотите, будете их опровергать. Так вот.— Роща между тем постепенно наплывала, солнце полностью скрылось за ней, освещение резко переменялось.— Я,— Адам Аркадьевич закашлялся, но коротко,— теперь убежден, что вы у нас в Урядьеve находитесь для выполнения какого-то секретного и необычного задания. То есть так я считал еще совсем недавно,— перебил себя Адам Аркадьевич,— в настоящий момент я склоняюсь к мысли, что никакого задания нет. Вы самостоятельно... Но убежден в другом: что какой-то таинственный план есть и проводится в жизнь. Для меня большим открытием было, что вы одиночка. Сначала это меня успокоило даже, а потом я сообразил, что это хуже, намного хуже, потому что отлично способствует сохранению тайны. Итак, секретное какое-то предприятие, вы не отрицаете?

Шапырин пожал плечами:

— Ну, скажем, не отрицаю.— Выражение лица у него было спокойное, чуть ли не равнодушное. Больше он ничего пока говорить не стал. Адам Аркадьевич полез в карман своего пиджака и вытер платком пот с лысины, сделал он это очень торопливо, словно пот каким-то образом мешал ему думать.

— Теперь,— сказал он несколько затрудненным голосом,— можно перейти к сути и характеру того эксперимента, что вы тут ставите.

— Даже интересно узнать, что вы думаете на этот счет.

— Кое-что думаю, да. Но вместе с тем я постепенно... эта сцена на кладбище, безусловно, один из эпизодов вашей программы. Вы каким-то образом — что для меня полнейшая загадка — заставили, уговорили калеку Мишу Гужевого исполнить эту необъяснимую роль.

— Да тут все очень просто. Я случайно узнал, что Миша Гужевой всю жизнь мечтал сыграть в вашем народном театре...

— Эта ракалия?!

— Я всего лишь дал ему возможность осуществить свою мечту.

— Понятно, понятно. — Адам Аркадьевич снова тщательно осушил свою лысину. Они уже входили в рошу, и стал постепенно нарастать какой-то шум. — Так вот я пришел к выводу, что вы просто-напросто...

— Ставлю спектакль. Это верно. И вы, если утверждаете, что внимательно за мной следили, а вы внимательно следили... насколько я понимаю, сумка — это ваша операция?

— Там все цело.

— Цело-то цело, но очень противно захватано.

— Мне нельзя было иначе, — горячась и слегка запынаясь, торопился объясниться Адам Аркадьевич, — я чувствовал себя как на страже... вы должны это понять!

— Что я должен понять? На какой страже?! Наверняка вы просто трусили и решили, что я приехал по каким-то вашим старым делам и собираюсь вас шантажировать или что-то в этом роде. До меня дошли слухи, что прошлое у вас...

— Прошлое у меня темное, — неожиданно громко и яростно воскликнул старик, — да, я был и в полиции немножко, и другого прочего хлебнул. Я испугался сперва за это, правильно. Но тут все чисто. Я специально в Польшу ездил, есть у меня родственник, бывший контрразведчик, и теперь все чисто, молодой человек.

— И двух вдов на Задорожной улице вы не помните?

— Ну какая гадость! И зачем вы только собираете сплетни, молодой человек. Видите ли, дочка не нашла

у нее золотых коронок... а то, что у меня была киста... да черт с ним, честно, как перед... короче, клянусь: кое-что было, но не в этом дело.

— А в чем? А в чем заключается эта ваша «стража»?

— Это тончайший момент, но я обязательно объясню.

— Да, кстати, Адам Аркадьевич, я вернусь к моменту, с которого соскочил: может быть, вы скажете, какой именно спектакль я ставил. Хочу выяснить цену вашим наблюдениям.

Волотовский улыбнулся:

— Это как раз просто, это ведь даже в книге было помечено. Гамлет, стало быть.

— И систему персонажей поняли? Револют — Клавдий, Ольга Лукинична — сладострастная королева, Миша Гужевой — тень...

— Да, да, только с главным персонажем произошел просчет, я считаю, Андрей Крушеницкий просто здоровая наглая скотина и больше ничего. Только что учится не дома.

Шапырин рассмеялся. Они стояли перед большой каменной руиной, внутри которой шумно неслась вода. Зияли провалы окон, полумрак лежал на поверхности искусственной заводи. С другой стороны здания виднелся белопенный хвост, там вода показывала себя меж тускло поблескивающих валунов. Место было в высшей степени уединенное и романтическое.

— Да, Андрей, конечно, не Гамлет. Я об этом начал догадываться еще в поезде. Он мне всю ночь рассказывал об отце, и я не услышал ни одного живого слова. Да и другое не сходилась, но не попробовать я не мог.

— А меня интересует другое, сейчас я и объясню, что означает моя «стража». Как мог в человеческой голове родиться такой замысел — ведь это же противоестественный замысел! Я понял его, и значит, все, чем я жил до сих пор, было не зря.

— Абсолютно не понимаю вашего пафоса, что не зря?

— Все не зря! Ты явился к нам, думая, что здесь никто не сможет тебе противостоять, а я оказался на страже!

— В вас, очевидно, проснулась прежняя профессия, вы небось меня за черта считаете?

— В каком-то смысле да! И замысел твой — бесовский!

— И поэтому вы считаете возможным перейти со мной на «ты».

— Извините, порыв. Но тем не менее. Это же никакой не театр, это циничное издевательство... над человеком.

— Иногда человека надо расшевелить. Любое искусство этим занимается. А уж современное, вам бы почитать книжки. Был такой, допустим, как Арто...

— Вранье, какое бы ни было искусство, но зритель знает, что можно плюнуть и уйти. Здесь все в неведении, обмануты, проще говоря.

— Ну и отлично, они сами и актеры, и зрители, и все что угодно,— примирительным тоном сказал Шапырин, с интересом поглядывая на шумную руину.

— Я против!

— Ну что значит «против», Адам Аркадьевич? И почему это вы против, даже смешно как-то. Предавать, насиловать, отправлять на виселицу людей можно, щипцами у живых еще бабок золотые коронки вытаскивать можно, а это — нельзя.

— Это хуже!

— Отчего же, Адам Аркадьевич. Я же даю возможность простым людям пережить то, что в обычной жизни им никогда не удастся пережить. Обычная их жизнь в сравнении с той, которую я им могу дать, все равно что смерть.

— С человеком нельзя так обходиться!

— Ну он же, во-первых, и не узнает никогда, как с ним обходились, а во-вторых, почему это нельзя, а?

— Пусть даже и не узнает, но сам факт, что где-то есть человек — а тут, видите, уж и два,— знающий, что производился подобный опыт, разрушителен. Безбожен и разрушителен, для всего мира. Мир не может стоять, когда есть такой факт. Человеческий мир меняется, входит какой-то новый страшный закон.

— А вы немалый философ, дорогой Адам Аркадьевич, только не надо такого слишком уж надуманного испуга. Тут дело не в мире в вашем, а во мне. Они действительно ничего не узнают, а если вы им расскажете, не поверят. Не надо становиться в позу спасителя мира, как-то нелепо вы смотрите в такой позе.

— Значит, вам свою поганую тайную мыслишку можно осуществлять?

— А что делать, я ведь, вы поверьте, шел к ней всю свою сознательную жизнь. Как сделал первые шажочки, так сразу к ней. С шести лет отказывался от всяких сладостей, однажды узнав, что где-то какие-то папуасы голодают. Насильно спасал щенков каких-то и котят, испытывая искреннее отвращение к запаху псины. Так и шнырял в поисках бабулек, которым нужно было перейти через дорогу. Готовил себя, в общем, к величайшему подвигу. Долго был одиноким тимуровцем, нормальным детям это достаточно быстро надоедает, а я сам бегал в магазин, в аптеку... Помните, у Толстого герой составляет для себя какие-то системы и страдает оттого, что не может их выполнить. Я выполнял в десять раз более жесткие. Как-то месяц говорил только правду и тому подобное. Конечно, определенное удовлетворение это мне доставляло, но никакой истины, так сказать, я через подобные поступки не приобрел. Как Рахметов, я готовил себя к какой-то очень нужной деятельности в будущем, доходил чуть ли не до гвоздей. В юности это извинительно. Потом... потом, как-то само собою это получилось, я стал очень, невероятно несчастен. Я освободился. Я понимаю, что говорю непонятное, что тут нужны образы. Представьте себе невесомость, моральную, что ли, невесомость. Я стал вольный дух, хотя и страшно пугливый и скучный, но тем не менее я мечтал о тяжести, о притяжении. Вы извините, всегда получается очень выспренне, когда об этом говоришь вслух.

Адам Аркадьевич внимательно слушал собеседника. Они продолжали стоять на месте. Цель путешествия сдержанно шумела шагах в тридцати перед ними. Сгущающаяся темнота придавала таинственный оттенок этому шуму.

— И в какой-то момент, дорогой Адам Аркадьевич, наступает самое неприятное, проще всего это назвать неуверенностью в факте собственного существования. Бывают просто смехотворные ситуации. Вам наверняка знакомо выражение «продувает насквозь», вот примерно в таком смысле на меня действовал наш физический мир, то есть у меня появлялся страх, что он на меня так подействует. Хлестнет вот эта ветка — и пройдет сквозь меня. Без сопротивления. То же самое человек, то есть человеческое чувство. Я понятно говорю?

— Нет.

— Ну тогда... нет, тогда не знаю, как объяснить.

— Вы хотели любви, понимания...

— Вот уж нет, любви еще куда ни шло, но понимания — ни за что. Что может быть омерзительнее, чем быть объектом понимания.

— И тогда вы решили устроить такой театр?

— Вы перескакиваете. Много позже я решил... Сначала было много других приключений моего духа.— Шапырин усмехнулся, оглядываясь по сторонам, выбранное стариком место ему нравилось.— Довольно рано меня начала возмущать, а потом и пугать устойчивость, оформленность мира. То, что стена — это стена, вода — вода, жена — жена, страх — страх. Расшатать все это было нельзя, и я стал расшатывать себя. Если бы я поверил, что в этой жизни все так и есть, как кажется, я бы не высидел в ней ни минуты. Расшатывать же себя — это не моя выдумка, любой русский человек прибегал к этому, пьющий русский человек, ошалевая в этом мире строгих форм. Бывают на третий-четвертый день запоя такие состояния, когда все эти границы как бы дрожат и начинают перескакивать то ли искры... Взаимоотношения с женщинами же... тут почти с самого начала получилось неинтересно, не подумайте, что я оригинальничая. Дело в том, что женщина развращена по самой своей природе, что бы ты ни измыслил, как бы скотски... ты всего лишь возвращаешь ее к ее природе, к земле, у нее нет настоящих устоев для стыда. Если мужчине нужна стыдливая, то она стыдливая, если развратная, то она развратная... Тургеневская девушка — это еще одна священная корова, миф русской литературы. Поверьте, я действительно не рисуюсь, мне менее всего интересна слава рокового садиста. Я просто понимаю, какая это иногда мука — желание понять, и честно стараюсь вам что-то рассказать, хотя, может быть, мой рассказ вас ни к чему и не приблизит.

— Ну про ветку, про то, что сквозит, — это ладно... я только не пойму.— Адам Аркадьевич все время вытирал себе лысину, непрерывно выделяющийся пот был, видимо, продуктом напряженной мозговой деятельности.— Я лишь одного не пойму — где от всех интересных и, может быть, честных рассуждений переход к отвратительному этому спектаклю. Женщины вас, вот вы говорите, разочаровали, это ведь, в общем-то, смешно.

Каждая женщина, каждая, молодой человек, может дать вам хоть несколько минут такой полноты жизни, что вам и не захочется никакого театра.

— Согласен с вами, дорогой Адам Аркадьевич. Есть в каждой изюминка, есть, но и вы тем не менее постарайтесь понять...

— Хорошо, хорошо, раз такая причуда, то уж пускай. Все вас давит, а напьетесь с бабами, что-то мерещится, искры, надо понимать — проблески другого, высшего мира. Но в целом тоска. Но вы мне объясните, где переход? Какою мыслью он совершается, почему вы не пробовали, ну, там альпинизма, карты, анашу?..

— Объясню. Во-первых, я трус. Трусоват, вернее. Вторых, умный и скептический человек. Сами понимаете, что при таких условиях никакой альпинизм невозможен. Так и со всем прочим, готов бежать из дома, но даже шевельнуться не хочу и т. д. В конце концов я понял полную бесполезность для меня этих способов.

— А театр, стало быть...

Шапырин, до этого отвечавший быстро и охотно, в этом месте задумался, усмехнулся:

— Мои родители были самодеятельными актерами. С того момента, когда бабушка моя померла, они начали таскать меня вместе с собою на репетиции, на спектакли. Помните, было время, когда самодеятельность была особенно популярна? Или мне сейчас так кажется, потому что она полностью заполняла мою жизнь. Частенько я сидел... знаете, мне сейчас вдруг не по себе стало — чего это я вам все это говорю?

Адам Аркадьевич торопливо постучал себя ладонью по груди. Движение было столь красноречиво, столько в нем было нескрываемого нетерпения, что Шапырин продолжил:

— Ребенок я был очень наблюдательный и весь этот механизм «народного театра» долго наблюдал изнутри. Постепенно у меня выработалось ощущение, что самое интересное в народном театре — это отнюдь не сама пьеса, не то, что топорными движениями и дикими голосами будет изображено на сцене, а случайные мелкие события за кулисами, в щелях постановки, неувязки, рождающие совершенно новые петли на уже существующем сюжете. Я прятал перед самым выходом цилиндр

героя, а по замыслу режиссера при помощи этого цилиндра совершалась важная передача... Есть такой известный театральный рассказ, когда во время дуэли не срабатывает за кулисами звук выстрела, один из дуэлянтов раза три наводит свой молчаливый пистолет, потом откладывает его, снимает сапог. Кричит страшным голосом: «Сапог отравлен» — и швыряет во врага. Тот падает замертво. У меня редко получалось так остроумно. Но самое любопытное, что никто и никогда не мог догадаться, кто виновник всех тонких нюансов, возникающих по ходу спектакля. Потом я вырос. ГИТИС как-то само собой... но напрасно: между моими, если так можно выразиться, поисками и тем, что считается современным театром, с самого начала лежала пропасть. Мне было страшно, мне было невыносимо жить, я никак не мог себе доставить ощущение жизни, кроме как таким вот образом воздействуя на других людей. Сначала я стыдился этого, как самого гнусного порока, а потом постепенно понял, что осчастливливаю их. Они в отличие от меня не знают о своем несуществовании, а я мог им помочь, причем не оскорбляя их достоинства.

— И упиваясь своей властью,— сипловато и воинственно крикнул Адам Аркадьевич.

Шапырин посмотрел на него с внезапно возникшей неприязнью и, медленно отвернувшись, сделал несколько шагов в сторону разрушенной мельницы. Было еще не совсем темно, и, напрягая зрение, можно было еще рассмотреть детали кладки. Чем ближе он подходил, тем угрюмее и гуще становился гул воды там внутри, мельница казалась специальной каменной заглушкой, поставленной поверх громадного подземного источника шума, в какие-то былинные времена, может быть, терроризировавшего округу.

— Нет, уж вы извините,— быстро подбежал Адам Аркадьевич,— я все же переведу разговор в моральный план. Все эти нежные воспоминания ничего не извиняют. Мне другое интересно: как это формулировалось для себя, как вы себе говорили — вот сделаю то-то и то-то, заставлю человека быть таким-то, найду на него... И сейчас я объясню, почему имею право все это спрашивать. Ладно, были у меня дела. Но даже если я кого-то посылал, как вы считаете, на смерть (на самом деле все всегда сложнее), то это была жизнь и смерть.

Потом меня мучила совесть. Ситуация обычная. На ней замешена вся жизнь. Но как назвать то, что делаете вы?! То есть опять человек как бы дрожащая тварь.

Шапырин обернулся.

— Не надо меня сравнивать, я позволил только в шутку. Вы обычный, мелкий...

— В том-то и дело: обычный и мелкий!

— Ну и ладно... Хотя интересный у вас подход. Что же касается твари, то тут еще надо разобраться. Наша дрожащая тварь не дрожит. Она существует телесно и повсеместно. Она рождается, живет, ест, пьет, спит, выпиливает по дереву, плачет, поет хором, идет в армию, она немец и белорус, химик и летчик, она веселая и грустная, она... даже страх смерти у нее здоровое плотское чувство. Она выходит из небытия плотными рядами и плотными рядами в него уходит. Тварь правит, она хозяйка мира. Мне ее не жаль, потому что я точно знаю, что не причиню ей вреда. Точно! Меня подгоняет настоящий страх, вам непонятный и ей непонятный. Не страх небытия в будущем, чего могут бояться и самые сложные представители твари. Страх небытия сейчас! И ради того, чтобы прекратить хотя бы на мгновение это свое совершенно непереносимое состояние, я готов на все, даже на то, чтобы перевернуть кверху ногами этот ваш нынешний поганый мир. И ирония судьбы состоит в том, что в результате я еще окажусь главным благодетелем, каким-нибудь пророком.

Адам Аркадьевич, взявший себя в руки, спросил спокойным, почти вкрадчивым голосом:

— А на каком основании вы заключаете, что их жизни ничтожны. Не заслуживают снисхождения. Может быть, оно и так, но ведь возможна ошибка!

— К сожалению, невозможна. Человек, который заблуждается, не знает, что он заблуждается. Человек, который знает истину, точно знает, что он знает истину.

— Ну, это казуистика.— Адам Аркадьевич опять себя похлопал по впалой пиджачной груди, очевидно рассчитывая этими движениями взбодрить свою душу.— А если... а реакцию этой, столь вами презируемой, среды вы не учитываете?

— А реакция эта всегда запаздывает и всегда направлена не в ту сторону.

Адам Аркадьевич хихикнул:

— Ну не скажите. А те кулаки, которыми вас били на танцплощадке, они что, тоже были направлены не в ту сторону?

Шапырин на мгновение растерялся — такой поворот был для него неожиданным. Он вспомнил наглое поведение Революта во время последнего разговора. Вот, черт!

— Я думаю, Клавдий ваш, товарищ тайный режиссер, даже не вникая в страшную и запутанную суть событий, предельно точно определил, откуда исходит угроза его семейству. Тут, конечно, вы сгруппили. Револют своего брата и не думал отравлять. По-дурацки вы все задумали, с невероятными натяжками. Нельзя иницировать то, чего нет даже в зародыше. Андрей, я уже говорил, похож на Гамлета примерно так же, как это бревно. С другой стороны, очень символично, что Збышек, рыжий тот парень, что пристал к вам первый, исповедует родственную вам философию. Он больше всего на свете любит без всякого повода подойти к человеку и заехать ему в рожу. Я как-то спросил у него, зачем он это делает. И знаете, что он мне на это ответил? Что ему нравится иногда посмотреть, как человек «вякнет». Даже словечко нашел сам. Также колебатель основ.

Шапырин внимательно смотрел на своего собеседника. Трудно было сказать, что с ним происходит, но Адам Аркадьевич истолковал перемену состояния в собеседнике в свою пользу. Он успокоился, его речь внезапно избавилась от малейших следов местного говора, шла по ровной лекторской линии, и его мысль соответственно начала избавляться от провинциального акцента, неизбежно приобретаемого длительным сидением в глуши, пусть даже и «на страже». Шапырин, довольно долго слушавший, не прерывая, вдруг улыбнулся:

— Все-таки запаздывает.— Улыбка его была затрудненной, злой. Он не рассказывал этого о себе, но не исключено, что он был мстительной натурой.— Мой Гамлет мне стоил всего лишь несколько синяков. И это был мой дебют. Я впервые решился попробовать по-настоящему. Зато за мою вторую и, по-моему, отличную постановку со мною рассчитаться не успеют. На танцы я больше не пойду. И уеду завтра утром московским поездом.

— Какая вторая постановка? — напряженным голосом спросил Адам Аркадьевич.

— Вы догматик, вы решили, что если мои пометки есть в тексте только одной трагедии, то ни о чем другом я и думать не могу.

Адам Аркадьевич сделал движение по направлению к городу.

— Поздно, дружище. Я думаю, мавр уже сделал свое дело. За полчаса до нашей встречи я передал ему неопровержимейшие доказательства того, что жена любит другого. А мы гуляем с вами вот уже три часа. Бесполезно. К тому же я вас просто не пушу, я намного вас моложе и, стало быть, сильнее. И никаких обращений в милицию, хорошо? Вас подымут на смех. Я, разумеется, от всего откажусь и уже специально думал, как это будет делать.

Адам Аркадьевич дернул плечом и неловко соскользнул одной ногой с небольшого земляного откоса, на котором стоял.

— Что с вами?

— А в бога... — очень глухо сказал старый атеист. — Я хочу узнать, как с этой проблемой у вас?

— Вот-вот вы и показали свое настоящее лицо. Стало быть, семинария в вас где-то сидит. Я согласен с вами: самое ужасное в этой проблеме, что ни отрицать с уверенностью его существования, ни верить с уверенностью, простите тавтологию, в него нельзя. А интересно, почему это вы отреклись от культа?

— Совсем не интересно.

— Я тоже держу боженьку на последний случай. Если ничего не выйдет, можно под конец и уверовать и раскаться. А пока... а пока нужно пробовать кое-что и самому. — Сделав несколько шагов в неопределенном направлении, Адам Аркадьевич прислонился к стволу кривой сосны. — Знаете что, пойдемте, вы мне все-таки покажете эту вашу достопримечательность, а то зачем же мы шли в такую даль.

Вход в мельницу был прикрыт тяжелой, полусгнившей дверью. Она висела на одной полувывороченной из камня петле и оставляла довольно широкий проем для любопытствующих. По мере приближения к каменной стене шум, как бы какая-то жидкость, поднимался в башне, крепчал, но не сильно изменялся по своим звуковым свойствам. Но стоило просунуть голову внутрь, и

происходило превращение шума в грохот, в вой таинственного чудовища. К тому же, несмотря на отсутствие крыши, внутри стояла полутьма. Она частично препятствовала успешному завершению экскурсии. Только очепь напрягая молодое зрение, Шапырин мог рассмотреть полуобрушенные внутренние устройства, охваченные сложным белопенным напором несущейся слева воды. Станным казалось, что эта тихая темная неподалеку от этого места (в заводи) вода, подобравшись сюда, вдруг выворачивает наизнанку все свои свойства и правит тут белый бал. Темнота продолжала сгущаться, уже полностью заострились звезды, заинтересованно посверкивающие в дырах наверху. Растворялись в темноте влажные детали разгромленных гремучей пеной внутренностей башни. От этого ужасность картины усиливалась. Шапырин и Адам Аркадьевич стояли на каком-то выступе, буквально в сантиметрах от края самой настоящей бездны, и воспаленная влага обдавала их поразному сосредоточенные лица. Адам Аркадьевич больше смотрел на своего спутника, он даже как будто специально поместился у него за спиной для этого. Налюбовавшись, видимо, его зачарованным профилем, старик приблизил к его уху свои губы и довольно громко сказал:

— Это была моя дочь, гад!

Шапырин обернулся к нему, трогая своею правой рукой родимое пятно, и, улыбнувшись, громко прорычал в ответ:

— Да, точь-в-точь ад!

И в следующее мгновение худой маленький человечек изо всех сил толкнул своими худыми руками плотного человека в грудь, и тот так с оскаленным в крике ртом полетел в страшные бездны. Затылком об камни.

2

Когда Адам Аркадьевич подошел к дому, было уже совершенно темно. Хотя никто его не мог увидеть, он непрерывно оглядывался и останавливался, чтобы прислушаться. И когда по соседнему переулку проехал неурочный грузовик, гоня перед собой вытянутое световое облако, Адам Аркадьевич кинулся к ближайшему дереву

и, насколько это было возможно, схоронился в его тени. Оказавшись у себя во дворе, он направился не к дому, а к колодцу. Там он, добыв ведро воды, сначала торопливо напился, а потом стал умываться. Умывался он долго и старательно, может быть стараясь смыть то выражение лица, которое у него появилось после мельничного кошмара и могло его выдать. Как ни старался он все делать бесшумно, в доме загорелся свет, и Адам Аркадьевич злобно зашипел, покосившись в сторону своего дома.

Войдя в кухню и нащупывая выключатель, он подумал, что ему немедленно нужно вытереться, вода на лице может привести на мысль о той воде... И он торопливо вытерся каким-то кисло пахнущим фартуком, валявшимся на столе.

В комнате, где ночевали мать и дочь, горел свет, но Адам Аркадьевич прошел прямо к себе и сразу же лег на диван. Его была довольно сильная дрожь, и, несмотря на то что ему страшно хотелось есть, он решил сначала преодолеть компрометирующий озноб, а уж потом позвать Дануту. Тут же, без всякой связи с прежними мыслями, он подумал, что ведет себя странно,— даже не подумал подойти на обратном пути к дому Майбород, можно ведь было что-то попытаться разглядеть...

Он постучал кулаком в стену, за стеной послышались осторожные, но грузные перемещения. В дверях кабинета появилась жена. Вид у нее был перепуганный, как бы придавленный громадным страхом.

— Есть хочется,— сказал Адам Аркадьевич, глядя на жену в упор.

Она не уходила, несмотря на то что получила отчетливое приказание.

— Что случилось?

Данута тяжело шмыгнула носом.

— Так что случилось? Где? У Майбород?

Данута кивнула и опять шмыгнула носом, что-то в ее поведении было неправильно, не может же она чувствовать себя виноватой в том, что случилось у Майбород. Адам Аркадьевич внезапно понял: то, чего он так боялся, действительно случилось, и у него сильно заболели глаза и пересохло горло.

— И выпить чего-нибудь,— сказал он жене спустя некоторое время.

Когда Данута вышла, он откинулся на подушках и почувствовал облегчение. Дикий сегодня день, все не так, как ожидалось, все не так. Если бы ему вчера сказали, что Светлану... и что через секунду после того, как он убедится в том, что это действительно произошло, на него накатит такое безразличие, он бы не поверил.

Он съел десяток плохо разогретых пельменей, несколько вареных картофелин и выпил стакан молока. Опять отвалившись на подушки, он вскоре впал в легкое полузабытье. Его по-прежнему немного знобило, но теперь дрожь не изводила его, она незаметно исходила сквозь поры, ему было даже сладко это полуболезненное состояние. Он забылся коротким, но глубоким сном, и когда проснулся, то почувствовал, что в доме произошли изменения. Он сердито постучал в стену, но Данута не появилась. Не без труда встав, он обследовал дом: ни жены, ни тещи не оказалось. Тогда он снова прилег на диван, но минут через десять вскочил и сел к своему письменному столу. И тут с ним чуть было не случился удар: ящик, в котором он обычно держал свою белую тетрадь, был приоткрыт и... пуст. Через секунду стало понятно, что тетрадь исчезла не только из ящика, но и вообще из кабинета. Начав нервно переключать книги, Адам Аркадьевич злобно бросил это занятие — бессмысленно, бессмысленно! Тетрадь явно утащила старуха. На ходу застегивая свой пиджак, Адам Аркадьевич выбежал на улицу. Луна уже вышла и светила так ярко, что учителю атеизма показалось, что он выбежал на другую улицу, не на ту, по которой пришел. Стараясь держаться тени, он заспешил в сторону центра. Несмотря на лунную иллюминацию, никого из жителей Урядьева не потянуло прогуляться — пустыня! Город жадно спал, выпустив на всякий случай несколько собак для шныряния по переулкам. Адам Аркадьевич шел очень тяжело, косясь, но быстро. Зорко при этом оглядываясь. Впереди у монастыря он вовремя увидел на особенно лунном участке улицы чью-то покачивающуюся фигуру. Адам Аркадьевич тут же бросился к дверям собора и скрылся в густой тамошней тени, припав к величественной створке. Можно было подумать, что он внезапно решил вернуться в лоно церкви или хотя бы пронзен неожиданным желанием послушать священную темноту храма.

Хромой путник впереди оказался всего лишь Норкевичем. Он медленно и осторожно прохаживался возле окон аптеки, то ли кого-то поджидая, то ли что-то высматривая. В другое время историограф внутренне потер бы руки, радуясь такому аппетитному случаю, столь насыщенному тайной. Этот хромой мозгляк явно что-то затевал. Но сейчас у Адама Аркадьевича не было времени, и, подождав минут пять и поняв, что Норкевич никуда убираться не собирается, он поднял небольшой камешек и швырнул его в сторону хромого. С непривычки бросок получился неважный, камень полетел несколько в сторону, прямо в железную дверь универсама. Но цели своей бросок достиг — испугал препятствие: едва не потеряв свой протез, Норкевич завернул за угол и усиленно захромал к своему дому. Адам Аркадьевич осторожно побежал дальше.

В доме тещи горел свет. Читают, сволочи! Адам Аркадьевич не стал стучать в дверь, а подкрался к освещенному окну и, задыхаясь от нетерпения, довольно сильно в него стукнул кулаком. Свет там потух, отдернулась занавесочка, появилось лицо старухи Кубаревой. Адам Аркадьевич стал ей делать знаки: открой, мол. Старуха, сволочь, отрицательно помотала головой. Бойтсья. Историограф стал гримасничать, как бы улыбаться, уговаривая ее не бояться, — вот видишь, я же добродушный. Старуха смягчилась и, подумав, отворила одну створку, и в образовавшуюся щель сразу вползло шумное шипение Адама Аркадьевича.

— Где моя белая тетрадь?

— У Оконечного.

Адам Аркадьевич даже отпрыгнул от неожиданности.

— Зачем?

— Заходил, спрашивал про тебя, там какое-то смертоубийство у Майбород, а он — где, мол, Волотовский, да что, мол, Волотовский, я и отдала. Подозрение, что ли, на тебе, он не сказал.

— Так ты потопить меня... — Адам Аркадьевич вдруг с необыкновенной ретивостью кинулся к окну и одной рукой успел схватить старуху за подбородок, низко свесившийся из окна. Она негромко, но страшно замычала и рванула на себя створку, но просунувшаяся рука зятя не давала створке закрыться. Старуха продолжала мычать, схватившись за враждебную кисть, на мгновение

возникло равновесие. Историограф, проявляя почти акробатические способности, взобрался на выступ фундамента и держал железными пальцами правой руки рыхлый бабий подбородок, а левой старался окончательно открыть окно. Но равновесие оказалось коротким, из-за маминой спины возникло опасное косоглазое лицо Дануты, и ее могучий кулак точно грохнул по голому, мокрому от пота черепу. Адам Аркадьевич отлетел и больно рухнул на землю. Окно закрылось. Наступила тишина. Полежав с полминуты, историограф стал медленно подниматься, поднялся и осторожно пошел вон со двора.

Старуха Базеева, которая жадно наблюдала эту сцену с самого начала, тихонько закрыла свою дверь.

3

Младший лейтенант Оконечный вошел в помещение дружины, зажег свет, снял китель, выгнал в форточку двух больших бабочек, плясавших на стекле. Темно. Тихо. Рядом чувствовалось громадное массивное здание техникума-монастыря. Младший лейтенант некоторое время смотрел в темноту, лишь слегка оживляемую шелестом невидимых листьев, потом закурил и сел к столу. Сдул с него пепел и положил перед собой белую тетрадь.

Сегодня, когда его срочно вызвали в дом к Майбородам, где была предпринята попытка самоубийства гражданином государства Нижняя Омма, у него произошел странный разговор с хозяином дома, уважаемым Сергеем Николаевичем. Неудавшегося самоубийцу увезла вовремя подоспевшая «скорая помощь», а младший лейтенант приступил к опросу домочадцев. Сергей Николаевич, перенесший сразу вслед за событием сердечный приступ, тоже выразил желание поговорить с представителем власти, несмотря на свое состояние. Задышавшись, держась рукой за впалую грудь, он довольно сердито напал на младшего лейтенанта, велел ему не терять здесь у него даром время, а идти «к Волотовскому, к Волотовскому!». Вот, мол, кто расскажет интересные подробности. На вопрос, почему именно к нему, Сергей Николаевич отвечать не стал, переждал приступ удушья и

глухо добавил: «Я дело вам говорю, молодой человек». После этих слов Сергею Николаевичу стало еще хуже, пришлось опять вызывать «скорую». Оконечный дождался в саду ее появления и пошел вон со двора. Его всегда раздражала манера Сергея Николаевича разговаривать с людьми. Его совет выглядел непонятным. Какая-то тайна. Младший лейтенант не любил тайны профессионально. Одним словом, он решил Волотовского навестить. Самого преподавателя атеизма дома не оказалось. Напуганная вопросами милиции, старуха Кубарева сначала потеряла дар речи. Тихонько запричитала. Она уже слыхала о том, что пытался вскрыть вены здоровенный негр. Фальшиво попричитав, она пригласила милицию в кабинет хозяина. Оконечный обратил внимание на череп. Старуха сказала, что это родственник «кочерги» по имени Юра. Он часто его гладит, жалеет и говорит: «Бедный Юрик». После черепа дело дошло до белой тетради. Старуха осторожно открыла ящик стола и вытащила рукописный фолиант. Внятно объяснить, почему она его дает милиции, она не смогла, твердила только, что «тут у няго усе записано, а я плоховато по грамоте...».

— Это его тетрадь?

— Да.

— А он разрешил бы ее читать?

— Он сбежал.

— Куда?

— Не знаю. Сбежал.

— Давно?

— Сутки.

— Ну тогда... Тогда я возьму.

Младший лейтенант недоверчиво открыл фолиант. *«Итак, я снова обнажаю перо»*. Почерк у Адама Аркадьевича был самобытный, но разборчивый. Чтение шло хорошо. Довольно много полезного и любопытного узнал младший лейтенант из этого сочинения. Сначала шли наброски истории Урядьева и его народного театра, перемежаемые различными наблюдениями и размышлениями автора. Чем дальше, тем размышлений становилось больше. Значительная часть записей относилась к самому недавнему времени. Главным их героем был небезызвестный уже младшему лейтенанту Виктор Шапырин. Да, любопытная личность. Револют Матвеевич, конечно, прав, им придется заняться как следует. Завтра же, ре-

шил Оконечный. По ходу чтения он отметил, что, когда дело коснулось Шапырина, стиль Адама Аркадьевича стал внезапно темен, появились умолчания, двусмысленности, необъяснимые восклицания, нерасшифровываемые сокращения. Как будто первая часть писалась для других, а вторая исключительно для себя. Внимание, сказал себе младший лейтенант, судя по всему, именно здесь следовало ожидать появления того, что предлагалось Сергеем Николаевичем вызвать у сбежавшего преподавателя атеизма.

Речь шла то прямо, то косвенно о какой-то опасной тайне, явившейся в Урядьев вместе с Шапыриным. Да, странный текст. Ясно только одно — дикую злобу испытывает пишущий по отношению к тому, кого описывает. И страх перед ним. Причины этого страха и этой злобы не улавливались отчетливо. Правда, кое-какие намеки Оконечный понял. Адам Аркадьевич боялся неких разоблачений. Как всякий коренной урядьевец, младший лейтенант знал, что в свое время Волотовский занимался чем-то нехорошим, может быть, даже служил в полиции, равно как и то, что ему удалось в свое время отвертеться от серьезной ответственности, вина его по-настоящему не была доказана. Может быть, у Шапырина были новые сведения?

А вот это интересно: Адам Аркадьевич внезапно и яростно ополчался на чернокожего мужа Светланы Майбороды. Он не стеснялся в выражениях. Это был его дневник. Да, тут младший лейтенант на мгновение замялся. У него было чувство, что он забирается в частное владение. Старухина версия о бегстве Волотовского показалась ему вдруг сомнительной. Младший лейтенант закурил. История с тетрадью стала его раздражать. Откуда у него явилась уверенность, что Волотовскому пришлось скрыться? А негр, может быть, просто душевнобольной. Он наверняка даже не знал, что к нему нехорошо относится преподаватель атеизма из местного техникума, а если бы и знал... Придется дочитать. Но чем дальше он читал, тем меньше у него оставалось надежд на то, что он хоть что-то поймет. Адам Аркадьевич пытался решить какую-то философскую проблему. Всем в Урядьеве было известно, что преподаватель атеизма — человек образованный, и в том, что он может иметь философские мысли, не было никакого открытия. В тексте попадалось множество цитат, смысл которых

младший лейтенант понимал не всегда. Фразы были часто обрывочные. Связь между ними уловить было трудно, со временем младший лейтенант перестал пытаться ее уловить. Имя Набебе попало еще в двух местах. Светлана мелькала чаще и всегда в сопровождении восторженной оценки. Часто мелькало имя Шапырина, с которым, как можно было заключить, велся скрытый внутренний диалог. *«Что ж, все дозволено! дозволено! дозволено!»* Здесь младший лейтенант опять закурил. Настроение у него окончательно испортилось. Он не знал, каких ждать последствий от сегодняшнего «покушения на самоубийство». С иностранцами иметь дело слишком хлопотно. Утро тем не менее вечера мудренее. Младшему лейтенанту захотелось домой. Супруга не очень-то одобряла его служебное рвение. Читать оставалось немного. Старый атеист продолжал философствовать. Его сочинение незаметно к концу начинало приобретать диалогический характер. Адам Аркадьевич спорил. Ехидно и очень длинно высмеивая своего собеседника. Кстати, число собеседников неумолимо росло. Основных было человек пять: Фридрих, Зос, Граф, Шапырин и Прот. *«Проглядели! Проглядели!»* — кричал им всем Адам Аркадьевич. Относился отдельно к Дм.: *«Не хам пришел. Хама боялись?! Не хам, не хам, а пришел умный!»* Фридриха поздравлял все время, в частности с *«Жабой вас, с мокрицей, а не с б.б.»* Было несколько оппонентов, которых Адам Аркадьевич уважал, одному из них он заявил после целого абзаца очень почтительных замечаний: *«Нет, нет и нет, не богоносец ваш народ, а ро-гоносец. Ро-го-но-сец! Ему неизбежно, неизбежно нужен стражник!»* Рядом стояло: *«Дайте, дайте блюсти высший интерес!»* Очень часто он шпынял Графа, и все время как-то однообразно: *«Ну что, глыба, скажешь, а? Не может быть, да? ха-ха-ха!»* Самые свойские отношения у него были с Витьком, то есть с Шапыриным. Он все время над ним посмеивался: *«Ну что, спрятался, ага?»*, *«Шалишь малыш»*, *«А ведь тебя надо убивать, и рука не дрогнет, не дрогнет!»* «Не дрогнет» было трижды подчеркнуто. *«Много я понял, ох много, не оценили старого черта, не оказали уважения, а он дошел своим умом. Сам!»* «Вряд ли ты готов, Витя. А я уже иду...»

На этом записи обрывались. Младший лейтенант медленно закрыл тетрадь и аккуратно положил ее в свой портфель. Ладно, завтра. Все завтра.

Когда он закрывал двери дружины, с улицы во двор техникума донесся какой-то шум. Потом раздался панический звук пожарной сирены. Сердце младшего лейтенанта нехорошо застучало. Он торопливо вышел наружу и сразу увидел зарево. Горело в старой части города. Подходя к автостанции, младший лейтенант столкнулся с лаборантом совхоза-техникума Норкевичем, тот, не ожидая расспросов, затараторил своим неприятным голоском:

— Волотовский горит, уже все поздно.



Различные рассказы



ДВОРЕЦ

Прошло много лет...

Л. Толстой. Два гусара

77

Дорога оказалась короче, чем я предполагал, автобус — полупустой, то есть никто не мешал мне оставаться наедине с моими мыслями, и, что самое удивительное, пейзаж за окном был столь любезен взору, что полностью соответствовал нараставшему у меня в душе предощущению чудесного приключения. Пейзаж был грустен, старомоден, изящен в лучах солнца, склонявшегося к тому, чтобы закатиться.

Мы (двое молодых лейтенантов, возвращающихся со сборов) вышли из автобуса на пустынной, приятно странной площади и огляделись. Наш поезд должен был отправиться завтра со станции, расположенной неподалеку, а сюда, в местечко под названием Дворец, мы прибыли по делу, не лишенному некоторой деликатности и забавности.

Где-то здесь (мы пока что только оглядывались, не решив, куда нам идти) проживала Полина Казимировна, учительница русского языка и литературы в одной из местных школ (если их несколько). В послевоенное время у моего отца, стоявшего в здешних лесах со своим артиллерийским полком, был с Полиной Казимировной бурный роман. Личная жизнь моего отца, надобно сказать, не сложилась. Жена, моя мать, умерла давно, когда я был малышом, я ее не помню. Одним из первых воспоминаний, удержавшихся в памяти, был рассказ о Полине из Дворца. В романтичности и силе воспоминаний об этой женщине не было ничего, бросающего тень на образ рано умершей супруги. Мужская память терпима. Обе женщины существовали в отцовском прошлом на равных правах.

Очень любопытная метаморфоза происходила с моим представлением об этой женщине с течением времени. По фазам этой метаморфозы можно проследить за тем, что происходило со мной самим в последовательном пре-

вращении из ребенка в молодого лейтенанта. Отец рассказывал о ней часто и одно и то же. Мне его роман вначале представлялся почти сказочной встречей с феей в стране явно волшебного свойства; теперь он для меня сильно смахивает на сочное офицерское приключение, непонятно почему загромождающее волнением равномерную память уважаемого генерала. Вот так, от благоговения до понимающей ухмылки, развивает человека правда жизни.

Узнав, что романтический дворец моих детских грез, Дворец отцовской молодости и Дворец на оперативной карте нашего начштаба — это одно и то же, я решил, что не расследовать это дело, эту занимательную путаницу совпадений, воспоминаний и воображения, было бы преступно. Тем более что рифы в этом плавании могли быть только приятные — Полина, по рассказам отца, любила его безумно и мечтала родить ему ребенка, похожего на него. Откуда-то имелись сведения, что она до сих пор проживает во Дворце и, кажется, не замужем. С прагматической точки зрения было куда приятнее провести вечер и ночь перед отъездом в гостях, где тебе будут рады, а не на вокзале, где только скамейка и вещмешок. Эти соображения я изложил Панфиличу, своему университетскому однокурснику и соседу, которого взял в товарищи по этому предприятию. Сам я прагматической стороне дела значения придавал мало; чем ближе подползал автобус по мощенной булыжником дороге, обсаженной дремотными липами, к Дворцу, тем лихорадочней и неуправляемей толкались в душе моей образы и предчувствия различной силы и остроты. Самое неземное и волшебное детское впечатление сильно зависит от своей реальной родины. Почти уже стершиеся в моем плоском мужском сознании слова «Дворец» и «Полина» разрослись, расцвелились как клумбы. Это только вначале я ехал посмотреть на старинную любовницу своего отца и хорошенько поужинать у нее, теперь же, приближаясь к месту моего назначения, местечку Дворец, я вдруг отчетливо вспомнил, как был вдохновенно прищурен, и одновременно лукав, и вместе с тем благородно возбужден мой отец-генерал, произнося имя Полины, и тень цветов, стоящих в вазе на окне, павшая на его лицо, темнела, вероятно проникаясь тридцатилетней тенью того сада, что давал пристанище страсти отца-старлея. Человек запоминает только сюжет и пе-

редает его как анекдот: тому, кто слушает, важно лишь узнать, соблазнил ли офицер смешливую польку, растегнул ли те пуговицы, свершилось ли. Ему все равно, что замшел был грушевый сад, что сверкали надтреснуто и страстно окна веранды, что бесшумно жужжали камыши, скопившись над поверхностью пруда, осторожно погромыхивала сквозь сон танковая тьма и не сгинело еще польское очарование запущенного костела, что неуловимо мелькнули две фигуры в сложной тени дома, дерева и облака, заслонившего луну, что тороплив и извилист был польско-русский диалог, состоящий из неразложимой смеси смешливого пришептывания и осторожного рычания.

Мы бы долго простояли на площади, если бы не Панфилич. «Пошли спросим», — предложил он. Но у кого? На площади не было ни души. Автобус сжег себя как корабль в волне заката. Магазин «Продукты» был на замке, магазин «Книги» в тени огромного каштана. Тихо. Но жизнь теплилась где-то совсем рядом, иначе с какой стати кричали бы эти петухи и тараторил этот мотоцикл. Мы двинулись по улочке. Фил впереди, я за ним. По обыкновению, он взял практическую сторону на себя. Наша дружба, собственно говоря, держалась на классическом различии характеров: «волна и камень», «стихи и проза». Он был проза. И этим гордился, этого не скрывал, и даже, наоборот, слегка выпячивал, огрублял свою речь, мотивы своих поступков и т. п. С одной стороны, это было, конечно, своего рода бравадой, работой на имидж, но вместе с тем его сознание, несомненно, соприкасалось с тем пластом жизни, с которым мое или не умело, или не хотело. Мы дополняем друг друга. Действуя на пару, мы находимся в равновесии с миром. В качестве доказательства этой мысли могу привести наши совместные размышления об этимологии названия Дворец. Я был убежден, что оно возникает от настоящего дворца польского или литовского вельможи, имевшего здесь времяпрепровождение, какого-нибудь Сапеги или Радзивилла. Панф неожиданно открыл мне другую возможность, он сказал, что название происходит от маленького дворика, местожительства какого-нибудь рядового или ничтожного владельца.

Итак, мы шли по улице, и первый же встречный кивнул нам на наш вопрос, проживает ли здесь учительница Полина Казимировна, и даже указал нам, как прой-

ти к школе, во дворе которой и стоит ее жилище. И вот мы возле школы. Я решил опустить описание этого местечка, ибо целый месяц разъезжал со своей радиостанцией и насмотрелся на них. Здесь ничего, кроме всегдашних кленов и лип, булыжных мостовых и вишневых садов, ничего особенного не было. Школа предстала перед нами как представитель старины. Примерно такой седой, в которой мог бы быть воздвигнут и измышлявшийся мною дворец. Перед школой имелась большая асфальтированная площадка, почти посредине нее (но не точно посредине, что раздражало) стояла железная подстанция и неприветливо гудела. Чтобы проверить, совпадает ли состав воспоминания с тем, что имеется на самом деле, мы зашли школе в тыл. Причем я разволновался еще больше, а Панфило стал зевать. Надо ли говорить, как я был рад, обнаружив за школой старинный, почти полностью грушевый сад, и сложно построенный дом с застекленными кое-как верандочками, и выглядывающий из-за него угол пруда. Столь полное соответствие топографии легенды набору достопримечательностей во дворе Дворецкой средней школы придало мне уверенности, и я победоносно поглядел на Панфилыча, улыбнувшегося мне в ответ. Вид у него был малоинтересованный, он, разумеется, не подозревал о причинах моего легкого веселья. У него от природы такой, слегка самодовольный, пренебрежительный вид. В совокупности с другими особенностями внешности это рождает немного комический эффект. А особенности такие: сверх нормального наклон головы, взъерошенный затылок, отчего кажется, что он только что получил легкий подзатыльник чьей-то лукавой рукой. Глаза у него немного прищурены. Некоторые считают прищур следствием скрываемого ума, другие следствием нескрываемого цинизма. Я не верю ни тем, ни другим. Панфилич спрашивал всем своим видом — что дальше? Всю грубую работу по нахождению дома сделал он, войти в него и заговорить должен был я.

У нас всегда так, с первого курса университета. Если бы это не выглядело самоуверенным, и грубая сила сравнения не заслоняла бы смысла, и мы не жили семьдесят лет при Советской власти, я бы сказал, что Панфилич при мне играл роль «человека», денщика, что ли. Я ничуть не хочу его унижить, просто констатирую принцип, по которому происходит разделение обязанно-

стей в нашем союзе. Разумеется, принцип зыбок, проявляется не всегда, и, если назвать все своими именами, Панф обидится и уйдет. И правильно сделает. Человека унижать нельзя. Но человека не надо лишать удовольствия реализовывать естественную часть своей природы.

«Слушай, а нас не пошлют?» — спросил меня друг, когда я поднял руку к дверному звонку, рядом с которым была белая табличка, с надписью: «Полина Казимировна Разводовская». Я не знал, что ответить. Все было возможно, но отступить было поздно. Краем глаза я видел, как собралась и опала белая занавеска в окне. Хорошо, что эта мысль не явилась раньше, рефлексия меня бы сожрала. А теперь уже все, звонок нажат.

Дверь открыли не сразу. И не старушка. «Вам кого?» Передо мною стояла немного насупленная девушка в легком летнем халатике, поправляя замедленной рукой волосы. Нет, она была не насупленная, а заспанная. Где-то в глубине дома мерещилась только что покинутая ею кровать со сладко продавленной подушкой. «Полину Казимировну». — «Зачем? — спросила девушка по инерции, но тут же махнула рукой и зевнула. — Сейчас». На ее месте появилась высокая пожилая женщина. Действие лет было почти уничтожено тщательным распределением косметических усилий по поверхности облика. Она была статная, она была стройная, и она была веселая. В черном платье с белым кружевным воротничком — так сказывалось пансионное прошлое. «Слушаю вас, молодые люди». — «Вы Полина Казимировна Разводовская». — «Я Полина Казимировна Разводовская». — «Я собственно... в общем, я сын Сергея Георгиевича Образцова, если вам это что-нибудь говорит». Хозяйка с полным самообладанием выдержала паузу. Для меня неприятную. Но я не отводил глаз, я старался определить, чего прибавляется в выражении ее лица — строгости или веселости. Или она просто стала медленно соображать, а воспоминание о моем отце хранится в непосещаемом почти отделе памяти. «Ну что ж, заходите, молодые люди». Да, никакого оханья, никаких всплескиваний руками, — это полька. На неограниченное хлебосольство надежд, вероятно, ноль, Панфилич проследовал за ней с видом человека, вляпавшегося в историю. «Так она поняла, кто ты, или нет?» — шепнул он мне, пока мы осторожно преодолевали неосве-

щенный ступенчатый коридор. Я сделал вид, что не слышал.

Нас привели в довольно большую комнату, мне сразу очень понравившуюся. Какой-нибудь провинциальный естествоиспытатель, скромный философ и добряк должен был быть хозяином этого славного кабинета. Здесь был фикус, и здесь был глобус, висела канарейка в клетке, стоял кожаный диван, виднелось огромное количество книг, содержание которых хранилось под двойной охраной старых переплетов и старинных шкафов. Среди книг вольно располагались мраморные и деревянные бюстики. Простенки были увешаны малопонятными, но разнообразными масками. Везде торчали сухие листья и цветы, как будто перед нашим приходом посреди комнаты взорвали гербарий. Размышляя об этом помещении, легко было додумать небольшой телескопчик на чердаке. Мне нравился здешний дух провинциального просветительства. О запахах говорить не буду. Общее благоволение светлого затворничества преобладало над прочим. Нас усадили рядом на диван. Полина Казимировна некоторое время нас рассматривала, потом, улыбнувшись и извинившись, вышла. Ей принадлежало в этом доме несколько помещений. У окна, на столе распахнулся огромный атлас, сверкая забытой на нем лупой. Я вздохнул. Две вещи занимали меня сейчас. Первое — в каком, собственно, состоянии находятся наши взаимоотношения с хозяйкой, за кого она нас принимает? Второе — что это за заспанное солнышко отворило нам дверь? Описывая первое впечатление от встречи с молодой хозяйкой, я постыдился распространиться о том, что бросилось в глаза прежде всего, «о колене ея». Колено было в окалине загара, такой не подделаешь ни под каким крымским протуберанцем. О, это колено, расклинившее полы халата... Мне бы хотелось еще поприлечь к шепотку своей робкой пошлости, но события развиваются слишком стремительно, Полина Казимировна появляется с предметом, снимающим сомнения, связанные с пунктом первым. В руках у нее большой семейный альбом. Панфилич вздыхает облегченно. Хозяйка гордо садится меж нами, говорит, что сейчас мы будем пить чай, и открывает свой мнемозинин ларец. Мы довольно долго, демонстрируя самую основательную чинность, рассматривали фотографии тридцатых и более поздних годов. Все знают тогдашний стиль. Мы увидели

целый парад военных форм, польской, нашей... Отец Полины Казимировны, мой отец, друзья отца, целый выводок подруг хозяйки. Говорят, польки красивы. Странно, там были только польки... Коляски, ажурные столики на подстриженной траве. Усы и бороды. Позы, выражения лиц, одежда — необычны. Тогда фотографу позировали, сейчас или отбывают номер для пропуска, или неостроумно дурачатся. Зелень была лучше ухожена, собаки подражали серьезности людей... но очень скоро мне надоело. Продолжая следить взглядом за сухим точным пальцем, я отправился при помощи слуха исследовать другие помещения «дворца», рассчитывая расслышать, где находится та нежная кровать, с которой предстала пред нами славная соня. Панф, на мое счастье, очень активно участвовал в экскурсии по прошлому хозяйки. Он не был сыном любимого любовника былых времен, ему нужно было еще отработать свой чай. Я напрягал слух, но без поддержки зрения его явно не хватало. Я попытался освободить, хотя бы частично, зрение свое от однообразного труда, но Полина Казимировна внезапно положила альбом мне на хлопчатобумажные дрогнувшие колени и, встав, позвала: «Соня, а Соня, соловья баснями не кормят». — «Не кормят, мамочка», — согласилась появившаяся Соня, и ее трудно было укорять: в руках она несла чайник и сахарницу. Я внимательно посмотрел на нее. Теперь она была в джинсах и в сером блузончике. Волосы строго, почти жестко зачесаны, блестят. Лицо чудесное, преобладают глаза. Острый подбородок, подвижный ротик, очевидно всегда готова улыбнуться. Если и худенькая, то наверняка гибкая, вот какой показалась фигура. Движения — прямо с каких-то волшебных лекал. И во всем такая простота, скромность. Нельзя так вежливо и просто нарезать хлеб! Захлебнется в умилении мое сердце.

Чашки расположились с ненавязчивой симметрией вокруг чайника. Два варенья: малина и рябина — искрились в хрустальных вазочках. «Молодые люди, извините, что я так, запросто... чай от нас не уйдет, может быть, поужинаете?» Соня в сторонке поддерживала ласковой рукой полотенце, словно приучая его жить в воздухе, и слегка улыбалась материнской простоте. Панфилище сделал такое лицо, что стало понятно — готов жить здесь, работать и умереть. Соня хлопала в ладоши. Полина Казимировна возглавила шествие на кухню,

Провинциальный дом хорош тем, что, как бы ни был неожидан гость, от него никогда не станут отделяться сосисками из пустынного холодильника и чаем с сухариками. Всегда отыщутся грибки, быстро отварится картошка, из погреба привлекут несколько ломтей от заготовленного на зиму окорока. Словом, стол будет. Нам с Панфилычем велено было сидеть в комнате-кабинете. Мы немного порассматривали книги. Они были чудесны. Добротные, сочные собрания сочинений Майна Рида, Жюль Верна и Беляева. Это дали нам пятидесятые годы. Я сам был вскормлен на этих книгах. Много было томиков и томов более старинного вида, в мраморных обложках. Географические атласы теснились вперемежку с альбомами репродукций и фолиантами детской энциклопедии. Тут же были «Мифы Древней Греции». Кучи буквально какой-то разнокалиберной фантастики. Все это было лакомое чтение для детей и стариков, благодарных читателей.

Я подошел к столу, на котором лежал распахнутый атлас. Взгляд невольно устремился на то место, которое расплылось под лупой. Оказалось, что она положена на страницу неслучайной рукой. Место, найденное на карте, точно совпадало с тем местом, где происходит действие рассказа. Я дал себе слово обдумать это странное обстоятельство и отошел. Мой Панфик, оказывается, в это время смотрел в окно, он был по-своему прав. Там было красиво. Угол школьного здания делил красным утесом картину на две по-разному освещенные половины. Пламень заката так и рвался охватить все доступное взгляду. Только неким усилием переключалось зрение, и становились видные в теневой части кусты, скамья и собака под ней. Я решил разрешить загадку лупы, но не успел заняться ею, появилась Полина Казимировна. Мы разговорились. Выяснилось, что семейство Полины Казимировны занимает примерно половину школьного дома, вместе с нею проживает племянница с мужем. Сейчас они на юге, а к ней приехала дочь Сонечка. «Скучаем вместе третью неделю». Сонечка вошла в комнату с двумя тарелками в руках и, улыбаясь словам матери, поставила их на стол. Я любовался. «Сонечка учится в Г....о, в техникуме. В кооперативном». «Дивном, дивном», — отозвалось у меня в груди сладким эхом. Сонечка ушла на кухню. И я решил не таять слишком стремительно. Я решил собраться и об-

ратился к Полине Казимировне с вопросом: «А кто это рядом (тут я вспомнил, что о моем отце не было сказано ни слова с самого начала общения; даже показывая фотографии, хозяйка удерживалась от обычных комментариев) с папой на фотографиях?» Выяснилось, что это приятель отца. Полина Казимировна замялась и не спешила с объяснениями, что именно это за приятель. Чувствовалось, что здесь скрывается некая история. Надеюсь составить какой-нибудь необидный вопрос, я напрягся, и это усилие извлекло из памяти еще одну подробность отцовского рассказа. Был, был товарищ задушевный, нежно и как-то даже витиевато влюбленный в Полину. Интересно, что она сама скажет: «Этот юноша... пытался ухаживать за мной». Отец утверждал, что не просто пытался, ухаживал, печально, неумело, поэтически, но постоянно. Отец, видя это, пытался помочь другу, отправился вразумить красавицу. Но сам пал. Друг, как водится, не простил. Память, наверное, бездонна. Красавица упорствовала недолго. И ее можно понять. Этот «Володечка» ни в какое сравнение с отцом идти не мог — простоват, мелковат. А папашка — герой, орел. Я обожаю рассматривать его старые фотографии. Здорово, если я и вправду сохранил на своем филологическом поприсе немного его строевой выправки. «Пойду помогу Соне», — внезапно сказал Панфилич и, одернув сзади свою гимнастерку, приняв вполне уставной вид, пошел. Я что-то еще хотел спросить у Полины Казимировны, мне не хотелось так просто расставаться с нашей общей, неисчерпаемой историей. Но почувствовал, что мы сбросили слишком много покрывал с нее, и, хоть оставалось еще что изъяснять здесь, я счел это пока невозможным. Слишком обнажено, слишком пульсирует. Вот слезы на глазах хозяйки, она их, конечно, сумеет сдержать, но все равно ведь ее жаль.

Появляется мой друг Панфи. Вид у него неуверенный, выражение лица слегка ошарашенное. Говорит, что помогать ему категорически не разрешили. Этого и следовало ожидать. У Филыча есть неистребимое заблуждение относительно достоинств его внешности. И он всякий раз удивляется очередному своему фиаско. «Соня очень непосредственный человек», — как бы ни к селу ни к городу говорит Полина Казимировна, но всем все понятно. Я улыбаюсь. Панфилич — такова натура — и не думает унывать, даже, наоборот, обнаруживает желание

что-то затеять. Он подсаживается к хозяйке, принимает у меня из рук альбом и устраивает добавочный просмотр. При этом он начинает ахать и вздыхать: «Какие люди были! Какие люди!» За сто километров было видно, что он просто с непонятной целью подольщается, но Полина Казимировна, проявляя очевидное незнание людей, ему стала верить, деловито и одобрительно кивала. Надо было полагать, что и офицеры и дамы были «тогда» на высоте. Своими немудрящими приемами Панфилич очаровал старушку и не упустил в развитии беседы того момента, когда можно было задать вопрос о «наливочке». Полина Казимировна, игриво-укоризненно покачивая головой, объявила, что есть некий шкапчик, а в нем, соответственно, графинчик, но... «Поли-и-ина Казимировна!» — артистически взмолился мой дружок, опасно косясь на меня, понимая, что я могу и не стерпеть такого панибратства и нахрапистости. Я просто отвернулся. Честно говоря, очень горжусь своим умением быть пьяным без вина, когда мне это бывает нужно. В этот момент на пороге появилась Сонечка со сковородкой и спросила, не заждались ли мы. Я был потрясен ее ожидаемым, но все же внезапным появлением и не мог произнести ни слова, мне казалось, что мой рот полон шампанского. «Конечно, заждались», — глубоким вкрадчивым голосом кинообольстителя отвечивал Панфилио. Соня окинула его явно насмешливым взглядом.

Началось застолье. Сонечка в основном молчала, но лицо ее было оживлено, несколько раз мимика выдавала, что она была на грани смеха, когда я рассказывал изящные и забавные истории из университетского быта. Однажды она не удержалась и залилась смехом, когда Панфило со свойственной ему незамысловатостью (его известие очень мало корреспондировалось с контекстом разговора, исподволь направляемого мною) вдруг рассказал, что в английском воинском уставе есть указание женщинам-военнослужащим, подвергшимся насилию: если не можете отбиться, то расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие. Сонечку и Полину Казимировну, радостно смеявшихся этой пошловатой шутке, извиняет то, что дело происходило уже после второй рюмочки и острота вонзилась в расслабленное сознание. Я стремительно увел разговор на безопасную тропку.

Поели мы славно, и, когда стали убирать посуду, возникло в воздухе ожидание того, чем же заняться

далее, поскольку вечер только начался. Я перебирал в голове наши университетские интеллектуальные забавы, раздумывая, какую из них предложить нашей разношерстной компании. Пока я молчал, вмешался Панфилище и ляпнул: «А давайте в дурака!» Признаю, тут я виноват, надо было думать быстрее. Предложение моего остроумного друга было принято, и он радостно понес на кухню сковородку, что-то себе подмурлыкивая. Сонечка пошла вслед за ним со стопкой тарелок. Не было их минуты две, донесся взрыв смеха с кухни, и наконец Панфилич появился в кабинете с сосредоточенным выражением лица — видимо, обдумывал какую-то «дурацкую» комбинацию. Появилась Сонечка и села в углу. Полина Казимировна и Панфилич продолжали таскать посуду. Панфилич продолжал острить, ему было все равно кого веселить, и хозяйка и ее дочь одинаково воспринимали его юмор.

Я встал и подошел к окну и пробежался взглядом по вечернему двору. Я знал, что сидящая Сонечка смотрит на меня. «У вас здесь почти так же красиво, как в Подмоскovie», — сказал я. Соня не уловила, какого рода ответ предполагает такое начало разговора, отмалчиваться, вероятно, считала и невежливым, и слишком по-провинциальному и поэтому сказала тихо: «Я люблю наш сад». Она встала, но не ушла. Хотя повод при желании она могла бы отыскать у себя в руках — чайник, место которому на кухне. «Вы любите гулять в саду?» — «Да», — сказала Соня еще скромнее, чем раньше. Мне нравился и сам разговор, управляемый без усилий мною, и паузы между фразами, полные смысла. «Я тоже люблю сады и парки, особенно по ночам. Убежден, что ваш сад мне тоже понравится». Соня посмотрела на меня очень внимательно и, захватив чайник, ушла. Кажется, я успел ей сказать все, что нужно.

В кабинете появился закадычный мой друг с прелюбезной Полиной Казимировной под ручку. Они оживленно обсуждали вопрос о нашем ночлеге. Молодец, Панфилио! Уехать, конечно, невозможно. Итак, спать мы будем в комнате племянницы — там две кровати. А пока, черт с ним, в дурачка.

Панфилич шумно заявил, что другого партнера, кроме Полины Казимировны, себе не мыслит. Сонечка сделала мне реверанс руками, давая понять, что мы с нею партнеры, — символично. Я карты не любил. Ну, в край-

нем случае, преферанс с пивком в хорошей компании. Но раз я буду сидеть напротив моей душечки, попробую под прикрытием карточного трепа, пустить несколько взглядов, оснащенных флюидами, в ее сторону. Я надеялся, что Соня при своей сдержанности, молчаливости, внутренней статности будет, так же как и я, презирать результаты карточных партий, но она, против ожиданий, приняла живейшее участие в игре. Я никак не мог сосредоточиться на этих запутанных плебейских комбинациях, сообразив, что никакого таинственного общения под покровом общей суеты не будет. Я не мог собраться! Рассчитывая лениво, с мягкой небрежностью шлепать картами в ожидании развития других событий, я оказался втянут в азартное, временами унижительно для меня комменгируемое действо. Мне удалось выяснить одно немаловажное и немалонеприятное обстоятельство — меж матерью и дочкой существовал какой-то застарелый конфликт. Природу его определить я бы не взялся, наличие его меня огорчало. Мелкотравчатое столкновение за карточным столом служило им способом что-то доказать друг другу, кольнуть самолюбие соперницы. Что-то очень и очень едкое, хотя, может, и мелкое, разделяло двух женщин. Мне не хотелось плохо думать о Полине Казимировне, но ведь и о Сонечке я не мог думать иначе чем восторженно. Карты вообще гадость. Добрейшая хозяйка превратилась в язвительную, неприятную старушенцию, в пиковую даму, оказалась заядлой комбинаторшей, что-то мудрила, у нее получалось, она радовалась, вешала нам погоны и хихикала. Ласково посматривала на Панфилыча, умевшего соответствовать ее замыслам.

Мы с Соней проигрывали раз за разом. Соня играла просто, безошибочно, но ей не шла карта. Мне карта тоже не шла, и я еще вдобавок совершал оплошности. Не много, но все досадные. Против нас сидел совершенно адский союзик из ведьмы и беса. Надо сказать, что я старался, и проигрывали мы не только из-за моих ошибок. Но когда проигрывали из-за них, мне давалось понять, что все замечено. Соня не опустилась, конечно, до выражения претензий вслух, но так тяжело вздыхала, собирая карты для очередной раздачи, что мое сердце обливалось холодной кровью.

Панфилич с хозяйкой перебрасывались веселыми репликами. Полина Казимировна хвалила дружка мово.

Надо быть объективным, в элементарные игры он играл здорово. Он всегда имел успех там, где нужен был не ум, а хитрость, не интуиция, а чутье. В дурака он не проигрывал никогда, а вот в бридж никогда не выигрывал, лучше играл в шашки, чем в шахматы. Короче говоря, он был в своей стихии, а я не в своей. И это меня мучало. Мое не очень хорошее расположение духа усугублялось недоумением по поводу не предполагавшейся мною Сонечкиной азартности. Она полностью разрушила паутину душевной близости, наметившейся между нами. Я бы впал, вероятно, в настоящую хандру, если бы дело не пошло к финишу и карточный домик возникшей печали не пал. Страсти рассортировались. Полина Казимировна и подлый Панфилка поделили меж собой в равных дозах злорадство и самодовольство, ко мне слетелись бессмысленные угрызения совести. Досада Сонечки была двухцветна, и, присмотревшись, я мог себя поздравить: даже учитывая всю мою медвежью услужливость во время карт, со мной она осталась равна. Ей было трудно сдержаться (учитывая очень спортивный ее характер), но она покинула кабинет, не бросив в мою сторону никакого взгляда. Панфиличу, который обыграл ее раз сорок в дурака и имел сейчас наглость улыбаться, она послала взгляд очень нервный и немного презрительный.

«Ну что ж, вам ведь рано завтра вставать? — спросила Полина Казимировна. — Я пойду вам постелю».

За окном — тьма, поглотившая всякую цветовую свободу, из нее высвобождались две сиреневые ветви, лунно льнувшие к стеклу. Я рассматривал их, чтобы не встречаться взглядом со своим товарищем. «Душно», — сказал Панфилич, ослабляя ремень и ворот. Я напрягся — не дай бог ему тоже придет в голову навестить ночной сад. «По-моему, не очень». — «Что не очень?» — «Не душно». Панфилич несколько раз честно вдохнул и выдохнул, проверяя, что и как. «Нет, все же душновато». — «Тебе кажется. Пить надо меньше». — «Господи», — пренебрежительно сказал он и показал на маленькую бутылку из-под наливки. Я потянул в себя тяжелый, теплый воздух. «Свежо, определенно свежо. Почти прохладно». Панфилич пожал плечами, не поленился подойти к окну и попробовать тамошнего воздуха. «Сиренью пахнет, — сказал он. — Но душно очень». Меня охватила паника. Я решил идти ва-банк. «Ты очень плохо выгля-

дишь, Филя». Он озабоченно поджал губы и пощупал себя в районе живота. «Ты тоже неважно»,— ответил он мне. «Тебе бы полежать, Филя».— «Согласен. А тебе бы подышать свежим воздухом». Он кивнул в сторону сирени, закрывавшей вид сада. Этот хемингуэевский разговор был прерван появлением хозяйки. Она сказала, что все в порядке, постели, мол, уже крахмально похрустывают в ожидании нас. Пройти нужно вот по этой лестнице наверх и налево. Осторожнее, здесь все ударяются. Ой! Я же говорила, осторожнее. Там — удобство. Здесь — Сонечкина комнатка. Вы сразу будете спать? «Я пойду, может быть, пройду по саду»,— громко (специально) объявил я. «А я спать, спать»,— сломил свой бас почти до шепота Панфилич. Полина Казимировна удалилась, улыбнувшись и пожелав нам «покойной ночи». Ее комната была в другом конце дома. Предоставленное нам помещение оказалось крохотной мансардой со слегка скошенным потолком, двумя пышно приготовленными постелями и широким окном, открытым ночному воздуху. В нем трепетало несколько пар мотыльков. Мы опустились поверх одеял напротив друг друга. Мой Панфик демонстративно прикрыл глаза, но по лицу его остался бродить отсвет циничной усмешки. Не умеют, не умеют у нас проигрывать с честью! Что ему в этой Сонечке? Он ведь в принципе чужд всяческому романтическому взгляду на мир, для него Сонечка просто женщина, с которой... даже не хочется додумать до конца эту пошлость; а для меня она неожиданная фея здешних наследственно-романтических мест. Здесь любили моего отца, здесь все готово к тому, чтобы предоставить и мне нечто свежее, робкое, прекрасное...

Панфилич дрогнул и медленнее, чем знаменитая башня из Пизы, стал крениться плечом к подушке постели своей. Я протянул руку и выключил свет. И сразу все изменилось. Я больше уже не сидел в крохотной комнатке, я приобщился к свободному и бесшумному парению — такое впечатление давал взгляд в расположенное поблизости окно. Слева вздымалась широкая руина каштана, многопланово освещенная луной, из-под нее выскальзывала к пруду дорожка, на ней три-четыре кремниевые блески. Пруд был метафоричнее всего — купы камышей на его поверхности смотрелись как куски меха на зеркале. А за ним частично выступало

из темноты, частично таилось в ней сложное каменно-деревянное тело пожилой мельницы с неподвижным колесом. Прозрачный магический столп воздуха восходил над этой картиной, легкие ящерки воздуха пробегали внутри этой стройности, и тогда трепетал лист или мелькал блик.

Панф спал как пифон. Я встал и бесшумно соскользнул в сад. Картина изменилась. Величественности в ней поубавилось, но прибавилось таинственности. Я решил слиться с темнотой, расположиться в ней так, чтобы видеть полуосвещенное крыльцо, с которого, по моим расчетам, должна была вскоре спорхнуть моя понятливая и нетерпеливая Сонечка.

То ли я привык к темноте, то ли она привыкла ко мне, но вскоре я перестал ощущать себя посторонним темноте телом. Сад позволил рассмотреть себя и обнаружить большое количество таинственных мест при полном отсутствии опасных тайн. Я сделал медленный, огибающий здание вираж, чтобы поточнее определить местоположение интересующих меня окон. И определил. Наше окошко зияло, тьма в нем была гуще наружного мрака. Окно Сонечки было чуть в стороне и ниже нашего, и темнота в нем была другая, застекленная, немного поблескивающая. Оно было ниже, но не настолько, чтобы можно было заглянуть в него с улицы. Поблескивало оно равномерно и равнодушно, в нем не мелькало никаких теней, расшифровкой которых я мог бы занять себя.

Я вернулся к скамье, она была самым удобным местом для наблюдения, с нее отлично просматривались и окно и крыльцо. Довольно быстро я обратил внимание на то, что видимая мне картина чем-то меня удивляет и вызывает недоверие. Как будто помимо меня кто-то еще, невидимый и, стало быть, более хитрый, смотрел на все это. Или если не смотрел, то каким-то непонятным для меня образом присутствовал. Примерно таким же образом действует чужое, некстати высказанное мнение о предмете, о котором тебе нужно составить сугубо собственное впечатление. Я встал и решил обойти дом вокруг, внимательно при этом глядя по сторонам. Довольно быстро обнаружился источник моего дискомфорта — им являлось окно Полины Казимировны, прекрасно освещенное. Хозяйка не спала. Уж не знаю, что ею руководило, то ли соображения бдительного порядка — я

ведь сообщил ей о моей страсти гулять по ночным садам, то есть и под окнами молоденьких девиц, то ли какие-то другие соображения, мне абсолютно недоступные. С моего места на скамейке свет из ее окна был не столько виден, сколько ощущался, он был не назойлив, но, осторожно подсвечивая место действия, придавал ему, а стало быть и моим чувствам, слегка театральный оттенок. Глупейшее препятствие, то, что называется в драматургии перипетиями, может застопорить на время своим порядком идущий сюжет. Не стоило, не стоило на весь дом кричать, что я отправляюсь на свидание. Поэтому и Сонечка не спешит — боится мамочки, будет ждать, пока старая заснет.

Было часов двенадцать. Где-то в отдалении прокричала какая-то ночная птица. Может быть, даже не пух, определить я не смог. Я был слишком занят собой. Отчего напряглось все тело? Отчего так яростно излучают глаза. Ведь я должен ждать просто приятного провинциального приключения, а готовлюсь к самому важному событию в моей жизни. Я никогда ее прежде не видел, мы обменялись двумя выразительными фразами, и только, поезд завтра, и я уеду, не может же моя жизнь быть обречена студентке местного кооперативного техникума. Вот что лопочет мое ничтожество. Но что бы я сейчас ни шептал, слова пошлы пред скрытым наркозом этой ночи; воздух будто из немых гамм — готов зазвучать, еще и поэтому невозможны слова. Жизнь понятна мне нынче и, надеюсь, надолго. Главное, не ослабить нервов радостного ожидания, не замутить счастья... Отчего же она не идет?! Я не могу долее, я слишком готов. Весь на цыпочках, меня нельзя выдерживать, я не стану благоговеть сильнее и ждать искреннее!

Понимая, что это, с одной стороны, опасно (старуха не заснула), а с другой — не слишком рыцарственно, я встал и медленно направился к Сонечкиному окну. Изнутри я не мог быть увиден, но все ж приходилось принимать предосторожности. Может, она просто спит, моя Соня? Она могла заснуть случайно, могла заснуть от нетерпения. И вот я уже обнимаю каштан, шероховатую, но гибкую ветвь. По-одтягиваюсь... и вот я уже наверху. Дерево выросло очень удобно для лазутческой деятельности против населения этого дома. Ствол меня скрывал полностью. Я осторожно выступил частью лица

из-за его толщи и неторопливой рукой отвлек в сторону широкие листья. Внутри было темно, темно! Поза моя скоро стала неловка, пальцы вздумали дрожать, перехватить удобнее отклоненные листья я не мог, нельзя было рисковать, рассчитывая, что она сочтет этот шест птичьей возней. Не знаю почему, но мне все больше и больше хотелось рассмотреть, что происходит (или не происходит) в комнате. Все больше и больше я выдвигался из-за ствола, все ближе и ближе было оконное стекло, я уже касался его своим дыханием. Была одна такая длинная чудовищная секунда — темнота, чужой городок, незнакомый сад, я вишу в неестественной позе у женского окна... и в этот момент я понял, что в комнате Сонечки есть люди, и понял, что между ними происходит: мой близкий друг и моя возлюбленная страстно обнимались, сидя на кровати. Объятия их были беспамятны, поцелуи взаимны, и я рухнул вниз. Тяжело, как какая-нибудь неловкая русалка.

Встать мне было нелегко, я подвернул ногу, пришлось отползать, по-змеиному шипя, под прикрытием кустов. У скамейки я отдышался, спать мне, разумеется, не хотелось. Садик этот дурацкий опостылел мне до крайности. Но что-то нужно было делать — и я пошел гулять. Обогнул, ковыляя и хныкая от боли, угол дома. «Ага, не спит, бдит», — злорадно подумал я, глядя на сидящую у окна фигурку. Она сидела за занавеской, и поэтому я чувствовал себя в безопасности. Постояв немного, я двинулся мимо, но почти сразу шарахнул и так уже плохой ногой по пустому ведру. Пришлось присесть и постонать. Полина Казимировна выглянула и сказала: «А, это вы...» Выяснилось, что у нее бессонница. У окна стоял столик, на нем чаек, я подбрел и принял чашку, облокотился рукой о подоконник. На предложение войти я отказался. «Как вам у нас?» — «Мне очень нравится, Полина Казимировна, очень». Она помолчала, оглядела чай. «Я хотела вам сказать, что вы очень похожи на своего отца. Я чуть сознание не потеряла, увидав вас». — «Да, это все говорят, я копия его». — «Вы знаете, только одно отличие — он был равнодушен к природе. Совершенно». Она еще кое-что о нем порассказывала. Странно для меня он выглядел в ее сознании. Балагур, немножко даже хам, но артистический, человек очень решительный и жесткий, напрочь лишенный чувства поэзии. По тому, как она о нем говорила, я понял:

отец не врал, утверждая, что был любим во Дворце безумно.

Когда я вернулся к себе в комнату, Панфилыч уже спал. Я был этому рад. Ни на завтра, ни потом я никогда не пытался у него выяснить никаких обстоятельств этой не совсем обычной ночи.

СТУДЕНТ

Провинциал, поступивший в московский вуз, все блаженные дни, проводимые дома перед отправлением на престижную учебу, в спектре своего радостного предвкушения выделяет для себя одну наиболее таинственно-туманную краску — «московские женщины».

Не то чтобы местные плохи. Не в этом дело. Более того, невозможно по зрелом размышлении назвать что-то такое, что было бы неотъемлемой принадлежностью женщин, живущих в Москве. Но чем меньше было оснований для такого заведомого очарования, тем более оно овладевало душой Иннокентия Кавешникова. Любовная история, имеющая произойти там, в конце маршрута на территории, огороженной зданиями Белорусского, Казанского, Ярославского, Ленинградского, Курского, Рижского, Киевского вокзалов, несла на себе печать неизбежно совершенства.

Иннокентий почти непрерывно пребывал в отвлеченной дали близкого будущего даже в те мгновения, когда заканчивалось прощание с родственниками, и, когда он стоял на подножке железнодорожного вагона, ему приходилось делать над собой усилие, чтобы сосредоточиться и никого из близких не испугать отсутствующим видом.

Оставались секунды до первого тепловозного потягивания.

Преувеличенно реально стало все вокруг. Растрескавшийся асфальт перрона, травинки и окурки в трещинах, слабое обтягивающее движение теплого воздуха в вагон, кисловатый запах угля, две черные крошки неуловимого железнодорожного чада на влажной переносице

отца... Мама, боясь черного проема между вагоном и платформой, стояла, улыбаясь, у отца за спиной. Но так жалобно улыбаясь, что было понятно: как только поезд скроется вдали, из глаз ее хлынут слезы.

Иннокентий обрадовался, когда под ногами проскользнула ровная волна механического порыва. Лопнула пуговина.

Мама и папа, я поехал!

Уже через несколько секунд он сам находился в неожиданной грусти, словно родители подкинули ее незаметно на подножку. Он смотрел из все еще приотворенной двери и давал волю пристальности своего взгляда. Мир детства как бы откатывался налево, очищая место для чего-то нового.

Детский сад с пятнышками панамок за ярко-синей оградой в ярко-зеленой траве.

Глухая стена керосинового склада с пятном черной краски в углу.

Пыльная улочка с исчезающими велосипедистами.

Школьный двор — волейбольная сетка.

Вишневый сад.

Голубятня.

И сады, сады, сады, сады, сады, сады...

Иннокентий Кавешников выехал на общенародную равнину.

Московские студенты делятся на две по-разному неравные в каждом конкретном институте группы. На москвичей и немосквичей. Москвичи как бы породистей, немосквичи как бы живее. Москвичи образованней, немосквичи больше любят науку. Москвичи лучше одеты, немосквичи лучше сложены.

Иннокентий смотрел вокруг пристально и напряженно, стараясь стереоскопической силой глаз уравновесить всю бездну тонкостей нового мира. Во внутренний карман пиджака рядом с привычным комсомольским билетом он положил разгаданный кроссворд местного метро. Преферанс и близость иностранного гражданства, «футбол — хоккей» и Михалков-Кончаловский, веселое братство и неконкретное честолубие — вот некоторые компоненты его жизни. Он был, в общем-то, диковатым малым, но от природы обладал умением это скрывать. Школьная программа не подготовила его к ударам судь-

бы. Цивилизация раздражала его количеством полезных, но непростых вещей, которые она успела внедрить в обиход, пока он лежал с книжкой на диване у себя в райцентре. Первый курс — это время влюбленностей, у него весь первый семестр ничего не состоялось. Когда он уставал от борьбы с частностями мира и бесплодного ожидания и полного счастья, он выходил к монументальным перилам на Ленинских горах и долго-долго созерцал туманную для него перспективу мировой столицы.

На каникулы он поехал с неохотой. Он изрядно изменился за эти месяцы, проведенные в чужом городе, но он не похудел, и родственники ничего особенного не заметили. Кроме того, очень велика была их радость.

Когда-то и в Москве умели принять-накормить, ныне секрет настоящего гостеприимства сохраняется только в провинции. Мать посмотрела на сына, быстро всплакнула и тут же стала собирать на стол, причитая при этом что-то бессвязно-материнское. Отец на радостях пошел курить на лестницу, словно в доме появился маленький ребенок. Младший брат, воспользовавшись отсутствием Иннокентия, превратился из мальчика в подростка и решил при встрече взять серьезный тон. Взял и спросил, как часто Иннокентий ходит на футбол. Футбол был собственной прежней страстью старшего брата. Младший всегда донашивал его вещи.

— Ты знаешь, так и не собрался,— рассеянно ответил Иннокентий. Он думал, что братишка кинется на шею при встрече.

Тут появился отец и сказал, что пошла горячая вода и можно идти мыться.

Час спустя в кристально чистом белье и еще не остывшей после утюга рубашке, с влажными волосами Иннокентий сел к столу. Вся семья уже ждала в светлой большой комнате, с праздничным видом фланируя вокруг богатого стола. Капустка с клюквой, грибки, горка аккуратно дымящихся картошек, сковородка с жареной свининой, еще кой-какие блюда и блюдечки и, в общем довольно неожиданный, графин в самой середине.

За окнами лежал сверкающими волнами снег на со-

седних крышах, по самой толстой сосульке извилисто скользила сияющая капля, солнце овладевало помещением.

Вечером Иннокентий пошел в кино.

Городок был невелик. Все всех знали. Дом культуры стоял немного на отшибе. Большой двухэтажный дом с колоннами. Внутри гулко и прохладно. С улыбкой приятного узнавания на губах Иннокентий вошел в устаревшее для его судьбы помещение. Сеанс вот-вот должен был начаться. Из плохо освещенных углов, торопливо забычковывая сигареты и сплевывая, выходили представители местной молодежи. Многие с Иннокентием здоровались, даже спрашивали, где он учится. И когда он пытался им объяснить, как-нибудь побыстрее, что такое в структурной лингвистике значит... они понимающе кивали:

— А, математика, молодец.

В зале уже потрескивал экран, и Иннокентий, протискиваясь в узко открытую дверь, протягивая билет сердитой тени, зашипевшей на него слева, успел заметить... впрочем, ему помешал взрыв хохота, и он не успел точно определить, точно ли он видел эти глаза, так выразительно смотревшие на него из темноты, или это была все же какая-нибудь младшая сестра галлюцинации. Да и вообще — галлюцинация слишком городское слово для здешнего образа жизни. Просто трещало кино, толкали в спину опоздавшие, хохотал зал, и, можно добавить от себя, ему очень хотелось счастья — вот и весь набор для этой волнительной путаницы.

Тем не менее в темноте он все время вертел головой. Кинозал во время сеанса похож на лунную ночь. Все было устремлено на экран, фильм был как раз не на вспомогательную для настроения Иннокентия тему. За несколько минут до окончания он вышел из зала и занял позицию на ступеньках, с безразличным видом прислонившись к колонне. Каждый, кто будет выходить, попадает ему на глаза.

Шел снег. В окружающем, особенно в свете охваченного необъяснимой качкой фонаря, не осталось ничего от реальности. Иннокентий всего за несколько минут томительного ожидания так проникся этим ощущением, что

решил: история с померещившимся взглядом ярко-черных глаз — это и есть весь состав приключения. Что ничего больше не будет.

Он ошибся. Глаза эти, и с тем же самым взглядом, появились в первой же группе выходящих из зала. Иннокентий даже узнал владелицу взгляда. Она была из соседней школы. Она считалась красавицей. Помнится, про нее ходили какие-то интригующие слухи. Она тоже куда-то поступила. Ее, кажется, звали Наташа. Именно Наташа...

Она прошла мимо, и Иннокентий готов был дать руку на отсечение, что она «посмотрела на него», и посмотрела с интересом.

В каждом небольшом городке, а наверно и в каждой деревне, есть место, где принято прогуливаться по вечерам. Здесь оно называлось «линия» и находилось неподалеку от клуба. Полукругом росли высокие чернствольные клены, светила лампочка над дверью магазина «Книги — Продукты», и изредка выкатывался междугородный «Икарус», охотясь светом своих фар на местную мошкарку или снегопад.

Против прежних своих правил Иннокентий не пошел сразу домой. После фильма на «линии» осталось довольно много народу. Кто-то пустил слух, что, может быть, разрешат танцы. Несколько десятков человек бродили или стояли кучками, не отходя слишком далеко от клуба. Курили, пуская мгновенные струйки дыма. Бродили от одной кучки к другой. «Она» была, несомненно, здесь. Иннокентий старался стоять независимо. Нет, он старался принадлежать к какой-нибудь группке, так выходило конспиративнее. Разговор его не интересовал. Его волновало множественное движение за спиной. Наконец выпала такая ситуация, когда можно было повернуться, не выдавая себя. Он увидел ее сразу. Она не смотрела в его сторону. Она даже не стояла в напряженной позе с невинной подругой, боясь еще раз встретиться с ним взглядом. Она просто-напросто повисла на руке у какого-то парня... и что-то шептала ему на ухо... Иннокентий отвернулся. Ему стало неинтересно. Неинтересно и... больно. Сразу домой он не пошел только потому, что надо было проходить мимо этой парочки. Он не успел в своем воображении развить эту неприятную тему, кто-то похлопал его по плечу. «Оборачиваюсь — Грушницкий». Это был тот самый парень.

— Ты знаешь,— он был смущен,— Наташа хочет с тобой поговорить. О чем-то... Вон она стоит...

Она уже шла. Она подходила, но замедляла шаг, чтобы не оказаться вплотную. Иннокентий изобразил на лице отсутствующее выражение — столичная штучка — и сделал великодушный мужской шаг ей навстречу. Он был не то чтобы рад, чувство его было непосредственной, чем радость.

— Здравствуй, я не знала, удобно ли мне подойти самой, мы так мало общались (совсем не общались), поэтому я послала Сашу.

На площадь обрушился свет междугородного автобуса, и она на мгновение во всех подробностях превратилась в собственный негатив.

С одной стороны, Иннокентий никогда прежде не был представлен Наташе, но дело в том, что жили они в слишком маленьком населенном пункте, поэтому это знакомство походило на установление дипломатических отношений между государствами, прекрасно осведомленными о существовании друг друга.

Они уже удалялись от площади. Наташа ему что-то рассказывала, он почти все время молчал, он чувствовал, что им интересуются, и поэтому мог беречь силы.

Они всего лишь минуту назад вышли с площади и уже оказались в полной темноте. По обеим сторонам дороги бесшумно стояли дома. В редком из них брезжила за обледенелыми стеклами укромная лампочка. Тишина стояла такая... и понятно, снег, все засыпав, вычистил сады от жуков, птиц и листьев — никакого свиристения: осталась только одна во всем мире удивительно тонкая, вонзенная в небосвод нота. Иннокентий посмотрел вверх, но ничего не произошло, он еще был не готов.

Наташа продолжала о чем-то говорить. Он слушал, отмечая в начале путешествия ее наблюдательность, ум, беря на заметку какие-то показавшиеся важными детали, и разговор его, в общем-то, удовлетворял и даже убаюкивал, пока вдруг он не ощутил в нем неожиданный и захватывающий крен. Прежде всего, обнаружилось, что он ее провожает. «Снял» после кино и провожает.

Было удивительно тихо вокруг, даже тише, чем в начале предыдущего абзаца. То есть с тишиной, самой по себе, ничего не происходило, просто они уже слишком

глубоко зашли в нее, и, кажется, в ней начинало что-то врать.

Иннокентий позволял себе быть беззаботным пока: кроме того, ему интересно было смотреть по сторонам. Он знал приметы каждого дерева на этой улице. Тем не менее его последовательно потрясали: мельница — два безумных, неодинаковых окна в изъязвленной стене; торфозавод — колючая проволока по звездному небу, клуб неожиданного кислого пара на грязном дворе; музыкальная школа — скрипичный беспорядок древесных теней на девственном заснеженном крыльце. А дорога, выгибаясь, незаметно глазу, выходила уже в поля. И по бокам ее стояли уже совсем хаты, стояли редко, каждая храня свой объем темного тепла.

— Пришли.

Калитка, неосторожно отпахнувшись до весны, завязла в снегу. Тихо. Тут Наташа перестала говорить. Иннокентий заволновался, ощущение ее подвластности пропало. Калитка распахнута, то есть никаких препятствий, она сейчас уйдет. Ей надоест смотреть вот так в упор, развернется и уйдет.

Иннокентий совершенно не хотел ее целовать, но не было никакого другого способа ее задержать. Только поцеловав ее — губы ледяно шелкнули о губы, — он понял, как холодно вокруг.

— Сейчас, — сказала она, — подожди немного. У нас все спят и веранду протопили. — Она убежала, хрустя сапожками, как будто шла по досточке. На веранде, за стекленной ромбиками, вспыхнул свет, дернулась занавеска. Иннокентий смотрел очень внимательно. Наташа совершала там манипуляции, и сквозь заледеневшее стекло и сквозь романтическое мировоззрение угадывалось совершенно точно, к чему они должны были привести.

Иннокентий оторвал взгляд от лихорадочно пылавшего фонаря веранды, и мир вокруг стал еще более безмолвен. И так бесшумно покаты и чисты были разбегающиеся снежные поля, и так застыли в непроглядном стремлении вверх кусты на той стороне дороги, и такая мысль и грусть там наверху, и так неожиданно это все совпало с тоской по близкому дому, с жалостью к матери и отцу, и с непрерывным желанием любить, быть любимым и бессмертным, — что он вдруг заплакал, схватившись руками за калитку.

ПОЛЮБИ НАШ БАСКЕТБОЛ!

В С...й райсельхозтехнике закончился рабочий день. На огромный, кое-как огороженный двор перед одноэтажным зданием конторы по вечерующим проселкам съезжались машины электромонтажников и слесарей. Мужики не торопясь выбирались из кабин и фургонов, не торопясь запирали машины, лениво переговариваясь, расходились. Не все они жили в городе. Те, кто был из близлежащего большого села Залесья, постепенно собирались на остановке и ждали автобуса. Сколько его нужно было ждать, никто не знал, автобус сторонился всякого расписания — поэтому мужики спокойно располагались на скамейке и рядом, на пожухлой траве, закуривали. Разговаривать было лень, все охотно слушали Собакина, человека неавторитетного, хотя, до известной степени, бывалого. В другое бы время он найти себе слушателей не мог. Самый доверчивый колхозник, послушав его минуты две, морщился, оскорбительно хохотал и, отмахиваясь, уходил. Сочинял Собакин, скорей всего, прямо на ходу, никакого законченного сюжета не строил, ибо никогда не был уверен, что ему дадут договорить до конца. Имели его рассказы еще одну особенность — все без исключения почти были они с техническим уклоном. Сейчас он описывал феноменальные достоинства подводной лодки, находясь на борту которой он якобы участвовал в тушении гигантского пожара, имевшего место в Панамском канале. Надо заметить, что служил он на Припяти в речной флотилии на плохоньком буксире. Все об этом прекрасно знали, но никто из слушавших никогда не участвовал в тушении панамских пожаров и не мог уличить Собакина в явном вранье, сославшись на какую-нибудь техническую подробность. Никто не решался вступить в спор и по поводу тонкостей устройства подводной лодки, ибо кто их знает современные подводные лодки?

Вдохновленный податливым доверием слушателей, Собакин перешел от подводных кораблей к надводным, потом к авианосцам. От них же — прямой путь к самолетам. Говоря о самолетах, он начинал делать взлетательные движения, устремляя взор к небесам. И там в небесах... сквозь слегка потемневшую голубую гладь, пролег тончайший белый след, оставленный сверхзвуко-

вым истребителем. Собакин на мгновение застыл во внимательнейшем прищуре и воскликнул:

— Во, из капиталки пошел!

В ответ ему раздался взрыв скопившегося за последние полчаса хохота.

Тут же появился автобус. Все ввалились в него привычно шумной толпой, препираясь с кондукторшей.

— Ребята, смотрите,— вскричал Собакин радостно.

Все посмотрели, куда он указывал. На передней площадке стоял высокий красивый парень. Он был в ослепительном белом, тропического покроя костюме, на плече у него висела громадная синяя сумка из таких, к которым у нас не привыкли.

— Юрец! — крикнул кто-то.

Парень обернулся и заулыбался.

Это был Юра Кравец, член сборной команды страны по баскетболу.

Никто не сможет объяснить, почему в конце шестидесятых годов молодежь Залесья пристрастилась к этой игре. Может быть, потому, что все без исключения активные участники этого движения были лишены слуха и в силу этого остались равнодушны к влиянию музыки Леннона и Маккартни, зато, обладая от природы невероятно пластичными телами, глазомером и прыгучестью, усмотрели нечто для себя увлекательное в мастерстве Чемберлена и Алсиндора. Трудно сказать, полноценно ли это объяснение, но другого нет, и остается фактом, что мужики, едущие сейчас в автобусе с работы в райсельхозтехнике, в те времена, когда им было лет по тринадцать — шестнадцать, целые дни проводили на баскетбольной площадке в углу уютного школьного стадиона. Школьные стадионы в деревнях примерно одинаковы. Они включают в себя один и тот же набор необходимых площадок и снарядов.

Прежде всего — футбольное поле, неравномерно поросшее дикой травой и равномерно усеянное коровьими лепехами. Перед обоими воротами вытоптаны проплешины. Одни ворота сварены из толстых труб, другие кое-как сбиты из сучковатых сосновых бревен. Почти точно в центральном круге устало пасется коза. Самый обжитой вид, как правило, у волейбольной площадки. Виднеется даже драненькая сетка — правда, подвешена она на странной высоте, где-то посреди меж волейболом и лаун-теннисом. Ненормальной всего выглядит место,

где, по замыслу местного спортивного начальника, надлежит играть в игру баскетбол. Думая, видимо, что раз эта игра происходит из страны, славящейся своим автомобильным транспортом, он считал, что нельзя ей больше угодить, чем заасфальтировать площадку для нее. То, что вывешивается по сторонам этого асфальта, под видом щитов и колец, описанию может поддаться только самому старательному и фантастическому, для которого нет сейчас ни времени, ни охоты.

Стадион Залесья кое-чем отличался от вышенарисованной картины. А именно человеческим отношением к баскетбольной площадке. Она была ухожена и размечена. Столбы со щитами вкопаны ровно, а кольца, как и положено, параллельны земле и располагались на высоте десяти футов. И на этих кольцах, что спокойно можно считать делом самой невероятной небывалости, виднелись сеточки. Один край площадки утопал в густой каштановой тени, и в любую летнюю погоду, даже в самую невозможную жару, там можно было состязаться без каких-либо скидок на природные условия.

У небольшого юношеского общества, сгруппировавшегося вокруг площадки, было несколько отличных мячей. Надобно сказать здесь об одной особенности сельских магазинов, и в частности залесского. Многие наблюдатели, особенно сторонние, обращали внимание на то, что в сельмаге можно купить товары, являющиеся предметом жарчайшего мечтания столичных жителей. Эти товары преспокойно пылятся на безвестных здешних полках, в то время когда столичный или курортный житель взвинчивает на них цену и уже почти готов смириться с присутствием элементов спекуляции в нашей жизни. Причем интересно, что дефицитные товары разбрасываются с вершин торгового руководства по плану, не поддающемуся никакому изъяснению, но не чуждому какой-то закономерности. Если в Залесье завезли болгарские баскетбольные мячи, то значит, что в Шиловичах надо искать ружья для подводной охоты, в то время как полки Тушевичского сельмага забиты «Современным английским детективом».

Но к делу. Итак, были куплены мячи. Они отскакивали от битума с тугим, глуховатым, необыкновенно благородным звуком — не то что прежние, резиновые, уродливо вспучивающиеся. Игра начиналась часов с одиннадцати утра. Едва-едва успев позавтракать и по-

мочь дома по хозяйству, игроки собирались в щедрой тени трех огромных каштанов. Не надо думать, что они тут же торопливо делились на две команды и начинали без всякого чувства, без толку и расстановки носиться взад и вперед по площадке. Довольно быстро выработалось нечто вроде ритуала. Начинался он тем, что все рассаживались на камни и бревна, щедро имевшиеся вокруг. Затевались беседы. Разумеется, почти исключительно баскетбольного характера, но без однообразия и прямолинейности, с привлечением эпизодов из живой жизни, с характерным местным юмором. За этим разговором и происходила шнуровка кед и все прочее переодевание. Спешить было некуда, впереди был весь день. Кто-то в конце концов выходил на площадку и начинал, почти нехотя, бросать по кольцу или тренировать что-нибудь из области неэлементарного дриблинга. К нему присоединялись, начинались какие-то упражнения для двоих, троих; постепенно дело шло. Те, кто ввиду домашних, хозяйственных или каких-нибудь прочих забот не могли посвятить этот день весь без остатка любимому делу, всегда находили полчаса, чтобы забежать на площадку, чтобы поддержать мяч в руках, бросить раз другой. Временами активность спадала, игроки усаживались отдыхать, потом опять выходили, но всегда кто-нибудь оставался под кольцом, все время теплился огонек баскетбольного действия.

Здесь чтили игру не только в полном ее варианте с десятью игроками, сорока минутами и судьей, но любители разять на элементы и смаковать их по отдельности. Играли в двадцать одно, в минус пять, играли один на один, два на два, играли на одно кольцо и на оба. Были игры, главным содержанием которых был дриблинг или дальний бросок. Не все, естественно, играли одинаково. Были узкие специалисты. Карпухин, например, вдруг заявлял, что три раза подряд забросит сзади через щит, если кто хочет, может с ним посоревноваться. Обычно рядом оказывался Финько и говорил, что легко перекроет этот рекорд. Заключалось пари, они состязались. Маленький Костя Герасюк, типичный разыгрывающий, лучше всех бросал штрафные — до пятидесяти раз без промаха. Он любил кого-нибудь заманить для такого поединка. Многие неплохо бросали и горели желанием доказать, что они ничуть в этом элементе не хуже Герасюка. Малиновский, обладавший от природы

неимоверной прыгучестью, натренировался вскоре до того, что мог забить мяч сверху, — это был успех телевизионного уровня, многие ему завидовали и стали тренировать прыгучесть, ибо всем хотелось покрасоваться в качестве забивающего мяч таким невероятным образом.

Не все в возникшем коллективе были одного возраста. Выделилась «элита» — человек шесть-семь, они признавались мастерами, хозяйничали в каштановой тени, устанавливали нечто вроде правил поведения в пределах баскетбольного клуба. Больше всего стоило слово Бори Селиванова. Он не играл лучше всех, но обладал авторитетом, основанным на огромной любви к игре, значительной физической силе и несомненном здравом смысле. Для такого дела, как образовавшийся «клуб», необходим был хотя бы минимальный порядок и известные правила. Боря Селиванов взялся следить за этим. В «элиту» входили люди разные. Например, Витя Мезя был баскетбольно бездарен, но признавался авторитетным человеком благодаря своим огромным теоретическим познаниям. Количество цифр, имен и прочих сведений, касающихся баскетбола, было в его голове бесконечно. Конечно, и остальные знали, например, что Радивое Корач забил как-то в одной игре 99 очков, что Уилт Чемберлен плохо пробивал штрафные и что на розыгрыш мяча у профессионалов отводится 24 секунды, но Витя Мезя с легкостью одолевал в теоретическом споре не только отдельного соперника, но и, пожалуй, случись, одолел бы всех, вместе взятых.

Те, кто был помоложе, похуже играл или же проявлял чуть меньшую, чем было принято, преданность игре, составляли резерв. Они тоже все время вились тут же, заполняли паузы во время отдыха асов, нетерпеливо ждали, когда за отсутствием кого-нибудь из лидеров им достанется место, так сказать, в основном составе. Они тоже были нужны, как нужны в любом, и необязательно спортивном, деле аутсайдеры. Одним словом, составилось нечто схожее с клубом. Для большинства залесских ребят время, проводимое на площадке или поблизости от нее, было самым приятным и полноценным. Разумеется, фанатизм не принял каких-либо совсем уж чрезмерных форм. Часть жизни их (залесских ребят) развивалась обычным порядком. Раз в неделю все, даже самые заядлые, баскетболисты шли на танцы, кое-кто любил даже выпить. А Витя Мезя и Собакин умудря-

лись попутно с самым отчаянным баскетболом еще и очень много читать. Боря Селиванов с отцом и старшим братом иногда целые ночи проводил на речке, на рыбалке, и частенько утром на площадке глаза его были красноваты.

Настоящие игры, полноценные, с протоколом и судьей, случались в жизни клуба настолько редко, что каждая из них приобретала характер исторический и помнилась долго. Залесский учитель физкультуры, человек невежественнейший во всем, кроме закаливания, чуждый поэзии игровых видов спорта, несколько раз все же договаривался со своими коллегами из соседних школ о товарищеских встречах. Несмотря на то что соперник всякий раз оказывался неизмеримо хуже подготовлен, победа, добытая с чудовищным преимуществом в счете, доставляла огромное удовлетворение, порождала волну обсуждений и разговоров о ней. Пять или шесть близлежащих десятилеток были повержены. Учитель физкультуры охотно и сразу присвоил себе лавры тренера, решив, что такую результативность и силу игра его учеников приобрела в результате последовательно применяемых мер закаливания. Возомнив о себе как о баскетбольном специалисте, он тут же стал навязывать команде свою, вполне нелепую, тактику игры. Игроки возмутились — слишком уж то, что им предлагалось, напоминало купание в проруби и чисто баскетбольного результата принести не могло. Селиванов, Мезя, Финько, Малиновский, Карпухин и даже Собакин взбунтовались. Учитель (звали этого вздорного, но закаленного человека Александром Ивановичем) сделал вид, что отступает. Зло же, как водится, затаил. Команда была лишена теперь «международных» связей. Несколько раз ребята сами под видом сборной команды деревни Залесье пытались проникнуть на различные районные соревнования, но у нас такая самостоятельность не приветствуется, их не допустили раз, не допустили другой... Потом кто-то в поисках игровой практики нашел-таки лазейку — кажется, Малиновский: он договорился поиграть за местную райсельхозтехнику. Селиванов и Финько, пользуясь какими-то своими связями, выступали за команду потребкооперации. Собакин играл за совхоз «Сосновка» вместе с работавшим там братом.

В двух словах необходимо разъяснить, что был такое в ту пору районный спорт. Это было веселое мероприя-

тие, состоявшее из двух программ: обязательной и произвольной. Обязательная — это толкнуть ядро, пробежать что-нибудь, попинать мяч. Произвольная намного любопытней. Закупаются все нужные продукты и на автобусе, специально выделенном для команды, совершается отъезд в чашу или к берегу речки. Горит костер, и спортсмены со спортсменками выпивают и закусывают. Трудно при таких формах работы ждать быстрых и устойчивых темпов роста результатов. То есть когда возникла наконец ситуация, в которой могло проявиться то незаурядное, неплохо отточенное, прямо-таки звеневшее в кончиках пальцев баскетбольное мастерство залесских фанатиков, их не оказалось под рукой. Александру Ивановичу позвонили и сказали, что он самым срочным образом должен привезти сборную своей школы на областные соревнования, ибо все в один голос говорят, что его команда — несомненный лидер среди сельских школ района по части баскетбола. Вот тут-то и начинает всходить звезда Кравца. Но об этом чуть позже. Александр Иванович явился в клуб, на площадке развились малыши. И кроме Собакина и Мези, не умевших продать свой средний спортивный талант, никого из «стариков» не было. «Собирайтесь», — сказал учитель. Автобус «Урожая» стоял уже у правления. Вопль радости и отчаяния был ему ответом. Все знали, что Селиванов и Финько где-то далеко на рыбалке, чтобы найти их, нужны сутки. Малиновский, Герасюк и Карпушин играют на первенство среди торфозаводов, то есть тоже достаточно далеко от дома и, скорей всего, пьяны. «Время пошло», — сказал, уходя, учитель, усвоивший это выражение со времен своей службы в армии. Он лично зашел домой к Юре Кравцу. Объяснить этот поступок легко. Учитель любил дисциплину не меньше закаливания и еще с того памятного баскетбольного бунта заметил в Юре умение и готовность подчиняться.

Через час выехали. Чего было ждать от этой команды? Мезя неплохо бросал с точек, но бегать не любил и паса толкового не умел отдать. Собакин, решивший, что при таком неожиданном составе команды звезда — он, несомненно, собирался всячески куролесить и «мастериться». Еще четверо восьмиклассников очень радовались и волновались, но толку от них, хотя ребята были не без способностей, пока быть не могло. Чуть отдельно от всех (даже от тренера) сидел Кравец. Он был на два

года моложе Собакина и Мези, но ростом уже начинал их перегонять. В баскетболе он умел делать все: и защищаться, и поддержать мяч, и играть в пас, и прессинговать, и пробивать штрафные. В каждом из компонентов игры был кто-то в «клубе», кто мог его превзойти показателем, но никому не приходило в голову обратить внимание на то, что в любом частном соревновании Кравец занимает место не ниже второго. Самостоятельно, помимо клубной тренировки, он еще приседал с весом, бегал кроссы, плавал, тренировал суставы по отысканной в какой-то старинной книге методике. По части укрепления своей нервной системы советы он брал у психолога Леви в его сочинении «Искусство быть собой».

Итак, залесский «клуб» приехал на «область». В зале местного пединститута при достаточном стечении публики произошло то, что должно было произойти. Обыграв две откровенно слабые, привезенные только ради количества деревенские команды, они попали в лапы местной детской спортивной школы. Учинен был погром. Мезе не дали бросать с точек. Собакина заставляли делать пробежки, восьмиклассники же не показали и десятой доли того немногого, что они умели. Только Кравец был не под стать своим партнерам. На общем, довольно беспомощном, фоне засверкала его спокойная звезда. Из сорока с небольшим очков, набранных его командой, он забил тридцать. Несколько раз здорово дурачил своими финтами опытных областных ребят, отлично играл в защите, раза три убежал в отрыв. Короче говоря, попал на карандаш к тренеру соперников. Судьба его была решена — спортивный интернат. «Как?» — взревели сообщество, узнав от бесславно вернувшихся, что баскетбольное будущее из всех них, оказывается, было уготовано именно Кравцу. «Это несправедливо», — решил каждый. «Я лучше его бросаю штрафные», — думал Герасюк. «У него нет моей прыгучести», — вспоминал Малиновский. «Он всегда копировал мой пас», — усмехался внутренне Селиванов. «Он меня там забудет», — подумала Оля. И все были почти правы. Оля была дочерью местной учительницы русского языка и литературы и среди залесских кумушек считалась для Юры идеальной парой. Они, правда, находились в том возрасте, когда можно было только «дружить», но всем нравилось размышлять о них как о паре, и всем

виделась впереди несомненная перспектива их союза. И вот — разлука.

Тут нужно упомянуть об еще одной стороне жизни «клуба». О взаимоотношениях с женщинами, которые не могли не возникнуть у его членов. Девицы, с которыми даже самые неутомимые игроки начали мало-помалу знакомиться на танцах и школьных вечерах, стали появляться и «под каштанами». Вообще у женщины всегда возникает интерес, сначала поэтический, а впоследствии раздражительно-ревнивый, к тому месту, где ее мужчина с удовольствием проводит свое время. Первым появлениям женщин на площадке особенно суровые борцы за чистоту баскетбольного дела пытались даже противиться. Но со временем стало понятно, что борьба эта не имеет никакого смысла. «Против природы не попрешь», — как выразился кто-то из «стариков». Итак, когда лидеры «клуба» были уже в десятом классе, по вечерам «под каштанами» вполне привычно было заставлять такую картину: под кольцом кто-то резвится с мячом, со всевозможных сидячих мест вокруг несется профессионально-иронический комментарий, щедро разбавляемый девичьим смехом. А если сюда добавить, что солнце, садясь за отдаленный сосновый бор, растворило в воздухе самый нежный компонент своего света, а излучина реки, видимая с площадки, сияет нежно и страстно, и мудро поигрывает бич пастуха в тылу теплого, припорошенного золотистой пылью стада, и доносится с близлежащей улицы озабоченное мурлыканье двух-трех хозяек, бегущих отворять ворота своим покачивающимся от сытости буренкам, — если объять это все одним взором, то явится картина полноты жизни, полноценнейшей радости существования.

Эти околбаскетбольные романы оказались небезобидны. Боря Селиванов и Финько первыми оказались перед необходимостью жениться. Впрочем, они не были особенно против. Невесты казались им подходящими. Они были хороши собой и неплохо разбирались в баскетболе. У нас в деревнях все браки случаются или сразу после возвращения женихов из армии, или сразу после окончания института. Селиванов и Финько в институты не пошли. Женились тут же после возвращения из танковых войск. Вслед за ними потянулись и остальные. Что такое семейная жизнь в деревне — дело известное. Это в городе можно даже с собственной женой отпра-

виться поиграть в теннис или поплавать в бассейне. В деревне приходится полностью отставить все, что касается сохранения фигуры и поддержания себя в спортивной форме ввиду огромного количества мелких, мельчайших и одновременно ежедневных забот. Если скотина не кормлена, не поена, забор не чинен, кирпич не привезен, а огород не полот, то даже любимый баскетбольный мяч не пойдет в кольцо. Неправдой было бы сказать, что все члены «клуба» сдались сразу и без боя. Они продолжали тянуться к гармоническому миру своей подвижной, изящной, ловкой, хитроумной игры. Но сделать им это удавалось только после работы или по выходным, только под воздействием глубокой, но постепенно мелеющей инерции. Жены очень короткое время спокойно наблюдали за попытками мужей реанимировать свое старинное добрачное развлечение, но потом стали самым решительным образом являться «под каштаны», устраивать там скандалы. Наблюдать это было мучительно, но их (жен) тоже нельзя было не понять — семья есть семья. И вот получилось, что совсем еще молодые по городским меркам люди, двадцати пяти — двадцати семи лет, полностью отошли от самого приятного им времяпрепровождения и стали домоседами, стремительно толстеющими в поясице. В некоторых иных краях дело поставлено на более щадящую мужчин ногу. Там жены приучены не возмущаться тем, что муж находится в клубе большую часть свободного времени, и даже видеть в этом что-то солидное и достойное. Нам пока до этого далеко.

Изредка, конечно, случались ностальгические вылазки «под каштаны», отряхивалась с решительным видом пыль со старинных кед, и душа электромонтажника и тракториста бурно радовалась, когда мяч, щегольски чиркнув о край щита, точно скользил в корзину. Но все это были эпизоды, эпизоды, эпизоды.

Остался верен игре только Кравец. Прошло года три после его исчезновения в областной спортинтернат, и его фамилия замелькала в основном составе республиканской команды мастеров. Он подрос до 190 сантиметров, что по тем временам было достаточно для крайнего нападающего. О нем несколько раз писали в «Физкультурнике» как о несомненной и ближайшей надежде. Потом он оказался в ЦСКА, ибо достиг призывного возраста. Члены «клуба» — к тому времени прошла всякая на

Кравца досада — с гордостью узнали однажды, что их залесский Кравец поехал за границу, что его видели Мадрид, Рим и Белград и что ему было что показать этим городам. Его успехи внушали землякам гордость, приятно было сознавать, что великолепное баскетбольное братство было не пустым звуком, а родило нечто, даже по международным спортивным меркам, выдающееся. Как это водится, образ Кравца стал понемногу освобождаться от своих изъянов и идеализироваться. Нина Селиванова, Ирка Малиновская, Машка Финько, Светка Герасюк в один голос заявили, что Юрочка им нравился всегда, они всегда чувствовали в нем настоящего спортсмена, человека и мужчину, но поскольку дуры они бабы, а любовь к тому же зла, то полюбили они не его, а своих совсем не выдающихся мужей. Зря они так сказали, разумеется, все внешне отнеслись с юмором к этому заявлению, но где-то глубоко в душе каждого несостоявшегося баскетболиста зародился очажок недоброжелательства.

С огромной деликатностью приходилось обращаться с Олей. Сначала, как это было известно от нашей почтальонши, он ей писал. И довольно часто. Потом, разумеется, реже, но регулярно. Однажды, куражу, что ли, ради, прислал открытку из Стамбула. И вот уже год, как от него не было ни строчки. Олю все очень уважали и сильно жалели. Есть такие люди — при первом же взгляде на них видна полная их порядочность, чувствуется совершенная искренность, к такому человеку испытываешь доверие. Но по-видимому, для острой любви эти качества немного пресноваты. К своим внутренним достоинствам Оля вдобавок была миловидна. Статная, русая, с очень синими глазами. Вокруг нее не было заметно ухажеров. Может, и потому, что отпугивал всех официальный образ жениха, международного баскетболиста. Не исключено. Когда женщина, пусть даже достойнейшим образом, но слишком однозначно ждет принца — это раздражает и не влечет к ней. Но суть ситуации в том, что он не писал ей год, а теперь, сегодня вечером, приехал.

Надо ли говорить, как естественны были объятия и хлопки по плечам Кравца Юрия на передней площадке автобуса.

Сначала была волна вопросов, ответить на них, на все сразу, возможности не было, и Юра только улыбал-

ся. Потом первый, непосредственный восторг миновал, настало что-то вроде общей неловкости. Все как бы заметили вдруг, что положение изменилось, что все они стали другими людьми. Что все они очень отличаются от него, и неизвестно, естественно ли выглядят прежние эмоции и привычные жесты. Но все равно дальнейшее общение было хоть и скомканным, но взаимоприязненным, и, когда автобус подкатил к конечной остановке, кто-то из ребят, кажется, Собакин, предложил, «пусть не сегодня», собраться и тряхнуть стариной. «А что? — улыбнулся Кравец. — Давайте, завтра». Мысль эта показалась ему неожиданной, судя по всему, в Залесье он выступать не собирался. Так и порешили и разошлись взбудораженные.

Но до завтрашней встречи «под каштанами» должны были произойти некоторые события. По крайней мере, два человека в деревне с немалым волнением узнали о приезде Юрия Кравца. Что касается Оли, все понятно. Она гордо затаилась дома и, не отвечая даже на мягкие советы деликатнейшей матери, сидела на веранде и бесцельно листала какую-то толстую книгу. О ней речь впереди. Удивительно, что и Александр Иванович очень ждал этого приезда, был уверен, что Юра явится к нему, и произойдет какой-то приятный и значительный разговор, может быть. Он велел жене на всякий случай приготовить что-нибудь такое, что можно в случае появления большого гостя быстро поставить на стол, и одновременно эта еда не должна была бы его поставить перед необходимостью нарушения спортивного режима.

Но Юра, добродушно расставшись со своими приятелями на остановке, напрямик направился домой. Разумеется, это извинительно: обязанности сыновние — первейшие обязанности. Дом Кравцов стоял за костелом, за старинным, замшелым грушевым садом. Дом был большой и в хозяйственном отношении примерный. Кравцы-старшие держали скотину, сажали картошку и прочие овощи, углы сада занимали тучные кусты разных смородин и крыжовника. Две сестры Юры, жившие в районе, приехали с детьми и мужьями. Получалось что-то вроде семейного сбора.

Когда залаяла Муха, новая собачонка, и скрипнула калитка, все вышли навстречу сыну и брату, и началось обнимание. Мать-старушка всплакнула на бегу к пли-

те. Отец покряхтывал, сестры звенели. Накрыли тут же, на огромной, узорчато застекленной веранде.

На следующее утро Юра долго спал. Дома, по возвращении, спится по-особенному. Встал бодрый. Отец слил ему у колодца, ведя при этом неспешную значительную беседу. Спортсмен поддакивал ему. Выпил литр молока залпом и сказал, что собирается с остальными мужиками пилить дрова. Отец не стал отговаривать, зятя пожали плечами, мать почему-то прижала платок к губам, а потом к глазам. Работали до обеда, пообедали по-кравцовски с размахом и весело. День был рабочий, то есть раньше семи часов на стадион идти не имело смысла. Юра встал и медлительно вышел в сад. Он любил то, как дома у них тут все щедро и замысловато насажено. Здесь, в двух шагах от веранды, можно встать и уже через несколько секунд находит ощущение затерянности и полнейшего одиночества. Не просто никого не видно и не слышно, а не хочется ни видеть, ни слышать никого.

Кравец остановился, едва заметно покачиваясь на рыхлой земле, оставляя рифлеными подошвами своих кроссовок глубокие и непривычные по форме следы. Тяжелые, как бы матерчатые на вид листья смородины вразнобой приседали под тяжестью рассеянно блуждающей пчелы. Сквозь рыхлую, подвижную толщу зарослей можно было рассмотреть (или ощутить) замшелое, средней высоты строение, именовавшееся беседкой. Пахло точно так же, как подсказывала память, а тишина была даже полнее, чем ему снилось. Тихо, тихо, тихо. И вот сразу два звука: кто-то звякнул посудой на веранде, и тарарахнул мотоцикл на том конце деревни. Юра, улыбаясь, вернулся к себе в комнату, лег ничком на кровать и крепко заснул.

Спал он довольно долго. За это время не могло не произойти кой-чего. Оля, внезапно вскочив, взяла хозяйственную сумку и медленно сходила за подсолнечным маслом и хлебом. Александр Иванович тщательно выбрился, надел чистую рубашку, соломенную шляпу, призванную, по его мнению, придать ему вид беспечный и независимый, прошелся по улице, на которой стоял дом Кравцов. Он шел так нескрывтно, что его ничего не стоило увидеть из любого окна дома, с веранды, из сада, от колодца и весело окликнуть. Довольно сильно удивленный тем, что его появление не возымело никакого

действия, Александр Иванович, удерживая брови в приподнятом состоянии, проследовал до клуба, сел там в библиотеке просматривать подшивку «Советского спорта».

В семь часов все ветераны баскетбольного движения Залесья были в сборе и на месте, они пришли с женами, не захотевшими пропустить зрелища, с детьми. Слышался бодрый, как в старые времена, стук мячей. Слышались шутки, и слышался смех. Сетка то и дело взматалась вверх после точного броска. Разминка шла полным ходом. Кравец еще спал.

Разминка продолжалась. Минут двадцать, даже двадцать пять. Наконец первое, какое-то уж совсем шампанское возбуждение стало спадать. Кто-то даже спросил: «Где ж он?» Ответа никто не знал. Договорились по-деревенски — «на вечер». Но вечер протяжен, особенно летом. Все чаще стали посматривать в сторону водокачки, из-за которой, идя из дому, должен был появиться член сборной команды страны. Кравец спал. «Может быть, он у Иваныча?» — неуверенно спросил Собакин и, не встретив сопротивления товарищей, стал разнообразно и многословно комментировать возможность встречи Кравца со своим первым спортивным наставником. И так продолжалось бы долго, если бы из-за той самой водокачки не появился не выдержавший Александр Иванович. Он вышел неуверенным шагом, слегка даже прикасаясь пальцами левой руки к шляпе, прикрываясь, что ли. Он не ожидал, что его появление будет увидено сразу всеми, что он окажется почти как на сцене.

Селиванов присвистнул. Надо сказать, что отношения учеников и их учителя за прошедшие годы ничуть не наладились, и он, не имея возможности рассчитывать на дружеские приветствия и приглашения присутствовать, должен был терпеливо принять скучающий прогулочный вид. Так, фланируя, он и проследовал дальше, и это было ужасно смешно, ибо все прекрасно знали — за водокачку гулять некуда, там болото. Этот случай всех развеселил.

А Кравец спал. Разминка нервно и неровно шла. Но очень быстро стало мелькать в настроении собравшихся что-то очень похожее на раздражение, многие оставили мячи и сели на свои привычные места, вяло поддерживая общую беседу. «А я знаю, где он, — заявил Собакин, — он же у Ольги!» — «А ведь действительно!» —

воскликнули все. Многие очень удивились, что им самим такая простая мысль не пришла в голову. Жены, конечно, кинулись перебивать косточки... Мужчин это почти примирило с задержкой. Минут десять они о чем-то (Кравец проснулся) оживленно беседовали, пиная тяжелыми, можно сказать, старинными кедами попадавшие им под ноги камешки. Но тут произошло событие, смутившее всех до чрезвычайности.

Из-за все той же водокачки, на которую смотрели десятки (Кравец умылся и вышел на улицу) пар глаз, показалась Оля. Точно так же, как и Александр Иванович, она хотела остаться незамеченной, и ее желание было понятно, ему даже хотелось сочувствовать. Особенно после того, как, заметив, что Юры здесь нет, она торопливо, почти панически, рванулась обратно. Великое смущение парализовало всех. Кравец быстрым шагом приближался к стадиону. Даже Собакину нечего было сказать по этому поводу. Это... это представлялось оскорбительным... обидным... Боря Селиванов, покряхтивая, встал. Издалека заметив высокую стройную фигуру, Оля спряталась за куст акации. Кравец, подойдя к стадиону, мельком взглянул на мужчину в шляпе, отдаленно торчавшего на фоне вечеряющего неба, и вывернул из-за водокачки.

«Смотрите!» — первым сказал Собакин. «Ребята, проспал», — примирительно улыбаясь и виновато потупляясь, проговорил Кравец. Все не слишком были готовы его прощать, на удивление много обиды успело скопиться, и несколько долгих, неприятно пустых секунд прошло, прежде чем кто-то уронил мяч на площадку и этим привычным звуком разрядил ситуацию. «Ну ладно, — сказал Селиванов, — мы тут размялись уже». — «Начнем тогда», — охотно согласился Кравец. Он быстро переоделся, оставшись в тяжелых специальных кедах и жестких на вид красных шортах. Выглядел он излишне иноземно на общем отечественном фоне, хотя тот и не был чрезмерно затрапезен и спортивно дик. Финько был в своих исторических зеленых атласных трусах. Майка Бори Селиванова с замысловатой надписью латинскими буквами смотрелась значительно. На волосатом запястье Собакина поблескивала металлическая цепочка.

Кравец, улыбаясь приветливо и ровно, попросил поддержать мяч. Постучал им, сделал несколько движений,

все смотрели затаив дыхание — это и в самом деле было занятное зрелище. Мяч как будто прилипал к ладони и рад был в угодую неуловимому желанию владеющего им пренебрегать прямолинейными законами привычной физики. «Давайте», — сказал Кравец, оборачиваясь к остальным, и не бросил по кольцу, отметили про себя все. В этом было что-то очень, очень... но не было времени вдаваться в тонкости, и Боря решительно сказал: «Давай». Разделились быстро. Не уславливаясь особо, решили, что с гостем-мастером будут играть те, что послабее, а «сборная» не станет дробить своих рядов и попробует дать что-то вроде боя. Кравец не возражал, он, может быть, даже забыл, кто из друзей его юности играет лучше, а кто хуже, он просто стоял и, улыбаясь, ждал. Хорошо, что никто из его соперников не имел возможности и времени внимательно посмотреть на себя и дать себе хотя бы мало-мальски критическую оценку: Даже обладатель честного и трезвого ума Боря Селиванов не видел, что его фигура стала чрезвычайно массивна и широка. Не говоря уж о самолюбивом и язвительном Косте Герасюке, ни за что на свете не признавшем бы, что его фигура с таким вот выдающимся пузцом ничуть не может считаться спортивной. Малиновский, если бы он всмотрелся в себя и увидел бы свой землистый испитой облик, сетку сосудов на как бы опаленных щеках, должен был бы признать, что он сильно похож на пьющего человека, а он никогда таким себя признать не мог. Не говоря уже о Карпукхине с его оплывшими плечами и шумной одышкой. Они не успевали следить за собой, а время особенно беспощадно к тем, кто к нему невнимателен.

Партнеры Кравца, Мезя и Собакин, не считая двух пареньков из позднего набора подкаштанного клуба, были немного обижены своей сомнительной ролью — необходимостью играть на стороне противника, но им было велено проявить примерную баскетбольную честность, требовалась настоящая победа, все были против фарса.

Ну вот, расположились. Свисток. Мяч взлетает. Селиванов выигрывает вбрасывание. Следует стремительный пас Финько, рванувшемуся по правому краю. Оттуда, с края, мяч точно возвращается к Малиновскому, Карпукхин делает грамотный заслон. Малиновский выпрыгивает, бросок... мяч вонзается в корзину.

Вот тут-то и надо было остановиться. Но игра их уже повлекла за собой. Они, конечно, забили еще мяч, перехватив аляповатый пас Мези, но забиванию сопутствовала уже какая-то возня, с топтанием Малиновского под кольцом, весьма напоминающим пробежку; третий мяч был как-то уж совсем провинциален, после трех или четырех промахов, после кучи малы в трехсекундной зоне его кое-как запихнули. Кравец вступил в игру только при счете 0:6. Мяч к нему выпрыгнул случайно, он был далеко от кольца, партнеры отстали. Мезя, присев, шнуровал кед. Кравец, сориентировавшись в долю секунды, сделал короткий и резкий рывок влево, оставив стоять один на один с пустотой растопырившегося в защитной стойке Карпухина, высоко выпрыгнул и бросил. Мяч ударился в дужку кольца и отскочил высоко вверх. И здесь впервые в полной мере сказалась разница в классе Кравца и остальных: пока все разворачивались, медленно принимали положение, из которого можно было рассмотреть, куда именно упадет мяч, Кравец скользнул в своеобразном слаломе меж трех соперников к щиту, пластично выпрыгнул, поймал мяч в самой удобной точке для того, чтобы переправить его в кольцо. И переправил. Движением, напоминавшим о том, что спорт может надеяться стать искусством.

Второй мяч он забил, отобрав его у Финько. Сведущие в баскетболе люди подтвердят, что отобрать мяч у разыгрывающего, тем более сзади, как и было сделано, практически невозможно. Судьи свистят в таких случаях, даже если не уверены полностью, было нарушение или нет. Так вот Кравец, небрежно пропустив мимо себя самоуверенно стремящегося соперника, в тот момент, когда тот уже почти полностью миновал его, сделал мгновенный, торпедоартистический выпад, и мяч оказался у него. Это было произведено так чисто, что Финько показался бы смешон в своем ошибочном стремлении вперед с ладонью, лихорадочно нащупывающей воображаемый мяч, если бы рядом были зрители равнодушные и не увлеченные страстью игры. А Кравец был уже у противоположного щита и в легком прыжке сравнивал счет. Он не воспользовался возможностью заколотить мяч сверху и напомнить о своем телевизионном образе. Он проявил сдержанность и что-то вроде тактичности.

Баскетбол — такая игра, в которой один очень сильный игрок может оказать решающее влияние на исход

встречи. Так и случилось на этот раз. И Мезя, и Собакин, и остальные партнеры, едва завладев мячом, искали Кравца и просили пасом продолжать развитие атаки. Он, игнорируя все попытки ему помешать, демонстрировал неисчерпаемые возможности индивидуального влияния на ход игры, и забивал, забивал, забивал. Очень скоро стало ясно, что «сборная» проиграла безнадежно. Несмотря на известную организованность, огромную страсть и волю к победе и самоотдачу. Классностью побивался характер у всех на глазах.

Счет рос с нелепой быстротой. Причем Кравцу трудно было остановиться, все бы это заметили, и любая симуляция промахов и ошибок была бы немедленно разгадана и нанесла бы страшную обиду. Сначала селивановцы проигрывали с достоинством, но очень уж трудно его сохранять под непрерывным градом страшных ударов и почти издевательски изящных баскетбольных выпадов. Постепенно соперники «звезды» начали терять самообладание. Пошли в ход легкие толчки, удары по рукам и т. п. Кравец на все это не реагировал и продолжал, улыбаясь, делать свое победное дело. Впечатление от его преимуществ было намного ярче на фоне нарушительских поползновений соперника. Он вскрыл все статьи игры для победы. Он пару раз отлично забросил крюком. Невольно передразнивая Малиновского, не сумевшего из-за неизбежной растренированности полноценно выполнить бросок в кольцо сверху двумя руками, сделал это дважды, и каждый раз с новой лихостью. А напоследок, уже во втором тайме, примерно с точки штрафного броска, окруженный тремя жадно и жарко дышащими соперниками, стоя спиной к кольцу, он внезапно бросил через себя двумя руками и попал. Получилось как в цирке. Вряд ли он специально тренировал такой бросок и вряд ли смог бы тут же его повторить, но суть в том, что в этот раз получилось, и главное — с тем налетом легкости и небрежности, который впечатляет сильнее всего и больше всего говорит о мастерстве.

Эта демонстрация просто-таки заокеанского уровня мастерства, это глоботортерство на залесском школьном стадионе вызвало обширный шок, поразивший и игроков, и зрителей. Он не прошел до конца встречи. Соперники Кравца к этому времени стали больше походить на его партнеров, их действия на площадке казались ближе к споспешествованию, чем к препятствованию. Не

получилось той фольклорной, той парадоксальной истории, в которой надутый самоуверенный чемпион во время своих гастролей или побывки бывает посрамляем крепким местным простодушным самородком. Маэстро рвал в клочья былую баскетбольную славу, топтал остатки ностальгии по спортивному совершенству.

Хуже всего, что за этим наблюдали жены и семьи. Неумеющие вникнуть в сугубые тонкости игры женщины и дети понимали, что происходящее на площадке их мужей и отцов бесславит. Что с семейными спортивными воспоминаниями, этими реликвиями, следует расстаться. Хорошо, что хоть природа встала на сторону проигравших: под каштаны пришли сумерки, в которых стала путаться игра. Последние рывки, броски... «Все!» — говорит Селиванов, и, горячо дыша в быстро холодеющем воздухе, игроки медленно собрались к скамейке с вещичками.

Все были вымотаны и напряжены. Сидели, стояли, покряхтывали, вытирали майками лица. Никакой беседы не велось. Кравец сел поближе к своему спортивному костюму. Он испытывал желание поговорить, но чувствовал, что не всякие слова сейчас будут к месту. Общее молчание стало его слегка пугать. И не нравилась ему его явная отдельность от всех остальных, медленно переодевающихся рядом. Их объединяло внешне немного, может быть, только одно общее междометие «эх» или «ух», переходившее от одного к другому. Кравец одевался молча, скрывая свои междометия.

Ощущение конфликта было сильное, и Кравец обрадовался, когда заговорил Собакин. Он заговорил нарочито громко, чтобы все его слышали — и игроки, и их семьи. «Юра, а скоро ты переходишь в профессионалы?» Голос у Собакина и всегда был неприятный, а сейчас он подпустил в свой обычный тембр провокационную модуляцию и голос его стал отвратителен. Кравец посмотрел на него исподлобья. Свою способность добродушно улыбаться он за сегодня почти исчерпал, но попытался улыбнуться добродушно и на этот раз — получилась гримаса, средняя между жалкой и странной.

— Я не собираюсь в профессионалы. С чего ты взял?

Собакин с деловитейшим видом потопал о родную землю каблуками привычных башмаков, сменивших сомнительную спортивную обувь, и заявил бодро и быстро:

— С чего я взял? А со страниц печати. Прочитал в «Советском спорте».

Кравец хмыкнул и встал:

— Там не могло быть такого написано.

— Как же, как же, погоди, я сам читал: «Юрий Кравец куплен клубом «Космос».

— Нет такого баскетбольного клуба, и никуда я не продавался.

Собакин с высоко поднятыми бровями и с руками, сложенными на груди, подошел вплотную к Кравцу и спросил металлическим голосом:

— Так ты утверждаешь, что ничего подобного не было напечатано?

— Конечно.

— Так выходит, что я, по-твоему, вру? — Собакин все в той же позе разговорившегося палача-садиста покачивался на каблуках и смотрел Кравцу прямо в переносицу. Остальные участники встречи встали и окружили беседующую пару.

— Ну да... врешь... — в несколько усилий выговорил Юра.

Несколько секунд паузы. То, что произошло дальше, тоже заняло несколько секунд, но было переполнено множественным яростным движением, тупыми звуками ударов, визгом, чьим-то бегом. Дело было кратко, Юра мгновенно слетел с ног и оказался на четвереньках, вскочил, выставил вперед руки, но ладонями смог закрыть очень малую часть шарообразной площади нападения. Когда он рухнул на колени второй раз, от водокачки подлетел, размахивая соломенной шляпой, как страшной секущей плоскостью, Александр Иванович. Он вопил. Драка прекратилась. Все угрюмо вернулись к своей одежде. Быстро оделись и в короткий срок покинули стадион...

Водворились полные сумерки. Александр Иванович, причитая что-то мужское, пересыпанное матом, повлек Юру с места боя. Тот ничего не говорил, не жаловался, просто позволял собой руководить. Дом учителя был по соседству. Там специалист по закаливанию выступил как способный оказыватель первой помощи. Шипящему от поверхностной боли игроку были промыты три небольшие ранки, а к местам возможных синяков были приложены охлаждающие предметы. Александр Иванович **все** время говорил — и когда промывал раны, и когда

Юра пил молоко, и когда они прощались в полной темноте у калитки.

Юра не хотел домашних восклицаний и всплескиваний по поводу своей физиономии, подойдя к забору, он окликнул сестру Ленку и попросил постелить ему в беседке. «Хочется подышать свежим воздухом. Есть не буду, у Чижевича пил молоко».

И вот он лежит на прохладных простынях, вокруг бесшумные заросли смородины, частично лакированные луной, частично хранящие бархат теней, и семь звезд меж краем сливовой купы и обомшелым беседочным столбом, и что-то предварительное по отношению к всхлипыванию уже возникло меж глазами и ртом. Как назло, стоит эта вертикальная тишина, нечему укрыть ни копящегося вытья, ни какой-нибудь живой жалобы. Но зато никто и не подкрадется незамеченным, разве что станет легче воздуха и полетит... «Юра...» Ветви, шумнув, отлегли, и, мелькнув в лунном канале, в темноту беседки скользнула женщина. «Я узнала, что тебя побили». Она осторожно коснулась двумя пальцами, средним и безымянным, его подбородка и нижней губы, как бы щадя его раны, а потом вдруг упала ему на грудь. Он погладил ее по голове и, не зная, что делать, прошептал: «Оля». И опять погладил.

ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ МИРА

История эта начинается майским вечером 195.. года. Место действия — сосновая рощица на высоком берегу Немана. Гладь реки невидима, но бесшумное, могучее и прохладное движения вод там внизу волнует молодых людей, привольно расположившихся в рощице. Только что закончился маленький пикничок; некоторые из скромно пировавших отодвинулись от покрывала, расстеленного на траве и захламленного пустыми бутылками и конфетными бумажками. Две девушки в белых платьях и парень в рубашке с огромными белыми отворотами поют что-то задушевное. «И кто его знает, чего он моргает!» Пара миловидных молодых людей совместно оплела ствол молодого деревца и смотрит за реку, где перед их взором торопливо густеет туман. Глаза их полны

затаенного огня; облик, несмотря на присущую возрасту гибкость, выражает несгибаемость духа. Они всматриваются в туман, как будто готовясь разглядеть в нем свое счастливое будущее. Несколько человек, по-разному смеясь, перемещаются в глубине рощицы. Толстяк в очках шарит по покрывалу в поисках своего бутерброда. Все это выпускники областного пединститута, собравшиеся здесь, перед тем как расстаться, быть может, навсегда. Грусти в их глазах и речах мало, они делятся планами на будущее. Кто-то поедет на Крайний Север к оленеводам, кто-то на Дальний Восток к рыбакам, кто-то в самый центр Средней Азии к археологам, кто-то намерен продолжать образование в аспирантуре. Немного в стороне ото всех на поваленном стволе сидит молодой человек, подпирая подбородок ладонями. «Саша! — кричат ему. — Иди к нам». Он оборачивается улыбаясь и подходит к группе, обсуждающей, как лучше распорядиться своим будущим. Саша высок, статен, у него широкое породистое лицо и великолепная, зачесанная назад шевелюра. Осанка благородная, но немного польская. На вопрос, кем он себя видит в будущем, Саша мечтательно полуоборачивается в сторону туманной заречной перспективы и говорит: «Я остаюсь здесь, на родине, поеду в обыкновенную школу. Это нужнее всего». — «Стало быть, в народ?» — весело спросило сразу несколько голосов. «Да, — говорит Саша, — наше дело самое нужное. Если стараться, оно не может не принести результатов. Я в это верю». — «Правильно, Сашка!»

С тех пор его никто Сашей не называл. «Это ваш новый учитель географии Александр Иванович Чижевич», — представил его ученикам седьмого класса директор Урядьевской средней школы Трифон Саввич и положил на переднюю парту свою изувеченную руку. Бывший партизан, Трифон Саввич был человек в глубине души добрый, но жизнь его складывалась так, что он никому и никогда не давал этого почувствовать. «Занимайтесь», — сказал он и, прихрамывая, вышел из класса. Александр Иванович оглядел класс. Двенадцать обшарпанных парт. Двадцать два человека. Пахнет мелом, потом, на задней стене гигантских размеров портрет Гоголя, на шкафу метроном и лейденские банки, все под слоем пыли. Окна открыты в школьный сад, около за-

Юра пил молоко, и когда они прощались в полной темноте у калитки.

Юра не хотел домашних восклицаний и всплескиваний по поводу своей физиономии, подойдя к забору, он окликнул сестру Ленку и попросил постелить ему в беседке. «Хочется подышать свежим воздухом. Есть не буду, у Чижевича пил молоко».

И вот он лежит на прохладных простынях, вокруг бесшумные заросли смородины, частично лакированные луной, частично хранящие бархат теней, и семь звезд меж краем сливовой купы и обомшелым беседочным столбом, и что-то предварительное по отношению к всхлипыванию уже возникло меж глазами и ртом. Как назло, стоит эта вертикальная тишина, нечему укрыть ни копящегося вытья, ни какой-нибудь живой жалобы. Но зато никто и не подкрадется незамеченным, разве что станет легче воздуха и полетит... «Юра...» Ветви, шумнув, отлегли, и, мелькнув в лунном канале, в темноту беседки скользнула женщина. «Я узнала, что тебя побили». Она осторожно коснулась двумя пальцами, средним и безымянным, его подбородка и нижней губы, как бы щадя его раны, а потом вдруг упала ему на грудь. Он погладил ее по голове и, не зная, что делать, прошептал: «Оля». И опять погладил.

ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ МИРА

История эта начинается майским вечером 195.. года. Место действия — сосновая рощица на высоком берегу Немана. Гладь реки невидима, но бесшумное, могучее и прохладное движения вод там внизу волнует молодых людей, привольно расположившихся в рощице. Только что закончился маленький пикничок; некоторые из скромно пировавших отодвинулись от покрывала, расстеленного на траве и захламленного пустыми бутылками и конфетными бумажками. Две девушки в белых платьях и парень в рубашке с огромными белыми отворотами поют что-то задушевное. «И кто его знает, чего он моргает!» Пара миловидных молодых людей совместно оплела ствол молодого деревца и смотрит за реку, где перед их взором торопливо густеет туман. Глаза их полны

затаенного огня; облик, несмотря на присущую возрасту гибкость, выражает несгибаемость духа. Они всматриваются в туман, как будто готовясь разглядеть в нем свое счастливое будущее. Несколько человек, по-разному смеясь, перемещаются в глубине рощицы. Толстяк в очках шарит по покрывалу в поисках своего бутерброда. Все это выпускники областного пединститута, собравшиеся здесь, перед тем как расстаться, быть может, навсегда. Грусти в их глазах и речах мало, они делятся планами на будущее. Кто-то поедет на Крайний Север к оленеводам, кто-то на Дальний Восток к рыбакам, кто-то в самый центр Средней Азии к археологам, кто-то намерен продолжать образование в аспирантуре. Немного в стороне ото всех на поваленном стволе сидит молодой человек, подпирая подбородок ладонями. «Саша! — кричат ему. — Иди к нам». Он оборачивается улыбаясь и подходит к группе, обсуждающей, как лучше распорядиться своим будущим. Саша высок, статен, у него широкое породистое лицо и великолепная, зачесанная назад шевелюра. Осанка благородная, но немного польская. На вопрос, кем он себя видит в будущем, Саша мечтательно полуоборачивается в сторону туманной заречной перспективы и говорит: «Я остаюсь здесь, на родине, поеду в обыкновенную школу. Это нужнее всего». — «Стало быть, в народ?» — весело спросило сразу несколько голосов. «Да, — говорит Саша, — наше дело самое нужное. Если стараться, оно не может не принести результатов. Я в это верю». — «Правильно, Сашка!»

С тех пор его никто Сашей не называл. «Это ваш новый учитель географии Александр Иванович Чижевич», — представил его ученикам седьмого класса директор Урядьевской средней школы Трифон Саввич и положил на переднюю парту свою изувеченную руку. Бывший партизан, Трифон Саввич был человек в глубине души добрый, но жизнь его складывалась так, что он никому и никогда не давал этого почувствовать. «Занимайтесь», — сказал он и, прихрамывая, вышел из класса. Александр Иванович оглядел класс. Двенадцать обшарпанных парт. Двадцать два человека. Пахнет мелом, потом, на задней стене гигантских размеров портрет Гоголя, на шкафу метроном и лейденские банки, все под слоем пыли. Окна открыты в школьный сад, около за-

бора бежит мальчишка, таща вдоль штакетника при помощи палки деревянную трель. Александр Иванович молчал, ему хотелось сразу чем-нибудь поразить своих учеников. Он провел по волосам волнующейся ладонью. Пауза затягивалась. Учитель повернулся к карте. Карта была настолько старая, что могла быть сочтена исторической, и не только потому, что обтрепались ее углы и по территории самого большого государства разбежалась стайка клякс, а и потому, что отражала она бесконечно устаревшее состояние миропорядка. Александр Иванович повернулся к классу, спугнув осторожное шушуканье, взял со стола указку. Этот символ учительской власти придал ему уверенности и напомнил, что его задача не только рассказывать, но и спрашивать. Наверное, по такому же принципу винтовкой внушается агрессивность. Александр Иванович вытянул руку и ткнул в первую парту первого ряда. Ученик — надо сказать, обладатель самых покорных глаз, сын почтальона — кривовато приподнялся.

— А скажи-ка мне, какая самая большая капиталистическая страна в мире?

Ученик проследил заискивающим взглядом, как указка вернулась в исходное положение, и набрал полную грудь воздуха. Учитель через несколько секунд поднял бровь — не слышу, мол. Ученик выдохнул воздух и стал ковырять кривым пальцем парту. Учитель наклонил голову набок, его холеный вид гипнотизировал класс, даже хулиганов с последнего ряда. Бедный почтальонов сынков опять вздохнул.

— Ну?

Ученик молчал, на лице его и во всем теле отражалась внутренняя судорога, ум обыскивал себя в поисках ответа.

— Крупнейшая капиталистическая страна в мире? — аукционным голосом повторил Александр Иванович и приподнял указку, чтобы движением ее посадить несомненного двоечника на место.

Но тот вдруг, как будто решив более не скрывать страшной тайны, выпалил:

— Киев!

Учитель географии снял комнату у ничем не примечательной вдовы. Пять минут ходьбы до школы. Вещички

его в момент доставки на место имели тот самый вид, какого ждет обывательское сердце от интеллигентского скарба. Несколько связочек книг, сундучок, два тюка и поверх всего глобус со странной язвой в Камчатке, что было похоже на неправильно обозначенное место ядерной бомбардировки.

Уже через два месяца молодой специалист был в отчаянье. Причем внешне его дела шли неплохо. В коллективе почувствовали его беззлобность и незаносчивость, его полюбили и даже прощали не вполне понятное стремление одеваться шегольски для каждого посещения работы. Приглашали обедать и просто в гости, и сначала он ходил, но потом это ему наскучило, его раздражало однообразие местных бесед — дрова, огород, и ни малейшего намека на самостоятельную мысль или хотя бы оригинальную страсть. Все мужчины-учителя были рыболовы и охотники, у него и то и другое вызывало тоску и страх. Кроме того, отпугивало его от посещения разнообразных гостей то, что почти везде его начинали решительно и деловито сватать. О женитьбе ему думать не хотелось. Он мог бы найти утешение в работе, но география, как он понял очень скоро, никого здесь не интересовала. Он попробовал поговорить с коллегами. Они не сразу его поняли. Историк ему заметил, что нечему удивляться: «Если они не любят химию, литературу и пение, почему это они вдруг должны любить географию?» Физик просто пригласил к себе в кабинет, открыл шкаф и из синей спиртовки разлил по мензуркам содержимое. «Да плюнь ты на все это!» — честно сказал он.

Александр Иванович отступился не сразу, справедливости ради следует сказать, что готовился к каждому уроку он как к свиданию, выдумывал особые педагогические ходы, то устанавливал свирепую тиранию, то разводил демократию и каждый урок заканчивал в катонском стиле одной и той же фразой: «Если кто-то захочет узнать об этом побольше, я дам книги». Но ученики, стоило раздаться звонку, вскакивали и, издавая совокупно звук, напоминающий журчание, мгновенно освобождали класс. А Александр Иванович обыкновенно подходил к окну и думал: вон забор, вон корова, вон замок на аптеке, и завтра будет так и послезавтра, а потом вообще настанет зима.

Но однажды, когда он стоял у окна, мрачно прокру-

чивая в голове свой маршрут к одинокому жилью, и решал, стоит ли сделать петлю и навестить почту на предмет получения периодики, за его спиной раздался голос:

— Александр Иванович...

Пришлось обернуться. Перед ним стоял долговязый парнишка с круглым, невообразимо веснушчатым лицом, по фамилии Мезя.

— Александр Иванович, дайте книжку почитать.— Витя Мезя был плохим учеником, даже оболтусом, поэтому учитель усомнился.

— Про что тебе книгу, Витя?

— Про Австралию,— сказал школьник и улыбнулся, обнажая неодинаковые передние зубы.

— Ну... хорошо. Пойдем.

Так у Александра Ивановича появился единомышленник. Первую книгу Мезя вернул через день. Впору было задуматься, открывал ли он ее, но, полистав томик и обнаружив почти на каждой странице следы небрежного детского чтения — пятна, травинки, учитель вынужден был заключить, что книга прочитана. На вторую книгу также понадобились всего сутки, и, стоило ее взять в руки, чувствовалось — проштудирована от корки до корки. Александра Ивановича очень заинтересовало, как веснушчатому читателю удастся всего за сутки новенькое, поблескивающее типографским золотом издание превратить в растрепанную потертую вокабулу. «Что это ты, брат, сковородку на нее ставишь, что ли?» Мезя молчал, Александр Иванович попробовал с ним завести диспут о прочитанном, Мезя опять же отмалчивался, при этом улыбаясь то ли загадочно, то ли глумливо. Тогда раздраженный географ, руководимый смутным чувством мести, дал ученику толстенный справочник демографического характера, состоящий сплошь из таблиц, схем и формул. Мезя не появлялся три дня, но, когда пришел, вид книги свидетельствовал о том, что прочитана она так же внимательно, как и прежние. Стена недоверия рухнула в душе учителя, и он, не на шутку растроганный, дал своему неговорливому ученику для прочтения свою любимую книгу — «Величайшие реки мира». Он разволновался и провел рукой по волосам, поправляя романтический холм своей шевелюры.

Через два дня Мезя пришел к нему домой, и пришел не один — с ним была его сестра, высокая, самоуверенная, по моде одетая девушка лет двадцати двух, он

смутно ее припоминал, она торговала в местном крохотном универмаге. Нельзя было сказать, что она совсем не походила на своего брата, походила, но брату — когда они были рядом, это бросалось в глаза, — явно достались ошметки семейного генотипа. Лариса, так звали сестру, вошла в помещение решительно, она считала, что умеет держать себя великолепно. Она сказала, что пришла посмотреть на человека, который произвел столь небывалое действие на ее брата. «Он целыми днями сидит и читает». — «Что ж», — веско и неопределенно ответил Александр Иванович, обуреваемый сложным чувством. Гостей он не любил с детства, в дом его родителей хождение в гости было не заведено, но сейчас его волновало то, что по его комнатке ходит симпатичная женщина, трогает книги... Вот глобус крутнула.

— Лариса, — представилась она, протягивая ладонь.

— Это значит чайка по-гречески...

— А вы Александр Иванович?

— Именно так.

— А как это будет по-гречески? — Александр Иванович прищурил один глаз, как бы целясь в свою память, но не успел ничего сказать, потому что Лариса рассмеялась, говоря: — Ну что вы, ладно, ладно...

Витя все это время стоял, прижимая книгу к ключице.

— Витя, — сказала сестра, — ты можешь идти домой.

Лариса крепко взялась за географа, приемы ее кокетства были, может быть, и нелепы, и, может быть, разило от них ширпотребом, но, если мужчина с первого взгляда увлется, его почти невозможно отпугнуть, он все странности в поведении женщины истолковывает в выгодную для женщины сторону. И вот однажды, обнимая майским вечером ее крепкую крепдешиновую талию, он предложил ей руку и сердце.

Книжки и глобус были вскоре перевезены в большой, но запущенный дом жены. Лариса стала звать Александра Ивановича Чижиком, у них родилась дочь, потом, через три года, сын, жизнь потекла по-новому руслу, и надолго «народовольческие» идеи были погребены на дне души Александра Ивановича. Свои многочисленные бытовые обязанности он выполнял добросовестно, но с какой-то затаенной грустью. Хозяйство

имелось у его супруги слишком полноценное, чтобы можно было надеяться выкроить время для чего-нибудь ностальгического или сентиментального. Свиньи, корова, куры, индюки окружили его жизнь своими мордами. На третий примерно год брака Александр Иванович стал задумываться, это очень не нравилось супруге, она пыталась его урезонивать, сначала мягко, потом нервно. Он стал прятать от нее и тещи моменты своего раздумья как нечто интимное. Бывало, Лариса, войдя в комнату, видела, как останавливается глобус, запущенный рукой Александра Ивановича, мечтавшего тут у стола и сбежавшего при звуке ее приближающихся шагов.

Долго его удерживало от каких бы то ни было безумств несомненное семейное счастье. Но затем оно стало отступать в область памяти, все меньше питаясь ежедневными плодами; оно становилось все хрустальнее и эфемернее. И наконец однажды совсем рассталось с современностью. Его семейное счастье стало просто воспоминанием. Произошло это следующим образом. Витя заканчивал десятый класс, его ждали экзамены. Александр Иванович взялся его готовить. И ужас обуял его, когда через неделю он установил доподлинно, что Витя не помнит ничего из того, чему его учили в школе, и не в состоянии удержать в голове никакого нового знания. Он не мог пересказать, даже приблизительно, абзац текста, прочитанный минуту назад. Какое-то болезненное недоумение поселилось в сердце Александра Ивановича. Он дождался в тот день возвращения жены и пожаловался ей. «Ну и что,— сказала Лариса, накручивая на бигуди свои рыжие волосы,— он всегда был такой». — «И тогда?» — «Когда?» — «Ну, тогда!» — «Да, всегда». — «Но это же ужасно!» — «Что ты кричишь?» — искренне не поняла жена. «Ему что, все равно что было читать?» — «Абсолютно,— даже как бы с удовольствием отвечала жена,— он раза три проштудировал школьную библиотеку и никогда не вспоминал, что эту книгу уже читал». — «Странно». — «Правда, правда, ему все равно, что читать». — «Ну не совсем так, он ведь потянулся к географии...» — «Дурачок,— с неожиданной нежностью в голосе сказала Лариса,— ведь это я его... направила. Мне нужен был предлог для знакомства. Танцами ты, видите ли, брезговал».

Эта вполне невинная и даже забавная история неприятно поразила воображение Александра Ивановича.

Он вышел из своей тихой задумчивости, развил в школе широкую общественную деятельность. Время стояло странное. Тогда повальное увлечение молодежи зарубежной, особенно ливерпульской, музыкой шагнуло из столиц в маленькие города, а затем в поселки и деревни. Представим себе майский вечер, на подоконнике, на фоне прохладно цветущей вишни, скрипит отечественный магнитофон, поглощая треск цикад, и изнывают во тьме голоса «beatles», требуя «girl». И простые деревенские ребята, прикрыв глаза и отставив в сторону опорожненный стакан «Осеннего букета», во всю силу нерастраченного воображения представляют себе громадный зал, беснование публики, треск фотовспышек, этих блесков на одеянии ихней свободы.

Александр Иванович надеялся, что его наука будет к месту во времена всеобщего брожения юношеских умов. Обращаясь внутренним взором в отдаленную область, человек должен заинтересоваться особенностями рельефа той местности, над которой пролегает мысленный маршрут. Он сколотил кружок. Несмотря на то что сам он был глубоко равнодушен к любой музыке, он добился от дирекции разрешения пользоваться магнитофоном «Днипро» во время своих музыкально-географических мероприятий. Начальство, разрешив это начинание, спохватилось и немедленно стало ставить палки в колеса. Александр Иванович сошел с хорошего счета в школе. Дело довершалось тем, что и сами дети к нему не очень-то тянулись. Значительная часть очарования той музыки, которую они обожали, была в ее неразрешенности. Попытка же какого-то учителя, то есть лица официального, взять ее под свое крыло, придавала ей слишком привычный, почти факультативный характер.

Семья тоже выступила против этого начинания Александра Ивановича. Витя ушел в армию, и вся мужская работа по дому стала его неременной обязанностью. Жена и теща не забывали ему напоминать об этом. Но он не мог так просто расстаться со своим кружком. Быт разваливался. Кружок все же запретили, о нем якобы услышало начальство и выразило недоумение. В тот день Александр Иванович явился домой в состоянии полной потерянности и тяжелейшей тоски. Его встретили как следует: в два голоса жена и теща злее, чем обычно, стали выговаривать ему за то, что до сих пор не застеклена веранда. «Каких-то два стеклышка!»

Ему говорили, что ему на все наплевать. «Я весь дом тащу на себе. В доме нет мужика. Я одна тащу», — кричала Лариса, которая перед его приходом протирала посуду, полотенце, висевшее через плечо, она держала, как ляжку бурлак. «Ты погубил мои лучшие годы!» — «А ты мои», — прошипел Александр Иванович и вышел вон.

Пытаясь развеяться после скандала, он решил пройтись. Внезапный тяжкий ливень застал его возле деревенского клуба. Тьма настала кромешная. Попытка укрыться под каштанами была обречена на провал, дождь проникал сквозь крону, и вскоре учитель кинулся из шелестящей пахучей тьмы вверх по ступенькам к причудливо освещенному, музыкально дребезжащему клубному сараю. Он был деревянный, неуютный и пропах табачищем. Танцы между тем были в разгаре. Помещение, где они происходили, обычно служило кинозалом, сейчас все стулья были отодвинуты к задней стене и нагромождены в громадную кучу. Обнажился некрашенный дощатый пол. Пол был слегка наклонен к сцене, и присмотревшемуся человеку могла явиться фантазия, что танцы соскальзывают по нему куда-то... На сцене стояла огромная черная колонка, хрипло выпевавшая известную песню. «Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей...» Несколько пар, описывать которые скука смертная, топтались в центре зала, соскальзывая по мистическому полу куда-то, наверное в небытие. Так показалось Александру Ивановичу.

У дверей, открытых прямо в ливень, курили, шурясь от дыма, пареньки, одетые в соответствии с местными представлениями о моде. Они ждали быстрого танца. И когда он наконец грянул, что-то примитивно-заокеанское забилося под сводами Урядьевского ДК, и кинулись на середину парни в самых расклешенных брюках. Неожиданная фигура учителя сначала смущала присутствовавших тут школьников, но постепенно и они присоединились к крепчающему плясу, и был даже какой-то вызов в том, как они свободно себя вели в танце. Александр Иванович отвернулся и стал смотреть на дождь. Ему не хотелось идти домой, его раздражал этот ужасный танец, а ливень подмывал разрыдаться. И тут он увидел, что его из-под навеса в четырех шагах от двери манит, мелькая в неровном фонарном свете, чья-то рука. Он, не задумываясь, перебежал под этот навес, защищавший от непогоды тылы продуктового магазина.

Там он обнаружил довольно хорошо ему знакомого парня, недавно закончившего школу и известного в округе под именем Джон. Фамилия его была, кажется, Наливко. Он был лидером местных хиппи. По условиям проживания у нас в сельской местности полноценное хиппование невозможно и в законном порядке пресекалось органами милиции, но бытовали различные полупрофессиональные формы. Вот, например, Джон нигде не работал дольше недели, плевать хотел на общественное мнение, пользовался авторитетом у молодежи. Волосы носил до плеч, джинсы настоящие и очень дранные, в музыке он разбирался исчерпывающе. Комната его была обклеена портретами кумиров, Леннона, Хендрикса и т. п. Он имел своеобычное самосознание и проповеднические способности и мог побить в открытом споре какого-нибудь пропагандиста средней руки.

Ничего не говоря, он протянул учителю налитый полнехонько, так что даже выплескивалось на пальцы, стакан вина. Вино было тягучее, надрывное, только усилием воли было можно его проглотить. Учитель выпил и шумно выдохнул. Дальше, как водится, пошел разговор. Джон очень одобрял деятельность учителя и считал его единственным человеком «среди этих морд». Александр Иванович горько кивал и мял в пальцах кусок плавленого сыра. Потом выпили по второму, ливень усилился, и беседа учителя с бывшим учеником перестала быть видимой и слышимой.

Семейная жизнь Александра Ивановича после этого случая не стала лучше. Скандал стал членом семьи Чижевичей. Не легче было и положение учителя на его духовном поприще. Он мечтал об ученике, но не выносил современной музыки. Ему пришлось пойти на временный, тактический союз с нею. Он ждал, когда его молодые друзья во главе с Джоном переберутся естественным образом и обратятся к освоению чего-нибудь по-настоящему фундаментального и культурного. Может быть, кто-то из них — учитель танл такую надежду — потянется к географии. Но тактический союз себя не оправдал. Этим охломонам нужна была только музыка, слегка повзрослев, они были пожираемы армией, придя из нее домой, немедленно женились. Джон Наливко спивался, как и несколько его приятелей, ведущих столь же последовательный образ жизни. Александр Иванович сделал несколько попыток сближения, пытался ему что-

Александр Иванович вернул голову в первоначальное положение, выражение лица у него было циничное. «Правда, правда», — честно и печально глядя в глаза учителю, говорил юный гость.

Несмотря на то что они расстались холодно, Женя пришел и на следующий день. Молол всякую всячину, вытягивал из крепящегося хозяина односложные ответы. Говорил он как-то автоматически, и, если бы Александр Иванович не был так занят своим недомоганием и своим ощущением, что жизнь прошла и на все наплевать, он бы заметил, как напряжен его ученик, как он прислушивается к тому, что делается за стеной, и вздрагивает при звуке шагов по коридору. Под конец визита Женя выпросил у Александра Ивановича что-нибудь почитать, тот дал, только чтобы отвязаться. Женя вернул книгу через два дня, глаза его благодарно сверкали, и географ не удержался и спросил: «Ну как?» — «Удивительно! Это прямо завораживает, я так и вижу — Анды, Кордильеры, Гималаи». Александр Иванович дал ему еще одну. Трещина зарастала плохо, учительское затворничество продолжалось. По большей части он лежал в темноте и ненавидел весь белый свет. Никто ему не мешал в этом, изредка приходили жена или дочь, чтобы его покормить. Витя не любил пить с больным, дочь где-то пропадала все время, у жены была куча дел. Почти каждый день являлся новый друг, и беседы с ним стали доставлять больному все большее и большее удовольствие. Постепенно Александр Иванович перестал сдерживать свое желание пожаловаться и, становясь все откровеннее, пересказывал историю своей жизни юному другу, скромно сидящему в ногах. Ему нравились внимательные глаза парня, в них ни на секунду не появлялась скука или усталость. Особенно сладко было жаловаться на ближних. «Да, — соглашался юноша, — такое впечатление, что вы брошены. Где, например, Оля?» — «Шляется где-то!»

«Величайшие реки мира» хранились в ящике письменного стола. Александр Иванович с некоторых пор считал эту книгу зараженной, опасной книгой, мистической. При этом он ее любил сильнее всех других книг, поэтому можно себе представить, каким теплым чувством проникся он к новому другу, если однажды все же решился и вручил ее ему для прочтения. «Это удивительная книга, Женя. Здесь Амазонка и Конго, здесь

Юкон и Меконг, здесь Иравади и Ориноко, здесь Енисей и Миссисипи».

Книга действительно была особенная. И владелец не зря считал ее опасной. Стоял май, близился конец учебного года. Женя вдруг пропал из жизни Александра Ивановича. Его не было неделю, десять дней. И когда пришли навестить географа с официальным визитом делегированные выпускники, он попросил их передать Свинчуку, что ждет его, очень ждет. Женя не пришел.

Оля объявила, что выходит замуж.

Собравшись с силами, Александр Иванович пошел на выпускной вечер, хотя нога еще давала о себе знать. Долгое лежание превратило географа в старика. Не без труда ему удалось улучшить момент отвести в сторону Женю и спросить его, в чем дело, почему он его теперь не навещает. Женя, смотревший на носки своих отлично вычищенных туфель, стрельнул исподлобья злобным взглядом. «Я и так истратил на вас слишком много времени». После этого он быстро отошел и стал танцевать.

Еще неделю Александр Иванович провалялся на кровати в полном одиночестве и полумраке. Случайно узнал от жены, что Свинчуки переезжают. Буквально на днях. Нет, подумал он, я ничего не понимаю и не хочу ничего понимать в этой жизни. На следующий день, одевшись, он отправился на улицу Мицкевича к невысокому домику, располагавшемуся у самого выезда из поселка.

Увидев учителя, Женя вначале смутился. «Я хочу забрать свою книгу». — «Книгу?!» Женя бросил несколько взглядов по разным углам комнаты. Поднял газету на столе, подушку на кровати. Потом перетряхнул всю комнату. Учитель стоял как монумент, внимательно глядя на суету юного хозяина. Книги нигде не было. Искать ее под тяжелым взглядом злобного старика было мучительным занятием. «Нет», — сказал вдруг Женя. «Чего нет?» — «Книги нет, я ее потерял». — «Ты лжешь!» — «Я ее потерял, если хотите, ищите сами!» Александр Иванович повернулся медленно, медленно вышел и поковылял к калитке.

«В чем дело?» — спросила, входя, мать Женни. «Да книжку я его задевал куда-то». — «Ой, ой, а идет, как будто ранили!»

Через день Свинчуки уезжали.

«Вася, Вася!» — кричала мать в сад. Все вещи были уложены на грузовик. Водитель поторапливал. «Вася, Вася!»

Наконец Вася появился, он тащил калейдоскоп и какую-то книгу, там, в глубине сада, у него было нечто вроде своего личного штаба. Борта были закрыты, и отец, поднимая младшего сына под руки, подал его старшему, уже сидевшему в кузове. «Что это у тебя за книжка?» — «Во какая интересная». И младший показал обложку. «Вот черт, так это ты ее утащил? Это ведь не наша, это Чижевича!» — «А я все его книжки прочитал!» «Мам, я сбегаяю!» — сказал Женя, спуская с борта одну ногу. «Куда ты собрался бежать?» — «К Чижевичу, книгу отдать». — «Некогда, из-за книжки-то... Она ему, может, и не нужна». Шофер подтвердил, что надо спешить. Ему нужно было вернуться пораньше, завтра будут похороны.

«Чи?» — быстро спросил Женя.

«ВСЕ ЕЩЕ СПИТ...»

Рассказ неудачника

У нас в Белоруссии особенно трудно удержаться от писания стихов осенью. Трактора и машины исчезают с полей. Над ними (над полями) смыкается тишина. С середины сентября начинает возрастать прозрачность воздуха. Ливни идут абсолютно отвесно, как бы стыдясь прикосновений к ветвям и строениям. Растительность в лесу внезапно делится на хвойные и лиственные расы. Над озером обязательно слышится вскрикивание какой-то птицы, даже если все птицы отлетели. Так далеко видно и так грустен созерцаемый пейзаж, что если замечаешь на предделе зрения на проселке, окаймляющем туманную чашу, некую телегу, то за то время, пока она доедет до тебя по этому склону сюда, к болотцу, отражающему белесое небо, вполне мог бы прозвучать полонез Огиньского.

В общем, я отказываюсь винить себя, четырнадцатилетнего подростка, за то, что однажды, возвращаясь с одной из своих прогулок, я начал нашептывать какие-

то слова, цепочки слов, при помощи которых... зачем только я допустил это бормотание души, результатом которого явилось первое мое стихотворение. Не стану его приводить здесь полностью, замечу лишь, что оно, первое, уже несло на себе все приметы эстетических взаимоотношений искусства с действительностью. Другими словами, оно всячески действительность искажало. Если на дворе стояла, как я уже упоминал, осень, то в стихотворении явно описывалось лето; возвращался домой под вечер, а первая строчка гласила: «Все еще спит...»; в душе моей упоение сменялось сладким томлением, а лирический герой никак не мог выбрать между пулей и веревкой. Тогда на эти мелочи я не обратил внимание. Меня слишком сильно потряс тот факт, что нечто, написанное моей рукой, до такой степени напоминает то, что до сих пор было мне известно под названием стихов. Вторым чувством после потрясенности явилось громадное самоуважение. Я как-то сразу стал знать себе цену. Разницу между «Мороз и солнце — день чудесный...» и моим «Все еще спит...» я видел только в том, что в давно классическом стихотворении описывается зимнее утро, а в моем, пока таинственно скрываемом от глаз публики, шедевре — летнее.

Наряду с немалым самомнением картину мира очень для меня искажала неинформированность. Зная крайне малое количество поэтов (Пушкин, Лермонтов, Гамзатов) и видя их признанными и вполне боготворимыми, я решил, во-первых, что мне такая роль подходит, а во-вторых, что мне их участи не избежать. Это были блаженные времена, лучше я себя не чувствовал никогда. Первый удар по моему одностороннему Олимпу нанесло чтение. До этого я не прикасался ни к чему, кроме исторических романов, а тут решил-таки посмотреть, чем занимаются современные собратья по перу, пока я законно почитаю на лаврах. Меня удручило количество собратьев и написанных ими стихов. Я еле-еле оправился. Ладно, надо работать, сказал я себе и написал свое второе стихотворение, радостно осознавая, что пишу его как настоящий профессионал, не испытывая никакого дурацкого вдохновения, не под воздействием наплыва пошлых чувств, а только в силу того, что обязан, раз уж стал поэтом, работать регулярно.

Так началась моя деятельность на этом поприще и продолжалась так года два. И вот наконец настал день,

когда я уже не мог выносить разрыва между внутренним к себе отношением и полным отсутствием публичного признания. Я обратил взор на окружающих меня в то время людей. Я присмотрелся и решил, что с родителями и прочими родственниками делиться пока не стоит,— я их потом ошеломя. Среди прочих людей интересным для меня было мнение двоих. Прежде всего, хотелось мне показать свои сочинения нашему учителю литературы Ивану Михайловичу Майбороде. Поскольку школа у нас была деревенская, он по совместительству вел кроме литературы пение и рисование. Можно было ожидать, что общение с таким количеством муз не могло не сделать его душой одной из самых рафинированных в округе. Я явился к нему, когда он полел у себя на огороде морковку. Тут же меж грядок мы и объяснились. Я сказал, что хочу, мол, его специалистического мнения о своих ранних произведениях, но очень прошу, чтобы вот эти тетрадки, которые я ему передаю, он ни в коем случае не обнародовал, поскольку от природы я стеснителен. Он выслушал меня внимательно и серьезно, взял мою рукопись землистыми пальцами, улыбнулся мне несколько лукаво и положил тетрадки на траву. Он слыл у нас человеком очень образованным (например, свою корову он назвал Му-му), и я очень волновался, отдаваясь на его суд. Но получилось все не так, как мне бы хотелось. Стихи мои он, по-моему, не прочитал, а в школе, на следующий же день, громогласно объявил, что у нас появился свой поэт, и поставил меня всем в пример. Видимо, профессиональное знакомство с миром литературы приучило его к мысли о том, что поэту прежде всего нужна слава, а не понимание. Я пока что был еще не такой.

Вторым очагом культуры наряду со школой был клуб. Там подвизался вокально-инструментальный ансамбль. Часть песен в его репертуаре была собственного сочинения. Тексты к ним писал двадцатилетний библиотекарь Володя. Он был кудряв и печален. У местных учителей пользовался устойчивой популярностью. Он посылал стихи в республиканские издательства и получал оттуда почти неотрицательные ответы. Его стихи были очень лиричны, только о любви, и отличались крайним пренебрежением к внешней форме—рифме, ритму и размеру. Он знал, что многим девицам из соседнего зооветеринарного техникума его стихи не дают спать по

ночам, и позволял себе не очень заботиться об отделке того, что и так пробирает. На меня он посмотрел с удивлением. Говорил туманно, улыбался горько. На глазах у меня переложил из одного внутреннего кармана пиджака в другой женскую фотографию с надписью, при этом почти вздохнул. Сказал, что стихи требуют всю душу поэта, и еще сказал: «Важно, чтоб тебя понимали!» Мои стихи он как-то сумел не взять, и даже, напротив, когда я вышел на крыльцо клуба, у меня в руках оказалась общая тетрадь, где были тщательно переписаны женским почерком его собственные сочинения.

После этих контактов я остался непонят окружающим миром. Я затаился еще на год. Постепенно одиночество стало невыносимым, и тут я услышал, что при нашей районной газете есть литературное объединение. Что это такое, я представлял себе плохо, но чувствовал, что это именно то, что мне нужно.

Тогда стояло жаркое лето. Вот-вот должна была начаться уборочная. Дорога, по которой я направился к райцентру, томила в пыли. Под мышкой я нес в папке перепечатанные под вымышленным именем секретаршей правления тринадцать своих лучших стихотворений. Было тихо и жарко. Обязательный жаворонок завис чуть в стороне от солнца. Вдалеке бессильно поблескивало озеро. За ним катилось пыльное облачко по проселку через рожь. Или через пшеницу. На таком расстоянии я имею право перепутать. Дорога была недалекая, но запомнилась отчетливо. И как шумел камыш в болотце у моста, и как пах асфальт, и как пронеслись два мотоцикла.

Я хорошо знал здание районной газеты, потому что оно располагалось прямо над военкоматом, который я посещал накануне, достигнув призывного возраста. Возле здания тихо и пыльно. На булыжной мостовой несколько опавших листьев. Лошадь привязана возле хозмага, кто-то лежит в ребристой тени за стендом с показателями по молоку и мясу... короче, нечего тут описывать, каждый знает, что такое жара в райцентре.

Я вошел в здание. Поднялся на второй этаж по крашеной лестнице. В редакции тоже было тихо. И пыльно. Из комнат в дверные щели сочился свет. По-особенному пахло. И никого не было. Где-то очень в глубине слышалась какая-то деятельность, но было понятно, что мне не туда. Я сделал несколько шагов, в конце кори-

дорчика заметил на двери косо висящую картонную табличку с надписью: «Литобъединение». Дверь приоткрыта. Я приблизился и прислушался — кажется, пусто. Я ошибался. В комнате был человек. Он сидел за огромным составным столом, занимавшим всю середину комнаты, и злобно просматривал рукопись... Он обладал огромной головой, с огромной загорелой тонзурой и могучими белыми патлами вокруг нее. На меня он посмотрел, приблизив к носу очки, которые вспомогательно держал у виска. Очки были, несомненно, великанами в племени очков.

Мы не поздоровались. И я сел. Как можно дальше от этого поэта. Несколько секунд мне казалось, что больше никто не придет. Так жарко и тихо было. Я уже начал готовиться к длительной неразрешимой неловкости, но дверь открылась, и показалось женское лицо. «Ну и жара», — сказала, входя, женщина, внося две огромные сумки с продуктами. Почти сразу вслед за нею собрались и остальные участники литобъединения. Человек десять. Все они были отлично знакомы друг с другом, мое присутствие их слегка интриговало, веселило, обещало что-то новенькое на сегодня.

Последним пришел Лев Львович, руководитель, член Союза журналистов, как я потом узнал не без благоговения. Он был почти старик, большой, сутулый, с добрыми морщинами у глаз. Одет он был в немного поношенный, но выглядевший очень приличным костюм. Двигался он, указывая себе путь вынутой из рта трубкой. Повышенная интеллигентность, исходившая от него, облагораживала помещение с серым линолеумным полом, разнокалиберными стульями и угрюмым настоем табачного перегара.

Все обернулись к нему. Он сел во главе стола и расположил перед собой принадлежности для обслуживания трубочного курения. Мне очень хотелось, чтобы говорить он начал с «ну-с», с этим присловием наиболее сильно связывалось мое представление об интеллектуализме и благородстве.

— Ну-с, — сказал Лев Львович, и я заволновался, понимая, что все, что сегодня произойдет, — на самом высоком уровне. — Ну-с, — повторил Лев Львович, и несколько голосов сообщило, что Барабули нет, что у него сын вернулся из армии, так что вот...

На мгновение возникла пауза, и я понял: сейчас все

обернутся ко мне, я даже на мгновение пожалел о том, что судьбе было угодно явить меня свету поэтом.

— У нас, насколько я могу заметить, новички.— Деликатнейший Лев Львович даже не в первом лице сумел применить ко мне множественное число. Я опустил голову.— Ну-с, молодой человек, вы со стихами?

Я поднял голову, чтобы ею кивнуть. Уважаемый член Союза журналистов стал не торопясь раскуривать трубку, и тогда лысовато-седой гигант, бывший первым, кого я здесь встретил, и, видимо, вторым по значению в этом собрании, бесцеремонно протянул ко мне свою широкоую, как лопата, руку:

— Передайте мне рукопись.

Я передал. Гигант долго расправлял в своих веснушчатых пальцах мою тоненькую стопочку, как бы говоря: не густо, не густо.

— Товарищ Папченко, раздайте произведения.

Товарищ Папченко понимающе кивнул руководителю, и зашелестели, уходя к людям, мои «произведения». На несколько минут все углубилось в чтение. Даже Лев Львович. Я получил возможность рассмотреть первых своих читателей. Лев Львович и Папченко читали наиболее профессионально — лица непроницаемые, позы, ничего не выражающие. Подросток, мойк примерно лет, сидевший справа от меня, явно старался копировать манеру лидеров здешнего литературного процесса. Сидел он как отличник, строгие его очки смотрели в мои строчки вполне бесстрастно, только на круглый лобик время от времени набегали две привычные морщинки. Напротив меня сидел старичок счетоводческого вида, мне казалось, что он иногда очень хочет поправить подрукавники, так забавно он поводил плечами. Он читал самое мрачное мое стихотворение «Смерть в ночи». И улыбался язвительной улыбкой, ему, видимо, только что удалось поверить гармонию алгеброй. Рядом с ним располагалась женщина, принеся хозяйственные сумки,— ее я боялся почти так же сильно, как Папченко. Вид двух ее соседок меня, наоборот, успокаивал. Они были явно подружки, обеим под сорок. Они поглядывали на меня лукаво и добродушно. И совершенно я не знал, чего мне ждать от парня в белой рубашке с закатанными рукавами. Он был загорел до неестественной коричневости. Когда он брал очередное мое стихотворение, я обратил внимание, что его пальцы жестоко изъедены

горюче-смазочными материалами. На груди поблескивал в вырезе рубашки шрам. Лицо у него было красивое и открытое всем эмоциям. Энергия этих эмоций копилась не в выгодном для меня направлении. Я вспомнил свой «розовый сон», «негу», «лобзания» и понял, что мне несдобровать, несмотря на то что каждый год езжу на уборку картошки и свеклы, умею завести трактор, подоить корову и косить.

— Ну-с,— сказал Лев Львович,— кажется, все ознакомились. Кому желательно начать?

Я не ожидал, что начать захочет загорелый парень. Он собрал перед собой на столе уже немного растрепавшуюся рукопись, положил на нее свою серьезную ладонь, как бы успокаивая мальчишескую мятежность написанного, и попытался посмотреть мне в глаза. Ему это не удалось, я успел потупить взор.

— Все мы,— загорелый широким жестом обвел помещение,— прошли через это. Все мы (между счетоводческого вида старичком и очкариком справа от меня было лет пятьдесят разницы) в свое время заблуждались.— Он опять обратил взгляд на меня.— Ты уйдешь от этих стихов. И придешь к другим стихам. Ты должен к ним прийти. Я считаю, что на тебе нельзя ставить крест, что бы тут ни говорилось. Вспомните, как начинал я? С какими я пришел стихами. Я ушел от тех стихов. Я пришел к другим стихам...

— Позвольте мне,— аккуратно поднял руку «пионер».— Я считаю, что главный недостаток автора представленной подборки—это недостаток литературной культуры. Культурная литература невозможна без опыта предшественников.

— Вы отрицаете новаторство как таковое? —внезапно, но солидно спросил Папченко. Он на мгновение поднял голову, и крупная лукавая искра блеснула в его глазу.

Звонарев замялся, посмотрел на Папченко с какой-то давней затравленностью во взоре, но заставил себя продолжать...

— Но обратимся к тексту... Автор рифмует подчас довольно небрежно. Судите сами: «воды — темноты» — это бледно, или «человек — век» — это банально...

— А вы в душу ему заглядывали? Он положил перед вами эти верительные грамоты сердца, попытались вы вникнуть в них, сопережить, вложить силы собственной

души? Вы понимаете, когда вчитываешься в эти стихи...

— Он уйдет от этих стихов.

Папченко даже не посмотрел в сторону репликанта.

— Когда в них вчитываешься, когда начинаешь думать мыслями этого человека, чувствовать его чувствами, как-то по-новому все видишь. Мир его по-своему богат. «Все еще спит...» — прочитал Папченко в могучей задумчивости мою строчку. — Вы понимаете, все еще спит. Открывается картина целого туманного утра. И неплохая картина.

— Он рифмует «спит — крик»...

— Ну и что, а картина-то есть. Вот вы рифмуете «некоммуникабельность — некому кабель несть» и все равно не Маяковский. Не в рифмах же дело, не в строчках.

— А в чем? — не унимался въедливый Звонарев.

Папченко посмотрел на него с сожалением.

— А в том, есть у тебя сердце или нет. Вот так. Да, но не все в стихах нашего молодого гостя мне нравится. Не все. Есть у меня к нему и претензии. Возьмем стихотворение «Огонек». Герой хочет спасти некий огонек, пытается хранить в тепле своих ладоней, укрывает его от врагов — ветра и дождя. Похвально. Но в конце-то огонек гаснет. Почему гаснет огонек??? Я не согласен с этим образом. Пусть сильнее грянет буря. Ветер, дождь, буря, ливень, но пусть огонек разрастается, разрастается, пусть бушует пламя. Не надо гаснуть огоньку.

— Он придет к другим стихам.

— Да, я согласен, в путь, мой молодой друг, в путь. — Папченко слегка потряхнул своей шевелюрой, давая понять, что пока все.

Лев Львович начал приготовление следующей трубочки. Он поблагодарил Папченко, он был им, как всегда, доволен.

— Может быть, у кого-нибудь еще созрели мысли?

— Можно нам? — сказала одна из сорокалетних подружек. — Вот мы тут прочитали эти стихи, — подружка всем своим обликом подтвердила, что все произносимое подругой, и ее мнение тоже, — Сашины стихи нам понравились. По стихам видно, какой Саша добрый, искренний человек. Как он любит природу. — Перед «природой» она сделала такую паузу, будто боролась с желанием произнести — «маму». — Как он любит птиц. По

стихам видно, что он скромный и добрый. Мы очень рады за Сашу.

На рукописи перед моей фамилией действительно стояла буква А, но звали меня Андреем. Сказать этой доброй женщине, что она ошиблась, я не посмел. Пусть будет Саша.

— Так, товарищи, у кого еще созрело мнение,— Лев Львович пристально оглядел ряды литобъединенцев хозяйским взглядом. Чтобы не дать обсуждению пойти по пути терминологических препирательств и казуистического уточнения мелких истин, он не дал слова Звонареву, который корректно, но настойчиво тянул руку. Лев Львович решил, что полезнее в этой ситуации выслушать сухопарого старичка, который все время загадочно улыбался и помалкивал со смыслом. Он не только не рвался выступить со своим мнением, он даже, наоборот, делал вид, что не прочь устранился. Черты лица у него были мелкие и мимика поэтому быстрая и малоуловимая...

— Евсей Кузьмич,— сказал Лев Львович, немного наклонясь вперед, как бы высматривая скромного служителя музыки, затерявшегося среди своих более бойких собратьев,— вам слово. Я видел — вы прочли.

— Прочсть-то я прочел...

— Ну, и?

— Лучше уж промолчу.

— Евсей Кузьмич, как же так?

— Я думаю, так будет лучше. Для всех.

— Позволяю себе усомниться. Вам необходимо выступить.

— Есть у меня, конечно, две-три мысли... Но стоит ли?

— Необходимо.

Счетовод востренькими пальчиками положил перед собой несколько моих безвольно гнущихся, беззащитных листиков.

— Надо сказать, кое-что вызывает любопытство. Кое-что не без свежести. «Все еще спит...», скажем прямо,— строчка точная. Но сильные строчки — это не моя, кхм, встчина,— он обвел всех быстрым взглядом, все ему заулыбались. Некоторые заискивающе.— Никто не обратил внимания на заглавия в этой рукописи (все сокрушенно поморщились). Частенько они в этой рукописи, мягко говоря, не продуманы. Возьмем, к примеру,

стихотворение «Полет». С ним происходит такая же история, как с известной песней «Пропала собака».

Евсей Кузьмич замолчал. Промолчал с минуту, пока не вынудил переспросить:

— А что случилось с этой песней?

Евсей Кузьмич, как бы неохотно оторвавшись от рукописи и как бы слегка нехотя, пояснил:

— Известная песня «Пропала собака» начинается словами: «Висит на заборе, колышется ветром...» Разве не возникает вопрос — что сделали с бедной собачкой?

Евсей Кузьмич терпеливо переждал взрыв хохота.

— Теперь посмотрите, как начинается стихотворение «Полет».

— Там что-то про поезд, — сказал озабоченно загорелый парень.

— Вот именно, Сашино стихотворение «Полет» начинается строчками «Медленно катится тяжкий состав».

По аудитории прошла вторично значительно более скромная волна веселья. Мне вдруг сделалось невыносимо жарко, как на солнце. Я чуть было не кинулся объясняться. Я хотел... Евсей Кузьмич продолжал:

— Теперь обратимся к стихотворению «Монолог ветерана». Меня оно, как ветерана, заинтересовало крайне. Прочитав его, я расстроился. Стихотворение начинается с обращения к своей ране: «Не буди меня утром, рана!»

— Это Есенин! — бурно воскликнул, одновременно ударяя себя кулаком по лбу, загорелый. — То-то я сразу почувствовал...

— Верно, это почти точно строка нашего замечательного лирика. Дальше — больше. Я хочу вам, Саша, сказать от лица ветеранов, ничего подобного мы не думаем и со своими ранами, даже в самый горький час бессонницы, не разговариваем. Тем более так.

— Евсей Кузьмич, — вступил деликатнейший Лев Львович, — не стоит, думается, так наваливаться на начинающего поэта. Все мы не без греха. Все «рифмуем порой приблизительно».

Евсей Кузьмич, непонятным для меня образом задетый за живое, отодвинул мои стихи в сторону и стал демонстративно смотреть в пространство.

— Нет, правда, Евсей Кузьмич, вот вы же сами отмечали славную строчку «Все еще спит...».

— Да, отличная, отличная строчка,— энергично подтвердил загорелый парень.— Он придет, я знаю, он придет к настоящим стихам.

— Да и эта строчка, и другие несколько есть,— затапаторили подружки.

— Безусловно,— особенно солидно и очень сочувственно сказал Папченко,— характер поэтический. Легкий недостаток бурливости, а строчка смачная. «Все еще спит...» — произнес он нараспев.

— Я не понимаю,— впервые за все обсуждение вступила в разговор мрачная женщина с хозяйственными сумками,— кто это такой, который все спит и спит?!

Гомон стал всеобщим. Женщину эту, видимо, недолюбливали, сразу человек пять кинулись ей объяснять, в чем она не права, что поэтический язык имеет свои законы и т. д. и т. п. Выяснилось, что обсуждение идет уже два часа. Все устали и признались в этом. Можно было подводить черту и расходиться. Первыми упорхнули добрые подружки, бросив мне на прощание по подбадривающему взгляду. Солидно ушли Папченко с Евсеем Кузьмичом. Презрительно улыбаясь, ушла хозяйственная женщина. Звонарев, как бывший тимуровец, помог ей с сумками. Загорелый парень похлопал меня по потному плечу и напоследок представился: «Георгий». Я несколько секунд хлопал глазами, пока не выдавил: «Саша». Лев Львович наконец закончил собирать свои курительные принадлежности. Мы остались с ним вдвоем.

— Ну-с, молодой человек, идемте.

Я торопливо собрал свои листочки и поспешил за ним, плавно удаляющимся.

Мы быстро свернули с пыльной улицы на набережную и отправились вдоль нашей тишайшей речки. Над ее ленивыми волнами росли липы, дававшие вволю тени любой — и густой, и рассеянной. Присутствовал и сдержанный шум листвы. И вообще вечерело. Томно, пустынно. Блики на воде. Невидимый с невидимой смеются за деревьями в лодке. У Льва Львовича оказалась не только трубка, но и трость. Я с наслаждением сопровождал такому респектабельному и культурному человеку. Когда он повернулся ко мне, глаза его были печальны.

— Молодой человек, я хочу показать вам один документ. Не знаю почему, но мне хочется показать его

именно вам. Мне кажется, это будет и символично, и поучительно.

Я напрягся. Он полез в свой внутренний карман и на несколько секунд дал мне поддержать очень официальный на вид лист бумаги с огромным ярким штампом в левом углу. Холеный ноготь Льва Львовича подчеркнул то место в машинописном тексте, которое нужно было прочитать прежде всего: «...Ваша рукопись не может быть рекомендована...»,—и листок, хрустнув, сложился и вернулся в темные недра внутреннего кармана.

— Мне шестьдесят лет, и вот итог... А когда-то, когда-то я был только чуточку старше вас, одно мое стихотворение похвалил П. Антокольский. Даже не все стихотворение, а одну строчку...

А я стоял и думал, что он напрасно старается, я и так уже решил, что больше никогда никаких стихов писать не буду.

ЦИРК

Улица была пустынна. Она плавно поворачивала налево и столь же плавно накренилась. По обеим сторонам беленые заборы, преодоленные мощной растительностью садов,—везде сквозь штакетник и над его деревянными острями торчали ветви. В основном вишен. Тротуары были заляпаны раздавленными ягодами. Тишина. Человек, стоявший на тротуаре, снял черную шляпу и проворно вытер скомканным платком потный лоб. Он был странен, этот человек. Хотя бы тем, что был так неуместно одет — во все черное и в такую жару. На улице не было ни души. Это не казалось ненормальным, потому что отовсюду доносились то ли отзвуки, то ли мановения скрытой, но очень и очень полновесной жизни. Итак, человек прислушался, но слух его так и остался в растерянности, он ничего не мог без помощи воображения. Но если, допустим, все внимание направить вот на этот сад, то в глубине его не могла не почудиться среди горячих замысловатых, чрезмерно обильных цветов, растений, среди всевозможных деревянных садовых устройств, в переплетении теней и пятен света мощная, тяжелая пче-

ла, стоящая в полной неподвижности, как рыба под водой.

Человек в черном еще раз осушил лоб и, медленно ступая по великолепной — затылочек к затылочку — булыжной мостовой, отправился вниз по улице. Шагов через сорок его движение остановил вид колонки. Напиться! Струя внезапной воды с хрустом ударила в асфальтовую чашу и развесила на шершавой шерсти черных брюк огромные капли. Не без приключений человек в черном напился. Это его так взбодрило, что он чуть было не сделал движения снять свои черные очки, но с такой поспешностью перехватил это свое движение, что могло показаться тому, кто за ним бы наблюдал, что ему снимать очки запрещено категорически. Тем более что впереди, почти тут же сразу, начиналась площадь. Выход к ней пролегал мимо аптеки, во дворе которой высился громадный, как для дирижабля, сарай, возле сарая, совершенно несоответственно, стояла всего одна лошадь и с отвращением что-то жевала. За сараем виднелось мелкое городское болотце и камыши.

Площадь окаймлялась следующими зданиями: гостиницей в два этажа — причем базис монолитный и мрачный, а надстройка вся в каких-то каменных кружевах и отштукатурена тщательнейше; дальше ресторан с наименованием патристическим, но банальным: «Березка», он сильно поблек ввиду появления в глубине городского парка своего молодого конкурента, названного не без зазывности именем прилегающей речки — «Чара»; рядом с рестораном здание правительственного учреждения, как ему и положено — строгое и чистое; особое внимание обращал на себя вход в парк, бывший поблизости. Во-первых, потому, что бросалась в глаза его очевидная нелепость, — колонны, обозначающие его, были воздвигнуты явно по конкурировавшим проектам. Одна четырехугольная, другая круглая, одна с флажком наверху, другая с вазой, одна побелена, другая белится, но побелена будет вряд ли. Во-вторых, на квадратной колонне висела афиша — на ней был изображен тот самый человек, с которым мы спустились вниз по пустынной улице и напились воды у колонки. Он теперь стоял и смотрел в это бумажное зеркало. Он чувствовал, что похож очень, и стоял так, как будто чего-то ждал. В-третьих, в этом парке как раз катался на велосипеде я. Мне было лет тринадцать. Еще длились каникулы. В парке бы-

ло прохладнее, чем где бы то ни было, и мы с приятелями весело петляли по кривым неасфальтированным дорожкам, по которым струились ручьи, состоявшие из теней и пятен света. Тут же и произошла моя встреча с человеком с афиши. Вильнул руль, я проскочил меж двумя липами и оказался у выхода из парка и увидел его прямо перед собой. И испугался. Резко повернул влево, обратно, продребезжал по корневищам и канул в чаще, расстался с артистом-иллюзионистом, вышедшим на прогулку по нашему парку, начиненному велосипедными играми.

Эта встреча, разумеется, не могла быть последней. Я уже знал об ярко-черной афише, нашлепнутой на белую колонну. В нашей беседке на огороде меж кустами сирени и черемухи перебивали в этот день почти все мои одноклассники. Мы не могли не собраться и не обсудить этого громадного, по меркам нашего городка, события. Мы все вместе счастливо томились в каникулярном безвременье, не всря в возобновление школьной жизни. Так, огородами, задворками, новость облетела весь городок, и человек в черном напрасно думал, что он одиноко и неприметно прогуливается по улицам и площади. На самом деле продавщица в овощном магазине, мать Толика Суровицкого, сквозь отсвечивающую наклонную витрину внимательно следила за каждым его шагом, и шофер рейсового автобуса, старший брат Саши Черного, куривший в глубокой тени возле автокасы, даже забычковал сигарету и сощурился, как бы говоря «ну-ну», лошадь же у аптечного киоска вскинулась и прекратила жевку, чуткая ко всеобщему напряжению. Я уж не говорю про Валентину Сигизмундовну и ее дочку Вику, собиравшихся на речку и стоявших на остановке и не пялившихся на иллюзиониста только из большой воспитанности. Володька Кавалевич, сидевший на самом верху лесов, облеглих по одному краю сухощавое здание костела, не мог быть им замечен по причине необычайно жесткого и высокого воротничка, подпиравшего затылок.

Завершающим штрихом к этой картине скрытого, но нарастающего интереса был дребезжащий выезд велосипедной кавалькады из парковых ворот и шумное исчезновение за поворотом улицы Адама Мицкевича. Мы как бы доплели сеть, продели по ее краю все петли и на хорошей скорости втянули в самые недра местного обра-

за жизни. Ибо по насыщенности вишневыми, яблоневыми и прочими кронами эта улица была, пожалуй, равна омуту; именно на этой улице росли самые теплые помидоры, самые колючие огурцы, медленнее всего ходили куры и жили самые кичливые невесты, то есть все было по-настоящему слонимским.

Так до вечера и продолжалось, то есть всем становилось все интереснее и интереснее узнать, что значит приезд и концерт этого человека. В наше, совсем уже просвещенное время все представляют себе, что такое иллюзионист, но когда человек в черном костюме, в таких очках и в такую жару ходит по городу, ни с кем не здоровается и требует в гостинице отдельный номер — то это другое дело. Мне было тринадцать лет, и я сразу решил, что конечно же этот приезд связан со мной. Не то чтобы у этого человека был против меня какой-нибудь умысел или моя фамилия записана у него в особой книжечке, а просто мне показалось, что я должен как-то соответствовать факту его присутствия в городке. И я особенно рискованно выгибался на своем велосипеде, джигитуя среди других ребят, и даже смеяться и разговаривать старался не так, как всегда, а напуская на себя загадочность и значительность. Внезапно явившаяся к нам тайна стала распускать вокруг себя магические круги. Примерно так же вели себя и остальные ребята, ибо в этом возрасте почти нет людей, не склонных хоть к каким-нибудь формам мистики, поэзии и воображения.

О поведении иллюзиониста стало известно многое. Например, он пообедал. Это было досадно. Хотелось, чтобы он был чуть менее материальный, раз уж у нас такая жажда чуда. Прозаические подробности нагоняли тоску. Тем более что пообедал он в ресторане «Березка», чего, по-моему, не делал никто и никогда. Самые первые посетители появлялись в нем лишь с наступлением темноты и только с целью выпить, никому не приходило в голову там есть. Впрочем, «Березка» уравнивалась известием о том, что он зашел в парикмахерскую. В этом месте необходимо кое-что пояснить. В парикмахерской работал Игорь Арнольдович Ромишевский. Мастер чудесный. Человек совершенно рыжий. Ему было лет средне — между «под шестьдесят» и «за шестьдесят». Мастерство он постигал в Польше, а сын его учился иностранным языкам в Ленинграде, и от одного и от другого

обстоятельства пахивало несомненным благородством. Считалось, что Ромишевский — человек, выдавший виды и с очень славным характером. К примеру, он единственный дружил с Борисом Павловичем Пальцем, от которого сбежала постепенно вся его семья.

Так вот у Игоря Арнольдовича иллюзионист провел полтора часа. За закрытыми дверьми. И по выходе на его лице не было видно никаких следов парикмахерского вмешательства.

В августе в наших краях темнеет довольно рано, и уже в восемь часов в парке было полно людей. От темноты листва стала как бы влажной, и в ее шелесте появилась известная таинственность. В глубине парка, на самом берегу реки Чары, осветилась гигантская пасть эстрады, задребезжали нервы оживляемых инструментов, и издалека казалось, что обрывки музыкальных фраз ныряют в серебристую глубь реки. В парке, справедливости ради надо сказать, было несколько аттракционов, и некоторые из них даже пользовались популярностью. Имеется в виду, что не все гуляющие кинулись к ограде танцплощадки, на которой готовился блеснуть заезжий артист. Но ради той же самой справедливости надобно заметить, что много еще в нашем народе, особенно провинциальном, косности и самого несносного нелюбопытства. Итак, поскрипывали карусели, щебетали дети. Где-то вымахнула качель из-за лип и вытащила за собой вторую, третью, кто-то, интимно похохатывая, носился по зарослям, и напрягшийся наблюдатель с разочарованием обнаруживал его выходящим из кустов в обнимку с воздушным шаром.

Мне было тринадцать лет, и слишком велика склонность преувеличивать ажитацию в городе, но чувствовалось, что во всех возрастных слоях бродили какие-то слухи, докатившиеся от других райцентров. Они были так причудливы, что их причудливость можно было объяснить только тем, что, катясь к нам, они так накувыркались в пути, что в них многое просто стало с ног на голову.

Музыканты — ребята, известные всем, — деловито возились с инструментами, сквозь путаницу растрепанных проводов и разболтанных разъемов добираясь к сверкающему миру объединенной музыки. И вот наконец про-

бежала по сцене искра, роднящая все инструменты, и руководитель ансамбля Толик Патройный, толстячок с огромной пряжкой в виде бычьей головы на черных брюках и в рубаше с огромными отворотами, ослепительно улыбнулся в аудиторию. Ему ответили расстроенным, но общим гулом. Его все знали, многие любили. Часть молодежи слегка преклонялась. Он был направлен к нам из областного музпедучилища по распределению. Сначала дико тосковал в ссылке, но потом сколотил этот ансамбль и сразу стал фигурой районного масштаба, на уровне начальника ГАИ. Любимец и любитель женщин... но это уже начинается сплетня, и стоит перейти к публике, ибо очень уж она клубится и накалена.

Толик видел перед собой весь город, и ему нравилось ощущение праздника и власти над всеми. А пришли действительно все: пришли продавщицы из нового универсама — они не носили вещей, которые продавали; пришел Гена Сочник, местный интеллектuala, ждущий ответа от приемной комиссии БГУ; пришли все три брата Селивановы — автомобилисты и не дураки, вследствие этого, выехать на природу; пришли подруги-практикантки из республиканского университета, обе некрасивенькие и поэтому с особенным презрением относящиеся к местным способам ухаживания; пришел Витя Саевич, тренер из спорткомплекса, — все знали, что у него есть японский магнитофон в его крохотной комнатке на улице Богдановича; пришли четыре студентки из медучилища — три из них бойко похихатывали, а четвертая была красива, делала вид, что измождена чем-то, курила, а кроме того, всем давала почувствовать, что этой ночью произойдет что-то ужасное; пришел даже Боб, то есть Женя Наливайко, человек удивительно интеллигентной души, робких манер, пьяница и непишущий поэт, он оставил у себя дома скомканные простыни на продавленном диване, кучу окурков на столе, над которым были вывешены поношенные портреты четверки «Битлз», причем один в траурной рамке; пришел молодой прапорщик Саша Антонюк, он был в штатском, но того, что он только что снял форму, совсем не чувствовалось, не то что у Петечки Свинчука, давшего отдохнуть своему лейтенантскому кителю только в силу того, что были ему сегодня тещей подарены новые джинсы. Пришли все бывшие возлюбленные Толика Патройного, в разное время ставшие жертвами его искусства. Они ничуть не сварливо дер-

жались друг с другом, понимая, видимо, что никто из них, в одиночку, несмотря ни на невероятную черноту бровей, ни на чудовищную изгибистость стана, не может претендовать на все внимание такого незаурядного человека, как Толик.

Словом, пришли все, и, что самое удивительное, пришел Игорь Арнольдович Ромишевский с Альбиной Точеной, когда-то первой красавицей города, а сейчас сорокалетней, циничной женщиной из сферы торговли. Она очень раздалась, погрузнела, и даже многочисленные драгоценности, процветающие в ушах, меж грудей и на плотных пальцах, казались порождением чрезмерной жизненной силы ее организма, а не вульгарными предметами роскоши. Да, она была бойковата, торовата, похамливала безответному покупателю, и мало кто (я не в том числе) знал про ее молодость, туманную, с какими-то романами, сотъездами, букетами, чьей-то смертью. Всем ведь кажется, что если человек стоит за стойкой или за прилавком и говорит вам неприятные вещи, то таким и принес его аист в капусту.

Мы с ребятами, не будучи еще пропускаемы по соображениям возраста на самую танцплощадку, приникли к просветам в ее ограде, так мы проводили каждые танцы и пока лишь в самых пряных мечтах переносились на освещенную окружность, и непременно в тот момент, когда неизменный Толик, небрежно ударив по струнам, начинает «итальяно веро».

Толик ударил по струнам и сделал шаг назад, улыбаясь за кулисы. Он приглашал гостя на эстраду. Тот появился. Музыка, при помощи всего оркестра, встала на дыбы, было в ней какое-то крепнущее ржанис. Иллюзионист остановился у края эстрады. Музыканты, оставляя его один на один с аудиторией, бесшумно удалились. Артист был в том же черном костюме, вернее нет, костюм был похож на дневной, но значительно чернее. Он поднял руки, призывая к тишине, впрочем, тишина установилась бы сама и уже устанавливалась — этим жестом он только констатировал ее наступление. Ну вот, вот тебе наше полное внимание! Он бесшумно щелкнул желтоватыми, как бы матерчатыми пальцами в сторону кулис, и оттуда появилась старушка, работница обслуживающего персонала парка, приданная заезжему арти-

сту в качестве ассистентки. В руках она несла небольшое детское ведерко зеленого цвета. Она поставила его посреди сцены и неторопливо ушла. Иллюзионист сделал несколько движений руками, эти движения, надо понимать, обозначали видимую часть скрытой фокуснической работы, совершавшейся в это время по отношению к ведру. Помахав руками, иллюзионист остановился, будто прислушиваясь. Потом повторил свои движения, опять прислушался, дернулся и резко обернулся и тут же стал звать свою ассистентку. Она пришлепала и, виновато кивая, поставила ведро так, как ее просили, как было задумано по сюжету номера, то есть не вниз дном, а вверх. Фигура артиста выражала неудовольствие, он рассчитывал застать у нас более высокий уровень ассистентуры. Тем не менее он в третий раз проделал то, что надлежало, и дружественным мановением руки пригласил близко расположившегося к сцене паренька подойти поближе и — паренек, напряженно улыбаясь, подошел и что-то стал переспрашивать — просто-напросто приподнять ведро. Иллюзионист не желал сам прикасаться к нему, чтобы никто не подумал, что он незаметно подложит туда что-нибудь в последний момент.

Паренек все сделал, как просили, приподнял, и мгновенно из-под ведра выпорхнула большая яркая птица. Публика ахнула. Он не зря мучил старушку: фокус получился что надо. Некоторое время оставалась тайной порода птицы, и, только когда она перестала шумно трепыхаться в воздухе и уселась на козлук электрооргана, все увидели, что это крупный попугай. Сидит гордо, поводя лобастой головой, и время от времени нервно привспархивает, когда оскальзывается на лакированном покрытии.

Фокус понравился всем, и все стали придвигаться поближе к сцене.

Конечно, это выступление забыть невозможно. Причем оно не было исключительно иллюзионистским, многие трюки он проделывал как гипнотизер. Например, он вызывал на сцену братьев Селивановых, и те, побряхтывая и ухмыляясь, взобрались, и старушка-ассистентка вынесла им гирию. Она несла ее с такой легкостью, что все сразу решили — пустая. И старший Селиванов тоже, он небрежно принял ее, и гирия грохнулась на пол. Публика громко и обидно захохотала. Были, были недоброжелатели у всесильных Селивановых среди мирных жи-

телей городка. Старушка-ассистентка незаметно для аудитории перекрестилась и быстренько унесла ноги. Видя, как старший Селиванов поднимает двухпудовку, как он напрягается, чтобы с наиболее молодецким видом передать ее, средний брат, изучавший в свое время сопротивление материалов, принял наиболее рекомендуемую наукой позу. Гиря оказалась опять легкой, и средний брат со всеми своими приготовлениями оказался в положении предуратком, нелепы были его перенапряженные мышцы. Братья со взаимным обалдением поглядывали друг на друга, им несладко было находиться в фокусе всеобщего внимания, зато все остальные искренне и бурно восхищались искусством иллюзиониста. Причем большинство имело аттестат об окончании средней школы и поэтому точно знало, что, несмотря на внешнюю необъяснимость происходящего, у него, слава богу, есть вполне физическое объяснение. Пусть таращат глаза, передавая друг другу непостижимую гирю, братья Селивановы, пусть даже этот черный дядечка увезет секреты фокусов неразгаданными,— главное, точно знать, что ничего сверхъестественного не бывает, что разгадка есть всему.

После защученных братьев иллюзионисту долго не удавалось никого завлечь на сцену. Он даже немного испугался, что сорвет себе номер, и тогда худощавый водитель автобуса, насмерть поссорившийся со своею супругой и поэтому почти с открытым безразличием относившийся ко всему в этой жизни, оказался подвергнут легкому, безоблачному опыту. Иллюзионист бросал в него шарики от пинг-понга, и тот с презрительной улыбкой доставал из кармана мелких щебечущих птиц.

Когда шофер покинул сцену, взгляд артиста обратился к почти уже позабытому ведру. Охотников ассистировать, подвергнуться любому испытанию было сверх меры, а выбран был некто Боря, кажется работник мясокомбината, парень совершенно рыжий и с фигурой удивительной крепости. Он подошел сначала к артисту и, к некоторому удивлению того, поздоровался с ним за руку, смиривая в это время оком предстоящее ведро. «Это?»— спросил он одними бровями у руководителя фокуса и, добродушно отпустив искусную руку, в четыре шага приблизился к ведру. Присел, приподнял и тут же кособоко отскочил в сторону, и через мгновение вся публика, навалившаяся на край сцены и поставившая на

нее свои локти, вздрогнула и отпрянула. На сцене лежала змея. Приподняла голову! Куда-то она скользнет? Она подняла голову еще выше и с неожиданной безошибочностью, маслянисто блеснув, заструилась к циркачу. Тот меланхолически поднял левую штанину. Змея обви-лась вокруг его бледной икры и, прицелившись, укусила под коленку. Артист всем телом сладострастно и кратко вздрогнул. Медленно опустил штанину.

— У вас дым идет из глаз,— закричало вдруг несколько голосов.

— Извините,— хрипло сказал артист и стал судорожно поправлять свои очки.

С этого момента начинается всеобщий испуг. Именно с этого момента публика ощутила, что стоящий на сцене человек обладает совсем особого рода властью над предметами и нет никакой гарантии, что от нее защищены люди, что вот сейчас он не начнет применять ее (почему нет — вон какой черный, чужой, жуткий) против собравшихся здесь. Испуг, конечно, не охватил всех сразу и каждого полностью. Он просто забрезжил на дне каждой отдельной души, блеснула там какая-то холодная металлическая плоскость, но на нее накатила волна смешанных чувств и впечатлений от того, что продолжало происходить на сцене. Вольно сейчас, успокоившись, раздумывать — что тогда происходило: сеанс ли массового гипноза, магическое ли действие, или просто супергений иллюзионистского искусства реализовывал порыв своего скрупулезного вдохновения.

Надо сказать, что все мы, то есть школьники, находившиеся за оградой танцплощадки, почти не поддались всеобщему смятенному чувству. Электрическим, пыльным, лихорадочным светом были освещены лишь наши застывшие меж досками ограды лица, тела же остались в темных объятиях родной районной ночи, но не зря волновалась за нас листва лип, столпившихся у нас за спиною.

Бывают такие моменты, когда в толпе зевак, среди переполненного зала или на орущем стадионе вдруг выпадаешь из всеобщего напряжения, и, хотя тебя не меньше, чем всех прочих, интересует происходящее на сцене, несмотря на то что на сцене кульминационный момент, начинаешь почему-то разглядывать зал.

Черный иллюзионист поднял руку и застыл. Потом поднял вторую, словно показывая размеры паузы. Все,

естественно, не дыша... опять же муха... А мой взгляд соскользнул со сцены и, шнырнув по залу без всякой цели, остановился на рыжей взбудораженной голове (все остальное в теснинах толпы) Игоря Арнольдовича Ромишевского. Рядом с ним стояла все та же Альбина, и она была тоже возбуждена, ее возбуждение отличалось от бесхитростного возбуждения парикмахера тем, что лишь просвечивало сквозь стойкую маску неимоверного презрения ко всему, даже к творившемуся на сцене. И я подумал, что ведь я знаю о ней значительно больше, чем приходит на ум в первый момент, когда согласишься на человека. Забираясь в неглубокий колодец своей памяти, я, к своей радости и удивлению, обнаружил, что он свободно общается с колодцем памяти отцовской, соседской, а там уж уличной и народной. Я видел, насколько очевидней стала красота Альбины, отсвечивающая из глубины этой памяти. В тридцать лет она была неотразима (рассказывал наш физик Эдуард Егорович), и кто-то очень настойчиво и совершенно неудачно хотел жениться на ней. А в двадцать пять лет (раздраженно, но часто расписывала наша соседка Ипполита Кузьминична) вокруг нее совершались какие-то поединки меж лучшими женихами, и не только нашего скромного райцентра, но и лучших парней из Пружан и Доманова, через которое регулярно шли поезда из Москвы в Варшаву. А в девятнадцать лет (уж и не помню, от кого я услышал) она была недоступнее и злее всего, и прямо перед калиткой ее двора произошла трагедия, кто-то — как говорят, юноша достойнейший — пытался хоть видом своего самоубийства расшатать сердце Альбины. Уже тогда она всем своим видом давала понять, что к ней даже и приблизиться может не каждый, разве только какой-нибудь герцог. Именно герцог, с полным включением в это понятие всего отжившего, романтического смысла.

Иллюзионист опустил руки... Разумеется, я был тогда ребенком, и все только что изложенные воспоминания явились мне в форме беспредметного, неполяризованного волнения и вспышки непонятного мне интереса... но не будем долго объясняться, иллюзионист как-никак уже опустил руки. Мы не расслышали, что он сказал, судя по судорогам в толпе, хотел-таки чего-то. А, на сцену... Долго никто не решался поддаться на казавшуюся коварной просьбу. Долго. С минуту. Он не выражал нетерпения. Чувствовал, видимо, созревают, решаются. Так

и случилось. Сразу двое. Справа — та девица из медучилища, слева — Женька Вавилов по прозвищу Дюдя. Почему поднялась на небезопасную сцену симпатичная медичка, было понятно — не могла же она допустить, чтобы такой вечер прошел просто так, даром же она сдерживала две грозы в глазах, распускала волосы, и не погибать же втуне в толпе этой нарочито разочарованной походке. Раз уж чувства взведены, надо дать им разрешение, и если рядом нет ни одного неленивого кавалера, то, стало быть, путь прямо на сцену, в блеск и ад цирка. Претензии Дюди были куда менее очевидны, скорей то, что он заскочил на сцену, было всего лишь выходкой. Все его знали как облупленного, как тракториста с учхоза. Не отличался он и опрятностью — чего же на него смотреть! Давай, давай, Дюдя, уходи! И зрители и артист были едины во мнении на этот счет. Парень Дюдя всегда был покладистый, но тут вдруг разобиделся... но всем было слишком не до его чувства справедливости. На него закричали, и он сошел, шепча под нос угрозы.

Хозяин праздника указал на змеиное ведро. Медичка улыбнулась, как улыбалась бы, наверное, и внезапной, но желанной смерти, — она была готова к настоящему испытанию. Она подошла к ведерку. Что, опять просто поднять? Присела, голубые брючки налились... сзади меж блузкой и брючками мелькнула полоска живого загара. Она склонилась к ведру и слегка-слегка оторвала одну его сторону от пола, так, чтобы, если там снова змея, выпустить только ее шипение. Наклонила еще чуть-чуть... И тут я сорвался с цементной приступочки, в которой были укреплены доски ограды. Я не только сорвался, но и пребольно треснулся подбородком о свое собственное колено, и несколько секунд я пробыл там внизу, в темноте, с ободранным коленом и ртом, полным смеси соли слез и крови из прокушенного языка. Я прокусил его так сильно, что на всем оставшемся рассказе будет ощущаться, что я говорю как будто с некоторым затруднением, и это слегка исказит верное изображение картины.

На приступочку я, конечно, вскорости вернулся, но сюжет чуда был мне уже непонятен. И глазами Наташи Ростовской на балете я увидел, как та самая девушка отшвырнула от себя ведро и бросилась в толпу, недавно ею с презрением покинутую. Ведро описывало дребез-

жащий полукруг по дощатой сцене, девушка торопливо бежала по танцплощадке к выходу. Толпа перегруппировывалась таким образом, чтобы быть подальше и от ведра и от девушки. Девушка убежала. Ведро остановилось. Из-за кулис появилась старушка-ассистентка и, равнодушно его подобрав, унесла с собой. Ей, должно быть, было известно нечто, позволявшее не ждать от этой жестянки ни чуда, ни боли. Попугай, равнодушно сидевший на кожухе электрооргана, в очередной раз поскользнулся на полировке, шумно взлетел, тяжело повитал и мирно уселся на плечо хозяина. Этот птичий жест произвел хорошее впечатление, сцена стала похожа на что-то привычное. Фокусник с птичкой, и слава богу... Фокусник сделал жест за сцену, и оттуда две старушки вынесли ящик, в котором принято в цирке распиливать женщину. И какова же была радость публики, когда стало понятно, что как раз этим человек в черном и собирается заняться. Несколько женщин тут же предложили себя, но были отвергнуты по каким-то разным, но одинаково непонятным причинам. Не эта, не эта, не эта... Какая же тебе нужна! Двойным орлиным (попугай на плече старался изобразить птицу похищнее) взором был медленно окинут весь сонм публики, замершей в предвкушении. И выбрана была... Альбина. 'Это только для нас с вами, читатель, выбор был само собой разумеющимся, потому что не могло же этой сорокалетней продавщице столько внимания на этих страницах уделено просто так. Публика, напротив, была потрясена. Альбина была смущена. Но пошла. Как-то нельзя было не пойти. Фокусник дождался ее у ящика, поклонился ей в две головы. Альбина не реагировала на его ужимки, вся жизнь ее состояла в том, чтобы не реагировать. Он объяснил ей, как лечь в ящик. Сделать это было очень легко, не испытывая при этом никакого неудобства. Она легла, ящик закрылся. По знаку фокусника на сцену не торопясь, неуверенно улыбаясь вышла джаз-банда Толика Патройного. Они все видели из-за кулис, и сцена казалась им чем-то вроде заминированного поля. Они знали на ней каждую досочку и теперь были неуверены в каждой досочке... Боязнь наступить на что-нибудь, вроде недавней змеи, лишила артистизма и естественности их походку.

Фокусник улыбнулся залу, улыбнулся музыкантам, и тут я (горжусь тем, что именно я и что единственный

среди всех) правильно почувствовал приближение финала. Затевавшийся трюк с распиливанием наверняка должен был быть последним. И стоило отказаться от наблюдения над этим последним, и конечно самым сдобным, фокусом во имя того, чтобы попробовать взглянуть на обратную сторону медали. Попытаться оказаться на кухне этого пиршества. И я, спрыгнув со своей приступочки, отправился за кулисы. Я точно чувствовал, что должно произойти что-то значительное, может быть, даже какое-то преступление. Недаром он, под видом необходимости музыкального аккомпанемента, удалил за сцену всех ребят Толика Патройного и подыскал даже работу своей ассистентке. Вот она выходит и держит край шелкового покрывала, наброшенного на ящик. Недаром же он стоит в глубине сцены, у самого выхода с нее, чтобы отдать последний приказ к началу фокуса и кануть в темноту.

Итак, я спрыгнул с приступочки и сквозь влажные заросли кинулся... дробь сердца обгоняла удары барабана. Пока я метался в темноте, пока перебирался через одну оградку, через другую, приоткрывал фанерную дверцу, отклонял пыльную портьеру, каждый раз затаивая дыхание, на сцене происходили привычные манипуляции, как-то: медленное, торжественное стягивание покрывала, откидывание передней стенки ящика и всеобщий ах, потому что ящик — пуст. Где же Альбина? А Альбина была здесь. Через окошечко старой кассы я видел, как там внутри стоит наша продавщица, состояние ее — быстро проходящее обалдение и стремительно нарастающее неудовольствие. Перед ней... я не сразу его узнал, он был без очков — черный фокусник. Глаза, прежде всего бросились мешки под ними, полные слез. «Я не мог не вернуться». — «Зачем этот балаган!» — «Ради тебя». — «Да за каким чертом?!» — «Я ждал этого двадцать лет!» — «За эти двадцать лет ничего не изменилось». Я забыл сказать, что во время этого диалога он стоял перед нею на коленях и держал ее за колени, вернее, пытался удержать. Она вырывалась, вырывалась, вырывалась! Толкнула легкую дверь и выпорхнула на сцену. Я услышал гул восхищенных голосов. Фокусник — мне казалось, что его лицо мне чем-то знакомо, — рухнул на пол и разрыдался, а ничего толком так и не понявший оркестр Толика Патройного, кособоко, но напористо грянул марш «Советский цирк..!»

ЛЮБКА

Однажды в разговоре с моим хорошим приятелем Юрием Д. мы мимолетным образом коснулись одной интересной темы. Юрий Д. сказал, что есть люди, как бы отмеченные некоей печатью (обычно это становится заметным еще в детстве), жизнь их кажется более зыбкой, чем жизнь других людей, и результат ее представляется скоропостижным и непременно трагическим. Он не стал развивать эту тему в подробностях, упомянул только о двух своих приятелях, которые склонны были испытывать судьбу, как бы все время шли на запах опасности. Неизвестно, что их вело, слишком ли острое ощущение жизни или, может быть, переполненность ею... Разговор тем временем шел дальше, я механически продолжал в нем участвовать, а сам никак не мог сойти с предыдущей темы. Когда-то, очень давно, мы с Иваном Романчуком лежали, уткнувшись в жесткие дубовые листья, а над нами свистели пули. Мы лежали в неглубоком окопчике, оставшемся после позапрошлогодних учений, а шагах в двадцати от нас, на маленькой полянке, горел костер, в котором время от времени с хрустом рвались патроны, и сбивчивая очередь разносилась в холодном синем сумраке по октябрьскому лесу. Мы пролежали так часа два, вжимаясь в землю, пока костер не погас совершенно. Я после этого случая не рыскал по заброшенным дотам и не устраивал испытаний залежавшихся с войны боеприпасов. Другое дело — Романчук (он мне, кстати, нравился дьявольски — черный, гибкий, ловкий, шутник, вырви гвоздь. Он не боялся ничего, умножал в голове трехзначные числа, перекусывал бронзовую проволоку). Через год ему оторвало у очередного костра три пальца на левой руке. Он не затих. В него стрелял рыбнадзор на Иссе. Возле канала — там мы купались — делала пологий поворот железнодорожная ветка, и если изловчиться (поезд возле старых боен сильно сбавлял ход) и запрыгнуть на подножку, то можно было докатить до песчаного карьера и прыгнуть с небольшой высоты на крутую песчаную насыпь. Такое у нас было развлечение. Чем дольше держишься на подножке, тем больше скорость, тем отвеснее стена карьера. Я, как и большинство, выпрыгивал почти сразу и летел вниз, несколько раз перекувырнувшись, тороп-

ливо вскакивал на ноги, чтобы успеть рассмотреть, как уже вдалеке, с огромной высоты, замедленно, выпрыгивает одинокая фигурка и долго-долго катится вниз по почти отвесному склону...

Я не часто вспоминал о нем (Романчук в тридцатилетнем возрасте погиб где-то на Севере — то ли замерз, то ли сгорел), да и сейчас я вспомнил о нем, чтобы помедлить... Я не знаю, как мне начать рассказ о том, о чем я хочу рассказать.

Интересно, что Любка была моей одноклассницей. Мы даже родились с нею в одном месяце, но я никогда не чувствовал себя вровень с нею. Сейчас я ее много старше, но тогда она казалась мне много старше меня. Она, безусловно, была замечательным человеком в школе. Высокая (в это время девочки перестают расти, но мальчишки еще только начинают их догонять). Статная. Жизнь, переполнявшая ее, — воплотилась в ее внешности. Умница. Она только чуть-чуть не была полной отличницей, и то только затем, что это к ней больше шло. Училась с обескураживающей легкостью. Я помню ее поведение на уроках, и вообще, во всяком деле, в общественной жизни и в игре — она была безупречна. Справедлива, весела, великодушна. Учителя умные, понимая ее роль в классе, предпочитали использовать ее авторитет и были правы. В ней не было никакого самолюбования, и, стало быть, никакое ее действие не могло вести к какому бы то ни было нарушению порядка, смятению, нервозности. Она уже одним появлением своим вносила порядок, ясность и равновесие во все. Авторитет ее был не только школьный, но и поселковый. Когда ей лет было чуть поменьше, она неизменно являлась предводителем всех рыбалок, катаний, неожиданных походов, всех игр и затей. В то время, когда произошло это несчастье, она уже стала взрослеть и отошла от детских развлечений. Она слишком стремительно жила, мы были ей все как бы чуть-чуть скучны. Вряд ли она (или мы) отдавала себе отчет, но сейчас, вспоминая иные случаи, я вижу, что было именно так.

Она жила с матерью и двумя братьями в крохотном домике возле школы. Мать ее частенько сетовала на такое расположение дома, потому что во дворе всегда было полно школьного народу. Все прибегали к Любке водить компанию. Все время там что-то задумывалось, решалось, всегда очень много смеялись.

В своей семье Любка тоже выделялась, несомненно. Братья ее (близнецы) вели жизнь известного в наших деревнях и поселках рода — попивали. Были как-то плюгавы, тонковаты в кости и отличались скандальностью и ленью натуры. Любки они побаивались, и не думаю, чтобы очень любили, хотя гордость в связи с нею, несомненно, испытывали. Она не лезла к ним со своим воспитанием, но чем-то, скорей всего просто фактом своего существования, их все же уязвляла. Мать относилась к ней ровно, но тоже без страстной любви. На всех собраниях в школе, где яростно хвалили ее дочь, она лишь однообразно улыбалась, поджимала губы. Невозможно было понять, рада она или наоборот.

Неправдой было бы сказать, что в Любку все были влюблены. Она была очень хороша собой, но в ней не было бойкости деревенских, рано оформившихся девах. В ней была женская статья, но в союзе с тончайшей грацией. Впечатление от нее от всей получалось таково, что можно было, все в ней видя, ничего в ней не разглядывать, ни на чем не концентрировать своего едкого внимания. Мы не смели в нее влюбляться. Мы были зелены, мы не могли у себя в душе выпестовать ничего такого, что могло бы ее взволновать. Мы не удивились бы, появившись с ней рядом какой-нибудь принц, пилот или майор. С нами она всячески дружила, самых плохоньких и незамысловатых опекала. Отношения с Любкой одноклассников развивались при полной чистоте помыслов. Хотя что это я ручаюсь за всех? Так мне казалось, так к ней относился я (чисто и восторженно), а ведь вполне может быть, что существовал некий тайный трепет, обладатель которого поджидал ее в сиреневых кустах между школой и ее домом, чтобы так и не решиться выйти на освещенное пространство и заговорить...

Даже одноклассницы признавали ее полное превосходство над собой, позволяли ей царить, слишком очевидным было пересечение их интересов и ее.

Что меня привлекало в ней больше всего, больше внешней красоты — это абсолютное чувство справедливости. Скучно излагать и невозможно изложить сейчас все подробности тех пионерских и школьных дел, что потрясали наши тогдашние души, но она, ориентируясь в них с легкостью, безошибочно находила верный путь в путанице пионерских ссор. Она предлагала выход, которому радовались все, поворачивала дело таким образом,

что несправедливости и злоупотребления чьи угодно (хоть завуча) были всем очевидны и становились смешны. Поскольку учителям не делалось никакой поправки во время поисков истины, а учителя — люди, и слабости им свойственны, они тоже — не все, верно, — недолюбливали Любку, хотя и соглашались вслух, что судьба ей предстоит выдающаяся.

Чувствую, что мой словесный портрет сбивчив, более того, чувствую, что все время говорю о ней не самое главное. Стыдно признаться, но сильнее всего мне врезался в память ее загар. Есть загар такого рода, что кожа, пройдя все шероховатые и обгорелые стадии, становится — шелк.

Кроме того, я не могу отделаться еще от одного, совсем уж ни для чего не полезного впечатления (оно, к сожалению, тоже не работает на углубление образа, но не может перестать мне сниться): утро, тишина, посреди того отдаленного июля звонко хлопает дверь веранды, и по чистеньким, разошедшимся ступенькам Любка в белом сарафане медленно спускается на кирпичную дорожку и идет к садовому столику в зарослях смородины, кладет темную ладонь на трепетную книжную страницу и так замирает, позволяя пятнистой тени переползать со своей ладони на робкие колени Катеньки Ершовой, сидящей рядом, на тарелку с влажными ягодами, что поставлена меж подругами, но тут образ начинает ускользать, и его неуловимость восхищает меня чудодейственно и всегда.

В физике есть закон, говорящий: чем больше скорость пули и чем ближе она к цели, тем больше вероятность промаха. Кажется, впервые мне сказал об этом наш физик Иван Михайлович, и это врезалось мне в память, как будто я точно знал, что окажусь в нынешней ситуации, когда мне нужны будут всякие сложные формулировки, чтобы объяснить хотя бы самому себе, почему я не могу справиться со своей задачей рассказать, что же такое была Любка и что с ней произошло.

Наиболее наглядно мои мучения можно пояснить на примере воспоминания о доме, в котором состоялось окончание драмы. Итак — дом. Мне он известен в двух основных видах, равно не совпадающих с правдой.

Строительство затеял наш колхозный зоотехник. На краю поселка, посреди старого, даже старинного, но выродившегося сада. Деревья гигантские, шершавые, ко-

рявые. Зоотехник залил фундамент, наворотил шлакблоки, кое-как возвел крышу. Даже пол в одной из комнат настелил. И куда-то пропал. Мгновенно возникла вокруг могучая крапива, поселилась и внутри разнообразная трава, на крыше гнезда, под крышей бездомные запахи, снаружи всеобщее, тяжелое брожение ветвей. Ночью лунная полоска на хромированной ручке колодезного ворота. Все мое представление о мистике, романтике, тайне и смерти поселилось, за неимением поблизости замка, на этом заброшенном строительстве. Дом был загадочней кладбища и привлекательней клуба с танцами. И когда стало известно, что именно там случился последний акт драмы,— дом этот на некоторое время стал болезненно привлекателен для меня. Слишком пышно был воображен, слишком часто снился, слишком юн я был и слишком склонен оживотворять и приукрашивать окружающее.

Спустя восемь лет, вернувшись на каникулы после первого курса, переживая неудачную институтскую любовь, перешедшую уже в неврастение, я пошел пройтись после завтрака, сытного домашнего завтрака, и оказался поблизости от того места, о котором идет речь. Я простоял возле него недолго. Дом не сильно против прежнего разрушился как строение, хотя совсем рассохлись дверные коробки и половицы, выщербились шлакблоки,— он просто утратил самые сочные детали. Корявые сухие груши, пыльная крапива, щебенка, лопухи, битые стекла, нелепый проект, черные вороны, лениво поддерживающие общее карканье. Как все жухло, скучно и ясно насквозь! То, что произошло с Любкой, вся ее драма, от воспоминаний о которой и сейчас начинает холодеть в груди, произошла в некоем страшном окраинном обиталище, ничего не имеющем ни с тем загадочным замковым мифом в глуши древнего сада, ни с этим запущенным строительством на пыльном ветерке.

Все началось с того, что нам прислали нового математика. Он был другом Ивана Михайловича по институту, родом из деревни, расположенной неподалеку от нашего поселка. Он был женат, имел маленькую дочурку. Для жилья ему отвели крохотную квартиру в крохотном школьном флигельке. Человек, этот математик, был совершенно средний. Не плохой и не ангел, не красавец... да что там говорить, средний человек. Особенного блеска математического или педагогического

мышления он не проявлял в сравнении хотя бы с тем же Иваном Михайловичем, физиком. С женою своею он был в ровных и здоровых взаимоотношениях. Кто может знать, была ли там особенная любовь-страсть, какие-нибудь жаркие объятия вдали от посторонних взглядов — сказать трудно, но зато математик вытребовал у колхозного начальства огородик, жена его бурно принялась за соление, варение и прочее. Отдавалась и иным семейным заботам. Можно смело утверждать, что эта семья была крепкой ячейкой общества. В ее пользу говорит и то, что подобный образ жизни был полностью скопирован с образа жизни всех без исключения учительских семейств, в состав коих, наряду с преподавателями устоявшихся предметов, таких, как физика, ботаника и география, входили семьи преподавателей наук новых или утонченных — пения или обществоведения. Короче говоря, появление семьи математика было воспринято у нас спокойно и мирно, к семейству этому быстро все привыкли, тем более что оно изо всех сил старалось походить на старожилов. Ничто бы не нарушило равномерного хода вещей, если бы не одно событие — в математика вдруг влюбилась Любка.

Давно известно — пустой труд пытаться определить, почему та или иная женщина влюбляется в того или иного мужчину. Особенно необъяснимо бывает, когда такие, как Любка, влюбляются в таких, как математик. Он не завлек ее, не одурманил, не заболтал, не прельстил, не купил, не склонил, не принудил, просто настал момент, когда все вдруг заметили — она в него страстно и явно влюблена. Влюблена со всей мощью своей особенной натуры.

Сначала, я думаю, это ему даже льстило. Факт был известен всем. Она была настолько хороша и настолько созрела, что, так сказать, физически этот роман был представим, хотя, конечно, боящийся учитель старался считать, что это ни в коем случае не возможно. По крайней мере, все понимали, что он отказывается от чего-то реального. Мне кажется, в голове его могли зародиться некие мечтания. В общем-то досадные, туманные, мешающие невзрачному спокойствию его внутренней жизни. Впрочем, все презрение к математику, вырисовывающееся на этих страницах, целиком на моей совести — он был человек не хуже других. И разве можно кого-нибудь винить за то, что он внушил кому-то любовь?

Любка же, наверняка ничего не планируя, ничего конкретного не подразумевая добиться, вела себя так, как вела бы себя всякая влюбленная. Старалась выглядеть получше, стремилась все время попадаться ему на глаза, пробовала все время завести какой-нибудь разговор с предметом своей влюбленности. Она решила поставить себе на службу промышленность красоты в лице парикмахерши райпо, чем привела ту в трепет; она все время торчала за забором, огораживающим флигелек математика, и была непрерывно видна из окон как на ладони; на уроках она непрерывно задавала учителю вопросы, и, в силу того, что обладала несомненными способностями и имела разгоряченное воображение, ее вопросы ставили учителя в чисто математические тупики, а он этого не любил и частенько пребывал в ярости по этому поводу. Жене он сразу и все объяснил, но это не облегчило почему-то его совести. Жена сначала выказала полное понимание и даже сочувствие, но со временем стала обижаться на наличие такого факта, и он старался с ней на эту тему не разговаривать, боясь скандала. Итак — он мучался. Мучался, стоя у окна своей кухни, невольно высматривая в ночной тьме, за штaketниковой оградой, призрак белого платица. Загар сливался с мраком, но что-то мерещилось в темноте. Математик чувствовал себя и свое семейство, прикорнувшее на диване, в осаде. О, эта глазастая в темноте! Да, обязательно следовало бы сказать о ее глазах. То, что они были необыкновенны... Они были как-то особенно самостоятельны, как-то особенно живы, изменчивы бесконечно и сверкали всегда. И вот, несомненно различив волнение белого сарафана под липой у калитки, учитель вспоминал, как вчера, позавчера, и теперь, кажется, и всегда, входя в класс, натывался на этот болезненно живой взгляд. Наверняка он очень крепнет в темноте. И поэтому даже за стеклом и за цветастой шторкой он ежилась, ощущая излучение глаз влюбленной семиклассницы.

Можно попытаться разобраться, что же было делать в такой ситуации математику. Жена, дочь (грудная), квартира, огород, репутация (в деревне все всех знают); ей четырнадцать неполных лет, она не представляет себе, что творит. Но любит без памяти, ходит следом, молчит, глазами так и жжет. Все это очень вызывает к действию. Хоть к какому-то. Если б кто-нибудь знал, как трудно удержаться. Если бы спросили — от чего? — он

бы не знал, что ответить. Не соблазнять же в сарае. Развестись с женой? Бросить дочь? Уехать с семейством в другой город? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить — все это смешно, дико, все эти выходы — бред! Но что она там медленно мелькает в черно-синем дыхании липовой тени! Что ж там так мощно бьется ее детское сердце... И как же жить и понимать, что навсегда отказываешься от самой удивительной возможности... В минуты серьезных душевных переживаний даже заурядному человеку доступны тончайшие краски и самые сумасшедшие настроения. Мне не под силу описать глубину и силу душевной бури, разворачивавшейся в душе математика.

Около двух недель выдержав под напором крепчайшей страсти, он решил действовать, оборвать ситуацию резко, пусть даже грубо, чтобы не дать ей зайти на территорию каких-нибудь опасных осложнений. Конечно, он был горе-математик, пединститутский, честно говоря, неудачник, и была его наука всего лишь на уровне запросов районной жизни — посчитать огурцы или петухов, — но в этом повествовании наименование профессии приобретает почти символическое значение. Он — как бы алгебра, она — как бы... стихия. Ну так вот, он решил действовать. Внешне его к этому якобы толкнула беседа с завучем. Дикая, тупая беседа, жеманная, с хихиканьями и мужским грубоватым кокетством. Сплошные пошлые умолчания — все ведь всё понимаем, свои мужики, чего там, урезонь ты ее, черт ее подери, а? Таков примерно был смысл беседы. На самом деле все было тоньше. Математик по путям более тонких аргументов и более гибких материй пришел к выводу, что если ничего не предпринимать, то будет совсем плохо. Устал он вздрагивать от вида каждой открывающейся двери, бояться отойти от толпы учеников на школьном дворе, устал быть в ежедневной осаде.

Решить-то он решил, но план придумал не самый изящный.

Была у нас рядом со школой маленькая столовка в низеньком кирпичном домишке, и на большой перемене сбегались туда за пирожком и стаканом киселя почти все школьники. Изредка заходили туда и учителя. Именно там решил осуществить свой план затравленный педагог. Выждав после звонка на большую перемену минуты три, он стремительно проник в буфет, волнуясь, да-

же обмирая, но горяча себя злостью, напоминая себе о том, как беспокойно спят его дочь и жена последние недели. Любка стояла в очереди. Увидев любимого, она оцепенела. Вся очередь тоже, даже кастрюли в глубине кухни перестали греметь. Любка замерла, но вместе с тем подалась навстречу учителю, если уж не телом, то всем своим женским существом. Она не могла, хоть и на глазах у всех, противиться тяге к любимому мужчине, слава богу — это могло быть сочтено за желание ученицей уступить место в очереди своему педагогу. Учитель мог бы отнестись к этому факту с улыбкой, но страстно любимый мужчина перебарывал в нем в тот момент всех соперников, и он грянул в полный голос, специально громко, чтобы слышали все...

С этого момента события приобретают лихорадочный, катастрофический темп, и поэтому очень трудно восстановить связный порядок их. Примерно так же трудно, как точно вспомнить, какую именно фразу сказал математик. Я помню все сказанные слова, но я не взялся бы в их раскаленной куче отыскать первое, второе... смысл же был такой: как тебе не стыдно, девчонка, бегать за женатым мужиком. Сейчас, перечитывая эту фразу, вижу, что нет в ней настоящей, тогда, несомненно, бывшей гнусности и боли впечатления. Он говорил громко, скандально, злобно. «Где твоя девичья гордость!» Это я тоже запомнил. Это он уже ей вслед. Она так и рванулась вон. Так и рванулась. И пропала.

Надо сказать, вспоминая, я невольно драматизирую именно эту ситуацию, потому что смотрю на нее через мрачные пространства мрачного финала. Тогда ни я, ни кто-то другой особенно не испугались. Более того, никто не обратил внимания на тот факт, что на следующий день Любка не пришла в школу. Заволновались на третий день (кстати, не я). Кто-то пошел к ней домой. Дома ее не было, мать сказала, что она, скорее всего, в Залесье, у тетки. В тот же день хлынул дождь. Он шел до вечера. Дождь был мощный, тяжелый, природа как бы тоже хотела поучаствовать в разворачивающемся событии соответственно. Дождь шел всю ночь. Наутро Любки все еще не было. Мы снова, теперь почти всем классом, пошли к ней домой... Предчувствие заставляло держаться всех вместе.

Все стало известно нам как раз тогда, когда мы стояли у ее калитки. Кто-то прибежал, что-то сказал, и че-

рез секунду мы все бежали вверх по скользкой улице под все крепнущим ливнем. Постепенно выяснялись подробности. Оказывается, пока мы бродили, в магазин ворвался рыдающий солдатик — именно солдатик, совсем мальчишка — и стал кричать, что в недостроенном доме повесилась девушка и что он, это он, это он во всем виноват. Его отпаивали лимонадом, ничего больше он рассказать не мог и не хотел. Кто-то побежал в заброшенный дом — солдатик так перепугался, что даже не снял тела. Она висела на бельевой веревке.

Стало быть, события развивались так: после разговора в буфете Любка бежала, ей невозможно было смотреть людям в глаза, ей нужно было скрыться. Два дня она просидела на голом полу в недостроенном доме. Скорей всего, просидела в оцепенении, обхватив колени, — ее любимая поза. Обида выела ей всю душу. И позор, скорей даже позор. На третий день, глядь, — за окном солдатик, то ли из увольнения, то ли просто — неподалеку стояла маленькая военная часть. Он увидел ее в окне, стал было заигрывать, но она сразу позвала его. Он был не местный и не мог знать, что она семиклассница. Могу себе представить, что с такою красотой... «Я не знал, не знал!» — кричал солдатик, не требуя, впрочем, никакой к себе пощады. Она сказала ему, чтоб он пришел к ней завтра, он и пришел, про себя решив, что лучшей жены на всю жизнь ему не сыскать. Сбежал из наряда. Он все время плакал и бился. Учитель на неделю заперся у себя дома. Потом с семейством втихую уехал. Никто ему не сказал ни слова.

МОРСКАЯ ВОДА

Выйдя из автобуса на горячий асфальт, Жильцов осмотрелся; он должен был узнать это место сразу и вздохнул с облегчением, когда понял, почему не узнает: чужунный олень, стоявший на каменном постаменте у дороги, исчез, а сам каменный постамент полуразрушен.

Перекинув сумку с плеча на плечо, Жильцов спустился с дороги и вошел в хвойную тень. Тропинка огибала невысокий холм, поросший соснами. Жильцов шел

неторопливо, переступая обнажившиеся корни. Было тихо, где-то на другом конце леса скреблась белка.

Тропинка раздваивалась, правая выводила к морю, Жильцов свернул налево в овраг, заполненный почти до краев всевозможной зеленью. На дне оврага был родничок — маленькая ямка, наполняющаяся ледяной водой. Прежде чем удалось напиться, пришлось некоторое время постоять на коленях во влажном песке в ожидании, пока уляжется муть, поднятая кем-то пившим здесь минуту назад.

Перед тем как подняться на другой берег оврага, Жильцов отряхнул колени, застегнул клетчатую рубашку на вторую пуговицу, снял сумку с плеча и намотал ремень на руку.

Маленькая улочка в пять домов мостилась на узенькой полоске земли, за домами сразу громоздилась гора, поросшая кое-где кустарником. В конце улочки белели здания санатория и широкие лестницы сбегали к купальням. Этого Жильцов сейчас не видел, но отлично помнил. Улыбнувшись, он направился к крайнему домику, окруженному старыми сливами и старым синим забором, остановился у калитки, выискивая хозяйку где-нибудь в саду, — она могла стирать или поливать огород. Было бы лучше, если бы она оказалась в саду или во дворе. Но во дворе ее не было. Зато была открыта дверь с веранды в дом, и в дверном проеме раскачивалась марлевая занавеска.

Жильцов открыл калитку и вошел, поднялся на деревянную веранду. Там с левой стороны лежали на газетах нарезанные яблоки, тонкие коричневые дольки, они были нагреты солнцем, и на веранде можно было очуметь от их совместного запаха. Из дома не доносилось никаких звуков. Жильцов довольно долго прислушивался, осторожно дыша яблочным сиропом, а потом костяшками пальцев постучал в притолоку.

— Хозяйка! — сказал он бодро. — А хозяйка!

В дверях показался мальчик лет одиннадцати — двенадцати со стаканом простокваши в руке. У него было такое серьезное лицо, что Жильцов не удержался и спросил:

— Ты чего такой хмурый?

— Я не хмурый.

— А мама где?

— Она в город уехала.

— Давно?

— С утра.

Мальчик отпил из стакана, и на верхней губе у него остались беленькие усики. Жильцов обернулся и, подняв сумку, которая лежала на полу у его ног, стал рыться в одном из его боковых карманов. Мальчик с интересом наблюдал за ним.

— Вы к маме?

Жильцов наконец нашел то, что искал — небольшой изящный нож с трехцветной наборной рукояткой, — и, точно выпустив из руки солнечного зайчика, вонзил без замаха нож в пол веранды.

— Только матери не показывай.

Мальчик поставил стакан на перила и, присев на корточки, вытащил нож, долго вертел его в руках и наконец неуверенно сказал «спасибо».

Жильцов поощрительно хлопнул его по предплечью и, вновь поставив сумку на пол, уселся на верхней ступени, широко расставив ноги в пыльных ботинках, явно не летних, на толстой рубчатой подошве. Мальчик, повинаясь его жесту, сел рядом.

— Я работал спасателем на лодочной станции в санатории. Давно. Твою мать знал хорошо. Я подожду немного. Ты не возразишь?

— Ждите, конечно. — Мальчик большим пальцем правой руки теребил лезвие ножа. — А вы сами сделали?

— Хороший человек сделал. Умелец дела, нравится? Мальчик кивнул.

— Потом работал в других местах, в основном значительно севернее родного побережья, — продолжал рассказывать Жильцов.

— А я учусь в школе.

— Заметно, — улыбнулся гость и похлопал мальчика по колену.

На краешек стакана с простоквашей села оса и двинулась в обход, балансируя крылышками. Из дверного проема бесшумно выплыла занавеска, и оса, судорожно качнувшись, свалилась в стакан.

— Хотите простокваши? Еще огурцы есть...

— Правильно, — энергично сказал Жильцов, снова полез в свою сумку, достал банку мясных консервов, быстро открыл ее, попросил принести хлеба, на грядке возле самого крыльца нащипал нагретых солнцем луко-

вых перьев в свою кепку, навалил на ломти хлеба побольше мяса, и они с мальчиком стали есть. Огурцы Жильцов разрезал вдоль, посыпал солью из растрескавшейся деревянной солонки и потер половинки друг о друга.

— Ты хорошо плаваешь?

— Умею...

— Я плавал нормально. До Горящей скалы и обратно... Туда часто течением прибывало лодки. Там я и с матерью твоей познакомился.

По улочке перед домом медленно прокатилась грузовая машина, долго после нее сквозь штакетины забора сочилась белая пыль.

— Наелся?

— Спасибо, наелся.

Жильцов развязал шнурки своих башмаков и выставил на ступеньку тяжелые угловатые ступни, тихонько про себя приговаривая: «Устал, устал».

— Послушай, пойдем искупаемся, я издалека мечтал о море.

— Надо только огород полить.

Мальчик спустился с крыльца и пошел за дом. Гость, не обуваясь, отправился за ним.

Из боковой стены дома, из-за цементного выступа фундамента, торчала труба с вентиляем. На нее нужно было надеть шланг для поливки. Надевать было неудобно, сосед слишком близко поднес свой забор, шланг все время задевал за цементный выступ и перетирался. Жильцов усмехнулся, глядя, как возится мальчик, и легонько отстранил его, говоря:

— Принеси какую-нибудь монтировку, ага? — Мальчик ушел, и долго было слышно, как он передвигает ящики в пыльном сарае и что-то бормочет про себя.

— Посмотри за старым холодильником,— крикнул Жильцов.

Некоторое время в сарае было тихо, потом звякнул металл, и мальчик появился, держа в руках короткий черный ломик. Повертев его в руках, Жильцов быстро и умело выгнул конец трубы на себя. Поднял с земли кусок ржавой проволоки, быстрыми движениями сплел из нее хомутки и, насадив шланг на трубу, накрепко его закрепил.

— Пользуйся,— сказал он, похлопывая по вентилю.

— Спасибо.

Мальчик открыл вентиль, и шланг задрожал как живой, и на земляной дорожке в тех местах, где он был перемотан тряпками, бесшумно встали тоненькие прозрачные струйки воды. Жильцов держал свои ладони над этими щекочущими шпильями, смывая ржавчину. Потом он встряхнул кистями и пошел вдоль стены дома к огороду, там он поднял с земли конец шланга, из которого с журчанием впитывалась в сухую землю вода, и пережал пальцами отверстие, и она веером хлынула на ленивые огуречные листья. Мальчик пришел следом и взобрался на нижнюю перекладину забора и, свесившись через верх, смотрел, как темнеет земля и в углублениях почвы собираются пенистые холмики.

— Это мать тебе велела сейчас поливать? Лучше вечером.

— И вечером нужно, огурцы все равно горькие.

Жильцов улыбнулся:

— Ничего, будем солить.

Огуречные листья дрожали как живые, на маленьких черных шипах поблескивали искорки.

— Ты видел мою сумку, там в боковом кармане спички и сигареты, сгоняй?

Затягиваясь сигаретой, Жильцов спросил:

— Куришь?

— Да нет,— сказал мальчик.

— Ну да,— сказал Жильцов,— купаться не раздумал?

Берег был скалистый, в выемках береговых камней пересыхали затхлые лужи, оставленные позавчерашним штормом. Вода, парализованная зноем и духотой, едва шевелилась в трещинах и казалась маслянистой. Жильцов, усевшись на краешек, опустил в воду белые, словно вываренные, подошвы и, прищурившись, смотрел перед собой туда, где в неустойчивом мареве предзакатной воды лежало прямолинейное тело старого земснаряда, отогнанного в эту бухточку из порта. Немного правее его виднелись две лодки с неразличимыми с такого расстояния пассажирами.

Мальчик уже разделся и стоял на выступе, почесывая пятку о шершавый камень. Ноги у него до колен были обветренные и блестели, как слюда, и были покрыты рыжеватыми редкими волосками, Жильцов смотрел на

него снизу вверх, и мальчик показался ему особенно стройным и независимым, он внезапно чуть присел — под кожей вздрогнули мышцы — и почти без плеска нырнул в зеленоватую глубину, в которой парили босые ступни Жильцова. Жильцова облепили брызги, он улыбнулся, торопливо сбросил майку, двумя-тремя взмахами размял тяжелые, слегка оплывшие плечи и рухнул вперед всем телом, беспорядочно колотя руками и вскрикнув что-то.

Под водой было уже совсем темно. За спиной стояла тяжелая магнитная масса берега — ее чувствуешь не открывая глаз, а когда Жильцов открыл глаза, он увидел над собой мальчика в младенческой позе пловца. Мальчик осторожно двигал коленями и локтями, оставаясь в освещенной поверхности. Жильцов вынырнул рядом с ним, спросил:

— До баржи поплывем?

— Ага,— ответил мальчик и, выпростав руки из-под воды, юркнул вдоль нее своим узеньким туловищем. Жильцов плыл мощно и грациозно, бесшумно выбрасывая руки, зарываясь лицом в пену, вода с шипением зарубцовывалась у него на спине. Он хотел показать класс и поэтому плыл изо всех сил. Когда он оказался у самого борта земснаряда и оглянулся, то увидел, что мальчик отстал метров на пятьдесят, у Жильцова было время, чтобы успокоить дыхание, и он лег на спину, и его стало тихонько подтягивать к железному острову. Сильно запахло нагретой ржавчиной, особенно если закрыть глаза. Борт земснаряда вел себя, как стенка раковины — мельчайшие звуки переплетались со своими отражениями и возвышались вокруг слуха. Если отплыть в сторону, эффект пропадал.

Мальчик подплыл, тяжело дыша и отплевываясь.

— Вы здорово плаваете...

— Я спасатель, мой пионер,— назидательно сказал Жильцов и, приоткрыв глаза, посмотрел вверх, где торчали погнутые перила и свисала ржавая цепь.

— Хочешь наверх?

— Хочу,— все еще запыханным голосом ответил мальчик. Они подплыли к тому месту, где на борту остались следы трапа, Жильцов, напрягшись, выпрыгнул вверх, пытаясь зацепиться за нижнюю перекладину, но ему это не удалось, и он рухнул вниз. Он попробовал еще раз, и, хотя ему не хватило совсем чуть-чуть, он не

стал больше пробовать и немного полежал на спине без движения. Вода равнодушно плескалась в рыжий борт.

— Не переживай,— сказал Жильцов мальчику

Придумав другой план, они поплыли к борту, туда, где свисала цепь.

— Я сейчас возьмусь за эту выемку и подтяну тебя, хватайся за конец и раскачивайся, чтоб зацепиться за стойку, понял?

— Понял.

— Тогда давай.

Жильцов уцепился за отверстие клюза, мальчик забрался ему на плечо и, поймав конец цепи, стал раскачиваться. На третьем качке, глухо ойкнув, ударился о борт, но успел за что-то зацепиться. Жильцов толкнул его ладонью в пятку, и он медленно вскарабкался на борт.

— Ну что ты там?

— Я ногу расшиб. Чуть-чуть...

— До крови?

— Н-нет.

— Тогда взгляни, что там с цепью, можешь спустить ее ниже?

Мальчик походил там наверху по горячей палубе и крикнул:

— Нет, она приварена.

— Тогда взгляни, есть еще где-нибудь лестница или веревка.

Когда мальчик ушел от борта, Жильцов перевернулся со спины на живот и посмотрел на берег. Там далеко по дороге полз автобус. Две чайки промелькнули совсем рядом, вода едва слышно шипела, приставая к теплому борту, время от времени подкатывал запах металлической сырости и расплавившейся смазки. Мальчик где-то наверху двигал крышками люков, а Жильцов раскачивался, просунув руку в ноздрю тяжеловесному безразличному животному, и у самых его глаз, медленно тускнея и тоже вся отдаваясь качке, мерцала вода.

— Ничего нет, никакого...

— Тогда иди к тому трапу, попробуешь меня поднять.

— Ага.

Свесившись с нижней ступеньки, мальчик протянул Жильцову руку.

— Ну смотри,— сказал тот, ухватив руку мальчика

чуть выше кисти, и попытался подтянуться, но почти сразу почувствовал, что мальчику нипочем не выдержать, разжал пальцы и провалился под воду. Вынырнув, он спросил:

— Тяжело было?

— Да нет, шея немного болит. Я вас почти вытащил.

— Почти,— согласился Жильцов,— попробуем еще разок?

Мальчик с готовностью занял прежнее положение.

— Почувствуешь — не можешь — дай знать, понял?

— Я дам, понял.

Когда Жильцов сорвался второй раз и стал всплывать, поудобнее распластавшись под водой и не открывая глаз, в зеленоватом мраке на него накатил приступ лени и безразличия ко всему на свете, но тут же над головой лопнула пленка раскачивающейся воды, и на Жильцова обрушились звуки, свет, качка, он оттолкнулся локтем от горячего борта и крикнул мальчику:

— Я поплыву, посмотрю с той стороны, попробуй спуститься в трюм.

— Там гнилая вода.

— Ну ладно, в общем, посмотри что-нибудь, канат...— Он вспомнил, что уже говорил про канат и мальчик уже искал, и он махнул рукой и крикнул: — Ну давай!

Мальчик в прошлый раз еще обошел всю палубу и ничего подходящего на судне не нашел, только молча кивнул и на всякий случай нагнулся над люком и несколько секунд рассматривал свое неподвижное отражение в густой чернильной воде.

Жильцов обогнул корму и попал в густую тень, над бортом уже торчала голова мальчика.

— Ничего нет,— сообщил он.

Жильцов продолжал рассеянно плыть, потому что больше ничего не оставалось делать, он хотел крикнуть, что сейчас что-нибудь придумает, но слишком отчетливо понимал, что ничего придумать не удастся.

— Подожди, я сейчас что-нибудь придумаю,— сказал Жильцов, но мальчик, кажется, не услышал. А Жильцов почувствовал внезапно, что невероятно устал, он плыл в густой металлической тени, в двух метрах от него поблескивали освещенные волны, и его подташнивало от их блеска.

Полный круг вокруг баржи закончился. Мальчик все время шел вдоль борта, иногда останавливаясь, чтобы свеситься через перила, он несколько раз хотел крикнуть, что опять искал и ничего не нашел, но всякий раз что-то ему мешало. Жильцов плыл, почти не обращая внимания на него, плыл просто по кругу, ничего не искал, а мальчик стеснялся ему помешать. Когда Жильцов закончил второй круг, мальчику наверху стало неприятно и тоскливо, ему был неприятен вид мрачной шершавой палубы, на которой повсюду тлела на солнце промасленная ветошь, а под железом лежала дряблая черная вода. Мальчик не выдержал и крикнул, что ничего не нашел, потому что ничего нет. Он хотел крикнуть, что пора плыть обратно, но побоялся.

Жильцов сначала как будто не услышал, а потом стал медленно заваливаться на спину. Он остановился, и вода задвигалась под ним и дала какой-то временной силы, он не обратил на это внимания, потому что у него стало плохо со зрением, он не видел ни облаков, ни неба, взгляд терялся где-то в воздухе, на мгновение ему показалось, что именно так тонут и он уже под толщей, он рванулся вверх, и очугуневшие руки болезненно дернулись в воздухе, слезы скользнули на глаза, и он правда стал тонуть. На мгновение он затаился, чтобы определить опасное направление, и тут рядом с ним всплыл огромный оглушительный пузырь воздуха.

Это нырнул мальчик. Загребая изо всех сил, он плыл к берегу. Он плыл так стремительно, как не плавал никогда в жизни.

До берега он добрался быстро, но в самом конце его внезапно оставили силы. Некоторое время волна играла им, пока наконец не высадила на галечную отмель. Отдышавшись, мальчик стал собирать свои вещи, осторожно лавируя между разбросанными тут же чужими штанами и носками. Так ни разу и не обернувшись, он покинул берег.

Мать уже была дома. Войдя во двор, мальчик остановился у калитки, как будто о чем-то раздумывая. Мать увидела его и крикнула, чтобы он принес на кухню оставленную на крыльце сумку. Он не сдвинулся с места. Мать выскочила на крыльцо через минуту и стала на него орать. Мальчик смотрел не на нее, а на рюкзак, так и стоявший возле крыльца. Мать вдруг тоже увидела его, произошел мгновенный обмен взглядами.

— Кто здесь был? Кто здесь был, ты мне ответишь или нет? Ты что, язык проглотил?

— Мужчина один, он говорил, что раньше знал тебя. Жил здесь.

— Где он сейчас?

— Мы пошли купаться, и он утонул. На барже.

Мать спустилась с крыльца и медленно подошла к сыну и осторожно погладила его по лицу рукой.

— Не плачь (он и не думал плакать), он всегда плавал лучше всех. Он всегда плавал лучше всех.

НЕВЕСТА

Сапрыкин знал, что ее мать против него, и в другое время избегал каких бы то ни было разговоров с ней, но сейчас эта женщина стала самым дорогим (глупа как курица, заносчива) и необходимым ему человеком. Его выдержки хватило только на то, чтобы пересечь площадь перед вокзалом. Он поставил чемодан рядом с первой свободной телефонной кабиной и, сняв трубку, некоторое время колебался. Разговаривать с Эльмирой Викторовной ему не хотелось так сильно... В кабине было жарко. Жарко было везде, а здесь еще пахло чем-то. Какой-то гадостью... Стрекоча диском, он представил, как она в своем ослепительном халате присядет к столику, посмотрится в зеркало над ним и нехотя возьмет трубку. Пальцы длинные, сухие, будто покрыты слюдой, ноги полные, холеные... Озлобление против нее, дойдя до крайней степени, превратилось в страх. Что же она не берет трубку? Если еще и ее нет дома!.. Что же тогда делать? Он уже повел тоскливым взором по чахлым зарослям акации, когда монета рухнула вниз и он услышал голос, который ненавидел отдельной, специальной ненавистью (очень долго общался с Эльмирой Викторовной только по телефону). Голос ее двоился, как изображение на экране расстроенного телевизора, и между его линиями время от времени поблескивал яд. «Добрый день, Эльмира Викторовна». — «Это вы, Саша?» — «Я». — «Очень рада вас слышать». — «Я сегодня утром (на самом деле пять минут назад) вернулся с Камчатки (он

остановился, она поддержала паузу — все, что он сказал, пока ее не касалось)... От Иры есть известия?» — «Конечно, она мне звонит. Она должна приехать на днях». — «Завтра-послезавтра?» — «Вряд ли завтра (они опять замолчали) и послезавтра вряд ли». Сапрыкин продолжал ждать (неужели ничего не просила передать?) Эльмира Викторовна ждет, чтобы вопрос был сформулирован, она ждет, чтобы у нее прямо спросили — а что, не забыла ли меня ваша дочка Ирочка?! «Ну что ж, спасибо, Эльмира Викторовна. Вы не против, если я вам позволю еще как-нибудь (фраза начинала получаться ненужно двусмысленной). Вы единственный источник информации». — «Ради бога, Саша, звоните». — «До свидания».

Информации получен ноль из источника информации. Ничего больше не остается, как поехать домой.

Еще когда он спускался в метро, у него промелькнула одна прежняя, петропавловская мысль, и в ответ напугавшая какая-то горизонтальная жилка в груди. Он испугался. Он не хотел повторения. Он сказал, что надо взять себя в руки. Дело в том, что они с Ириной одновременно уехали в разные командировки — она в Чебоксары, он на Камчатку. За десять дней, не имея точных адресов, переписку установить было невозможно, и они решили не пытаться ее установить. Но уже со второго дня Сапрыкин стал ходить на петропавловский почтамт в надежде на ее телеграмму (сам он отправил до востребования штук пять). И всякий раз, не обнаружив для себя ничего (да вспомни же — не договаривались ведь), Сапрыкин страшно расстраивался. Сейчас он очень испугался, что, приехав домой, он и в своем почтовом ящике не обнаружит ничего, и тогда... И он стал себя готовить к тому, что ничего там и не окажется, потому что там ничего и не должно было оказаться. Уехали они одновременно, ненадолго и вернуться должны были почти в один день. С какой стати ей должно было прийти в голову писать ему письма, которые она рискует обогнать. Он совершенно себе доказал нелепость своих ожиданий, он даже постарался как можно более лихо и независимо взбежать по ступенькам и как можно более небрежно отворить дверцу почтового ящика, чтобы, таким образом, было впечатление его полной независимости от... В ящике было пусто. Сапрыкин почувствовал, что лицо его посерело и поглупело, и последние две ступени он

решил преодолеть после перерыва. Преодолеl и более или менее обычно вошел в квартиру.

В квартире было жарко. В неплотно закрытую форточку намело тополиного пуха. Он набился во все углы и бесшумно перекатывался от любого движения воздуха. «Надо разобрать чемодан»,— подумал Сапрыкин и отправился в ванную. Стоя под конусом прохладной воды, он набирался бодрости и строил планы на будущее. И так, ее не будет ни завтра, ни послезавтра. И еще сегодня полдня. Сапрыкин стал растирать грудь и живот. Вода перестала приносить облегчение. Ирина все еще жила у матери. Она пока еще не решила (окончательно) перебраться к нему, но уже пометила несколькими своими вещами однокомнатную квартиру жениха. Тапочки, халат, стайка всевозможных заколок в самых неожиданных местах. Женщины оставляют их инстинктивно, чтобы отпугнуть или расстроить соперницу.

Сапрыкин долго растирал полотенцем свое тело. Сапрыкин был крепыш. Среднего роста, плотный... «Мужчина должен быть поджар и свиреп» — память хранит массу вот таких высказываний любимой женщины и по своему усмотрению выбирает момент, когда их подбросить. Чтобы не вспоминать еще что-нибудь в этом роде, Сапрыкин вышел из ванной и, шлепая босыми подошвами, вошел в комнату. У него было двое настенных часов, они ходили с разной скоростью. Ходики на кухне всегда заметно отставали от электронного хронометра, бесшумно посверкивавшего над телевизором. Рядом с часами стоял телефон. Звонить никому не хотелось. Смотреть телевизор — тем более. До того времени, когда можно было попытаться заснуть, оставалось еще как минимум несколько часов. Сапрыкин просто сел в кресло. Значит, ее не будет даже послезавтра! Это негативное знание было совершенно неудовлетворительно. Послезавтра не будет, а когда будет? Интересно, когда можно будет еще раз позвонить «теще». Разумеется, не сегодня. И еще лучше не завтра, почти вслух произнес он, и ему стало тоскливо от сознания того, что есть большая опасность не выдержать и позвонить прямо сейчас.

Он совсем высох, но так и не решил, что ему делать. Боясь приближения паники, замаячившей на окраинах внутреннего мира, он попытался себя отвлечь. Он очень бодро, хотя и совершенно «про себя», заметил, что есть бездна дел по подготовке квартиры к приему новой жи-

лицы. Взять это голое окно: он вспомнил их спор о гардинах. Мнения разошлись, и довольно резко. Сапрыкин улыбнулся — вкус вкусом (он остался полностью при своем убеждении, что к этой частично антикварной мебели необходимы темные однотонные занавеси), но какое удовольствие согласиться с ее чудовищным предложением, чтобы тут висели эти полосатые половики. Черт с ними, пусть висят. Можно прямо сегодня сходить в магазин. Нет, решил он, не сегодня. Неохота. Не пойду.

Неплохо было бы что-то решить по поводу остатка сегодняшнего дня. Но для этого требовалось неимоверное усилие над собой. Вот если бы кто-нибудь позвонил. Сапрыкин перевел свой взгляд из пустоты, в которой он пребывал, на телефон. Никто пока не знает о его возвращении, но Сапрыкин продолжал смотреть на тускло поблескивающий аппарат. И телефон зазвонил, сначала неуверенный щелчок, потом россыпь. Сапрыкин вскочил. Звонок был не междугородный, но она, допустим, могла прилететь самолетом. Соскучилась и прилетела. Звонили из института. Когда-то, до командировки (или до нашей эры), его попросили написать отзыв на диссертацию одного человека. Диссертация была слабая, и соискатель был человек дрянь. Его статьи и его поведение давно уже возмущали и самого Сапрыкина, и людей, которых он уважал. Его нужно было остановить. Бездарность и наглец. Сапрыкин, когда узнал, что именно ему поручен отзыв, обрадовался. Возможность поступить граждански достойно и профессионально честно привлекательна сама по себе, тем более в сочетании с возможностью сделать приятное людям, которых он уважал. Рукопись диссертации ему дали перед самой командировкой. Просмотрев ее, Сапрыкин понял, что соискатель человек не только бездарный, но и ловкий. Его придется сложным образом ловить, чтобы погромный отзыв выглядел доказательно. «Насколько я понял, вы еще не приступали», — говорил голос в трубке, и это был голос одного из тех людей, кого Сапрыкин уважал. «Почему же, я приступил, сегодня». Голос помедлил. «И сколько же вам нужно времени?» — «Все будет готово к одиннадцатому числу». Голос помедлил больше, чем в первый раз. «Я, собственно, и позвонил только потому, что случайно узнал — вы уходите в отпуск седьмого». — «Да, я ухожу в отпуск седьмого». Помедлили оба. «То есть вы хотите сказать, что закончите к седьмому?» — «Нет, слишком многое

нужно перепроверить. Кое-какие опыты вообще желательно было бы воспроизвести...» — «Вы будете это делать?» — «Наверное. В противном случае то, что я напишу, будет неубедительно». Голос помедлил еще некоторое время, но, когда заговорил, эмоциональная окраска стала теплеть. «Тогда просто нужно было оформить отпуск в более удобные сроки». — «Так уж получилось». Сапрыкин вернулся в свое кресло. Он был в ярости и в отчаянье. Сначала в отчаянье — он понимал, чего ему будет стоить этот объективный отзыв. Ярость была слабее отчаяния, и у нее не находилось точного адресата. На что ее было направить: на себя, на диссертацию, на жару, на людей, которых он уважал, или на свою от них зависимость? Он несколько раз переменял свою позу в кресле, но так и не смог найти положения, в котором ему было бы наплевать на свою карьеру. Ну что ж: он поискал глазами папку со злополучной рукописью на своем столе. Она лежала на самом видном месте. У него была привычка еще со школы: все, что необходимо сделать, — делать сразу. Чтобы дело не обрастало тоской. Да! Он встал и, сделав несколько шагов, сел на вертящийся стул и стал развязывать тесемки на папке. Тесемки запутались. Он их сам запутал в прошлый раз, у него случайно получился этот узел. Вот черт (сломался ноготь)! Засунув палец в рот, Сапрыкин крутнулся на своем сиденье, потянулся к телефону и стал набирать номер Тонечки. Тонечка была подругой-конфиденткой. Не со всеми людьми приятно делиться, с Тонечкой было приятно. Ира с ней иногда делилась, Сапрыкин тоже к ней стал привыкать, но пока ни разу не говорил с нею откровенно. «Привет!» — «А-а, привет». — «Как дела?» — «Да все в порядке, давно приехал?» — «Нет, совсем недавно, вот отдаю звонки вежливости. Что твоя Болгария?» — «Можешь поздравлять». — «Поздравляю. Так нужно обмыть». — «Созвонимся». — «Я тебе обязательно позвоню, Тонечка». — «Позвони». Разговор Сапрыкину не понравился. Ни сам разговор, ни, в частности, тон, которым говорила Тонечка. Она обычно бывала мягче. Может быть, она обиделась на «звонки вежливости»? Обдумывать это было лень. Вернее, не было сил.

Не совсем понимая, что он делает, Сапрыкин стал одеваться. Сидеть дома было больше нельзя. Значит, надо было куда-то идти. По прохладной лестнице он спустился на раскаленную улицу, и там, в пыльных кустах

акации, тихо потрескивавшей перед подъездом, на него наконец накатило полное и настоящее отчаяние. Далее, большой кусок времени, включавший конец этого дня, ночь и всю первую половину следующего, был проведен Сапрыкиным в болезненном, потерянном, страшном состоянии, которое невозможно описать и неинтересно наблюдать из-за его однообразности. Сконцентрировавшись на своей неистребимой жажде, Сапрыкин отпустил свое тело на волю. В этом промежутке времени уместился полдень, горячий асфальт, один, второй, третий сквер, фойе маленького кинотеатра, хрип автомата с газированной водой, душный склон Воробьевой горы и болезненно блещущая внизу река; и невозможно было с точностью сказать, где впечатления первого дня, а где второго, потому что тут же рядом была ночь с фонарем, дальним стуком электрички, соловьем и поливальной машиной. И вот уже полдень второго дня, и вот уже Сапрыкин набирает отвратительный номер. Он рассуждал так: прошли почти сутки. Ирочка могла позвонить вчера, могла позвонить сегодня, могла прислать телеграмму, и даже могло от нее вдруг дойти письмо. Его звонок совершенно уместен и понятен. Но все равно — стыд, стыд, стыд. Он чувствовал, что он красен, потен, растрепан и склоняется к аппарату в какой-то ужимчивой позе. Он все свои силы растрачивал на то, чтобы придать голосу веселый и небрежный тон, в данном случае это было настолько трудно, что приходилось расплачиваться потерей человеческого облика. «Эльмира Викторовна?» — «Здравствуйте, Саша!» (ровна, спокойна, сволочь). — «Я, собственно, звоню, чтобы узнать, не звонила ли Ира?» — «Звонила». Сапрыкин замер и заволновался. Вот неизвестно, почему он не мог впрямую спросить: что она просила мне передать? Но более, честно говоря, неизвестно, почему Эльмира Викторовна не могла об этом заговорить сама без специального вопроса. «Она уже достала билет?» (и сильно ли она меня любит?) — «В общем, да, но там какой-то неудобный рейс, она попытается его сменить». — «То есть она выедет завтра», — утвердительно произнес Сапрыкин. «Если не поменяет билет, то да». — «А если поменяет?» — «А если поменяет, то позвонит и сообщит, на какой день и на какой рейс она его поменяла». — «И я, значит, могу вам перезвонить и узнать, выехала ли она или поменяла». — «Конечно, можете». — «До свиданья».

Итак, что мы имеем? Она даже, может быть, выедет не завтра. Не завтра выедет. Потому что билет поменяет. Ей всегда удавалось поменять билет на удобный рейс. Но если она выедет не завтра, то она приедет не послезавтра. Он подошел к окну. Он отошел от окна. Потом опять, но опять ненадолго. Решил, что нужен на кухне. Отправился на кухню и поставил чайник. Долго искал спички: в одном ящике нет, в другом ящике нет, а в третьем — есть. Газовое пламя невидимо зажужжало в ослепительно освещенной кухне. Ни есть, ни пить Сапрыкину не хотелось, и, слава богу, раздался звонок. Это был Чириков. Петька Чириков. «Ну наконец-то! Приехал?» — «Как слышишь... Ты, насколько я понимаю, тоже в Москве?» — «Ты уж извини, я сразу к делу: билеты я уже взял. Лодка уже отремонтирована. Чтобы девочки не бубнили, будет даже что-то вроде коттеджика... ощущаешь объем работы?» — «Да, ощущаю». — «Что-то с голосом твоим... что-то ты, ты чего, Саш?» — «На какое число билеты?» — «Билеты на двенадцатое, как мы и договаривались. Все отлично, но вот твой тон мне не нравится совершенно. Не нравится совершенно твой тон». — «Ты знаешь, на этот раз, кажется, все срывается». Чириков помолчал. Ему было понятно, что собеседник не шутит. Бесплезно было возвращаться, напоминать, что вот уже четыре года они вместе каждое лето, и что там рай, и что мужская дружба... «Ну и как ты собираешься проводить свой отпуск?» — «Не знаю, может быть, в Москве». — «Да не ври, махнете в какой-нибудь Гурзуф. Я все понимаю: женщина диктует образ жизни, только зачем было себя в грудь стучать, дружище?» — «Не обижайся». — «Почему это не обижайся, обиделся, и сильно». — «Ну как хочешь». Сапрыкин немного посидел у телефона, баюкая на руках трубку. Что-то не давало ему тут же отправиться восвояси. Телефон немедленно должен поучаствовать еще в одном деле: Сапрыкин решительно и даже с какой-то жадностью набрал номер. Никто не подходил. Долго. Прежде чем расстроиться, Сапрыкин вспомнил, что у того человека, которому он звонит, огромная дача с огромным участком. И надо просто подождать, когда кто-нибудь из членов семьи пересечет его, чтобы... «Здравствуйте, мне нужен...» — «Конечно», — сказала миленьким голоском внучка хозяина и убежала звать дедушку, оставив трубку, видимо, на столе посреди распахнутой веранды, потому что в ней,

как в капле росы, отразились все звуки Подмосковья. Хозяин «конешно» был в саду. Далеко в саду, и, чтобы добраться до телефонной трубки, ему необходимо миновать, пожалуй, несколько кустов крыжовника, обогнуть неимоверно разросшуюся яблоню, а в глубине остался покачиваться гамак, с которого он встал, чтобы поговорить с Сапрыкиным. «Слушаю вас». — «Мне очень неприятно, но я должен отказаться». — «От чего? Кто это? Это вы? И почему отказаться?» — «Я уезжаю не одиннадцатого, а седьмого или даже шестого...» (как только она приедет). — «Что же, это ваше право, хотя все это малопонятно. И потом, вы, кажется, сами хотели?» — «Да». — «Я был другого мнения о вас». Самое неприятное было в том, что старик говорил ровным тоном. «Я сам был о себе другого мнения». — «Н-да. И куда же вы едете?» — «Я еще точно не знаю». Было слышно, что напряжение на уютной веранде дошло до предела. «Надеюсь, вы понимаете, что после этого...» — «Понимаю», — быстро сказал Сапрыкин. «Счастливого пути». — «До свидания», — с неожиданной подобострастностью в пустую уже трубку пробормотал Сапрыкин. Он осторожно положил ее и пошел на кухню. Поперек дверного проема бесшумно дрожал столб пара. Он открыл крышку чайника — последняя вода пузырилась на дне. Чая не хотелось. Не было никакого аппетита, и, в частности, ему не хотелось и чая. Но в том, что первоначальный замысел сорвался — вода ушла паром, — Сапрыкин усмотрел свою вину и наполнил чайник вновь и вновь поставил его на газ. Что он будет делать с кипятком, он пока не знал, но у него было в запасе некоторое время, и он оказался у окна. Сегодня было жарче, чем вчера. Тополиный пух еще безвольней, чем обычно, ник сквозь перегретый воздух. Акации были еще пыльнее, чем накануне, и мазутное пятно на стене гаража расплылось еще больше. Как-то старая дворняга, лежавшая в тени чего-то, встала и тут же опять легла под тяжестью температуры. Дальше за ней начиналась просто свалка, и Сапрыкин вернулся мыслью к гаражу. Тем более что дверь в него была открыта. Огибая в своем сознании мысль о том, как должно быть там внутри душно и тяжело, Сапрыкин вспомнил, что Чумаков, хозяин гаража, еще неделю назад обещал ему отдать лишние гантели. Сапрыкин оглянулся на чайник, только начинавший шуметь, и побежал к гаражу.

Чумаков своего обещания не забыл, но на соседа посмотрел внимательно. «Ты худеть собираешься?» Сапрыкин кивнул, взвешивая железки в руках. «Ты и без них, по-моему...» — «Нет, это я просто осунулся, если ты про это». Сапрыкин не без труда показал гантелей на свое лицо, на котором глаза были — чистая лихорадка, а круги под глазами — свинец. Чумаков пожал плечами, а сосед радостно вернулся к себе наверх. Довольно сильно запыхался по дороге. Но радость, появившаяся вдруг, не оставляла. Он чувствовал, что она как-то связана с гантелями в руках. Сам факт этой радости Сапрыкина очень обрадовал, но, войдя в прихожую и положив тяжести на пол, он зачем-то сделал ревизию этому своему чувству и с ужасом обнаружил, что радоваться ему совершенно нечему. Ведь есть опасность, что она выезжает, может быть, даже не послезавтра!

Чайник успел снова выкипеть, Сапрыкин долго смотрел на его раскаленное дно, по которому носилась раскаленная капля, и, сказав вслух: «Ну что ж, не судьба», сел к окну.

И сразу же начинается третий день.

Проснувшись, Сапрыкин растерянно огляделся. Солнце затопляло комнату. Пылинки и пушинки рассеянно сверкали на пересечении света и зрения. И Сапрыкин с радостью подумал, что заснуть ему вчера все-таки удалось, что он, зажмурившись, пролетел через большой кусок этой пустыни. Не без труда он отделил от себя липкую простыню и поспешил к телефону, чтобы поскорее сделать то, что он разрешил себе сделать еще вчера. Эльмира Викторовна была в своем обычном (бог с нею) расположении духа — ровном, здоровом. Ирочка вчера звонила. Она выезжает сегодня вечером и, значит, — он похолодел — завтра утром, завтра утром, завтра утром... Сапрыкин со всей возможной в его состоянии хитроумностью построил беседу таким образом, что Эльмира Викторовна, все более и более раздражаясь, отвечала на совершенно нейтральные вопросы, не зная, что по замыслу Сапрыкина (еще вчера составленному) должна незаметным для себя образом выдать, интересовалась ли Ирочка своим женихом или нет. Сапрыкин волновался, он очень торопливо и не всегда в лучшем порядке проговаривал свои вопросы и вопросыки, торопясь успеть просунуть в телефонную трубку всю сплетенную им сеть, но Эльмира Викторовна внезапно остановила его и ска-

зала, что не может долее говорить ввиду кофе, уже, видимо, убегающего из кофеварки. «Перезвоните». Нет уж, возбужденно дыша, решил Сапрыкин. Он и на этот-то раз решился только со сна. Нет, Эльмире Викторовне он звонить больше не станет, а позвонит он Тонечке. «Привет, Тонечка, ты еще спала?» — «Конечно, полвосьмого!» — «Ну извини». — «Ничего (зевая), ничего уж, чего тебе?» — «Ирка не звонила?» Пауза. Господи, не надо пауз. «А что, она должна была?» — «Ты же ее лучшая (преувеличение) подруга». — «А ты, вообще, жених». — «Так не звонила». — «Нет, знаешь». — «Ну, если она позвонит, хотя она приезжает завтра, но если...» Он не стал договаривать фразу, он вспомнил о своем почтовом ящике. Он ведь вчера его не проверял. Вероятность того, что там есть ее письмо... В голове его сделалось темно, а глаза сверкали. Он очень приблизительно положил трубку на место и столь же приблизительно оделся. И пошел вниз. Естественней было бы, если бы он вниз ринулся, а он именно пошел. Медленно, почти на цыпочках. Словно письмо было бабочкой или просто чем-то таким, что может вспорхнуть. Ключ беспомощно повернулся в разболтанном замке. Пусто. «Что ж ты, Ирочка», — прошептал он невольно, думая в этот момент уже несколько о другом. Такие дежурные фразы были компетенцией губ. Ящик был пуст, как... уже поднимаясь назад домой, он почувствовал, что идея письма, долженствующего быть полученным от любимой, уже прочно поселилась в нем. И он, ни много ни мало, должен будет отправиться, прямо сейчас, в Строгино и проверить лично еще один почтовый ящик, в котором может оказаться что-то от нее. Эльмира Викторовна никуда из Москвы не уезжала, и у дочери вполне могло появиться желание поделиться с нею (раз нет возможности поделиться с любимым человеком), например, сведениями о достопримечательностях Чебоксар (никакими более тонкими вещами делиться с нею не имело смысла).

Эта мысль, ее ответвления и вариации на надуманную тему, собственно, и составили все времяпрепровождение Сапрыкина, когда он в разных видах общественного транспорта добирался до Строгино. Он хорошо знал этот подъезд. Чахлые заросли (даже более чахлые, чем перед подъездом его собственного дома) не сохраняли никакой тени. Внутри пахло ремонтом. В почтовом ящике что-то было. А вот достать невозможно. Ключ ко-

нечно же не подошел. Пальцы хоть и гибкие, хоть и тонкие, но можно содрать всю кожу... Наверняка там не только газета. Кто-то спускается сверху.

Так было несколько раз, и каждый раз он выбегал из подъезда, чертыхаясь, и стоял на ступеньках, лихорадочно изображая безразличие, очень опасаясь, что абсолютно всем понятно, что он занят неким делом, пусть и непонятым, но уж точно позорным. Его пальцы сто раз трепыхались в сантиметре от заветных, возможно заветных, бумажечек. Пусть в этом письме, которое там, наверное, лежит, будет всего лишь одна фраза: «А по Сашеньке любимому я соскучилась до смерти». Постепенно в ходе попыток выкристаллизовалось решение: надо чем-то ухватить, но ухватить не пальцами. Он осмотрелся. В подъезде ничего подходящего не было. Обрезок трубы, доска, кирпич... И опять нужно выбегать на улицу. Но в этот раз он выбежал не зря. Там он увидел и отломал две сухие кривенькие веточки, с которыми, по-новому волнуясь, вернулся к ящику. Шум, приближавшийся сверху, опять его спугнул, но не надолго. Наконец — тихо. Палочки внутри. Не такое это простое дело: раз сорвалось, два сорвалось. «Молодой человек, что вы делаете!» Три сорвалось. Сапрыкин обернулся: старушка, совсем старенькая, ей, наверное, можно было буркнуть что-то вроде «забыл ключ», и она бы отстала, но где там было Сапрыкину это сообразить, он просто отвернулся и опять полез в ящик. «Молодой человек, это же воровство», — сама не любя это свое определение, пробормотала старушка, а Сапрыкин уже достаточно подтянул и перехватил мизинцем свою газету. Тут возникла вспышка суматохи, старушка нажала чей-то звонок, Сапрыкин шумно шелестел, разворачивая газету, залаяла собака. То, что письма не было, Сапрыкин обнаружил и осознал уже на улице, убегая с проклятой газетой к остановке.

Обратную дорогу он помнил плохо. Дома все было по-прежнему. В том смысле, что так же тоскливо и жарко, как и вчера. Он зачем-то посмотрел на часы. Это было его ошибкой. Десять минут одиннадцатого. День, оказывается, еще и не начался. Сапрыкин посидел, полежал.

Ничего подобного делать долго он не мог. Совсем. Семнадцать минут одиннадцатого. Самое главное, перетерпеть вот эти утренние часы, так он себе положил.

Что делать со всею остальной пустыней дня? И пока умел об этом не задумываться. Сильней всего он боялся именно этих утренних часов. Днем можно куда-нибудь пойти (куда?). Можно было бы пойти в магазин... Он спустился в магазин, магазин был в соседнем доме. Там пахло парфюмерией, ну и всем остальным, чем пахнет в таких магазинах. Только подойдя к нужному отделу, он понял, что его решимость ничего не стоит — нет ни денег (не забыл, нет совсем), ни той полосатой ткани. Где же ее теперь искать?

Ну не гардины, так гантели, решил он бодро, но мрачно. Войдя в квартиру, он поднял их, потом положил и разделся. Потом опять поднял. 29 минут одиннадцатого. Сапрыкин зажмурился и начал. Говорят, что физический труд помогает от душевных недугов. Чем больше он двигал в липком воздухе своими косными железками, тем большее пламя образовывалось под грудной костью. Сплошной пот, переходящий в слезы. Мгновенное облегчение он испытал, сложив гантели в тяжкую кучу посреди комнаты. Попробовал согнуть руку в локте, надеясь обрадоваться еще и приросту бицепса. Руки были как вата. 46 минут одиннадцатого. Сапрыкин чувствовал себя более-менее спокойно, потому что у него был для борьбы с часами в запасе душ. Главное, перевалить за одиннадцать часов. Одиннадцать — это почти полдень. Он немного походил по комнате, успокаивая дыхание. Успокоил. 51 минута. Можно. Душа очень зависит от тела, а тело от души. Мысль нехитрая, но верная. Вода мощно журчала по его коже, и он даже что-то напевал, сцепив зубы.

Растираться полотенцем было тяжело, все еще плохо слушались налитые тяжестью члены. Он отправился на кухню, недовытершись, собираясь поставить чайник и наконец-то как-нибудь поесть. Душ, принятый так жадно, зародил внутри бодрость. Чувствовалось, что она будет нарастать, и это было особенно приятно. Душевное равновесие, начавшее формироваться внутри, было еще так хрупко, что Сапрыкин прижал руку к груди, чтобы не дать ему качнуться. Он набрал воды в чайник, зажег газ и посмотрел на часы. И все рухнуло. 47 минут одиннадцатого. Нет, он, конечно, почти сразу вспомнил, что его кухонные часы всегда отставали от комнатных. Лишь несколько секунд он прожил в ужасе от того, что время пошло вспять, но это его сломило совершенно. Он

пробовал бороться, он попытался рассмеяться этой ничейной шутке, но смог только осклабиться.

Он поставил чайник на огонь, сел на белый табурет, все так же силясь улыбаться. Фокус был слишком чудовищен, и Сапрыкин понимал, что сегодня уже не удастся успокоиться. И за внезапной кухонной безысходностью замаячила какая-то более бледная гостья.

Чувства Сапрыкина не обманули. Весь остаток дня превратился... он так и остался прикован к своему табурету, иногда в этом вязком и тусклом времени он совершал по квартире малоосмысленные петли наподобие летучей мыши. Постепенно и незаметно для себя оделся. Даже питался. Следы этих его усилий остались в виде недопитой чашки чая на столе, хлебных крошек на столе же и на полу и желтка на губе. Он гас, тлел, блуждал. Поминутно припадал, принимал к чему-либо. Бесцельно трогал краны в ванной и на кухне. Имели место поползновения вымыть посуду, но оказалось, что чего-то нет под рукой, и замысел не устоял, перешел в привычно сдерживаемое нытье. День тянулся. То есть это, конечно, совсем не то слово (но «тех», кажется, и нет), которое решилось бы дать по себе пройти всей длине этого ожидания. Просто он раз за разом, бесконечное число раз оказывался на своем табурете. И за окном было все то же: жара, листва, глушь полдня. И где-то срывалась бесконечная капля (каждый раз он собирался отправиться на ее поиски, и каждый раз был отвлекаем чем-то), и всегда холодильник был бел и однообразно шутил, врубая свой мотор в самом интересном месте какого-нибудь воспоминания, и всегда гремел лифт, трогаясь с этажа, и всегда тарелки мутно блестели в мойке, и всегда лежал пух в углах, и всегда была жара, и это был ад.

А потом внезапно стали нарастать сумерки. День ринулся под гору. Сапрыкин сумел себя взять в руки до такой степени, что даже позвонил Эльмире Викторовне и узнал номер поезда и час прибытия. Отвернувшись от телефона, он обнаружил, что в квартире темно и, очевидно, от этого прохладно. Тогда, не включая электричества, он тихонечко лег на спину и закрыл глаза. Сложилась такая поза, что могло показаться — он хранит что-то на груди. Он лег в самую смирную позу, и в комнате была полная темнота и полная тишина, и он, с неожиданной витиеватостью мысли, подумал, что в таком

положении удобно скользить по времени, обгоняя его течение. А потом подумал, как хорошо, что в разговоре с этой женщиной сумел-таки произнести свою просьбу передать Ирочке, что он обязательно придет ее встречать.

Итак, он заснул.

Выныривать ему пришлось из очень больших глубин сна. И в тот момент, когда он, снившийся себе пловцом, прорывал головой пленку воды, и он, просыпавшийся в постели, стали совпадать, возник вдруг какой-то чудовищный страх. Так что он открыл глаза, причитая. Конечно же он проспал. Почти безвозвратно. Нужно было мчаться. В вокзальной толчее он сориентировался мгновенно. Чебоксарский поезд стоял на первом пути. Из него валом валил народ. Сапрыкин метнулся туда-сюда. Решил ждать у первого вагона, но не выдержал и побежал вдоль вагонов. Потом, прикрикнув на свое нетерпение и медленно пятясь, вернулся на место. Поток пассажиров редел. Ни Эльмиры Викторовны, ни Ирочки, ни Ирочки, ни Эльмиры Викторовны на платформе не было видно. Он ринулся вдоль состава, но примерно у пятого вагона понял, что это бесполезно. Сердце колотилось. Нужно было бежать в другую сторону. Во рту горечь. Куда бежать? Он рванулся в одну сторону, в другую. И тут увидел Эльмиру Викторовну и Иру прямо перед собой. То, что он на мгновение ослеп,— само собой разумеется, но он к тому же онемел и оцепенел. Он хотел шагнуть им навстречу, но просто потерял равновесие. Ирочкино лицо выражало что-то настолько неопределенное... Без всякой связи с чем бы то ни было Сапрыкин подумал: как они похожи друг на друга — типичные мать и дочь.

— Привет,— сказал он наконец.

— Приветик,— сказала Ира, а Эльмира Викторовна прошла мимо. Сапрыкин, слава богу, догадался взять Ирочкин чемодан.

— Как дела? — спросила она бегло.

Он не мог ей отвечать, его едва хватало на то, чтобы просто идти рядом, да и то сильный порыв нежности вдруг качнул его в сторону Ирочки, и он, произнося набор каких-то междометий, прижался на ходу своим плечом к ее плечу. Движение это было каким-то неловким, и Ира отреагировала на него естественно — она отшатнулась и глянула на Сапрыкина осуждающе, то есть

приподняв брови и поджав губки: ну-ну, мол. И вот они уже подошли к стоянке такси. Несколько минут невыносимого томления рядом с их родственным разговором. Наконец — такси. Садясь в машину, Ира, не наклоняясь к Сапрыкину, проговорила тихо, но отчетливо: «Я тебе сегодня позвоню. Вечером».

Они уехали.

Сапрыкин отправился примерно в направлении метро. Он все время повторял: «Все в порядке, все в порядке. Она просто стесняется матери».

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Я сидел дома и ел. Так бывает всегда, когда мне совсем уж нечего делать.

Жара. На кухне все раскалено. Я в одних плавках на табуретке, потные локти на столе. Июль. Перед глазами календарь, по сверкающему снежному склону голубоватый лыжник несется, рассеивая сверкающую пыль. Февраль. Календарь сам так распахнулся. Я благодарен ему за эту попытку дать пищу моему воображению и хоть на несколько мгновений вырвать меня из здешней духотищи. Я не в силах воспользоваться подарком. Опускаю голову, отрезаю еще один кусок колбасы и жую с отвращением.

То, что жизнь зашла в тупик, мне понятно уже часа полтора. Не зная, что же мне предпринять, я выжидающе посмотрел на телефон. Позвонить мне никто не мог. Если бы в Москве был хотя бы один человек, могущий мне позвонить, я давно бы позвонил ему сам.

Отвернувшись от телефона, я собрался отрезать еще один кусок колбасы. Раздался звонок. В дверь. Я не люблю, когда что-либо начинается сразу со звонка в дверь. В дверь звонят люди все больше официальные — участковый, управдом или цыгане.

С ножом в правой руке я проследовал в переднюю. На цыпочках. Глянул в глазок. Визитер, видимо пытаясь определить, есть ли кто-нибудь дома, со своей стороны приник к хитроумному стеклышку. Только когда он стал отлипать, нелепая масса его лица приобре-

ла черты, оказавшиеся знакомыми. Я лязгнул замком и хмуро пригласил гостя войти. Он вошел, насвистывая, заметил мой странный нож, но никак его не прокомментировал. Гость благоухал свежестью. Я погладил свой горячий живот и последовал за ним на кухню. Тот уже чувствовал себя там как дома, умело и даже изящно заряжал джезве. Он мне всегда нравился умением пользоваться всякой бытовой техникой с особенной ладностью.

— Здорово, Комар,— сказал я и положил ненужный нож на стол,— ты что, недавно в Москве?

Он кивнул — недавно, мол. Я сел на свою табуретку. Комаров варил кофе. Чувствовалось, что у него есть ко мне разговор, но он выдерживает меня, интригует. И напрасно, ничто в нем заинтриговать меня по-настоящему не могло, потому что известен он был мне доскональнейше: десять лет в школе и каждое лето совместный отдых. В разведку я бы с ним не пошел.

— Жарко,— сказал я.

— Нет,— сказал он.

«То есть как нет»,— подумал я, а вслух опять сказал:

— Жарко!

Он что-то хмыкнул, нежно прикасаясь ложечкой к пене, потом неожиданно, с некоторой театральностью в движениях обернулся.

— Слушай, Гусь (школьное производное от имени Кузьма), приди мне на помощь!

— Вы расстались?

— К этому шло. Если женщина истерична — это гроб. Вот посмотри, она вчера шарахнула меня каблуком в переносицу. В ресторане. И вот я здесь.

У него был на излете бурный роман с одной весьма своеобразной актрисой. Она значительно превосходила его возрастом, имела сложную театральную судьбу, два крайне неудачных замужества. Комар был двадцатитрехлетний рослый парень, с лицом, вызывающим с первого же мгновения знакомства полнейшую симпатию. Когда он сообщил мне о своем плане ее обольстить, я посмеялся про себя. Его сердцедающий школьный опыт представлялся мне смехотворным и бесполезным в атаке на эту развращенную крепость. И действительно, вначале он был отшит. Я бы в такой ситуации отступился, сказав себе: что дается тяжело, то не нужно.

Но Комаров был мальчик избалованный, он не уговорился, два месяца держал в обольстительной осаде свою пассивность, до меня дошло несколько историй, произошедших на фронте этой борьбы, в некоторые я поверить просто не мог, другие у меня вызывали смех, но факт остается фактом — Комар добился желаемого. Счастье любовников длилось по нынешним меркам довольно долго — год. И вот теперь у него все рушится. Впрочем, сам он никогда не возражал против того мнения, что союз этот недолговечен. Соглашаясь в этом со мною, он считал, что финальная сцена близка, он не совпадал со мной только во мнении о том, какой ей быть. Он был уверен, что будет драма, а я — что фарс.

Комаров посмотрел на меня с печальной и мудрой улыбкой, которая кажется незрелым женщинам продуктом сложно и жутко прожитой жизни, а у почти всех мужчин вызывает чувство неловкости, как непорядок в интимной части туалета. Он переусердствовал и за свой напрасный неуправляемый артистизм был на этот раз наказан кофеваркой. Напиток, поглотивший столько его заботы, безобразно шипел по всей плите.

— Свинья, — сказал я ему и дал стакан холодного еще молока.

— Я решил жениться.

— Женись, — отозвался я, выбирая, с которого бы места начать вытирать плиту.

— Ты не понял, не абстрактно хочу, хочу жениться по расчету.

— Ты устал от «такой жизни»?

— Ужасно. Все, хватит. Хочу жить тихо, мирно и обеспеченно.

— А отец?

— Ну, отец... В общем, он не одобрил мой театральный роман. Пришлось зарабатывать. Истерики женщины, по-моему, самые дорогие. Дара коммерции у меня нет.

— Ты же переводил фильмы.

— Переводил, да. Но там мафия. Но даже если втиснешься — воловьей нагрузки. Нет, Гусь, это мне не по зубам.

— Ты не любишь работать? — бесцветно, без нажима спросил я.

— Нет, — страстно ответил он, — не только работать, я даже зарабатывать не люблю.

— Но тогда ты паразит,— как бы делая неожиданное открытие, воскликнул я.

— Да,— чистосердечно кивнул он. Это была наша давнишняя игра. В зависимости от настроения я вкладывал в реплики своей роли все — от раздражения до обожания.

— Чего же ты хочешь от меня?

— Помощи. Помогите мне жениться по расчету.

— Но ведь по любви лучше.

— Нет, лучше по расчету. Любовь проходит, а расчет остается.

— Почему ты решил, что я могу быть помощником в таком грязном деле.— Я в это время продолжал вытирать загаженную плиту.

— Ну помнишь, у вас на курсе были какие-то девчульки... Одна то ли народного артиста, то ли подводного министра, и этого академика, помнишь, хитренькая!

— Она уже замужем и уже родила.

— Спасибо, что предупредил.

— А что ты со своей стороны не поищешь?

— Как же-с, искал. Все как-то не то.

— Тебе что, красивая нужна?

— Но безобразие тоже, я думаю, не нужно ставить непременно условием.

Наш дальнейший треп все больше превращался в переливание из пустого в порожнее. Я не верю в комаровские замыслы, эфемернее его замыслов, быть может, только мои... Но вдруг. Да, именно вдруг я с необыкновенной ясностью понял, что вариант есть. Увидел людей, при помощи которых, вернее с участием которых, вполне мог бы осуществиться комаровский проект. Несколько секунд я колебался, по причинам, скорей всего, морального порядка. Но колебался я недолго.

— Трафальгаров.

— Что Трафальгаров? — спросил Комар.

— У него есть дочь, Ксения, Ксюша, насколько я помню — двадцать три года, закончила где-то искусствоведение.

— Слушай, это тот, который вот это — па-па-паам? Да?

— Да.

— Ну он же плохой композитор!

— Дареному коню...

— Но он богатый?

— Вся страна поет.

— Да, да, Гусь, ты прав, ты прав. А как она выглядит?

— Какой-то ты привередливый: то отец недаровит, то девица не красна.

— Ну и пусть уродина,— задумчиво пробормотал Комар,— крепче любить будет.

Мы начали вырабатывать план действий. Рассуждали мы логично. Дочь такого всесоюзно известного человека, как композитор Трафальгаров, не может не быть избалованным существом. Было, например, известно через третьих лиц, что в подарок ко дню ее двадцатилетия отцом ей была подарена машина. Стало быть, поклонников у нее — множество, и наша Ксюша уже давно поняла, даже если и не умна особенно, что большинство поклонников из того мерзкого рода, что считает расчет долговечнее любви. Следовательно, она может поверить в искренность чувства такого человека, который сумеет продемонстрировать свою полную финансовую полноценность. Здесь ход нашей подлой мысли застопорился. От схемы нужно было переходить к жизни, а это всегда трудно. Мы перебрали множество всяких вариантов, взвесили все более-менее достоверные факты Ксюшиной биографии, пытаюсь в них отыскать подсказку. Мы уже стали уставать, веселая затея понемногу ветшала, паутинки тоски мелькнули на ней, когда выход из тупика нашелся, и нашелся в том, что лежало на поверхности,— в ее профессии. Она искусствовед и немножко художница.

— Если она искусствовед, то должна разбираться в картинах,— глубокомысленно заявил Комар. При этом он неотрывно смотрел в стену над моим креслом. Меня это раздражило, и я понял — почему: подсознательным зрением я увидел в этой фразе, сокупленной с этим взглядом, некое посягательство на единственную ценность нашего семейства — небольшую работку Саврасова.

— Ты хочешь ее подарить своей невесте? — со всей возможной язвительностью спросил я.

— Подарить? Именно подарить!!! Только не невесте, а матери, матушке моей, старушке к дню ангела.

План составилсЯ мгновенно. Мы всласть поохота-

ли над его деталями, и уже через несколько минут я отыскивал телефон Союза композиторов, где через секцию композиторов-песенников вышел на телефон ничего не подозревающего Трафальгарова. Набрав в грудь побольше воздуха, я стал накручивать диск своего аппарата.

— Ксения Максимовна?

— Я слушаю вас.

— У меня к вам вот какое дело, фамилия моя ничего вам не скажет, а зовут меня Кузьма, вы не смогли бы оказать мне и моему другу профессиональную услугу,— неожиданно в рифму и от этого как-то нагледя протараторил я.

— Какую услугу?

— Нужно удостоверитель подлинность картины.

— Странно. Скажите, а почему вы обращаетесь ко мне? Есть более компетентные люди. Свяжитесь с Союзом художников. К тому же непонятно, как у вас мог оказаться мой телефон.

— Мне его там и дали.

— Где там?

— В Союзе художников... в секции графики,— сказал я и напрягся, вдруг там не могло ни в коем случае быть ее телефона?

— Странно,— сказала Ксения Максимовна раздумчиво, голос у нашей дурнушки был очень приятный.

— Дело в том,— бодро начал я, не давая сомнению разрастись,— что на дворе июль и все более компетентные люди лежат где-нибудь на южном пляже или сидят на даче. Слава богу, что мы хоть... слава богу, что вы в Москве.

— Но я вообще-то такими делами не занимаюсь.

— Разумеется, консультация платная.

— Зачем же вы...

— И машину мы за вами можем выслать хоть сейчас.

В разговоре еще были перипетии, но, в общем, она согласилась. Какой-то приятель Комара, специально вызванный для этой цели, съездил на Котельническую набережную и привез нашу дурнушечку ко мне на Плющиху. «Хорошо, что ты живешь не в Орехово-Борисово»,— сказал Комар во время ожидания. Мы с ним детально распределили роли. Театр предстоял несложный: в тот момент, когда будет установлено, что Саврасов,

висящий на стене, это точно Саврасов, у эксперта обязательно появится острейшее желание спросить, а для чего, собственно, понадобились ее услуги. И тогда я, именно я, скажу: «А, это вот Сережа своей маме хочет сделать подарок ко дню ангела». После этого мы пьем кофе, сваренный ловкими руками Комара, весело шутим, сыплем прибаутками, остротами, причем я всячески подыгрываю Комару, стараясь выставить его в максимально выгодном свете. После этого искусствоведша доставляется домой Комаром. Одним, потому что у меня оказываются дома неотложные дела. Все остальное просто дело техники. «Если учесть рост Комара, его улыбку, длительность его пребывания в самом изощренном обществе, полную его беспринципность, успех будет достигнут, мне думается, быстро и даже без лазания по водосточным трубам», — думал я, попивая молоко и глядя, как мой дружок перед зеркалом делал нужное выражение лица.

Звонок в дверь.

Сразу же начались нарушения детально разработанного плана. Комар притащился в прихожую, не сумев победить приступа любопытства. Хотя его можно понять — все-таки будущая жена.

Ксения была одета очень хорошо, в белый какой-то костюм. Она благоухала, и даже не духами, а свежестью, цветущей сиренью и т. п. Моя маленькая прихожая преобразилась. Комар, продолжая самым непозволительным образом нарушать яростно одобренный им самим план, стал перетягивать инициативу на себя, взялся указывать дорогу к картине, тут же выложил все про маму и день ангела. Моя роль стала лишней. Мы заговорщицки поздоровались с Игорьком, владельцем машины, дружески нанятой Комаром, и пошли на кухню варить кофе. Комар заливался певчей птицей. Зная его в высшей степени фрагментарное знакомство с живописью, я испытывал злорадное удовлетворение, представляя, как могут выглядеть в глазах профессионалки его попытки блеснуть искусствоведческим лоском. Но он оказался умнее, чем мне бы хотелось. Он появился на кухне и прошипел: «Гусь!», давая мне понять жестами, что без меня он обойтись не в состоянии. Войдя в комнату, я застал такую картину: Ксюша стояла, слегка потупившись и, на всякий случай, улыбаясь, Комар буравил ее вдохновенным взором и говорил, гово-

рил. С жаром, но вместе с тем веско. И не о живописи. Он расписывал, как он любит свою старушку-маму.

Ксюшу я и в этот раз не успел рассмотреть как следует. Кажется, она была чуть-чуть полновата, и овал лица...

— Вот он, хозяин. Его зовут Кузьма,—сказал мой друг тоном, в котором сквозило явное презрение ко мне, мерзавцу, опустившемуся до распродажи семейных реликвий.

— Ксения,—сказала Ксения, протягивая мне узкую нежную ладонь.

Нет, эта девушка ничуть не была полновата, и овал лица у нее был самый трогательный. То-то «жених» суется. Когда бы было возможно, он продержал бы меня на кухне.

Мы поговорили о Саврасове, мне было приятно услышать, что «это совершенно бесспорный Саврасов». Приятно было рассказать Ксюше историю злоключений этой картины. Она так благодарно слушала! А поскольку история картины тесно связана была с историей семьи, то я постепенно от живописи легко перешел к жизни, завел речь о папе и маме. Когда наш разговор очень уж стал походить на рассматривание семейного альбома, Комар нервно встрял:

— Ксения, так вы советуете брать?

Девушка вежливо улыбнулась:

— Если вы можете заплатить...

— Для моей мамочки мне ничего не жаль,—бодро выговорил Комар эту фальшивейшую фразу.

Тут вошел Игорек, неся на подносе четыре кофейные чашки. Увидев их, мы обнаружили, что стоим. Мы уселись и славно выпили кофейку. Ксюша слушала нашу болтовню, улыбаясь в чашку. Внимание сразу трех мужчин ничуть не испортило ее манеру держаться. Она не кокетничала совершенно.

Комар не позволил беседе затянуться. Допив кофе, он решительно встал, подал даме руку и сказал мне длинную и глупую фразу, в которой в очень куртуазной форме сообщил мне, что деньги за купленную им картину притаранит завтра.

Они уехали.

На следующий день Комар отправился со своей невестой в ресторан. То, что в этом ресторане было съедено и выпито, несущественно, сок ситуации был в том,

как происходила оплата счета. Комар взял у приятеля, только что продавшего свой «видик», поносить бумажник. В этот бумажник, туго набитый банкнотами, Комар уложил свой четвертачок. Комар смачно описывал водопад песочного цвета бумажек, хлынувший из неудачно распахнувшегося кожаного сейфа. Восклицания официанта. Восклицания Ксюши.

Больше я этой историей не интересовался, да и Комар, надо отдать ему должное, не навязывался с рассказами о своем романе. Психологически это понятно, меня, как свидетеля, вообще неплохо было бы шлепнуть. В дальнейших выдумках жениха, я уверен, было все больше и больше пошлости и все меньше иронии и блеска. На свадьбу он меня пригласил, но вяло, и я с удовольствием не пошел.

Встретились мы снова через год. В Крыму. Я сидел в кафешке на берегу и ел мороженое. Было рано, кафе почти пустовало. Ветерок ласково возился с отворотом моей рубашки. Шумело, естественно, море. Я смотрел вдаль. Я верил в возможность новой, чудесной, чистой жизни в будущем. Верно, я задумался. Хохот Комара, оказавшегося на соседнем стуле, прошел незамеченным. Он хохотал радостно, дружелюбно. Тут же стал меня знакомить с хорошенькой девчушкой лет девятнадцати с сердитыми, очень кокетливыми глазками и капризно подобранной нижней губкой. Ее имя он назвал приблизительно, и это было справедливо...

Мы обменялись порциями бесцветных новостей, и он уже готовился отчалить, когда я, не сдержавшись, спросил:

— А как наш Саврасов? Мамочке понравился подарок?

Комар захохотал. Он не таился перед своей спутницей и лупил прямым текстом.

— Представляешь — я сбежал! Это не дом, а ремеслуха. Он целыми днями бренчит на рояле, она целыми днями стучит на машинке. Можно было сойти с ума. Но я бы все перенес, честно говорю — перенес бы, но однажды не выдержал, и знаешь из-за чего? Зашла как-то речь о музыке, и выяснилось... Честно говоря, я предполагал, что мой тестек прекрасно понимает, что он ремесленник, что гонит туфту для бабок. Так нет, он

серьезно, абсолютно серьезно считает себя фигурой, равной Мусоргскому. Почему-то именно Мусоргскому. Знаешь, я этого вынести не смог, я сказал ему правду и... вот я здесь.

Когда мы расстались, я пошел на пляж. Я валялся, загорал, пил газировку, пытался читать, плавал, опять валялся на солнце и наконец, придя в состояние, близкое к бреду, понял, что мне нужно делать. Побежал домой, перерыл чемодан, нашел старую записную книжку, нашел букву К. Телефон был на месте. Бегом домчался до переговорного пункта и стал накручивать раскаленный диск. Но было занято, занято, занято.

ШАМИССО, ИЛИ МАЛЫЙ МОСКОВСКИЙ КОШМАР

— Нет, сегодня я точно сойду с ума,— прошептал Дымов, глядя в окно,— июль, будь он проклят!

На дворе действительно стоял июль, кроны тополей были в ошметках свесившегося пуха, возле кривых качелей копошился некрасивый ребенок, на раскаленном асфальте кто-то разбил бутылку вина, оно быстро высыхало. За стеной старуха-хозяйка громко разговаривала со своей кошкой Мартой: «Мурка, Мурка, Мурочка...» На столе... Дымов тоскливо посмотрел на обшарпанный письменный стол, там среди полуразрушившихся книжных башен стояла сковорода, покрытая слоем сизого жира, и захватанный стакан. «Диссертация»,— самоиронично подумал Дымов. Все эти книги, эти бумаги и все его планы на будущее представлялись чем-то абсолютно ничтожным и ненужным. «Где ты бродишь, дурочка?» Кошка в ответ отвратительно мяукнула.

Геннадий Дымов был худым, лысеющим, с редкой клочковатой бородой молодым человеком, лет двадцати восьми. Он переживал плохой период своей жизни. Три месяца назад он расстался с женой, эта рана не вполне еще зажила. Нужно было заканчивать очередную главу диссертации, но при виде печатного текста у него к горлу подкатывали рыдания. Настал страшный июль. Все друзья, все приятели и просто знакомые ку-

да-то исчезли из города, на юг, на дачу. Старуха-хозяйка, у которой он три месяца назад снял это жилище, все больше глохла, поэтому разговаривала все громче, и даже начала храпеть. Старуху он ненавидел и давно сменил бы жилье, если бы у него нашлись силы для поисков.

Делать было нечего. Ни сейчас, ни через час, ни, особенно, вечером. Имелся, правда, один вариант. Харченко. Он жил с некрасивой беременной женой и тещей на другом конце Москвы, будь она проклята. Ехать к Харченко ему не хотелось. Харченко не был ему другом, его даже приятелем можно было назвать с трудом. И он вполне заслуженно имел репутацию жлоба, зануды и скряги. Ехать к Харченко через всю Москву, чтобы провести вечер с Харченко,— лучше в ад. К тому же Дымов должен был ему шесть рублей, вообще-то пустяк, но в этой ситуации... Нет, лучше лечь и умереть. Дымов лег. Лежать было неудобно, что-то кололо в плечо, к левой босой ноге привязалась муха, казалось, что кто-то липкий и тупой пытается пересчитать пальцы на его ноге. «Марта, Марта, Марточка, где же твоя карточка?»

Дымов резко встал, дал по шее назойливой мухе, так что ее с гудением унесло за диван, втащил к себе из коридора телефон и через секунду, откашливаясь и морща длинное, несчастное лицо, говорил:

— Это Харченко? Владимир? Слушай, старик... как ты там, а? Это Дымов, узнал? Ничего, да? У меня тут идеяка промелькнула... ну да, да,— и Дымов угодливо хохотнул,— как бы ты отнесся?..

Харченко на удивление легко согласился принять гостя. Условились, что часам к семи вечера Дымов подъедет к нему с бутылкой водки. Положив трубку, Дымов понял, что ехать ему страшно не хочется, слишком он много пил в последнее время. И денег мало — только на бутылку. О долге этот жлоб не заикнулся, значит, напомнит на месте. Дымов вздохнул: «Речной вокзал».

У Харченко Дымова ждала приятная неожиданность. Даже две. Во-первых, дома не было жены и тещи, они уехали на дачу. во-вторых, с кухни доносился негармоничный, но забавный голос, напевавший популярную песню: «Надо же, надо же, надо ж такому случиться».

— Одноклассник нашелся,— тихо пояснил Харченко,— пятнадцать лет не видались.

Через несколько секунд Дымов пожимал крепкую дружелюбную руку.

— Таласов,— представился одноклассник. Он оказался полненьким, розовощеким балагуром. Очень забавной выглядела остренькая рыжая бородка в соседстве с ярким, сочным, подвижным ртом. Глаза у него были хоть и глубоко посаженные, но искрящиеся необыкновенной живостью. Поздоровавшись с вновь прибывшим гостем, он вернулся к нарезанию сыра. Закуска была почти готова. Из холодильника со всевозможными приличествующими прибавками была извлечена плотно запотевшая бутылка водки, на ее место была водворена бутылка, принесенная Дымовым. На кухне было прохладно и уютно. Сели. Хозяин скрупулезно наполнил рюмки.

— Ну что же,— Таласов первым поднял свою рюмку,— выпьем за психическое здоровье,— в речи его чувствовалась легкая картавинка, не вредившая ей, впрочем, а, наоборот, придававшая переливчатость, приятную стремительность. И вообще он был очень приятен внешне, наверняка миляга и душа любого общества. Дымову он понравился сразу и полностью. Он был благодарен ему за то, что тот оказался здесь и спас его от тоски банальной пьянки в обществе этого зануды Харченко. Хозяин был сегодня особенно мрачен и менее разговорчив, чем обычно, ничего ему не нравилось. Его полутемные очки, которые он носил по совету офтальмолога, сегодня казались особенно непроницаемыми, а его почти идеально круглая голова с короткой, больничного вида стрижкой сегодня казалась настолько шарообразной, что на нее невозможно было смотреть без легкой тошноты. Он угрюмо смотрел на натюрморт из помидоров, огурцов, зеленого лука, отменной колбаски, аккуратно нарезанного сыра и с запотевшей бутылочкой водочки посередине, и казалось, что он собирается выругаться.

Выпили по второй. Олег (так звали Таласова) сыпал прибавками, легко, естественно поддерживал высокий тонус застолья, подмигивал Дымову, быстро поглощая ловкими губами длинное мокрое перо лука и похлопывая Харченко по скованному плечу. Хозяин медленно ел, низко наклонившись над самой тарелкой,

двигая носом так, как если бы он боялся уронить в еду свои очки. Но когда выпили по третьей, даже он немного размяк. Стал тихонько хмыкать, когда Таласов отпускал особенно ловкую остроту. Одноклассник Харченко относился к той породе людей, которые знают на память бесконечное количество анекдотов, обычный человек помнит обычно два-три из недавно услышанных. Он каждую секунду останавливал собеседников, говоря: «По этому поводу есть анекдот». Рассказывал он их изумительно, все стили, от кавказского акцента до чукотского сюсюканья, великолепно у него получались.

Достали вторую бутылку. Дымов тоже кое-что вспомнил из студенческого фольклора и из армейской жизни. Поскольку Харченко тоже служил, а Олег, по всей видимости, относился к вооруженным силам с большим уважением, эта тема наконец-то сплотила всех троих. Когда вторая бутылка подходила к концу, Дымов держал страстной кистью Олега за мягкое предплечье и говорил ему, что благодарен судьбе за эту встречу, за нового друга. Друг! Что может быть ценнее в жизни! Таласов внимательно его слушал.

— Вот Харченко,— Дымов мощным движением бросил свою голову в сторону сонно набычившегося хозяина,— разве может меня с ним что-нибудь разлучить?!— и, любовно взъерошив коротенький хозяйский ежик, Дымов рывком возвращал свою голову на прежнее место.— И ты!..

На глазах Таласова стояли слезы, и он, не дав Дымову договорить, поцеловал его в засос. Он тоже был рад новой дружбе.

Но тут вдруг выяснилось, что горячее на исходе. Харченко, поддавшийся общему восторженному настроению, полез в кухонный шкаф, и в его пахнущих корицей и лавром недрах нашарил квадратную бутылку коричневатой жидкости. Бутылка была почти на две трети полна какой-то грязноватой на вид ерундой, оказалось, что это редчайший таежный корень, на котором только и держится тещино здоровье. А жидкость — спирт.

— Корень мы ей оставим, слово джентльмена,— сказал Дымов, подмигивая хозяину то левым, то правым глазом по очереди.

Спирт был выпит в два присеста. После этого слезы и братания продолжались, правда в несколько замед-

ленном темпе. Молодыми людьми овладевали приступы болтливости, переходящие в приступы задумчивости. Разумеется, застолье это не могло просто так закончиться. Дымов первый высказал мысль о том, что в квартире не может не быть еще какого-нибудь спиртного.

— Ты смотришь в корень,— сказал Таласов, но непонятно было, к кому эта реплика относится, потому что Харченко в этот момент разглядывал опорожненную бутылку спирта, на лице хозяина выражалось мстительное чувство, он, кажется, был рад, что лишил важнейшего лекарства мать своей жены.

Поднятые идеей Дымова, друзья двинулись на поиски. Сначала очень долго выбирались из кухни. Все время путалась под ногами крайне наглая табуретка. Харченко, двинувшийся на поиски во главе колонны, так и не смог с ней разминуться. Переступить он ее тоже не смог. Сил хватило только на то, чтобы повалить ее, мерзавку. Так он и покатил ее по короткому коридору уверенной хозяйской ногой.

Две бутылки водки и восемьсот граммов спирта сделали свое дело. Блуждания по квартире продолжались недолго. Поскольку никому не удалось включить где бы то ни было свет в квартире, изыскатели, то шипя, то перекликаясь по-таежному, бродили в темноте, пока не канули в ней.

Страшней всего похмелье тогда, когда застает человека вдали от родного дома. Дымов, открыв глаза, увидел перед собой очень увеличенный рисунок незнакомых обоев. Он хотел было застонать и позвать на помощь, но неизвестное чувство не позволило ему это сделать, он просто всхлипнул. Вместо того чтобы сразу решительно отвернуться от стены и разобраться, где он находится, и вспомнить, что с ним вчера произошло, Дымов, не двигаясь, насторожился и стал зачем-то прислушиваться, но ничего полезного не услышал, кроме болезненного сипения крана на отдаленной кухне. Попытавшись подумать что-нибудь бодрое и смелое и не сумев этого сделать, Дымов решил тогда распрямить затекшее тело — он лежал, круто свернувшись калачиком. Но у него ничего не получилось — тело не распрямлялось. Дымов совершил еще одно, более мощное

усилие — никак. «Ничего себе», — отчетливо и с некоторым испугом подумал он. Его прошиб холодный пот, а в сознание ворвался образ артиста-атлета Дикуля. Собравшись со всеми силами и даже зажмурившись, Дымов страшно напряг свое крепкое от природы тело и стал распрямляться... послышался крепнущий хруст и вслед за этим легкий комнатный грохот. Дымов замер, лежал так несколько секунд, а затем, приподнявшись, увидел отломанную спинку детской кровати, на которой он провел ночь, и отлетевший к стене стул. И тут же над ним раздался неприятный картавый голосок:

— С добрым утречком, как почивали?

Дымов резко сел и увидел перед собой розовое, свежее лицо вчерашнего собутыльника, он с удовольствием поглаживал большим и указательным пальцем свою рыжую острую бородку. Переждав мутную волну, захлестнувшую его сознание вследствие резкого движения, и судорожно глотнув воздуха, Дымов наклонился к отломанной спинке кровати и неуверенно попытался приставить ее на место.

— Нет, ничего не выйдет, шурупы вырваны, — весело сказал Таласов.

— Неловко повернулся, — попытался объяснить Дымов, снова подвигал безнадежной спинкой, — детская кровать... А где Харченко?

— Он еще спит. Сказал, чтобы мы сами.

Посидев еще с полминуты, дожидаясь, пока жизнь окончательно вернется в омертвевшие члены, Дымов встал и с предосторожностями, держась за предметы мебели, попадающиеся по дороге, двинулся в ванную. Но там его ждало полное разочарование, оба крана издавали только сухое шипение, когда он вращал фаянсовые ручки.

— Представьте, даже в туалете нет воды, — сказал за спиной Таласов. Дымов ничего ему не ответил и, тяжело ступая, проследовал на кухню и, усевшись на неудобный белый табурет, в полной мере осознал и почувствовал, как ему тяжело. Вчерашний его собутыльник шарил в холодильнике.

— Попить бы, — тихо сказал Дымов.

— А почти ничего нет, все, видимо, вчера... ага, вот тут что-то...

Добыча была жалка — початая бутылка «Бурати-

но» и треть бутылки староватого кефира. Попробовали позвать к дележу добычи хозяина квартиры, но, поглядев на него, не сговариваясь решили, что поднимать его сейчас слишком бесчеловечно. После короткого совещания было решено отдать ему весь кефир, он был доставлен, что называется, в постель — бутылку поставили рядом с изголовьем кровати Харченко и похлопали по небритой хозяйской щеке дружеской рукой. После этого решительно распили успевший слегка нагреться лимонад. Дымов несколько секунд с закрытыми глазами переживал действие напитка, его прошибла слеза, и сильно заломило в затылке, и он прислушивался, не начинается ли у него в организме нового приступа паралича. Но ничего страшного не произошло, просто опять выступила на первый план тоска, зародившаяся в нем в первый момент пробуждения, при виде рисунка на обоях. Она была близкой родственницей той тоски, что привела Дымова в этот дом.

На кухне было невероятно жарко, душно и чем-то неприятно пахло, может быть, тещиным корнем. Хотя корни не пахнут. Приходилось все время зажмуриваться, потому что слепило солнце, бывшее прямо в окно. Дымов вытер свой влажный лоб дряблой ладонью и сказал собутыльнику:

— Как я понимаю, вы — здесь... а я-то пойду, пожалуй,— и он попытался подняться. Ему очень хотелось домой, под прохладный душ, а потом с бутылкой пива на свой диван, он готов был даже послушать разговоры хозяйки с кошкой.

— Что вы, что вы, я тоже иду.

— А как же — одноклассник?

— Не беспокойтесь, с минуты на минуту приедет его супруга с мамой.

— Ну тогда нам надо бежать?

— Пожалуй, да.

Раздался звонок в дверь, и Дымов вскочил и, прихватив с ручки кухонной двери свою сетку, кинулся в прихожую. Когда его пальцы нервно возились с цепочкой, он пытался на изнуренном лице изобразить живейшую радость, но, когда дверь отворилась, обе явившиеся женщины только ахнули. Бормоча на ходу самые дружеские, заискивающие приветствия, Дымов кинулся вниз по лестнице. У него было только одно желание — поскорее скрыться с глаз их долой. Объясниться он

предполагал потом. Таласов, не говоря ни слова, бежал вслед за ним, видимо считая действия Дымова вполне естественными. Когда они оказались на остановке автобуса, держась рукой за ту часть груди, где располагалось сердце, и стараясь успокоить дыхание, Дымов спросил у спутника:

— Ну вот, вам, собственно, в какую сторону?

— Нам по пути, до метро.

Дымову хотелось остаться наедине с собой, ему нужно было привести в порядок свои мысли. Он собирался поклясться себе, что в самое ближайшее время возместит ущерб, нанесенный харченковской мебели. Его пугали муки стыда. Таласов был сейчас неуместен, но он говорил правду — им было по дороге, маршрут имелся тут один, и ничего поделаться с этим было нельзя.

Ждать пришлось довольно долго. Жара, призвав на помощь духоту, осадила изможденные чувства Дымова. Таласов, по всей видимости страдавший значительно меньше, почел своим долгом развлекать товарища. Недалеко от остановки, за редкой березовой рощицей, виднелся обшарпанный купол какой-то церкви.

— Церковь Николы Угодника, типовой проект начала века. Полностью загажена.

Дымов внимательно посмотрел на спутника и снова тяжело вздохнул, Таласов порылся во внутреннем кармане своего пиджака и вытащил сложенный вдоль «Огонек», достал шариковую ручку и стал внимательно вглядываться в полуразгаданный кроссворд.

— Пустыня в Южной Америке, раз, два, три, четыре, пять... восемь букв.

Дымов посмотрел на выжженный солнцем асфальт, покрывавший уходящую к горизонту дорогу, и тихо сказал:

— Калахари.

— Подходит, — радостно сообщил кроссвордист и стал вписывать маленькие буквы в маленькие клеточки.

Подкатил наконец автобус.

Усевшись с тяжелым вздохом на горячее сиденье, Дымов стал медленно и неуклюже рыться в кармане своих джинсов в поисках талона, но над его ухом прозвучал бодрый голос:

— Я уже пробил. Два.

Эта предупредительность почему-то очень раздра-

жила Дымова, он несколько раз особенно шумно вздохнул и сказал:

— А у меня проездной.

— Ну и отлично,— добродушный был ответ.

Большая часть дороги до метро прошла в молчании. Жара делала свое дело, Дымов на несколько секунд впал в полубессознательное, сонливое состояние, вывел его из которого приступ тошноты из-за резкого торможения автобуса. Сосед вдобавок легонько толкнул его в плечо.

— Вон, посмотрите,— Дымов автоматически посмотрел туда, куда указывала короткопалая, поросшая рыжеватыми волосиками рука Таласова,— церковь Знаменья в Грачевке 1840 года, сейчас она в ужасном состоянии, а в свое время здесь венчался Брюсов.

Таласов вел рассказ с большим знанием дела, увлекательно. В этом районе церковей было достаточно, через несколько сот метров стояла другая, судя по всему, действующая, но на нее Таласов почему-то внимания не обратил. Впрочем, Дымову было в высшей степени все равно. Автобус остановился, выйдя из него и миновав строй киосков «Мороженое», «Табак», «Союзпечать», приятели остановились у входа в метро.

— Ну,— сказал Дымов со всем дружелюбием, на которое был способен,— вам куда? — и протянул руку.

— Я думал, не поехать ли на такси...

— А-а, а вот мне в метро, пока!

— Но такая жара... Я лучше составлю вам компанию. Под землей прохладно.

— Да-а, что вы говорите?

— Поверьте мне.

Дымов несколько секунд внимательно смотрел на спутника, потом полез в карман и, нащупав там горсть мелочи, сказал:

— Воды попью...

— Прекрасная мысль.

Потягивая тепловатую, чуть-чуть прокисшую воду, Дымов несколько раз подумал: «Вот черт!» Ему нестерпимо хотелось остаться одному. Подташнивало, в голове образовывались какие-то мгновенные пустоты, локализованные потери сознания. Рубашка липла к телу, правая нога оказалась натертой, по виску ползла отвратительная капля пота.

— У-ух, хороша водичка! — сказал Таласов, ставя

стакан в пасть соседнего автомата, — холодненькая, свеженькая. Ну что, поехали?

Когда поезд тронулся, он снова достал из кармана давешний «Огонек» и прокричал на ухо зажмурившемуся Дымову:

— Размещение предметов в музее, на выставке в определенной системе, десять букв... — и сам себе ответил: — Экспозиция. Величина, характеризующая способности поверхности отражать поток электромагнитного излучения или частиц, семь букв...

Как ни странно, Дымов пытался вслушиваться, его внимание было, правда, размыто волнами сложного, визгливого шума, особенно мучительного в момент торможения и разгона поезда. Дымова тошнило все сильнее. Он переждал восемь таких приливов и отливов.

— Советский спортсмен, легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1960 года?

На очередной остановке, явно не доехав до дому, Дымов встал и решил выйти, он не попрощался со своим спутником, ему было явно не до приличий, он еще надеялся, что тот хотя бы обидится и отстанет, но Таласов не отстал, стоя на эскалаторе, Дымов услышал его воркующий голосок:

— Вам плохо? Вам надо подняться на свежий воздух.

Дымов временно покорился судьбе, сил у него не было совсем. Он решил выпить минеральной воды, а потом уже что-нибудь предпринять.

Жара на Пушкинской площади была еще круче, чем на Речном вокзале. Вид фонтана за спиной великого поэта не убеждал в том, что под сенью его струй возможно отыскать прохладу. Над головой Александра Сергеевича дрожал отчетливо видимый столб раскаленного марева, как будто какая-то страстная мысль овладела материалом памятника.

Дымов стоял в неуверенной позе и угрюмо смотрел перед собой. Таласов, решив, видимо, что его товарищ пытается подсчитать количество людей, стоящих в очереди в кассу кинотеатра «Россия», вдруг сказал:

— Можно и в кино сходить, говорят, довольно забавный фильм.

Дымов бросил в его сторону мгновенный злобный взгляд, шумно вздохнул и сделал несколько шагов по направлению к фонтану.

— А вон там, прошу обратить внимание, церквушечка, видите, слева от кинотеатра, Рождества Богородицы в Путинках, семнадцатый век. Сейчас там, это очень символично, тренировочный зал циркового училища. Акробаты, надо думать, прыгают, канатоходцы... ходят.

Резко отвернувшись от церкви и от «России», Дымов двинулся по направлению к магазину «Минеральные воды». И выпил там четыре стакана нарзана с сиропом. Таласов не отставал и тоже выпил стаканов пару, видно было, что без особой нужды выпил, а только для дружбы. Но это Дымова ничуть не подкупило, и он, медленно цедя последние капли и не глядя в сторону дружественно настроенного спутника, жестко спросил:

— Вы, кхгм, чем, собственно говоря, собираетесь заняться-то?

— Вы не бойтесь, я вас в таком мрачном расположении духа не брошу. Давайте погуляем. Центр Москвы великолепен в эту пору. Я покажу вам свои любимые, если можно так выразиться, заповедные уголки каменной летописи, а потом закусим в приличном, тихом месте...

— У меня другие планы.

— Какие? — согласный, кажется, на любое предложение, самым живым образом спросил Таласов.

Дымов, не ожидавший такого поворота в разговоре, не смог ничего ответить, только выпятил нижнюю губу и поднял одну бровь. Вялый мозг никак не мог родить ни одной подходящей мысли. Пробормотав что-то бессвязное о тетке, о диабете и Симферополе, но так и не составив из этих заготовок никакого осмысленного предложения, Дымов поставил свой стакан на мраморный прилавок и пошел на улицу. В горле у него клокотала сдерживаемая ярость. Таласов, естественно, был рядом. Дымов плелся сомнамбулически, на первый взгляд в его действиях не было никакого плана. Он подходил к газетным стендам на Тверском бульваре и подолгу изучал таблицу футбольного первенства и программу телепередач на вчера. Присаживался на скамейку и внимательно наблюдал за тем, как резвятся ребятишки на детской площадке. Просто останавливался у какого-нибудь дерева и задумчиво прислонялся к нему плечом. Короче говоря, не только на первый взгляд, но и при внимательнейшем рассмотрении в его

действиях не было и намека на какой-то план или смысл. Дымов был просто в растерянности. В конце бульвара он опять уселся на скамью в тылу памятника Тимирязеву. Таласов тут же достал из кармана свой кроссворд:

— Немецкий поэт-романтик и естествоиспытатель, цикл стихов был положен на музыку Шубертом. Открыл поколения у скальп.

Дымов не знал, кто это такой, к тому же не хотел отвечать, он нервно встал и быстро двинулся вон с бульвара. Справа открылся вид на церковь, и Таласов, трусивший рядом, не замедлил сообщить о ней необходимые сведения:

— ...церковь Большого Вознесения, и, между прочим, именно здесь венчался Александр Сергеевич, не в самой церкви — ее не было, а в притворе. А теперь? А теперь здесь какая-то отвратительная лаборатория, изучают атмосферное электричество. Железки, изоляторы...

Ничего не отвечая, Дымов остановился на троллейбусной остановке, троллейбус как раз подкатывал. Подкатил, друзья погрузились в него молча. Аккуратно пробив талончик, Таласов подошел к Дымову и снова прочитал:

— Поэт-романтик. Поколения у скальп. Семь букв?

Дымов ничего не успел ответить, потому что невзрачный молодой человек, с невозмутимым видом стоявший рядом, сунул ему под нос железную бляху с номером и потребовал предъявить талон. Таласов мгновенно предъявил свой, у Дымова никаких проездных документов не оказалось.

— Вы же сказали, что у вас проездной, — прошептал Таласов. Дымов, выражая всем своим обликом презрение, отвернулся к окну, он так плохо себя чувствовал, что ему было практически все равно. Может быть, он даже хотел, чтобы его отвезли в отделение милиции. И посадили в одиночку.

— Штраф, пожалуйста, — сухо сказал контролер.

— А нет у меня денег.

— Ну что ж, тогда поедem в отделение.

— С удовольствием, — вежливо отвечал Дымов.

Он держался с большим достоинством. Юноша-контролер (видимо, начинающий), скорей всего, смущен независимым поведением изловленного безбилетника, и неизвестно, чем бы этот эпизод закончился, если

бы не подлетела к месту нарушения напарница контролера, плотная пузатая тетка. Она схватила нарушителя за локоть пухлыми пальцами и заорала: «Пьянь, рвань!» «Заяц» в это время смотрел большими, слезящимися глазами на раскаленную солнцем, пыльную улицу и думал, не умереть ли ему прямо здесь. Трудно представить, что бы произошло дальше, когда бы не Таласов. Он торопливо сунул крикливой тетке трешку, и она, выкрикнув еще несколько оскорблений по инерции, отстала.

— Спасибо вам огромное, я конечно же возьму... и в самое ближайшее... Кроватку Харченке и вот, штраф...

— Забудьте об этих низких предметах. Забудьте. Лучше посмотрите сюда, на этот бассейн. Я не в том смысле, чтобы искупаться. Просто на этом самом месте располагался так называемый храм Христа Спасителя, святыня русского народа, построенный, что характерно, на народные денежки в честь победы нашего отечества в Отечественной войне двенадцатого года. Взорван был храм в 1934 году. Предполагалось тут возвести здание Верховного Совета...

— Мне нужно немедленно поехать за железнодорожным билетом, я совсем забыл, что у меня запланирована поездка в Крым.

— Разумеется, я поеду с вами, я не могу вас бросить в таком состоянии и в подобной ситуации. Вы чувствуете себя еще неважно.

Дымов кивнул:

— Ну что ж, поехали.

До самого вокзала Дымов не сказал больше ни одного слова, он делал вид, что внимательно слушает рассказ спутника о том, что перед взрывом храма были сняты мраморные плиты, убиравшие его внутренность, а на этих плитах были выбиты фамилии всех участников великой войны, использованы же они были для отделки первой линии Московского метрополитена.

Таласов рассказал все, что знал по этому поводу, погладил свою востренькую бородку и вытащил свой кроссворд. Несколько секунд внимательно смотрел в него, внезапно нервно ударил по нему тыльной стороной ладони и прочитал не раз уже повторявшуюся им фразу:

— Семь букв. Поэт-романтик. Немецкий. Стих положен на музыку.

«Ничего, ничего»,— думал Дымов, подходя к зданию, где производилась предварительная торговля билетами на все направления. Внутри стояла духота, не поддающаяся описанию. Целые таборы людей с обреченным выражением на лицах сидели на полу среди своей провинциальной поклажи, обмахивались газетами. Густые извилистые очереди тупо стояли на утомительном полу. Все они упирались в высокую стеклянную стену, за которой в немом оцепенении, прерываемом краткими вспышками суетливой деятельности и стрекотанием машин, сидели мрачные кассирши. «Часа на четыре»,— злорадно подумал Дымов и встал в хвост самой неперспективной на вид очереди. Перед ним стоял неприятно пахнущий старик, сзади тут же пристроился щеголеватый майор с «Литгазетой» в одной руке и дипломатом в другой. И время пошло. «Только бы не было теплового удара»,— подумал Дымов. Таласов, внимательно вчитывавшийся в кроссворд, выделялся своим свежим видом на фоне полурасплавленной пассажирской массы. С кроссвордом он уже почти справился, не поддавался пока только тот «немецкий поэт».

— Ну что, не вспомнили?

— Простоим часа четыре,— отвечал Дымов.

— Может быть, и больше, ничего страшного. Хорошо, что мы хоть вдвоем.

Очередь и не думала двигаться, кто-то там впереди умудрялся добыть из-за стеклянной стены билет, и по толстому телу очереди пробегала некая волна, но тем все и кончалось. За сорок минут продвинулись на два метра. Таласов продолжал возиться с кроссвордом, привлек к этому делу интеллигентного майора и даже пахнущего старика, оказавшегося человеком не без познаний, но немецкий лирик и естествоиспытатель оставался неуловим.

— Мне нужно позвонить,— мрачно сказал Дымов.

— Я видел там за углом автоматы.

— Я схожу...

— Конечно, конечно, я пока подержу очередь.

Дымов стал, петляя и тихонько матерясь, пробираться к выходу. Кабина, в которую он вошел, стояла на самом солнцепеке. Что творилось внутри, описать

невозможно. У Дымова бурно потекли слезы и застучало в затылке. Воздуха не было совсем. Скользящая двушка никак не вытаскивалась из кармана, аппарат оказался барахлом, в том смысле, что барахлил слегка. Только с третьего раза все семь поворотов диска были им поняты как следует и в трубке послышался мрачный, разбитый голос Харченки:

— Алё!

— Слушай,—заторопился Дымов,—ты мне объясни, что это у тебя за одноклассник, он что—дурак? Забери ты его, а? Пристал и бродит за мной, болтает все время...

Харченко тяжело молчал на том конце провода.

— Ну что ты молчишь? Чей это одноклассник, твой или мой?!

— Знаешь,—сказал Харченко и помолчал еще несколько секунд,—я сегодня все утро вспоминал. Не было у меня такого одноклассника, ни в первом, ни в пятом, ни в десятом...

— Да-а?

— Да.

— И что же теперь делать, Петро? — растерянно спросил Дымов. Петро молчал, не реагируя на столь внезапное в устах Дымова обращение к нему.—Что же делать, а? Ты уж подскажи, а? Может, ты его куда-нибудь заберешь, я его все же у тебя, так сказать, встречал...

— У меня теща... — ответил Харченко.

— Я понимаю, но ко мне-то он вообще не имеет никакого отношения.

— Вы с ним вроде как подружились...

— Нет-нет-нет-нет-нет,—затараторил Дымов,—он только твой, давай мы сейчас подьем, пивка попьем, уже скоро откроется... поговорим, спросим у него, так сказать, а, Петя?

— Ты тут кровать сломал...

— Я отдам, я все отдам...

— Да я не про то, не пугают меня.

— Нет, Петя, ты меня вот что, послушай...

— Извини, зовут.

Омертвевшей рукой Дымов повесил трубку на рычаг и, ничего не видя, выбрался наружу. «Драпать, немедленно драпать!» — гудела в голове мысль, и он, на-

бирая скорость и боясь оглянуться, двинулся в сторону метро.

— Ну что, поговорили? — раздался сзади голос Таласова. Дымов замер, медленно обернулся и, глядя себе в ноги, с огромным трудом спросил:

— А как же очередь, Олег?

— У вас же все равно нет денег, я почувствовал, что вы об этом вспомнили и, наверное, стоять больше не захотите.

— Денег, да... Но билет все равно нужен. Я сейчас сгоняю и вернусь, очередь бы вы подержали как-нибудь, а?

— Мы можем свободно ехать, я уже обо всем договорился, — сказал, улыбаясь, Таласов.

Дымов кое-как кивнул, осторожно переступил на месте и, слабо улыбаясь, пошел. «Все, это все, это все», — думал он. Заорать, побежать, завязать драку? Нет, все эти истерические импульсы подавляла полная, неизвестно откуда явившаяся уверенность в том, что это бесполезно. В метро Дымов спустился автоматически, не имея в голове никакого плана, да и вообще ничего, кроме медленно усиливавшегося ужаса.

— Куда мы едем?

— К одному приятелю.

— А поедете лучше к вам. Попьем чаю, поболтаем.

— Нет, может быть, потом. На днях. Дело в том, что я живу не один.

Дымов представил себе свою домохозяйку, выглядывающую с кухни с котом наперевес, и его затошнило. Давно пора искать другое жилье, нельзя так зависеть от какой-то старой полусумасшедшей сволочи.

— А все-таки как зовут этого чертового немца? Вы не припомнили? Семь букв. Установил, что есть поколения у скальп, стихи его были положены на музыку Шубертом.

— У скальпов не бывает поколений.

— Да? Может быть, это не те скальпы?

— Может.

Дымов изо всех сил старался сосредоточиться. Не может быть, чтобы из этой ситуации не было выхода. В том, что у него не белая горячка, он был уверен, несмотря на то, что накануне было очень много выпито, очень. Прямой вопрос о том, кто же все-таки его спутник, если он не одноклассник Харченко, Дымов себе

задавать боялся, он надеялся заняться им когда-нибудь потом, на досуге. Сейчас он решил сосредоточиться на хорошем плане бегства. «Этот,— Дымов подумал в левую от себя сторону, туда, где продолжалась работа над немецким лириком,— явно обладает какими-то особыми качествами. Просто так от него не отделаешься». Дымов отчетливо ощущал, что ни в коем случае нельзя показать, что он о чем-то догадался. Он осторожно качнулся влево, чтобы тронуть Таласова локтем. Тронул. «Галлюцинацию нельзя пощупать». И ему стало еще страшнее после этой мысли. Ведь если не галлюцинация, то... Нет, одернул он себя, об этом потом, потом, потом. Может быть, и просто шпион какой-нибудь поганый! Что мы о них знаем? Шпиономания у нас сейчас не приветствуется, вот они и воспользовались. Дымов знал, что думает глупости, но продолжал их зачем-то думать. Ему так было спокойнее. Он осторожно скосил глаза, Таласов медленно постукивал острием шариковой ручки по изрядно исчерканной клетке кроссворда, выражение лица у него было сосредоточенное, остренькая бородка отвратительно подергивалась.

— Да что вы все кроссворд да кроссворд, там очень про Бухарина хорошая публикация.

Таласов очень значительно и загадочно улыбнулся, наверное, он имел свое, построенное на совсем уж секретных фактах и сведениях, мнение о Николае Ивановиче, так что никакая статья его удивить не могла.

— Да правда, что за низменная страсть, вы что, память упражняете? — Дымов горячил себя, ему необходимо было достичь такого внутреннего состояния, при котором стал бы реально осуществим составленный им план.

Таласов только улыбнулся в ответ.

Они вышли возле метро «Семеновская», пересекли площадь, трамвайные пути. Дымов решительно направлялся к 24-этажному небоскребу, достопримечательности здешних мест.

— Нам сюда? А какой этаж?

— Сотый.

Таласов совершенно справедливо расценил это как шутку и тихо хмыкнул. Лифт пах собакой, как и все лифты в Москве, и слегка ныл при подъеме. Дымов молча глядел себе под ноги, его спутник любознательно оглядывался, катание на лифте ему явно доставляло

удовольствие, он был очень в этот момент похож на провинциала.

— Странная у вас все-таки фамилия.

— Почему же?

— Лучше бы, если бы просто — Тарасов. «Р».

Таласов открыл рот, собираясь оспаривать это мнение, но ничего не успел сказать, cabina мягко затормозила на 24-м этаже, и с шипением открылись двери.

— Прошу,— предложил галантный Дымов, и беззаботный Таласов вышел. Дымов мгновенно нажал кнопку первого этажа, двери пошли обратно, как ни странно, затея удалась, уже в последнюю щель Дымов увидел лицо метнувшегося обратно приятеля и его занесенную руку. Этой рукой и был, видимо, нанесен мощный удар в закрывшиеся створки двери. Удар, надо сказать, громадной силы, поколебавший кабину лифта. Ничего себе, ежась подумал Дымов, прямо Солярис какой-то.

Для обычного спуска, пешком, небоскреб был приспособлен плохо, даже тренированный человек, заранее знакомый с особенностями всех здешних переходов, не имел ни малейших шансов угнаться за кабиной. Дымов, напряженно улыбаясь, рушился вниз. Он знал, что будет делать дальше. Он не побежит к метро, он дворами, дворами до Измайловского парка, а уже оттуда... лифт вдруг всхрипнул и, несколько раз дернувшись по направлению к желанному первому этажу, замер. Дымов схватился сначала за свое перепуганное сердце, потом забегал дрожащей рукой по кнопкам — все этажи молчали, и он стал нажимать кнопку рядом с надписью «диспетчер». Но динамик издавал только шипение, то повышающееся, то понижающееся в тоне. Бесполезно! Дымов прижался спиной к прохладной стенке. Мысль его металась. Он то представлял себе глубокий, пахнущий машинным маслом и крысами колодец под ногами, то видел, как вьется над его головой, сужая круги, толстенький коршун Таласов.

За стенами кабины было тихо. Может быть, в этом доме никто и не живет! Дымов опять нажал кнопку диспетчера. Все то же. Нет, не все. В волнах шипения мелькнул обрывок человеческого голоса.

— Э-эй,— неожиданно для себя в полный голос закричал Дымов,— эй ты!.. Диспетчер чертов! — но боль-

ше ни одного человеческого звука он не дождался. Вернее, дождался, но не из ящика.

— Наконец-то,— раздался бодрый картавый голос за дверью,— что с вами, дружище, случилось, застряли?

— Нет,— хрипло ответил Дымов, по инерции нажимая кнопку.

— Я сейчас все устрою, можете не волноваться. Я вас ни за что не брошу.

Он убежал. Дымов отпустил наконец кнопку и почему-то сплюнул, шепча: «Вот черт!»

Таласов отсутствовал недолго, вскоре откуда-то снизу донесся его характерный говорок. Человек, которого он привел и с которым разговаривал, отвечал лениво и глухо. А кабина, оказывается, застряла в районе третьего этажа.

— Это мой друг, мой ближайший друг. Вы должны немедленно что-нибудь предпринять.

— Я этого так не оставляю,— отвечал пришедший с Таласовым специалист,— будьте спокойны.

Дымов прижался своим горячим ухом к двери, с ужасом и с вниманием слушал разговор, происходящий на площадке. «Ближайший друг, ближайший друг»,— думал он. В ноздри ему попал запах сигаретного дыма, видимо, мастер держал во рту сигарету.

— Друг, говорите, а почему он там, а вы на свободе?

Дымов замер, ожидая, что ответит на этот вопрос Таласов, но тот не ответил ничего, сочтя вопрос риторическим, он просил побыстрее заняться сплеховавшим механизмом.

— А что он там молчит, ваш друг, а? Эй, вы там живы еще?

— Он у меня стеснительный очень, прошу вас поскорее освободить его, дружка моего.

Мастер ушел, и вскоре над потолком кабины что-то щелкнуло, она опустилась примерно на полметра, и двери ее, издав звук, напоминающий звук зевка, разошлись. Таласов встретил Дымова выражениями живейшей радости и даже заключил его в объятия.

— Как вы плохо выглядите! Знаете что, вам надо отдохнуть. Давайте поедem к вам домой, вы поспите, а я почитаю что-нибудь.

— Давайте,— покорно сказал Дымов,

Как и боялся Дымов, старуха-хозяйка была в коридоре. Не спала старая, и в магазин за молочком своей дуре Мурке не утопала. Кстати, Мурка тоже была в коридоре, она дико взвизгнула, когда в квартиру вошел Таласов, пропущенный вперед хозяином. «Кажется, раздавил»,—злорадно подумал Дымов. Таласов сказал «пардон», потом сказал «ух, какие мы пушистые» — Мурке и «честь имею представиться» — старухе. Та искоса и чуть-чуть очумело глядела на визитера. Дымов, возясь с запутавшимся шнурком, мечтал только об одном — чтобы старуха не начала выгонять их немедленно. Старуха осталась недвижима и безмолвна.

Вошли в комнату. Таласов сбросил пиджак и сел на диван, с интересом оглядывая комнату.

— Вот вы, значит, где живете.

Дымов двумя руками пытался аккуратно сдвинуть кучу предметов, занимавшую середину стола, при этих словах гостя у него внутри все оборвалось, а с другого края стола на пол стали падать книги.

— Что это вы делаете?

— Чайку... — тихо ответил Дымов.

— Это — дело! Где у вас чайник? — Таласов мгновенно отыскал его у себя под ногами. — Сейчас я его поставлю, — и выскочил с ним в коридор.

Дымов обессиленно сел на диван, он чувствовал себя раздавленным, обманутым и брошенным на произвол судьбы всею своею страной. Гость задержался на кухне. Он о чем-то беседовал там со старухой. Говорил он громко и весело, и, что самое удивительное, старуха тоже разговаривала весело и с удовольствием, за три месяца своей жизни здесь Дымов не видел и не слышал ее в таком состоянии ни разу.

— Романтический поэт, романтический поэт, — задумчиво, но во весь голос говорила старуха.

— И естествоиспытатель, — услужливо напоминал Таласов.

Дымов стоял у приоткрытой двери своей комнаты и прислушивался к этим жутким голосам. Вдруг ему пришла в голову мысль, он кинулся к своему столу, обшарил его взглядом, заглянул под стол, достал оттуда какую-то книгу и стал лихорадочно листать. Мурка, неторопливо вошедшая в комнату, потерлась о его ногу,

он вздрогнул от неожиданности. Наконец он нашел то, что искал, несколько раз прочитал одними губами нужное слово.

Таласов, что-то напевая, закрылся в туалете, предоставив Ольге Спиридоновне пока подумать самой. Дымов на цыпочках подкрался к двери кухни тихонечко, стараясь подражать шипению чайника, стал шептать:

— Шамиссо-о-о, Шамиссо-о-о, Шамиссо-о-о.

Потом он быстренько вернулся обратно и стал ждать, что будет дальше. Таласов вернулся на кухню, и через несколько секунд раздался его восхищенный вопль:

— Именно, именно!

В ту же секунду он вбежал в комнату Дымова, вынул из кармана пиджака кроссворд, прихватил и пиджак и, шепнув Дымову:

«Ольга Спиридоновна — прелесть», исчез.

Забрав чайник, Ольга Спиридоновна и Таласов отправились в ее комнату и плотно затворили дверь. Дымов со всеми предосторожностями выбрался на улицу и понесся по вечерней улице в сторону метро. От метро он позвонил Харченке.

— Слушай, у тебя нельзя переночевать, а? Да нет, я один.

— ?

— Он взялся за мою хозяйку.

— Ну, приезжай.

Через несколько дней Дымов осторожно вошел во двор своего дома. И спросил у дворничихи, меланхолично курившей возле мусорного бака, не видала ли она Ольгу Спиридоновну.

— А, жилец,— сказала почему-то неприязненно дворничиха,— забрали ее. Большой таракан ей в голову забежал. С санитарями увезли.

— Там... — Дымов сглотнул слюну,— там никого нет?

Дворничиха бросила окурок в бак и сплюнула:

— Ну все с ума посходили, господи помилуй!

ФИЛЬМЫ 30-х ГОДОВ

Есть много разных способов писать о кино, я всех не знаю, естественно, но думаю, мой способ еще никем не применялся. Потому что я кино ненавижу. И собираюсь доказать, что кино — не есть искусство. Тремя разными способами. Может быть, по ходу дела придумается еще что-нибудь, тогда я перепишу конец этого абзаца.

Во-первых, кино не искусство, потому... нет, я неловко ухватился за эту мысль. Попробуем повернуть ее при помощи нескольких предложений: обычно принято говорить, что кино возникает от союза живописи, музыки и литературы. Эти три искусства, сливаясь, рождают кино. Берем некий фильм, изымаем из него живопись, музыку и литературу, что остается? Остается способ их сцепления: кинокамера, режиссура, монтажный стол. Не спорю, что иные мастера способа сцепления обладают огромной виртуозностью, даже талантом, обладают незаурядным видением, образным мышлением, темпераментом и совестью, но ведь суть дела в другом. В материале. В первоосновном элементе, в том кирпичике, из которого возводятся образные конструкции. Что является первоэлементом литературы — время, живописи — пространство, музыки — число. Что является первоэлементом кино — ручка кинокамеры, то есть техническая идея, рожденная человеком. Хорошая, плохая — не это важно, а то, что появляется она в голове всего лишь человека. А кем придумано время, пространство, число? Я ничего не имею против человека и его выдумок, но ведь если честно — человек вряд ли способен сотворить что-нибудь такое, под чем тот, кто создал время, пространство и число, согласился бы поставить свою подпись.

Итак, я подхожу к концу первого своего доказательства, я попытался придать ему вид доказательства логического, но в силу того, что я человек эмоциональный, это мне могло не удалиться. Пусть. Оставляя умственные препирательства, подведу первый итог почти уже истерическим заявлением — пусть кино прекрасно, пусть оно важнейшее из всех искусств, пусть лучше искусства — оно не искусство.

Во-вторых, не замечали ли вы, что фильмы стареют как-то по-особенному. Картины, романы и симфонии

или стареют, или не стареют, но то и другое делают целиком, гениальные остаются нам от предыдущих веков и пребывают в вечности неразложимые, неделимые, живые. С фильмами происходит что-то странное. Они стареют неравномерно. Сначала — приемы, потом — тоже очень скоро, но отдельно от приемов — стареют идеи, потому что они теснейшим образом связаны с приемами, но связаны механически, созданы из другого материала. Темы же, как, впрочем, и часть идей, общие с литературой. Они наемники, все время готовые бежать домой с новой родины, — в доказательство могу привести пример с экранизациями — вспомните, как тянет перечитать то, что экранизировано, удостовериться, что оно цело, опять прикоснуться к тому, что можно пережить по-настоящему.

Но тема, идея, приемы — это вещи слишком общие, абстрактные, но есть в кино свои особенности, свои второстепенности, общение с которыми дает особый эффект, пусть половинное, но очарование. Это прежде всего — вещи. Они в фильмах, особенно старых, живее всех живых по призванию, то есть героев, и живей профессиональных усилий (например, операторских) оживить их специально, различными наплывами, подсветками и проч. Главное в них то, что они неподдельны. Поддельны характеры — самодовольный, примитивный режиссеришка с рокошущим голосом Черкасова, снимающий фильм о жизни науки, лунатически прямолинейная барышня, говорящая прописные истины и обуреваемая сомнениями такого низкого пошиба, что испытываешь почти злорадство, их выслушивая, — зато как естественны, обаятельны платья и пиджаки, как простодушны их фасоны, как трогательны белые носочки и какое доверие внушает узел галстука. Наука в этом фильме — чудовищна. Грандиозно-нелепо-театральный опыт свидетельствует, даже на мой малосведущий взгляд, что авторы невежественны почти в медицинской степени, — зато какова дача, каковы вазоны, как убедительно поблескивает рояль, как тянет распахнуть двери и отдернуть занавеси, присесть на антрацитового блеска кожаный диван. Как умирительна ермолка на академическом старичке, припавшем к роялю, чтобы поучаствовать в общем, дико не смешном веселье. А в проеме двери несколько раз мелькнуло самое соблазнительное — парк, умеренно освещенный луной. Вообще в этих фильмах

парки любили до безумия. Герой с героиней частенько садятся в немного неустойчивую лодку и проплывают под аккуратно свесившимися ветвями, тени обычно монументальны, в дальнем углу глади — лебедь, виднеется край белой беседки. На перильцах, конечно, девушка. Она реальна, хотя и кажется украденной с барельефа метро «Парк культуры». У нее коса, а маленькая пухлая книжка на коленях уверенно заложена загорелым пальцем физкультурницы. Она только что прочитала стихотворение. «Любовь не вздохи на скамейке». Воображение ее поражено. По аллеям парка им. Фильмов 30-х годов прогуливаются многочисленные веселые компании.

Взявшись под руки. Брюки широки, треугольник загара в вырезе белой рубашки. Они стараются казаться небеспечными, стараются дать понять, что где-то все же имеются то ли недочиненный станок, то ли пока не выведенный на чистую воду враг народа, — но им не веришь. Не веришь, что их счастье может быть чем-то нарушено. Особенно хорошо все обстоит с любовью; в общей атмосфере немного грубоватого добродушия мгновенно выявляются пары. Юношей и девушек начинает решительно подталкивать друг к другу своими жилистыми руками рубаха-парень — сюжет, а они некоторое время упираются, бродят поодиночке, поют на поляне, на веранде, на берегу, на борту... Невооруженным взглядом видно, что я, как ни стараюсь, не могу удержаться от иронии (не делающей мне, впрочем, никакой чести). При чем здесь ирония, если я должен ненавидеть...

Кино мой враг, а врага имеет смысл знать как следует. Я потратил огромное количество времени на сидение в кинозалах. Особенно сильно я всматривался в те старые ленты, в них слабые места моего врага были заметнее, на самом виду дребезжали шестерни этого грубого механизма, называемого искусством кино. Не исключено, что я, несмотря на печально-презрительное отношение к этим кинофильмам, был самым внимательным их зрителем. Глаз видел бледную олеографическую плоскость, а воображение пускалось путешествовать по домысливаемым мною глубинам кадра. Могло быть, к примеру, так: я игнорирую объяснения астраханского арбузного вратаря и гидразировкой Мальвины, огибаю искусственно журчащий фонтан, бреду в прохладном

сумраке вечерних зарослей и наконец совершенно теряю ориентировку.

— Добрый вечер, вы из какого фильма?

Она оборачивается, вернее, полуоборачивается, еще вернее, делает такое движение головой, которое можно истолковать, как поощрение, приглашение сесть рядом. Мне не хочется покидать зарослей, там я на месте, мне приятнее просто смотреть... Но вот я уже рядом. Скашиваю взгляд. Мне видны колено, локоть и локон — ласковая часть облика. Волнуюсь. Она тоже волнуется, собираясь с силами для небрежной улыбки. Улыбается, поворачивается ко мне:

— Как вы меня узнали? Я же сидела к вам спиной.

Потом, когда я рассмотрел ее внимательнейшим образом, обнаружилось, что верхняя губка у нее чуть-чуть припухлее... а вырез ноздрей слегка рискованней... а икры немного тяжелей, чем это можно было бы ждать от идеала. Но в тот, в первый момент я просто еле-еле удержался, чтобы не зажмуриться.

— У тебя очень выразительный затылок!

Опять-таки потом выяснилось, что если мой вопрос ее потряс, то первый ответ — тронул. Наши отношения развивались стремительно, и эти две мои фразы были почти последними, произведшими на нее впечатление, может быть, потому, что я сказал их не задумываясь. Все, что я ей говорил впоследствии, я обдумывал очень старательно и совершенно зря.

Мы быстро и весело определили, что именно я угадал своим первым вопросом. Оказывается, несколько лет назад ее действительно сняли в кино в роли, которую можно считать чем-то средним между главной и второстепенной. Была у нее какая-то «невероятная непосредственность». Режиссер был от нее в восторге. В школе все ахали, ну и конечно, завидовали. Мы уже не сидели на скамейке, мы шли куда-то. Она коснулась меня прохладным плечом, и меня бросило в жар. Я держался, в общем, сносно. Моя неловкость в делах флирта могла пока сходить за сдержанность. Она спросила, а что ты? Чем, мол, я занимаюсь, и вообще.

— Я филолог,— сказал я.

— Это что, поэт? — переспросила она.

И я был в свою очередь потрясен. С какой легкостью эта девушка сорвала с меня маску, которой удовлетворились все мои родственники, друзья и коллеги.

К тому же вопрос этот был интересен тем, что невозможно было сразу решить, чего в нем больше — проницательности, невежества или иронии. Да, я учился на филолога, но значительно более важным в своей жизни считал то, что сочиняю стихи. Мои стихи не имеют к этой истории ни малейшего отношения. Меня самого занимает другое — даже не то, почему я ей, незнакомому человеку, выдал самую важную тайну, а то, почему это не произвело на нее никакого впечатления. Она, правда, потребовала, чтобы я тут же, немедленно ей прочитал что-нибудь, и я прочитал:

Мело, мело по всей земле
во все пределы,
свеча горела на столе,
свеча горела.

Я прочитал ей это, радуясь тому, как тонко даю понять, что читать своих виршей не хочу. Можно себе представить, как я был удивлен, заметив, что она слегка наклонила свою головку вправо и глаза ее подернулись печалью, переходящей в задумчивость...

— Дальше, дальше,— торопливо, в каком-то полурецитационном упоении прошептала она.

Я тяжело вздохнул и, не помня всего стихотворения наизусть, воспользовался невольной глубиной своего вдоха, чтобы на выдохе запутать первую строчку последнего оставшегося у меня в памяти четверостишья в шелесте губ...

...и жар соблазна
вздыхал как ангел два крыла
крестообразно.

— И жар,— с затаенной страстью произнесла она, я обрадовался тому, что эти стихи задели ее глубже чем за живое. Мы уже выходили из парка, уже посверкивал, дребезжал, наплывал на нас город. И я опять заволновался, казалось, что в этой суете ни за что не удастся сохранить в целости наш внезапный, немного косноязычный союз.

Я хорошо знаю себя. Я медлителен, осторожен, рефлексирую по пустякам, если есть возможность, сплю до двенадцати. Рассеян (я, например, до сих пор не назвал имени своей героини). Впрочем, я тогда его не спросил у нее. Встретились мы во второй раз анонимно. Она подошла ко мне и, протянув крепкую ладошку, сказала: «Лиза». По моим представлениям — а они мне кажутся

почти нормальными — мы прямо-таки рухнули друг другу в объятия. Я не сетую, я рассуждаю. Банальным было бы говорить, что мы были лед и пламень, волна и камень, стихи и кино. Если люди различны меж собой, то хотя они и притягиваются взаимной разнотою, им приходится считаться с различием образов жизни...

Мой образ жизни был прост. Я проживал в общежитии университета. Мой сосед в то время отсутствовал, женившись. Первый курс, с его шумным братанием, уже прошел, последний, с его выяснениями отношений, еще не наступил. В моем распоряжении была прекрасная библиотека для чтения и вся Москва для прогулок. Времена года неуловимо сменяли друг друга, давая пищу моему скромному вдохновению. Питался в студенческой столовой и все время кипятил в комнате чай — пища незаносчивого одиночества.

Жизнь Лизы была много богаче, запутанней, страстнее и страннее. Я так до конца нашего романа и не разобрался в том, что было жизнью ее семьи. Кто отчим, кто друг дома, кто был муж матери, а кто просто любовник, на что имела право претендовать в их большой захламленной квартире сестра матери и какой она была сестрой — единокровной, единоутробной или сводной. Мать Лизы казалась мне невероятно подвижной, работала секретаршей некоего начальника, имела громадные амбиции. Она стремилась превратить свой дом в салон, а, как известно, такие попытки кончаются превращением своего дома в проходной двор. В их квартире все время толклось некоторое количество людей, молодых и старых, приятных и неприятных, талантливых и нужных, но в основном тех, которые могли каким-нибудь образом повлиять на сближение Лизы и Кино. Все время говорилось о том, что осталось совсем чуть-чуть и это случится вот-вот, уже сделан главный звонок и нужно немного подождать, всего несколько дней, и придет тот человек, от которого все зависит, отказать, в силу произведенных хлопот, не могущий. Такие люди всегда бывают в отъезде.

Когда Лиза являлась ко мне — а являлась она бурно, шумно, но нечасто, — она сразу же начинала рассказывать последние сведения, виражи последней аферы, предлагала мне присоединиться к очередным ожиданиям. Интересно, что, обжегшись раз двадцать, она тем не менее ничуть не сомневалась в окончательном

успехе. Рассказывая, она постепенно успокаивалась и начинала медленно перекладывать разбросанные у меня на столе книги, добросовестно повторяя фамилии всех авторов. Когда-то я ей заявил, что по-настоящему интеллигентный человек запоминает не название книги, а фамилию автора прежде всего. Это заявление произвело на нее огромное впечатление почему-то, и она приняла его к неукоснительному исполнению. Итак, она стояла у стола, может быть потому, что в этом положении она находилась на фоне темного окна и все ее достоинства были особенно очевидны, и, перекладывая книги, говорила: «Писемский, Вяземский, Успенский, Киреевский...» Повозившись с томом русских народных сказок и не решив, что с ним все-таки делать, бесшумно опускала его на стол.

Она с самого начала твердо решила, что наш роман носит творческий характер — все-таки стихотворец и актриса,— и поэтому честно во время каждого свидания отработывала обязательную духовную программу. Наморщив лобик и стараясь придать своему личику выражение полной протрации, наступившей в связи с внезапно понятой безысходностью существования, она начинала читать: «Любовная лодка разбилась о быт...»

«Ничто не забыто, никто не забыт»,— торопливо бормотал я, нервный ироник, поторапливаемый страстью. «Ты знаешь, чьи это стихи?»— с непонятым вызовом спрашивала она. «Все стихи написал Пушкин»,— шипел я, и она нежно тушила свет.

Что и говорить, я был счастлив. Я ее очень любил и даже очень ценил ее привязанность к литературе. Жалкий филолог и пошлый поэт! Я не стану на этих страницах описывать бухгалтерию чувств и хронометрирование ласк, как это принято. Я просто признаюсь, что превратился в пленника своей комнатухи, потому что непрерывно ждал появления Лизаветы. Договориться с ней твердо о чем бы то ни было не представлялось возможным. Я просто сидел и ждал. Читать что-то мне казалось смешно, перекалывал книги на столе, признавая, что Лиза открыла прекрасный способ общения с письменной культурой. Ее кино было много живей для меня этих книжек. Сколько жадных, бойких, хитрых чувств было у нее к тому миру, как она хотела ему отдаться, как значительны и обольстительны казались ей даже те завлеченные в дом матери мелкие деятели,

все эти полуоператоры. «Милый,— говорила она мне,— ну как ты не можешь понять!» Я боялся переспрашивать, что именно я должен понять. И не то чтобы все сразу у нас стало плохо. Сначала мы сговорились пожениться, не зря же нас свел такой случай. И не все время мы торчали в скучной моей комнатухе. Мы ходили в кино, но только на специальные, не вполне официальные просмотры, подолгу сидели в шумных и одновременно ленивых компаниях людей, максимально близких к миру кино. Мне было неинтересно. Однажды я проговорился, и Лиза быстро согласилась меня не мучить, то есть не брать с собой всякий раз, когда она куда-то идет. Потом она стала жаловаться, что наши встречи отнимают у нее слишком много драгоценного времени, а ей все время нужно быть в гуще, и что один ее знакомый режиссер берет ее помочь, если она станет как следует работать. Он довольно разумно утверждал, что если хочешь чего-то добиться, то надо отдавать своему делу все свободное время. Наши первоначальные планы оставались неизменны. Мы признавались ей удивительной парой, и она вслух радовалась моему молчаливому пониманию того, что нельзя же ей свой талант зарывать в землю, потратить на всякую ерунду вроде стирки и готовки. Встречи становились все реже. Но я долго не начинал волноваться, а если и начинал, ей удавалось полностью меня успокоить одним беглым заверением, что у нас все по-прежнему.

Наконец настал день... сначала она опаздывала, ночью я понял, что она не придет, утром до моего сознания дошло, что она меня бросила. Разучившись за время нашего романа делать что-либо, я стал перебирать книги на столе и под томиком «Дыма» нашел ее записку: «Прости меня. Я тебя не стою. Меня влечет сила, которой я не могу противиться. Забудь меня. Лиза».

Как я выбрался из этой ямы, рассказывать скучно. Было все — и желание мести, и желание смерти. И очень сильная боль, когда я увидел жреца того искусства, что отняло у меня ее. Он был крупный, лысоватый, очень самоуверенный и неглупый мужик, носил кожаный пиджак, как и все режиссеры. Единственное, что в нем было по-настоящему неприятно — это манера смеяться.

Нельзя сказать, что у Лизы в новом мире ничего

не получилось. Она поступила во ВГИК, потом довольно много снималась, и не всегда только в эпизодах.

Однажды мы столкнулись с ней на улице у входа в сквер. Она не задумываясь бросилась мне на шею, повизгивая от радости. Она сказала, что я оставил в ее судьбе неизгладимый след, что я заставил ее читать и думать. Удивительно статная, красивая, ухоженная женщина. В глазах уверенность в себе и нежность, в руке поводок, на конце которого очаровательный пудель. Он не знает меня и торопит свою хозяйку дальше в сквер, она заставляет его вернуться к своему колену, сверкнув кожаным локтем, поправляет локон и ласково урезонивает его: «Ижарчик, ну что же ты, Ижарчик». Потом, повернувшись ко мне, говорит, наклоняя свою голову вправо и прищуривая свои чудесные глаза:

— А помнишь, как у Пушкина: «Свеча горела на стене, свеча горела...»

ОШИБКА РЕЦЕНЗЕНТА

Тот, кто зарабатывал или до сих пор зарабатывает себе на жизнь внутренним рецензированием, этим изнурительным, ничтожно оплачиваемым трудом, поймет меня легче других. Несколько лет назад в одном толстом журнале мне дали на рецензию объемистую папку с повестью неизвестного мне автора. Я написал на эту повесть отрицательную рецензию, и с тех пор ни об этой повести, ни об ее авторе я больше ничего не слышал. Поток самотека не заносил ее в центральные журналы или издательства (я наводил справки). До сих пор считаю, что поступил в общем-то правильно, высказав об этом сочинении отрицательное мнение, но оно никак не идет у меня из головы. Недавно, перебирая бумаги, я натолкнулся на черновик своей рецензии, что показалось мне странным — подобных черновиков я никогда не хранил. Перечитав рецензию, я понял, что долее не могу единолично нести смутный, но довольно тяжкий груз ответственности за изгнание из литературного процесса этого сочинения, и хочу разделить этот груз с читателем.

Рецензия на повесть М. Деревьева «Нежный убийца»,
5 п. л.

Первое впечатление, которое появляется после прочтения этой повести,—недоумение. Совершенно непонятно, зачем автору понадобилось писать ее. Что автор собирался поведать своим сочинением? Как вообще могла ему прийти в голову такая странная тема?

Но все по порядку. Сначала о сюжете. Он достаточно динамичен, довольно грамотно выстроен (особенно в первой части повести), что нечасто встретишь в современной молодой прозе. Завязка выглядит следующим образом. Две девушки, спасаясь от дождя, вбегают в кафе на улице Горького. (Действие происходит в Москве.) Свободные места оказываются только за одним столом, там расположился очень пожилой мужчина, почти старик. Девушки заказывают кофе и возвращаются к беседе, которую вели еще на улице. Беседа их очень интересна, она касается самых современных животрепещущих тем — Сталина и его культа, публикации ранее запрещенных произведений художественной литературы, смелых статей на экономические темы. Мелькают имена Рыбакова, Берии, Бродского и т. п. Сосед по столику, не удержавшись, вмешивается в разговор. Возникает довольно оживленный диалог, потому что старик в отличие от девушек, стоящих на самых либеральных позициях, придерживается откровенно «правых» взглядов. Девушки не скрывают своей радости по поводу происходящих в обществе благотворных перемен. Особенно одна не скрывает, «маленькая, черненькая, с мелкими кудряшками и слишком близко посаженными глазами». (Такой вот незамысловатый портрет.) Вторая девица, как нетрудно догадаться, побольше ростом, волосы у нее «светло-каштановые», глаза расположены на нормальном расстоянии друг от друга, и говорит она очень мало в сравнении со своей бойкой подругой.

Пожилой товарищ активно не соглашается с либерально настроенными девушками, более того, заявляет, что в те «суровые времена» был работником НКВД. Вот так, ни больше ни меньше. В глазах собеседниц он просто реликтовое существо. При этом выглядит он вполне респектабельно, одет чуть ли не щеголевато в самом современном смысле. Хотя речь не обнаруживает его принадлежности к интеллигенции. Автор столько усилий тратит на описание одежды своего героя, что

становится понятно — этот момент будет обыгран впоследствии.

Старик настаивает на том, что «все эти Рыбаковы врут». Что «на самом деле все было и страшней, и веселей». Ситуация напрягается. Бывшему работнику органов черненькая девушка задает самый, на ее взгляд, убийственный вопрос. Не участвовал ли он лично в допросах, не был ли лично виновен в смерти. Бывший работник отвечает утвердительно, причем делает это даже с вызовом.

Он очень заинтересовывает молодых собеседниц, ведет себя вполне дружелюбно, несмотря на различие во взглядах на жизнь и историю. Предлагает им выпить коньяку. После некоторых «идеологических» колебаний девушки выпивают по рюмке и вновь набрасываются на старика с вопросами. Он уклончив, крайне многозначителен, что-то почти зловещее мелькает в его глазах. Он пытается исправить впечатление незамысловатым стариковским юмором. Свое нежелание откровенничать объясняет тем, что «эту тему не поднять за один час». Девушкам, к сожалению, нужно уходить, дождь кончился. На прощание бывший работник дает черненькой свою визитную карточку с шутливым предложением встретиться и продолжить спор.

Надо сказать, что эта визитная карточка выглядит здесь недостоверной деталью, автор впоследствии, правда, приоткрывает душу этого персонажа, но это не вполне снимает странный эффект от внезапного возникновения визитной карточки, элемента совершенно не того бытового стиля, который должен был бы исповедовать такой человек, как бывший работник органов.

Вторая глава начинается в постели более крупной, светло-каштановой девицы Тут мы наконец узнаем ее имя — Наташа. Она лежит, поглядывая на себя в зеркало, висящее на стене напротив, и думает о том, похожа она на рембрандтовскую Данаю или нет. (Само собой разумеется, что она полуобнажена.) Непонятно, для чего нужен этот эпизод, на что он «работает». То ли он должен продемонстрировать определенный культурный уровень героини, то ли придать эротический оттенок повествованию.

Героиня не просто глядит в зеркало, она размышляет. Чувствуется, что она изрядно разочарована в жизни, ужасно недовольна собой. Идет что-то вроде внут-

ренного диалога. Что ей дали в смысле самосовершенствования бесчисленные литературные разговоры? — спрашивает она себя. Ничего. Стала она ближе к пониманию смысла жизни, основательно поварившись в котле литературной богемы? Нет, не стала. (Здесь мы узнаем, что Наташа — студентка Литературного института, сочинительница прозы.) Надо что-то делать, говорит себе героиня. Мысль совершенно правильная, и мы с интересом ждем, как героиня поведет себя дальше, каков будет ее первый шаг на пути к духовному возрождению. Для начала Наташа (и тут я замечая первый укол иронии, которая к концу повести расцветает пышным цветом) встает и, бросив последний взгляд в зеркало на свое хорошее, почти роскошное тело, надев халат, подходит к окну. За окном, как продолжение внутреннего холода и пустоты героини, холод и пустота весеннего утра.

Необходимо заметить, что язык повести пластичен, изобразителен, автор очень изобретателен при подборе характеристических деталей. Но очень часто это достоинство переходит в свою противоположность. Особенно показательна в этом смысле сцена у окна. Описывая жилище Наташи, автор подробно перечисляет весь состав ее библиотеки. Мелькают все модные авторы семидесятых годов — Кортасар, Маркес, Кафка, Набоков и т. д. и т. д. Половина страницы одних имен. Изображая предысторию Наташиной души, автор много пишет о современной музыке и до такой степени находится в материале, что иногда перестает отдавать себе отчет в реальном, содержательном значении отдельных элементов этого материала. Демонстрируя, например, необычное, на его взгляд, состояние души героини, он пишет: «Временами ей было все равно, что слушать — «Doors» или «Youngs» (стр. 11). Здесь автор пытается передать, по-моему, абсолютно неуловимый оттенок, мне лично в любом состоянии духа все равно «Doors» или «Youngs».

После короткого раздумья Наташа звонит своей подруге и просит у нее телефон вчерашнего старичка. Подруга удивлена, не понимает, зачем Наташе может понадобиться эта «старая развалина». Получив телефон, Наташа звонит бывшему работнику и предлагает встретиться и поболтать. Встречаются в том же самом кафе. Беседа опять не очень-то клеится. Из намеков старика

можно понять, что знает он страшно много и отнюдь не понаслышке. Но он как-то не расположен выкладывать все здесь и сейчас. Наташа все больше распаляется, дело в том, что она решила про себя, что для того, чтобы внутренне переродиться, ей необходимо прикоснуться к правде жизни, к самой ее нелицеприятной, грязной, даже кровавой, стороне. Ее очень раззадоривает уклончивость старика. И тут он делает ей неожиданное предложение. У него, оказывается, есть путевка в сочинский санаторий, путевка на двоих. Он должен был ехать с дочерью, но та не смогла. «Поехали», — предлагает он Наташе и обещает ей там за три недели рассказать **все**. Она будет знать то, чего не знает никто. В первый момент девушка просто хмыкает. Институт, да и вообще нелепо. Но потом по зрелом, спокойном размышлении, понимает, что это возможно. Вполне. В институте порядки либеральные, до сессии как раз месяц. А что касается неудобства жизни с чужим стариком в одной комнате, то ведь... дальше следуют очень откровенные размышления, почти гадкие, о старике. Автор, видимо, считает себя большим знатоком женской души и думает, что главная отличительная черта женских мыслей о мужчине — это полная циничная физиологичность. Короче говоря, Наташа поняла, что в старике ее больше всего пугает то, что он будет сильно храпеть. И она, как это ни дико, решила ехать.

С этого момента действие повести покидает, на мой взгляд, реальную почву и развивается в немного условном мире. Видимо, подсознательно ощущая это, автор со все большей тщательностью выписывает бытовые детали и всякие мелкие обстоятельства. Целая страница отдана перипетиям с вселением странной пары, возне с паспортами, устройству номера, расположению кроватей, рисунку на обоях, трещинке на пробке графина.

Очень тщательно выписывается и поведение персонажей, и внимание концентрируется на нюансах их взаимопонимания. Надо отдать должное автору, речь персонажей достаточно индивидуализирована, и поэтому всякие интересные и символические неувязки и положения возникают как бы сами собой. Всею подробно описанной поездкой в поезде автор хочет сказать только одно — что два эти человека, преследуя каждый свою цель, понять друг друга не могут. Даже в мелочах. Вообще, мотив контраста между старостью и юностью,

между мрачным прошлым (старик) и светлым будущим (Наташа) старательно проводится автором через всю повесть.

Какую цель преследует Наташа, мы знаем. Какую цель преследует старик, проницательному читателю становится понятно довольно быстро, хотя об этом нигде не говорится впрямую. Это всего лишь престарелый эротоман, неожиданно залучивший в свои ветхие сети яркую и крупную добычу. Он, естественно, очень боится ее упустить, спугнуть. Он готов ей всячески угождать — рестораны и другие развлечения подобного типа, — но твердо знает: как только он перестанет быть для нее сейфом с секретной и редкой информацией, она не задержится рядом ни на одну секунду. В купе поезда, разумеется, не разговоришься. Наташа терпеливо ждет юга.

Почти сразу после того, как «папуля» (так окрестила его Наташа) и «доча» (как она же окрестила себя) вошли в номер, обнажилась схема их взаимоотношений. Старик хочет за свои невероятные сведения из жизни и деятельности органов НКВД в тридцатые годы и описание личного своего участия и подлых своих впечатлений получить как можно больше, если можно так будет сказать, «ласки». За тот срок, который указан в приобретенной им путевке, он предполагает произвести постепенный натурообмен. Фантазия и изобретательность автора в разработке этой схемы даже восхищает. На нить повествования нанизываются эпизоды, каждый по-своему убедительный, задача которых — снова и снова концентрировать внимание на том, как видоизменяется в борьбе с холодным женским интересом лихорадящая почти полностью бессильное старческое тело страсть. Старческие мечтания необыкновенно разнообразны и безобразны. Собственно, почти вся вторая часть — это варьирование одного и того же образа. Правда, постепенно, скрытно набирает силу еще одна линия, обостряющая этот статичный конфликт.

Поскольку для всего санатория московская пара действительно отец и дочь, за Наташей начинает ухаживать сын работницы санатория. Типичный южный мальчик нашего времени. Автор старательно, даже слишком старательно, как бы скрывая неприязнь, выписывает его акцент. Усугубляя иронический эффект, он распространяет действие акцента на мысли парня, он

пишет, что даже «в его походке он тоже был неуловимый, смягчающий». Не знаю, но, по-моему, уделять столько внимания акценту — просто невоспитанно.

Нагловатая рыцарственность Артема (так зовут парня), некоторая первобытность его ухваток, смазливая внешность, полное презрение к духовной пище становятся предметом постоянного интеллигентского высмеивания со стороны Наташи. Она, так сказать, принимает его первые ухаживания в штыки. Она серьезно настроена на другое, ей претит самая мысль о каком бы то ни было флирте, тем более со стандартно похотливым, примитивным Артемом. И в это ее намерение веришь, совершенно непонятно, почему автор, описывая эти ее мысли, слегка усмехается, как будто подобное духовное состояние женщине абсолютно недоступно и она всегда всего лишь ждет случая, чтобы броситься в какие-нибудь более-менее подходящие объятия.

Артем настойчив в своих притязаниях, его косноязычный напор возрастает, и Наташино пересмешничество выглядит все менее уверенным. Правда, для проведения своей агрессии у Артема не так много возможностей. Наташа в этом смысле совершенно не идет ему на помощь. Она все время с «отцом», у нее в руках все время блокнот, в глазах вопрос. До самой развязки молодая писательница не забывает, зачем она приехала в этот санаторий. Старик, кстати, тоже об этом не забывает, он бдителен, мелочно, капризно ревнив. Времени мало, но Артем не тратит ни одной секунды даром, он все время поблизости, он всегда за соседним столиком и многозначительно улыбается Наташе над стаканом коктейля, он всегда за тем кустом, под которым беседующая пара присела отдохнуть, он на соседней волне, когда Наташа отплывает от берега подальше и хочет побыть одна. Подобную настойчивость может питать только самая искренняя страсть, но Артем, такой, каким он описан, способен к движению лишь самого примитивного уровня. Здесь налицо некоторое несоответствие.

Интересна в это время внутренняя жизнь бывшего следователя. Она, что называется, бьет ключом. Наплывами идут воспоминания детства. Автор подает их в суперсусальном виде, и коровку, и бабушку, и санки. Сны бывшему следователю тоже снятся, и они тоже, как и воспоминания, просветленные. На окраинах

сна всегда ромашки. Старик обливается счастливыми слезами в ночи во время своих бессонниц. Убийца, человек, у которого руки по локоть в крови, оказывается сентиментальнейшим типом. Кстати, никакого открытия в этом сближении, как известно, нет. Эсэсовцы тоже часто бывали крайне сентиментальны. Автор не жалеет сил на усугубление этого эффекта. Днем бывший следователь рассказывает о разных ужасах и мерзостях, рассказывает скупой, неталантливо, с трудом подбирая стертые слова, нагоняя зевоту на свою привыкшую к ядреным метафорам спутницу, истекая тяжелым старческим сладострастием. А ночью видится себе кудрявым деревенским пареньком на весенней лужайке. И голос мамы говорит ему сквозь гулкий туман сна: «Я же только за ягодками посылала тебя, Ванюша, что ж ты так и не вернулся?» И старик снова просыпается в слезах.

Персонажи, как уже можно было понять по ходу пересказа сюжета, автор постепенно превращает в карикатуры на живых людей. Авторский метод никакого отношения к типизации не имеет. Где хочу, там и сплющиваю, надуваю героя — и, пожалуйста, глядите! Честно, положив руку на сердце, никогда я не думал, что бывают такие сотрудники НКВД, хотя бы и бывшие. Мне могут возразить, что это не аргумент, помимо правды жизни, есть еще и художественная правда. Но как это ни удивительно, у авторского вымысла есть границы. Нельзя персонаж, связанный с определенным типом исторической реальности, видоизменять только с законами своей прихоти. Не бывает рядовых колхозников, знающих, например, такие древние языки, как иврит, фарси, хеттский... Не бывает дипломатов, способных явиться на приеме у королевы в тельняшке. Вот таким дипломатом в тельняшке мне представляется бывший работник НКВД, переполненный сладкими воспоминаниями детства вперемежку с половыми настроениями, более подходящими утонченному и развращенному буржуазному интеллигенту. Трудно признать типичным и образ молодой писательницы. Понятно, что писательский труд предполагает известную внутреннюю (но не обязательно внешнюю) раскрепощенность. Но ведь не до такой же степени, как в повести М. Деревьева. Мыслимое ли дело, чтобы у такой девушки, как студентка выпускного курса Литературного института доминан-

той внутренней жизни были размышления о собственном теле. Так ли оно стоит, так ли оно лежит? Выгодно ли обнажено? Но даже если мы на мгновение поверим, что Наташа выведена точно, что ныне есть такой вид молодых писательниц, то уж ни в коем случае мы не можем признать, что она типичная представительница всего поколения современной ищущей, прогрессивной, пусть немного и бесшабашной (а почему бы и нет?), молодежи.

Движение сюжета, начиная с четвертой главы, сильно замедляется. Днем старик как-то особенно тяжело-весен, телесно косен (это дается через восприятие героини). У Наташи появляется ощущение опасности, исходящей от него. Опасности не вполне понятного свойства. Однажды утром, во сне (вообще в повести громадное количество снов) «она плыла без всякого усилия в переливчатой толще, и особенно упоительным было ощущение наготы. И вдруг в глубине сияющей, дружественной воды замаячила непонятная громада. Наташа открыла глаза и с ужасом обнаружила это препятствие и наяву. Иван Павлович сидел на краю кровати и молча смотрел на нее. Она точно знала, что старик неопасен, и не боялась его до сих пор ни одной секунды, но сейчас, и особенно потому, что он молчал, ей стало страшно. Она почувствовала себя беззащитной, как будто из сна в явь продлилось то подводное ощущение наготы. «Наташа»,—голосом раковины прошипел старик, и ей стало легче, и Наташа, уверенно сказав: «Дайте мне встать, папуля», стала его спихивать с кровати сильным коленом» (стр. 88).

Через полчаса, захватив свой толстый, пока почти бесполезный блокнот, она уже сопровождает старика на завтрак. Да, Наташа недовольна тем, как заполняется этот блокнот. Ее не оставляет мысль о том, что правда жизни должна быть круче, гаже, необычнее. Здесь подмечен автором тонкий момент — старик очень старается, понимает, что уже пора бы что-то и выдать на-гора, выискивает в кладовых своей памяти бог знает какие детали и впечатления, но все равно его спутница-гурманка морщится — пресно. Предчувствовалось больше, ожидания почти обмануты. Наташа становится небрежной к бывшему работнику НКВД.

А с ним продолжают происходить метаморфозы. Однажды во время купания он заплыл достаточно далеко.

Надо заметить, что образ моря как очистительной, перво-родной стихии используется в повести на полную катушку. Масса эпитетов и шумовых эффектов. Море шумит, лопочет, лепечет, шипит, бушует, манит, ласкает, играет и даже, как это ни смешно, смеется. Так вот, заплыв по-дальше, старик наблюдает неожиданное атмосферное явление: «Гроза двинулась сюда, к морю, но это не испугало, вернее, не могло испугать, потому что зрение и сознание Ивана Павловича было заморожено видением. Горы, вечно закрытые туманной дымкой, сквозь которую редко и смутно угадывались их циклопические очертания, теперь были полностью обнажены. Их меловые вершины засияли как снеговые, рисунок отдаленных витиеватых трещин поражал как внезапное откровение, прояснившийся воздух над ними пронзительно звучал, отдаваясь в прозрачной старческой душе. О любовь моря! Что же была моя жизнь?! И была ли моя жизнь?!» (стр. 92).

Потрясенный Иван Павлович с колотящимся сердцем и «воспрянувшим телом» оказывается на берегу, но не застаёт своей спутницы. Он долго бродит и ищет ее, наконец, сообразив, что ей все равно придется вернуться в номер, идет туда и ждет ее там до самого вечера. Он просто изнемогает от ожидания. Детально и почти жестоко излагаются подробности старческого нетерпения. Солнце клонится к закату. Душевное напряжение становится нечеловеческим.

Наташа в это время сидит в прибрежном ресторанчике с Артемом, сдержанно принимая его на широкую кавказскую ногу поставленные ухаживания — «чехохбили, сациви, лобио, шашлык, зелень, холодное сухое вино». Потом они гуляют с Артемом по берегу моря. Море в этот час поражает своей тревожной красотой. Артем настоящий мужчина, это очень даже чувствуется, но собеседник плохой, даже хуже, чем предполагалось вначале. Он непрерывно советует Наташе улыбаться. «Тебе хорошо улыбаться. Почему ты не улыбаешься?» Наташа нехотя улыбается, скорей всего, опять его акценту. Незаметно они приближаются к задним помещениям летней эстрады. Артем предлагает проникнуть внутрь и послушать музыку. Наташа против. Артем настаивает. Наташа не уступает. Наконец он пытается силой добиться того, что, как он считает, ему уже положено. Надо сказать, что сцена получается отворачи-

тельной. Здесь автор полностью отставляет свои иронические приемы и показывает насилие во всей его ужасающей «красе». Здесь все грязно, тупо, свирепо. Только благодаря своей незаурядной физической силе Наташе удастся высвободиться, и, воспользовавшись тем, что Артем, зацепившись за что-то, падает, она ускользает к себе. Сцена действительно гадкая и действительно страшная. Был даже выхвачен нож, и на секунду могло показаться, что вторая часть названия имеет отношение как раз к этому эпизоду. Прекрасная юная девушка едва не гибнет от руки мелкого подонка.

Итак, девушка, избежав омерзительного насилия, вбегает к себе в номер, где ее ждет обуреваемый тоже не вполне платоническими чувствами бывший работник НКВД. Он набрасывается на свою «дочку» с упреками, она ему заявляет в ответ на это, что ее абсолютно не устраивают те жалкие басни, которыми он ее кормит все эти дни. Неужели он никого не пытал и не насиловал за все эти годы? Почему он это скрывает? Чего хочет добиться? Она очень разгорячена и возбуждена. Причем Иван Павлович чувствует, какого именно рода это возбуждение, и его воспаленные беспочвеннейшие фантазии получают надежду на какую-то реализацию. Разговор происходит на ходу, участники его совершают сложные перемещения по номеру. Разговор очень откровенный, высвобождающий глубоко скрытые мысли. И в какой-то момент Иван Павлович, взвинченный необыкновенным стечением внутренних обстоятельств и внешних причин и не находящий пока естественного способа для облегчения мук своей чудовищной, почти уже противоестественной старческой страсти, внезапно сублимирует ее грязную, но жаркую энергию и раздражается роскошным, образным, убедительным рассказом, где есть и политический шантаж, и использование своего служебного положения для удовлетворения садистских наклонностей, и все лубочные приметы застенок ежовского НКВД и методов его работы. Все это, безусловно, клюква, но в этот момент крайне похожая на настоящую кровь, особенно если учесть лихорадочный и болезненный контекст этого разговора и всего этого союза.

«— И вы ударили его?

— Конечно.

— Ботинком?

— Сапогом.

— По голове?

— Да.

— И жена видела, как потекло?..

— И как потекло... Хотя она не очень смотрела, она сама закрывалась...» (стр. 101).

Луна лихорадочно дышала в окно. Казалось, что эти порывы ее света, а не дряблый ночной ветерок заставляют трепетать занавеску. Механически приняв таблетку валидола (безусловно, ироническая деталь), ведя себя как удав, загипнотизировавший кролика, а Наташа действительно парализована внезапной смесью возбуждения, страха и необыкновенного впечатления от рассказа, бывший работник НКВД осуществляет свою невозможную мечту. Проще говоря, Наташа позволяет затащить себя в постель. Здесь автору слегка изменяет вкус, он слишком рано отрезвляет читателя, захваченного этой необычной, но, надо признать, довольно убедительно нарисованной сценой, включением своего назойливого иронического присутствия. Предпоследняя глава кончается ядовитой фразой. «Она наконец нашла наиболее гармоничный способ общения с прошлым» (стр. 107).

Финал повести тривиален. Невероятные планы на будущее, которые строил бывший работник, лежа в «предрассветной тишине рядом с крупным роскошным телом» — «буду бегать трусцой, есть орехи. Золотого корня достану. Мешок». Его решение снять с книжки «две с половиной штуки и купить ей все, все, все», даже готовность жениться, все это рухнуло, как только Наташа проснулась. «Как будто его воздушный замок покоился на зыбком фундаменте девичьего сна». Автору не чужды и некоторые красоты стиля. Наташа молча, злобно вскочила, приняла душ, потребовала у старика «полтинник», объявила, что деньги ей нужны на обратный билет, начала собирать чемодан. Старик попытался ей помешать, умолял, пытался помешать силой. В состоявшейся схватке он потерпел полное и быстрое поражение и, отлетев в угол, шарахнулся обо что-то головой. Этой сценой автор явно хотел подчеркнуть, что вчера никакого насилия не было, все произошло в известном смысле добровольно.

Наташа уходит. У старика сердечный приступ.

Это кульминация повести. Развязка выглядит три-

виально. Наташа, не сумев в тот же день улететь в Москву, снова сталкивается с Артемом. Он как ни в чем не бывало продолжает свои ухаживания и теперь уже без всякого труда добывается своего. Писательница отдается ему легко, с непонятной радостью, она как будто очень довольна, что теперь нет нужды в целомудренном поведении. Автор внимательно и брезгливо исследует состояние ее души в момент повторного падения, но ни в коем случае не пытается обелить запутавшуюся женщину, защитить ее. Вместо того чтобы отыскать в глубинах ее души хоть какое-то оправдание ее действиям, он зачем-то заставляет Наташу вспомнить эпизод, с которого начинается вторая глава повести. Дело, оказывается, в том, что Наташа тогда не просто лежала в постели и любовалась отражением своего тела в зеркале. Она за минуту до этого рассталась со своим любовником, с которым хладнокровно предавалась скучному, почти бесчувственному разврату. Читателю хотят сказать — посмотрите, какая мерзость! Это ведь просто шлюха, да и только!

Бывшему работнику органов в конце повести становится совсем худо. В разгар, если можно так сказать, сердечного приступа к нему в номер входит его товарищ по работе, тоже приехавший отдохнуть в Сочи. Товарищ не по той страшной, а по теперешней работе; главный герой, как оказалось, трудится гардеробщиком в одной из центральных московских гостиниц. Истекая ядовитейшей иронией, автор рисует сцену смерти бывшего следователя НКВД на руках боевого товарища по гардеробному призванию, их безумную, нелепую беседу. Итак, конец повести.

Несколько слов об идее повести, как я ее понял. По мысли автора, именно они — бывший палач НКВД и экстравагантная, развратная мерзавка, имеющая способности к сочинению рассказов, иллюстрируют своим дуэтом нынешнее состояние связи поколений. Итак, что хочет внушить нам автор: что наше прошлое — это перерожденцы, садисты, становящиеся под конец жизни мечтательными сексуальными маньяками, а наше настоящее — это начитанные, изломанные, безнравственные инфантильные бездельники?

Но даже пусть так, на время (только на время) поверим, что именно эти герои аккумулируют в себе типичные черты своего поколения, пусть именно через них

осуществляется связь времен. Какого рода эта связь? Исключительно болезненно-эротическая. То есть у нас на глазах вытаскиваются на свет давно преодоленные нашей марксистской наукой теории об эротической подоплеке всех жизненных и даже социальных явлений. Автор понимает, что крен в эту сторону слишком велик, и пытается смягчить и облагородить действие своей идеи при помощи иронии. Это было бы неплохо, не будь его ирония слишком похожа на чистейшее издевательство. Все половые устремления героев повести приводят их в комические положения. Смешны эротические мечтания старика, потому что он старик. Смешны умищования писательницы, потому что они якобы всего лишь оболочка вытесненной из подсознания похоти. Даже поведение кавказца Артема выглядит сексуально озабоченным, потому что он говорит с сильным акцентом. Чем сильнее влечение, тем сильнее акцент. Или наоборот. Я не хочу сказать, что этих моментов, этих струн нет в жизни, но их назойливое выпячивание искажает картину мира.

Резюмируя, приходится сказать, что повесть не удалась, может быть, она и была хорошо задумана (хотя и это вызывает у меня острое сомнение), но написана из рук вон плохо. Это всего лишь плод праздного, мизантропически настроенного ума. К тому же незрелый плод. Повесть М. Деревьева «Нежный убийца» написана, в общем-то, лишь для того, чтобы потрофить невзыскательному обывательскому вкусу, она ни в коем случае не может быть рекомендована к печати.

25.10.8...г.

Рецензент М. Попов

АВТОКОММЕНТАРИИ

Листая книги, выходящие в последнее время, я обратил внимание на то, что все большую роль в них начинают играть комментарии, примечания и прочие вещи в том же роде. Появляются романы, состоящие почти сплошь из них (комментариев), появляются литературоведы, считающие, что на каком-то этапе они (комментарии) для культуры становятся практически важнее самих комментируемых произведений. А недавно в одном из наших уважаемых журналов один из наших уважаемых писателей вообще опубликовал комментарии без сопровождения какого бы то ни было художественного текста. Хорошо ли это? Бог его знает. Одно несомненно — в наше время книга, выпущенная в свет без хорошей порции комментариев и примечаний, выглядит диковато. Не желая выглядеть несовременным и поскольку пока еще нет сколько-нибудь серьезных специалистов по моему творчеству, я решил сам прокомментировать наиболее примечательные места своей книги.

С. 3. *«Воля нелепая, но воля».*

Как, наверное, уже отметил внимательный читатель, в этой фразе заключена скрытая отсылка к фразе из предисловия к «Театральному роману» М. Булгакова. Там: «Странная, но предсмертная воля». Мною это сделано вполне сознательно, и эта перекличка кажется мне и уместной и литературно пристойной.

С. 43. *«...листы пьесы Олега Торцовского «Долой возврата нет?»*

Название пьесы абсолютно никому не известного драматурга Олега Торцовского почти полностью повторяет, за исключением вопросительного знака в конце, название романа классика американской литературы Томаса Вулфа. Поскольку режиссер Богдан Маланчик никакого отношения к этому эстетическому факту не высказывает, то можно заключить, что при помощи этого вопросительного знака автор хочет показать не столько полемическое наклонение характера драматурга, сколько необразованность режиссера.

С. 184. «... в «Траве забвения» есть место...— он быстро листал.— Там, где Бунин говорит молодому литератору Катаеву, что носки нужно стирать в холодной воде».

Виктор Шапырин, и до этого эпизода очень путано излагавший свои мысли об искусстве (если так задумано, то задумано плохо), здесь поворачивает совсем в непонятном направлении. Имеющаяся в виду фраза Бунина, как мне кажется, просто-напросто намекает на некое интимно-бытовое обстоятельство.

С. 199. «А ты смотри за ней внимательно. Если она провела меня, старого партизана, то тебя... обманет и подавно».

Этот эпизод несомненно иронически перекликается со сценой из «Отелло», где отец Дездемоны беседует с чернокожим зятем. Бранбанцио говорит: «She has deceived her father, and may thee». На мой взгляд, в этом месте конструкция авторского замысла грубо выпирает сквозь художественную ткань.

С. 215. «...— Абсуркин! Фамилия-то какая гнусная.

— Да, абсурдная фамилия, это верно. Вот Крушеницкий — что-то среднее между крушением и Грушницким...»

Из этого эпизода ясно, что автором глубоко продуманы фамилии и имена даже второстепенных персонажей. Станным на этом фоне выглядит нагромождение смыслов в фамилии, имени, отчестве одного из главных героев романа — Адама Аркадьевича Волотовского. Адам — нас отсылает к Библии, Аркадьевич к античному мифологическому пласту, Волотовский (от белорусского: Волот — богатырь) к национальному фольклору. Причем все эти ассоциации работают по принципу лебеда, рака и щуки. Если учесть, что и по профессии Адам Аркадьевич является преподавателем научного атеизма, закончившим военное училище и духовную семинарию, то становится понятным, что в отношении этого, видимо любимого героя, автору изменило чувство меры.

С. 215. «Приезжайте в сиреневый сад».

Летом 1984 года мне пришлось снимать комнату в квартире пожилого и отошедшего от дел поэта Л. С. Яшина. Среди его книг мне попала книжка водевилей сталинского периода в развитии искусства. Книжка так и называлась «Приезжайте в сиреневый сад». От нечего делать я перелистал несколько раз это издание, но

фамилию Абсуркин среди авторов сборника не обнаружил: такая неординарная фамилия обязательно засела бы у меня в сознании.

Арсений Саввич Абсуркин как персонаж романа у меня никакой симпатии не вызывает, но подозревать его еще и в плагиате мне не хочется.

С. 219. «...страна называется Нижняя Омма».

Читатель напрасно будет искать на картах государство с таким названием. И даже Верхняя Волга, несомненно являющаяся прообразом Нижней Оммы, давно уже переименована в Буркина-Фасо, что в переводе значит — «родина достойных людей». То, что это именно так, с успехом доказал Набебе, явившийся оттуда на страницы романа.

С. 300. «Что ж, все дозволено! дозволено! дозволено!» Здесь младший лейтенант опять закурил».

Произошедшее под пером Адама Аркадьевича слияние высказываний Мити Карамазова «Все дозволено!» и Гамлета «Слова, слова, слова» могло озадачить кого угодно, но не только младшего лейтенанта.

С. 361. «Кстати, число собеседников неумолимо росло. Основных было человек пять: Фридрих, Зос, Граф, Шапырин и Прот».

Это самое темное место в романе, хотя кое-что поддается расшифровке. «С жабой вас, с мокрицею, а не с б. б.», — обращается Адам Аркадьевич к Фридриху, и нетрудно догадаться, какой именно Фридрих имеется в виду — Ницше. К Дм., к шестому собеседнику, Адам Аркадьевич обращается так: «Не хам пришел. Хама боялись?!» Разумеется, что все это наводит на мысль о Мережковском. «Ну что, глыба, скажешь, а?» — говорит Адам Аркадьевич Графу, явно имея в виду Льва Николаевича Толстого. Под сокращением Зос. скрывается, на мой взгляд, старец Зосима. Адам Аркадьевич обращает к нему следующую филиппику: «Нет, нет и нет, не богоносец ваш народ». Разумеется, что эти слова естественнее было бы адресовать самому Федору Михайловичу Достоевскому, но сейчас даже самые образованные литературоведы сплошь и рядом смешивают автора и героя, так что я не рискую предъявить здесь какую бы то ни было претензию Адаму Аркадьевичу, профессиональным литератором все же не являющемуся.

Одного я не смог понять — кто такой этот Прот.

С. 311. *«Сонечка учится в Г...о, в техникуме. В кооперативном».*

Я могу совершенно спокойно открыть, в каком именно городе учится Сонечка — в городе Гродно, где я и сам долгое время жил и некоторое время учился. Если признаться честно, я и сам сейчас не знаю, чего ради я вдруг стал скрытничать и путать читателя.

С. 325. *«Оборачиваюсь — Грушницкий».*

На всякий случай, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не подумал, заявляю, что сознательно взял у Лермонтова этот момент, потому что для выражения того, что мне в этом месте хотелось выразить, ничего лучше выдумать нельзя.

С. 329. *«...усмотрели нечто для себя увлекательное в мастерстве Чемберлена и Алсиндора».*

Чемберлен и Алсиндор были в разные годы ведущими баскетболистами НБА, профессиональной американской лиги. Надобно заметить, первый не имеет ни малейшего отношения к английскому премьер-министру, а другой в настоящее время, по примеру, видимо, Кассиуса Клея, ставшего Мохаммедом Али, переименовал себя в Абдул Керим Джаббара, и продолжает оставаться звездой профессионального баскетбола.

С. 348. *«История эта начинается майским вечером 195... года».*

«Иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц». С такого пассажа начинается роман В. Набокова «Дар». С приведенной выше строчки начинается рассказ «Величайшие реки мира», и ему, мне кажется, совсем бы не повредило точное указание года, когда начинается его действие. Можно со всей определенностью сказать — если исходить из атмосферы сцены, открывающей рассказ — что речь идет о времени, когда уже скончался «отец народов» и даже уже отгремел XX партсъезд.

С. 387. *«Однажды в разговоре в моем хорошем приятеле Юрием Д. мы мимолетным образом коснулись одной интересной темы».*

Юрий Д. не вымышленная фигура, его полное имя Юрий Кон-

стантинович Доброскокин, он прозаик, член Союза писателей, автор трех книг: «Твердохлебы» — библиотечка журнала «Молодая Гвардия», 1984 г., «Калач», издательство «Современник», 1985 г., «Диковинные дороги», издательство «Молодая Гвардия», 1989 г. Мысль, с которой начинается рассказ, также принадлежит ему. В то время, когда этот рассказ писался, я имел возможность душевно побеседовать со многими незаурядными молодыми писателями и поэтами, например с Александром Сегенем, Петром Паламарчуком, Владиславом Артемовым, Михаилом Гаврюшиным, Вячеславом Казакевичем, тем не менее надобно заметить, что прототипом Юрия Д. был именно Юрий Доброскокин.

С. 449. *«Фильмы 30-х годов».*

Название рассказа, строго говоря, неточное. Фильмы того стиля, который слегка пародируется в рассказе, снимались в пятидесятые годы, может быть, даже чаще, чем в тридцатые. Ставили их и в сороковые... Но поскольку название рассказа не может быть безразмерным, я решил остановиться на том словосочетании, которое первым мне пришло в голову.

С. 451. *«Любовь не вздохи на скамейке».*

Строчка из стихотворения популярного поэта Степана Щипачева. Его стихи читали и любили по той же причине, по которой смотрели и любили фильмы тридцатых-пятидесятых годов.

С. 458. *«Рецензия на повесть М. Деревьева «Нежный убийца».*

Читатель, у которого хватило великодушного терпения дочитать эту книгу почти до конца, до рассказа «Ошибка рецензента», видимо, уже сообразил, почему она так странно называется — «Нежный убийца». Да, действительно, автор решил его, читателя, слегка разыграть. Удачно он это сделал или неудачно, судить не автору. Может быть, кому-то эта шутка покажется глупой, может быть, кое-кто даже и не заметит, что над ним пытались подшутить.

Для чего я это сделал? Во-первых, наверное, потому, что мне нравится выражение Гете: «Игру следует прекращать в последний момент»; во-вторых, если разобраться, то ведь и трагедия — розыгрыш, в том смысле что она «разыгрывается»; в-третьих, меня всегда тянуло в эту сторону с самых первых сочинений. У меня всегда было смутное ощущение, что не только судьба человеческая, но и сама история есть игра каких-то, неохотно афиширующих себя, сил. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь отрывок из своей

давно написанной и давно опубликованной повести, всю ее переиздать не представляется возможным, но там есть описание детской игры-ворожбы, могущее дать путеводную ноту тому, кто соберется окинуть мысленным взором только что прочитанное:

«...и когда у меня возникла необходимость в духовном поприще, на глаза мне попался учебник «История древнего мира» в яркой обложке.

Без всяких угрызений совести я оставлял мир гвоздей, погнувшихся приблизительными ударами моего молотка, изуродованных моим напильником деталей, замков, не внимавших моей починке. Я с облегчением возвращался к моим легионерам и сатрапиям.

Я прочел все книги по истории, которые смог достать, и когда этот поток стал иссякать, мне попался на глаза остов разобранного утюга с нанизанными на перегоревшую спираль белыми изоляторами; рядом кучка высохших вишневых косточек.

Меня поразило, до какой степени матовый блеск изоляторов и скрупулезная повторяемость их формы напоминают стройность и изящную мощь македонской фаланги времен Граника и Гавгамелл, а вишневые косточки — валки, некоторые с присохшими остатками ягодного мяса — стихийную, ненадежную Дариеву рать.

На все деньги, которые я смог достать, не привлекая внимание матери (сдал кефирные бутылки, продал два перочинных ножа), я накопил в нашем хозмаге уютных спиралей. Дождавшись ухода матери, разорвал хрустящие пакетики и обрадовался фарфоровому шелесту добычи, ссыпая её в общую кучу. Однообразная белотелость изоляторов подсказывала сходство с архитектурой изученной Эллады, посреди которой вершилась аскетическая доблесть лакедемонян, и одновременно сходство с холодной логикой построений тевтонского рыцарства. А форма, напоминающая пробковый шлем, заставляла вспомнить об английской колониальной политике.

Я объелся вишнями, спеша расширить запасы извечного противника: округлой перекати-поле-кочевнической орды алан, хазар, половцев в цветастых шароварах; готского народа-войска, явившегося с козлиной шкурой на плече пред усталые глаза Римской империи.

Надо мной, как поэтическая стихия, витала детализированная структура и история римской военной организации; легаты, квесторы, трибуны, центурионы, принципы, гастаты, триарии шествовали по облакам моей комнаты в вековом порядке, придерживая у бедра традиционный инструментарий самого рационального в мире оружия, сопровождаемые раскачиванием легионных значков и шлемных перьев.

Светлая, как колоннада, галерея имен: Сципион, Гракх, Марий, Сулла, Цинна, Помпей, Красс, Цезарь, Октавиан, Антоний, Нерон,

Калигула, Траян, Адриан, Тит, Веспасиан, Север, Марк Аврелий,— и имена великих варваров, удачливых ловцов в смутную эпоху великого переселения народов: Стилихон, Гаина, Гензерих, Атанарих, Аларих, Теодорих, Аттила... и первая ностальгия — поваленный треножник, сочащийся дым, дикий виноградник на Форуме, одинокий легионер на фоне заката».

СОДЕРЖАНИЕ

Народный театр. <i>Роман</i>	3
--	---

Различные рассказы

Дворец	304
Студент	321
Полюби наш баскетбол!	328
Величайшие реки мира	348
«Все еще спит...»	362
Цирк	373
Любка	387
Морская вода	396
Невеста	405
Брак по расчету	419
Шамиссо, или Малый московский кошмар	428
Фильмы 30-х годов	449
Ошибка рецензента	457
Автокомментарии	471

Попов М

**П58 Нежный убийца: Роман, рассказы/Худож.
А. Александрова.— М.: Современник, 1989.—479. с.
ISBN 5-270-00820-3**

Героев произведений М. Попова характеризует многогранность восприятия мира, но не всегда это служит к их пользе. В романе «Народный театр» один из героев решил разыграть трагедию по своему сценарию, используя слабости окружающих его людей. Она была разыграна, но один из вовлеченных в нее людей предпринял частное расследование действий сценариста. Сценаристу его предприятие стоило жизни, а жизнь других героев надолго вышла из нормальной колеи.

В рассказах герои открывают для себя жизнь с той стороны, о которой они ничего не знали либо знали понаслышке. Эти открытия ставят героев перед необходимостью сделать выбор: в корне изменить свою жизнь или, д-ля вид, что ничего не произошло, продолжать жить старыми представлениями.

4702010200—215

П М106(03)-89 — 115—90

ББК 84Р7

ПОПОВ Михаил Михайлович

НЕЖНЫЙ УБИЙЦА

Роман, рассказы

**Редактор В. А. Семенов
Художник А. Н. Александрова
Художественный редактор А. Ю. Никулин
Технический редактор В. И. Тушева
Корректоры В. Н. Лыкова, М. Г. Курносенкова**

ИБ № 5634

Сдано в набор 29.03.89. Подписано к печати 12.07.89 А 04239. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 25,2. Усл. краск.-отт. 25,2. Уч.-изд. л. 23,98. Тираж 50 000 экз. Заказ 362. Цена 1 р. 90 к.

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30**

Larisa_F

